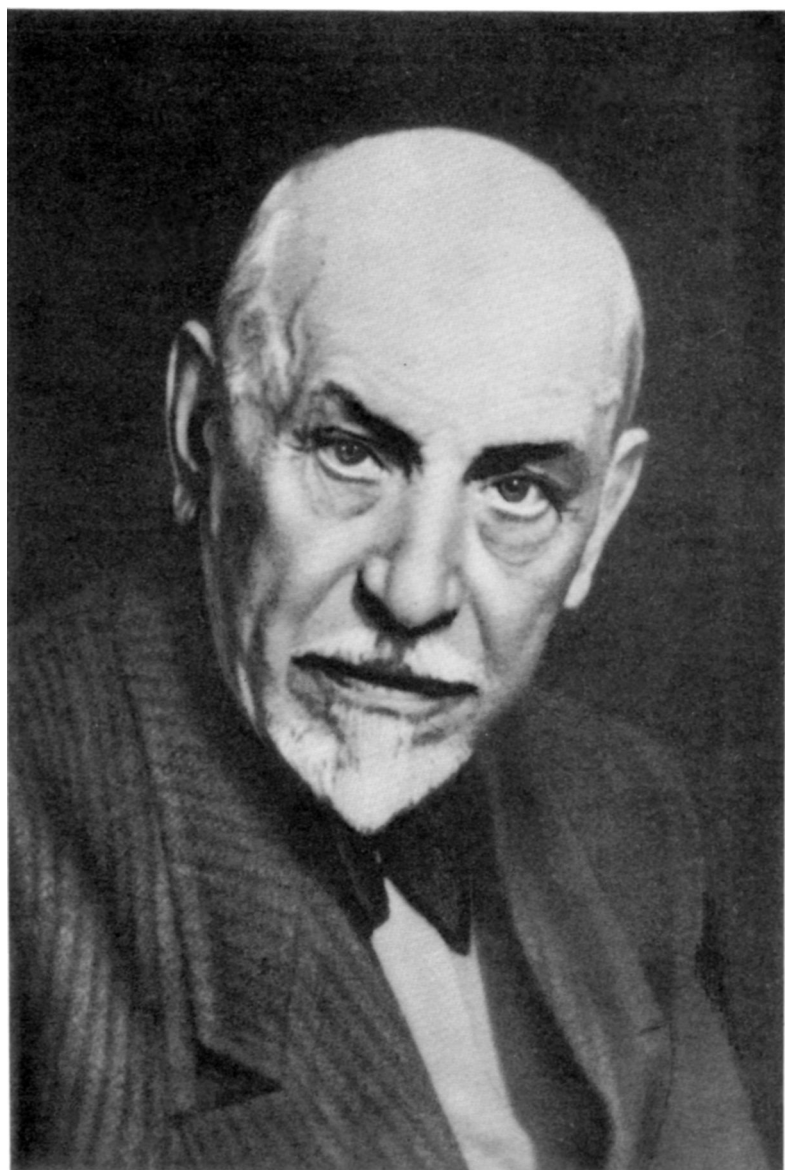


**Луиджи
Пиранделло**

2





Луиджи Пиранделло

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА
В ДВУХ ТОМАХ

ПЕРЕВОД С ИТАЛЬЯНСКОГО

ТОМ **2**



Ленинград • «Художественная литература»
Ленинградское отделение • 1983

ББК 84.4 Ит
П 33

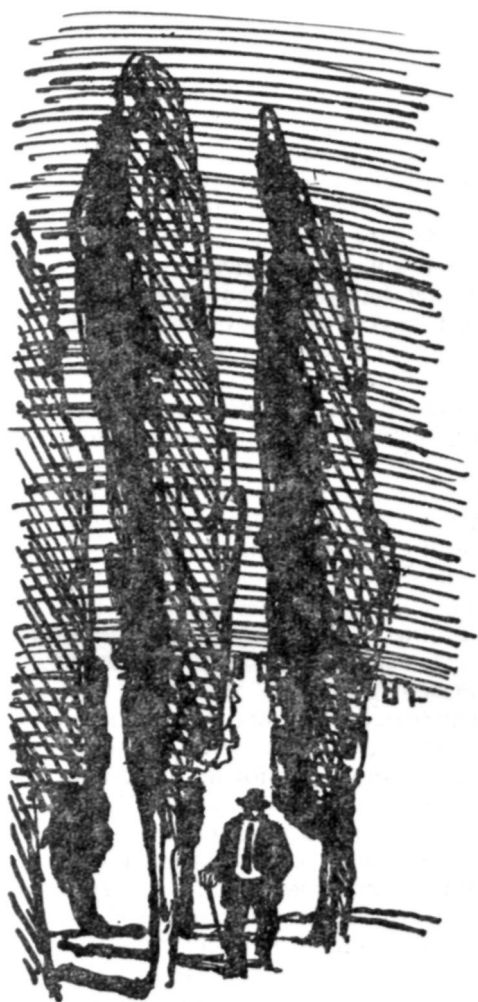
Составление
С. БУШУЕВОЙ

Оформление художников
Б. СЕГАЛЬ и А. СКОЛОЗУОВА

П $\frac{4703000000-057}{028(01)-83}$ 125-83

© Состав, переводы, не отмеченные*,
оформление. Издательство «Художест-
венная литература», 1983 г.

Н О В Е Л Л Ы



КОНЬ НА ЛУНЕ

В сентябре это сухое глинистое плоскогорье с трещинами по краю обрывов, нависающих над самым ливийским морем, выглядело мрачно: поля, безжалостно сожженные долгим летним солнцем и теперь торчащие почерневшими комлями паленого жнивья, редкие миндальные деревья да одинокие стволы дряхлой дикой маслины здесь и там. Тем не менее из-за жениха было решено, что молодые проведут здесь хотя бы первые дни своего медового месяца.

Свадебный стол был накрыт в одной из парадных комнат старинной уединенной усадьбы, но праздника не получилось.

Гости так и не справились со смущением, даже смятением, охватившим их от одного вида — не говоря уже о манерах — этого грузного двадцатилетнего парня с багровым лицом, который только и делал, что зыркал по сторонам своими маленькими блестящими черными глазами, ничего не понимая, как полоумный, ничего не ел и не пил, но все краснел и краснел, пока не стал под конец совсем пунцовым.

Говорили, что, воспылав безумной страстью к той, что сидела теперь подле него, к своей невесте, он вытворял бог знает что, даже чуть было не наложил на себя руки — он, богач, единственный наследник древнего рода Берарди, — и все из-за дочки какого-то пехотного полковника, который всего год назад объявился на Сицилии со своим полком. Но господин полковник, заранее настроенный против жителей острова, будто бы не давал своего согласия на брак, не желая оставлять дочь в глуши с этими дикарями.

Замешательство гостей при виде жениха росло еще и оттого, что все заметней становилась разница между ним и его юной невестой. Она выглядела совсем девочкой — резвой, свежей, пугливой. Казалось, она постоянно отгоняет всякую докучливую мысль взрывами неподдельного веселья с очаровательным изяществом и лукав-

ством. Так искренне лукавить могут лишь совсем маленькие и неискушенные проказницы. Похоже было, что девочка, рано осиротевшая и воспитанная без матери, и в самом деле вступала в брак совершенно неподготовленной. В какой-то момент, уже после обеда, все даже рассмеялись и оторопели, услышав, как она выпалила, повернувшись к жениху:

— Боже мой, Нино, почему у тебя сделались такие маленькие глазки? Не трогай меня, не надо... горячо! Почему у тебя такие горячие руки? Папа, папа, попробуй, какие у него горячие руки... Что это — жар?

Бедный полковник, который все время сидел как на иголках, заторопил с отъездом. В самом деле, пора было кончать этот спектакль, казавшийся ему почти непристойным. Все разместились в шести повозках. Полковник сел рядом с матерью жениха, тоже вдовой, и они ехали медленно, пропустив остальных вперед, так как молодые захотели проводить их до развилки дороги, ведущей в большой далекий город, и шли по обе стороны от экипажа: она, держа за руку отца, а он — мать. У развилки полковник наклонился, поцеловал дочь в голову, прокашлялся и пробормотал:

— До свидания, Нино.

— До свидания, Ида, — засмеялась мать, и лошади пустились широкой рысью, догоняя остальных.

Молодые, стоя на обочине, все еще провожали их взглядами. По правде говоря, смотрела им вслед только Ида, потому как Нино не видел и не слышал ничего вокруг, не сводя глаз со своей жены, которая стояла рядом с ним, и они были наконец-то вдвоем, и она принадлежала ему, только ему. Но что такое? Она плачет?

— Папа, — сказала Ида, взмахнув на прощанье платочком. — Вон он, видишь? И он тоже...

— Ну не надо, Ида... дорогая моя... — пролепетал, почти прорыдал Нино, пытаясь обнять ее и весь дрожа.

Ида отстранилась от него.

— Оставь меня, пожалуйста.

— Дай я вытру тебе глаза...

— Спасибо, дорогой, не надо. Я сама.

Нино беспомощно смотрел на нее, жалкий, нескладный, с полуоткрытым ртом. Ида перестала плакать и, вытерев глаза, спросила:

— Да что с тобой? Ты весь дрожишь... Господи боже мой, Нино, ну не стой ты передо мной с таким видом. Просто смех берет. А я, знаешь, как начну смеяться, та

уж не остановиться. Пстой, дай я приведу тебя в чувство.

Она осторожно сдвинула пальцами его виски и стала дуть прямо в глаза. От одного касания этих рук, от одного дыхания этих губ у него подкосились ноги, и он чуть не упал на колени, но Ида подхватила его, громко смеясь:

— Прямо на дороге? Ты с ума сошел! Видишь вон тот пригорок? Пошли посмотрим! Может, еще увидим наших. Бежим!

И она стремительно повлекла его за собой, ухватив за руку.

Отовсюду, от выцветших трав с окрестных полей и от стольких предметов, заброшенных сюда временем и давно иссохших, исходил сухой жар, словно какой-то извечный дух, густой и тягучий, вливался в духоту дня, смешиваясь с теплом тучного навоза, тлеющего в аккуратных кучках на незасеянной пашне, и с острым ароматом еще не увядшей мяты и дикого шалфея. Но этот густой дух, этот прелый запах, это пронзительное благоухание чуял только он. Ей же, сквозь частые заросли колночек, среди ошестинившихся рыжих ключев паленой стерни, на бегу, слышно было радостное пение жаворонков в высоком небе, а в сонной тишине равнинного зноя слышался вещий крик петуха с дальнего гумна. Порой на нее налетала свежая прохлада, и близкое дыхание моря угадывалось в усталом шелесте пожелтевшего и уже редющего миндаля и во внезапно бледнеющих остролистных космах маслин.

Они довольно быстро оказались у подножия холма, но он совсем обессилел от бега и едва стоял на ногах. Он хотел было сесть и усадить ее рядом, обхватив за талию, но Ида запротестовала:

— погоди, я сначала взгляну, что там.

В душе она уже начинала беспокоиться, но не подавала виду. Его странные, непонятные домогательства раздражали ее, и она не могла, не желала сидеть на месте; ей хотелось бежать и бежать, растормошить, отвлечь его и самой отвлечься, пока еще длится день.

Оттуда, с вершины холма, открывалась бескрайняя равнина, соломенное море, изборожденное здесь и там черными подпалинами огнищ, с редкими островками каперсов и лаприцы, выступающими над взьерошенной поверхностью пожелтелой стерни. Далеко-далеко, почти что на другом берегу этого огромного соломенного мо-

ря, из-за высоких черных тополей проглядывали крыши какой-то деревушки.

И вот Ида решила, что им непременно надо дойти до той деревни. Сколько это займет? Час с небольшим. Теперь было только начало шестого, и слуги, наверное, еще не закончили уборку в доме. Вполне можно успеть туда и обратно до темноты.

Нино попытался протестовать, но она потянула его за обе руки, подняла на ноги и — бегом, по крутому склону холма, вприпрыжку через гребни торчащей соломы, легкая и быстрая, подобная молодой серне на горах. Он никак не мог поспеть за ней, раскраснелся, вспотел и, шалея от бега, умолял дать ему руку:

— Дай мне хоть руку! Руку! — кричал, задыхаясь, Нино.

Вдруг она вскрикнула и остановилась как вкопанная. Прямо из-под ее ног с громким карканьем взлетела стая воронов. Чуть поодаль, распластавшись на земле, лежала дохлая лошадь. Дохлая? Нет, она была еще живая и смотрела на Иду. Но как! Боже, как она смотрела. Один скелет! Запавшие бока, торчащие ребра.

Неожиданно близко, выбиваясь из последних сил, засопел Нино.

— Пошли скорее отсюда! Идем домой!

— Она еще живая, посмотри! — закричала Ида с содроганием и сочувствием. — Она подняла голову... Господи, какие глаза! Ты посмотри, Нино!

— Ну да, — ответил он, все еще задыхаясь. — Ее нарочно бросили тут. Пошли! Неужели не противно? Ведь воздух...

— А что вороны? — в ужасе воскликнула Ида. — Они что, съедят ее живьем?

— Ида, ради бога... — взмолился Нино, прижав руки к груди.

— Знаешь что... хватит! — Нелепая просительная фигура Нино окончательно вывела ее из себя. Больше она не сдерживалась. — Отвечай, — кричала Ида, — они что, съедят ее живьем?

— Откуда мне знать, как ее съедят. Обождут, наверное.

— Выходит, — не унималась Ида, — пусть подышает от голода и жажды? Потому что старая? Потому что отжила свой век? — лицо ее скривилось от ужаса и сострадания. — Бедная скотина! Какая низость! Что за люди, эти крестьяне! Что за люди, вы все тут!

— Извини, пожалуйста, — не выдержал Нино. — Ты так жалеешь скотину...

— По-твоему, конечно, я не должна ее жалеть,

— Но ты ни разу не подумала обо мне!

— А ты что — скотина? Ты что, подыхаешь от голода и жажды, тебя бросили одного в поле? Послушай... Ой, Нино, опять эти вороны. Видишь, видишь, они опять кружат. Как все это ужасно, низко, чудовищно... Бедная скотина... видишь... хочет подняться! Нино, она поднимается... А вдруг она сможет идти... Нино, давай ей как-нибудь поможем. Ну что ты стоишь?!

— Что я по-твоему должен делать? — обозлился он. — Тащить ее волоком? Или взвалить себе на плечи? Этого только не хватало. Как ты думаешь, она пойдет? Не видишь, что ли, вот-вот подохнет.

— А если принести ей поесть?

— И попить!

— Какой ты все-таки злой, Нино, — сказала Ида со слезами на глазах.

Преодолевая отвращение, она наклонилась и тихонько, едва касаясь рукой, стала гладить морду лошади, которая последним усилием приподнялась на согнутые колени, обнаружив даже в своей бесконечно унижительной немощи остаток благородной красоты в изгибе шеи и посадке головы.

Нино, то ли от сильного волнения, то ли от горькой обиды, а может, просто из-за того, что он взмок после бега, вдруг сник, почувствовав, как его начинает колотить: у него застучали зубы, и жестокая дрожь пошла по всему телу. Инстинктивно подняв воротник пиджака и засунув руки в карманы, он, мрачный, съезжившийся, убитый, мешковато опустил в сторонке на камень.

Солнце уже село. Издали, со стороны дороги, доносились одинокие бубенцы проезжавшей повозки.

Почему у него так стучат зубы и кровь стынет в жилах? А лоб горит и в ушах такой звон, как будто где-то бьют во все колокола. Это томительное ожидание, чувство угнетенности, ее надменная холодность, нынешний бег и теперь еще эта проклятая лошадь — может, все это сон, ночной кошмар? Или жар? Или еще какая напасть? Да, так и есть! Господи, какая темень, какая темень кругом! Или это у него темно в глазах? Господи! Он пытается заговорить, крикнуть, позвать на помощь: «Ида! Ида!» — но слова застревают в пересохшем горле,

Где Ида? Что она делает?

Она побежала в ту дальнюю деревню за подмогой и не догадывается, что те крестьяне, на которых она надеется, — они-то и приволокли сюда животное подыхать.

А он остался здесь, совсем один, крепко обхватив себя руками, но не в силах одолеть нарастающую дрожь, скрюченный на камне, как большой нахохлившийся сыч, и вдруг ему показалось — да, да, именно таким оно и было теперь, потерянное это светило, — зловещим и невероятным, как видение с того света. Луна. Огромная луна медленно выкатывалась из-за желтого моря соломы. Ее медный вздутый диск нес на себе черную голову коня, который все ждал, вытянув шею, и, казалось, может ждать так целую вечность — черный череп, впаянный в медный круг, — пока хищные птицы кружат и каркают там в вышине.

Когда Ида, теряясь среди этой бескрайней равнины, с криком «Нино!», разбитая и возмущенная, наконец вернулась обратно, луна уже поднялась и тело лошади снова неподвижно распростерлось на земле, а Нино... Да где же он, в самом деле? Ах вот он, тоже на земле.

Что он, заснул там?

Ида подбежала к нему. Он тоже лежал, уткнувшись в землю почти черным, налитым кровью лицом с набрякшими, плотно сжатыми веками, и хрипел.

— О боже!

Она огляделась вокруг, почти теряя сознание, просыпала каштаны, которые несла из деревни для коня, посмотрела на луну, потом на лошадь, потом на землю и этого человека, который тоже лежал как мертвый, и почувствовала, что лишается рассудка, что не понимает, может ли все это быть наяву. В испуге она бросилась назад к усадьбе, зовя отца, в голос, чтобы он забрал ее отсюда, о господи, прочь от этого мужчины, который хрипел... непонятно почему. Прочь от этой лошади, прочь от этой сумасшедшей луны, прочь от этих воронов, каркающих в небе... прочь, прочь, прочь...

1907 (1925)

ГРОБ ПРО ЗАПАС

Когда одноколка поравнялась с церкушкой Сан-Бьяджо, стоявшей при дороге, Мендола, возвращавшийся из своей усадьбы, подумал, что следует подняться на холм, выяснить, что делается на кладби-

ше и справедливы ли поступающие в муниципалитет жалобы на кладбищенского сторожа Ночо Пампину по прозвищу Святой Дар.

Нино Мендола вот уже почти год состоял муниципальным советником и с того самого дня, как вступил в должность, утратил хорошее самочувствие. Его стали мучить головокружения. Не желая признаваться в этом и самому себе, он боялся, что не сегодня-завтра его свалит апоплексия — недуг, от которого до срока сошли в могилу все его предки. А потому он пребывал неизменно в прескверном настроении; и об этом было кое-что известно лошаденке, впряженной в одноколку.

Но здесь, за городом, он весь нынешний день чувствовал себя отменно. Моцион, приятные впечатления... И чтобы не давать воли тайному страху, он решил тотчас же произвести на кладбище ревизию, давно обещанную коллегам из муниципалитета, но столько времени откладывавшуюся.

— Как будто мало хлопот с живыми! — размышлял он, взбираясь на холм. — Так нет, в этом свинском городишке и от мертвых нет покою. А впрочем, дело все-таки в живых, будь они неладны! Мертвым наплевать, как там за ними смотрят, хорошо или плохо. Хотя, спорить не буду, если подумать, что после смерти с тобой будут плохо обращаться, вверят попечениям этого Пампины, дурня и пьянчуги, от такой мысли может стать не по себе... Ладно, сейчас поглядим.

Все оказалось чистой клеветой.

Ночо Пампина, по прозвищу Святой Дар, был идеальным кладбищенским сторожем. Один вид чего стоит: суший призрак, такого ветерком унесет, глаза какие-то бесцветные, потухшие, не голос, а комариный писк... Он и сам казался мертвецом, вышедшим из могилы, чтобы в меру сил своих присмотреть за хозяйством.

Да и много ли у него дел-то, в сущности? Вокруг всё люди порядочные и — отныне — спокойные...

Вот листья разве что. На аллеях валялись листья, слетевшие с кустов живой изгороди. И подравнять ветки кое-где следовало. И воробы, негодники, не ведая, что в надгробных надписях знаки препинания неуместны — специфика лапидарного стиля, — наставили, пожалуй, слишком много сероватых запятых и восклицательных знаков в перечнях добродетелей, коими столь богаты могильные плиты.

Мелочи все это.

Но войдя в сторожку Ночо, справа от калитки, Мендола опешил:

— А это еще что такое?

Ночо Пампина, по прозвищу Святой Дар, раздвинул бледные губы в подобие улыбки и пробормотал:

— Гроб, ваше превосходительство.

В самом деле, то был гроб, и очень красивый. Каштанового дерева, полированный, с медными гвоздиками и позолоченными украшениями. Заказчики, видно, не поскупились. Так он и стоял тут, посреди каморки.

— Благодарю, я и сам вижу, что гроб, — сказал Мендола. — Я спрашиваю, почему ты держишь его здесь?

— Это гроб для кавалера Пиккароне¹, ваше превосходительство.

— Пиккароне? С какой стати? Он же не умер!

— Нет, нет, ваше превосходительство! Дай бог ему долгих лет жизни! — сказал Пампина. — Но, может статься, ваша милость знает — у него у бедняги жена умерла в прошлом месяце.

— Ну и что?

— Он ее проводил сюда, всю дорогу за гробом шел — это в его-то годы. Так-то вот. Потом позвал меня, говорит: «Слушай, Святой Дар. Месяца не пройдет, я тоже тут буду». «Да что вы говорите, ваша милость!» — я в ответ. А он: «Помалкивай, — говорит. — Слушай. Этот гроб, сынок, обошелся мне в двадцать унций с лишком. Красивый, сам видишь. Ради покойной, земля ей пухом, я на расходы не смотрел, сам понимаешь. Но сейчас игра сыграна, — говорит. Что покойной, мир ее праху, делать под землей с таким красивым гробом? Грех его губить, — говорит. Мы вот как сделаем. Похороним, — говорит, — святую покойницу аккуратноенько, в том цинковом гробу, что внутри, а этот ты мне доставишь домой: мне самому пригодится — про запас. На днях, как стемнеет, я за ним пришло».

Мендола не захотел ни о чем больше слушать, ничего больше осматривать. Ему не терпелось вернуться в городок, чтобы разнести весть о том, что Пиккароне приказал приберечь гроб жены про запас для себя самого.

Джероламо Пиккароне, адвокат, во времена Бурбонов² ставший кавалером ордена святого Януария,

¹ Пиккароне — фамилия значащая, производная от *piccagno* — нищий, плут (*итал.*). — Здесь и далее примеч. переводчика.

² Короли из династии Бурбонов правили в Королевстве обеих Сицилии до 1860 года.

прославился в округе скупостью и хитростью. А уж мастер не платить по счетам! О нем такое рассказывали — было чему подивиться. Но эта история — думал Мендола, весело нахлестывая несчастную лошаденку, — эта история превзошла все прочие, и к тому же чистая правда, тра-ля-ля! Он сам видел гроб, собственными глазами.

Лошаденка неслась как угорелая, одноколка грохотала, вздымая облака пыли, но Мендола ничего не замечал, предвкушая взрывы хохота, которые встретят его рассказ, — а рассказывать он будет пискливым голосишком Пампины, — когда вдруг услышал оглушительные крики: «Стой! Стой!», раздававшиеся из придорожной «Харчевни охотников», содержанием которой был некий Дольчемасколо¹.

То были два приятеля Мендолы — Бартоло Гальо и Гаспаре Фикарра, заядлые охотники; они сидели у входа в харчевню под навесом из виноградных лоз и раскричались так, решив, что лошаденка Мендолы понесла.

— Какое там — понесла! Просто я хотел прибавить ходу...

— Ах, ты прибавляешь ходу таким манером? — сказал Гальо. — У тебя что, есть дома запасная голова?

— Знали бы вы, друзья мои! — воскликнул Мендола, вылезая из одноколки; он тяжело дышал, но был в самом приподнятом настроении и с места в карьер рассказал двум друзьям историю с гробом.

Оба сперва сделали вид, что не могут поверить, но только для того, чтобы выказать удивление. И тут Мендола давай клясться, что — честное слово! — он сам видел этот гроб, своими глазами видел, в сторожке у Святого Дара.

Охотники в свой черед принялись рассказывать о других подвигах Пиккароне, уже известных. Мендола хотел было снова сесть в одноколку, но они уже распорядились, чтобы Дольчемасколо принес стаканчик для их друга советника, и хотели, чтобы Мендола выпил с ними.

Дольчемасколо, однако же, стоял на месте как вкопанный.

— Эй, Дольчемасколо! — окликнул его Гальо.

Трактирщик — он был в надвинутой на ухо меховой шапке пирожком и в рубахе с засученными рукавами, открывавшими волосатые руки, — очнулся и сказал со вздохом:

¹ Дольчемасколо — тоже значащая фамилия, производная от dolce — сладкий, сладостный и mascolo — самец, мужчина (итал.).

— Прошу прощения. Я вот слушал, что тут говорилось, и прямо измучился, стою и мучаюсь. Как раз нынче утром тут появился пес кавалера Пиккароне, вот уж тварь поганая, бегаёт себе на свободе от дома своего хозяина до его угодий близ Канателло... Так знаете, что он мне сделал? Украл у меня связку свиных колбасок, штук двадцать, если не больше, прямо с прилавка стянул, чтоб ему ими отравиться! Счастье еще, что есть у меня двое свидетелей!

Мендола, Гальо и Фикарра расхохотались. Мендола сказал:

— Ты их повыше подвешивай, любезнейший!

Дольчemasколо поднял вверх кулак, глаза его блеснули:

— Нет уж, клянусь богом! Он мне заплатит за колбаски! Заплатит, заплатит, — твердил Дольчemasколо трем своим посетителям, которые недоверчиво посмеивались и покачивали головой. — Вот увидите, господа. Я нашел способ. Знаю, чем его взять!

И он остроил свою обычную плутовскую мину: прижмурил один глаз и указательным пальцем оттянул кверху веко другого.

Что он нашел за способ, Дольчemasколо не захотел говорить; сообщил только, что ждет из деревни двух крестьян, которые были свидетелями утренней сцены, и с ними под вечер отправится к Пиккароне.

Мендола сел в одноколку, так и не выпив; Гальо и Фикарра заплатили по счету и, посоветовав трактирщику для его же блага отказаться от попытки взыскать с Пиккароне деньги, отправились восвояси.

На то, чтобы обзавестись одноэтажным домиком, стоявшим при выходе из городка, Джероламо Пиккароне, адвокат и кавалер ордена святого Януария во времена Короля-Бомбы¹, потратил более двадцати лет, и поговаривали, что дом не стоил ему ни медяка.

Злые языки утверждали, будто дом сложен из булыжников, которые нашел на дороге и доставил на место, подкатывая их ногами, сам Пиккароне.

Был же он ученейшим юрисконсультom, человеком

¹ Король-Бомба — прозвище Фердинанда II Бурбонского (1810—1859), правившего Королевством обеих Сицилий с 1830 по 1859 г. и потопившего в крови восстание 1848 г., охватившее Неаполь и Сицилию.

высокого ума и глубоким знатоком философии. Две его книги, одна про гностицизм, а другая про христианскую философию, были, говорят, переведены на немецкий.

Но он был самым закоренелым ретроградом, этот Пиккароне, иными словами — злейшим врагом всего нового. Одевался все еще по моде двадцать первого года; носил бороду подковой; был приземист, сутул, неприветлив, брови всегда нахмурены, глаза прикрыты; вечно почесывал подбородок и частенько ворчал себе под нос, одобряя свои тайные мысли:

— Ф-фу, ф-фу... Италия! Что сделали с Италией... премило, ф-фу... Италия... мосты и дороги... ф-фу... освещение улиц... армия и флот... ф-фу... ф-фу... ф-фу... всеобщее обучение... а если я хочу остаться ослом? Ни в коем случае... Всеобщее обучение... налоги! А Пиккароне платит...

Платил он, по правде говоря, очень мало, а то и совсем ничего с помощью изощреннейших уловок, которые доводили до изнурения и отчаяния людей с самым испытанным терпением. В заключение же всегда заявлял:

— При чем тут я? Железные дороги? Никуда не езжу. Освещение улиц? По вечерам не выхожу. Я ни на что не притязую, спасибо, и ничего не хочу. Только немножко воздуха, чтобы было чем дышать. Может, и воздух тоже вы сделали? Может, мне еще платить за воздух, которым я дышу?

Он и в самом деле жил совершенно уединенно у себя в домике, уйдя от дел, хотя ремесло его еще недавно приносило ему богатые доходы. У него, должно быть, были изрядные сбережения. Кому он мог оставить их после смерти? У него не было никаких родственников, ни близких, ни дальних. Ну хорошо, он мог распорядиться, чтобы банковые билеты положили ему в гроб, тот самый красивый гроб, что он велел приберечь про запас для себя самого. Но домик? И угодья близ Канателло?

Когда Дольчемасколо в сопровождении двух крестьян подошел к калитке, Турок, сторожевой пес, стал яростно бросаться на ограду, словно понимая, что трактирщик явился сюда из-за него. Пришел старый слуга, но он не мог ни утихомирить пса, ни оттащить его в сторону. Потребовалось, чтобы Пиккароне, читавший книгу в садовой беседке, подозвал пса свистом и подержал за ошейник, покуда слуга сажал его на цепь.

Дольчемасколо, как человек бывалый, оделся по-воскресному и между двумя бедными крестьянами, усталы-

ми и грязными после трудового дня, еще больше, чем обычно, казался процветающим и барственным со своей свежевыбритой физиономией — кровь с молоком, приятно поглядеть, — и к тому же на правой щеке возле самого рта у него была такая славная бородавочка с вьющимися волосиками.

Войдя в беседку, он воскликнул с притворным восхищением:

— Что за пес! И громадина, и красавец! Ну и сто-рож! Ему же цены нет!

Пиккароне покивал головой в ответ на похвалы и, нахмутив брови и прикрыв глаза, проворчал что-то, потом осведомился:

— Что вам угодно? Садитесь.

И показал на кованые табуреты, стоявшие вдоль стены.

Дольчемасколо подвинул один из них вперед, поближе к столу, сказал обоим крестьянам:

— А вы там садитесь.

И добавил, обращаясь к Пиккароне:

— Я пришел к вашей милости как к знатоку законов, чтобы совет получить.

Пиккароне открыл глаза:

— Совет? Но я уже давно не занимаюсь адвокатской практикой, любезнейший.

— Знаю, — поспешно согласился Дольчемасколо. — Но вы, ваша милость, законник старинного склада. А мой отец, земля ему пухом, всегда говорил мне: «Держись людей старинного склада, сынок». Знаю я, что вы, ваша милость, дока в своем деле. Нынешним молодым адвокатишкам я не очень-то доверяю. Я не собираюсь заводить с кем-то тяжбу, заметьте! Не сошел с ума покуда... Я пришел сюда всего лишь за советом, и дать его можете мне только вы, ваша милость.

Пиккароне прикрыл глаза:

— Говори, слушаю тебя.

— Ваша милость знает, — начал было Дольчемасколо. Но Пиккароне дернулся и фыркнул:

— Уф, сколько я всего знаю! А сколько ты знаешь! Я знаю, ты знаешь, он знает... Ближе к делу, любезнейший!

Дольчемасколо немного растерялся, но все же улыбнулся и начал снова:

— Да, ваша милость. Я вот что хотел сказать: ваша милость знает, что я держу придорожный трактир...

— Ну да, «Приют охотников», заходил туда, и не раз,
— Когда направлялись в свои угодья близ Канателло, все так. И вы, верно, заметили, что под виноградным навесом на прилавке я всегда выставляю немного съестного: хлеб, плоды, что-нибудь из колбасных изделий.

Пиккароне утвердительно кивнул, затем добавил не без таинственности:

— И видел, и даже слышал иной раз.

— Слышали?

— Ну да, что скрипят они на зубах от песка. С дороги пыль летит, сам понимаешь, сынок... Ладно, давай к делу.

— Так вот, значит, — продолжал Дольчemasколо, проглотив обиду. — Допустим, выложил я на прилавок... свиные колбаски, к примеру. Так вот, ваша милость, может, это... ох, чуть не брякнул снова... уж такая у меня привычка... Ваша милость, может, не знает, но на этих днях к нам перепела пожаловали. На дороге, стало быть, охотники все время, собаки. Я к делу, к делу! Появляется тут один пес, синьор кавалер, подобрался к прилавку, прыг — и схватил колбаску.

— Пес?

— Пес, ваша милость. Я бегу за ним, а за мною два этих бедняка — они зашли в заведение по дороге в поле, на работу, купить себе чего-нибудь пожевать. Ведь правда, все так и было? Бежали мы, стало быть, за псом всей тройцей, но так и не догнали. Да если бы и догнали, на что мне, скажите, ваша милость, эти колбаски — со следами собачьих зубов и вываленные в пыли?... Бесполезно отнимать! Но пса-то я узнал; и знаю, чей он.

— М-м... Минутку, — прервал тут Пиккароне рассказчика. — Хозяина с ним не было?

— Нет, ваша милость, — поспешно ответил Дольчemasколо. — Среди охотников его не было. Ясно было, что пес убежал из дому. Собаки с хорошим нюхом чувят, когда охота открывается, сами понимаете, и мучаются взаперти, ну и убегают. Ладно. Как было сказано, я знаю, чей пес, и знают эти мои друзья, свидетели кражи. Так вот, вы, ваша милость, как законник, должны мне сказать только, обязан хозяин пса возместить мне убытки или нет?

Пиккароне отвечал не задумываясь:

— Конечно, обязан, сынок.

Дольчemasколо подскочил от радости, но сразу же овладев собою, повернулся к обоим крестьянам:

— Слышали? Синьор адвокат говорит, хозяин пса обязан возместить мне убыток.

— Еще как обязан, еще как обязан, — подтвердил Пиккароне. — А тебе что сказали, не обязан?

— Нет, ваша милость, — ответил ликующий Дольчemasколо, сложив ладони, точно перед молитвой. — Но вы должны простить меня, ваша милость, за то, что я, бедный невежда, по слабости своей так долго ходил вокруг да около, прежде чем сказать, что вы, ваша милость, и должны заплатить мне за колбаски, потому как пес, что украл их, — это ваш пес, Турок.

Пиккароне обалдело уставился на Дольчemasколо, затем вдруг опустил глаза и принялся читать книгу, лежавшую перед ним на столе.

Крестьяне переглянулись; Дольчemasколо рукой сделал им знак не дышать.

Пиккароне, все еще делая вид, что читает, почесал себе подбородок, покряхтел и проговорил:

— Так, значит, это был Турок?

— Могу присягнуть, синьор кавалер! — воскликнул Дольчemasколо, вскочив и прижав руки к груди.

— И ты явился сюда, — угрюмо, но спокойно продолжал Пиккароне, — с двумя свидетелями, а?

— Нет, ваша милость, — заторопился Дольчemasколо. — Просто на тот случай, если бы вы, ваша милость, не соизволили мне поверить...

— Ах, вот зачем? — пробормотал Пиккароне. — Но я верю тебе, любезнейший. Садись. Ты, я вижу, бесхитростная душа. Верю тебе и заплачу. Я пользуюсь славой человека, из которого денег не вытянешь, так ведь?

— Кто это говорит, ваша милость?

— Все это говорят! И ты веришь, что уж там. Два... ф-фу... два свидетеля...

— Во имя истины, столько же ради меня, сколько ради вас!

— Bravo, все верно: столько же ради меня, сколько ради тебя; ты хорошо сказал. Налоги я не плачу, любезнейший, поскольку они несправедливые, но по справедливым счетам я плачу, да, плачу с охотой, и всегда платил. Турок украл колбасу? Скажи, сколько я тебе должен.

Дольчemasколо, шедший сюда в полной уверенности, что ему придется вступить в небывалое сражение с уловками и хитростями старой жабы, при виде подобной покорности сразу сник, сконфуженный.

— Мелочь, синьор кавалер, — сказал он. — В связке колбасок двадцать было, может, чуть побольше либо поменьше. Не о чем говорить.

— Нет, нет, — настаивал Пиккароне. — Скажи, сколько я тебе должен, я хочу заплатить. Живее, сынок! Ты трудишься, ты потерпел убыток, тебе полагается возмещение. Сколько?

Дольчемасколо слегка пожал плечами, улыбнулся и сказал:

— Двадцать штук в связке... вот такой толщины... два килограмма по одной лире двадцать...

— Ты продаешь их так дешево? — осведомился Пиккароне.

— Видите ли, — отвечал Дольчемасколо медовым голосом. — Вы, ваша милость, их не ели. А потому я прошу с вас столько (хоть и поневоле), прошу с вас столько, во сколько они обошлись мне самому.

— Ничего подобного! — не согласился Пиккароне. — Если их не съел я сам, их съела моя собака. Стало быть, говоришь, на глазок килограмма два. По две лиры килограмм, сойдет?

— Как вам будет угодно.

— Итого, четыре лиры. Превосходно. А теперь сообразим-ка, сынок: двадцать пять минус четыре — сколько будет? Двадцать один, если я не ошибаюсь. Превосходно. Ты даешь мне двадцать одну лиру, и кончен разговор.

Трактирщику показалось, что он ослышался.

— Как вы сказали?

— Двадцать одну лиру, — повторил безмятежно Пиккароне. — Здесь находятся два свидетеля, во имя истины, столько же ради меня, сколько ради тебя, согласен? Ты пришел ко мне попросить совета. Так вот, сынок, за советы, то есть за юридические консультации, я беру двадцать пять лир. Таков тариф. Четыре лиры я должен тебе за колбаски — давай двадцать одну лиру, и кончим на этом.

Дольчемасколо ошеломленно поглядел ему в лицо, не зная, плакать или смеяться; он не хотел поверить, что адвокат говорит серьезно, но было не похоже, чтобы он шутил.

— Я... вам? — пролепетал трактирщик.

— Мне, разумеется, сынок, — объяснил Пиккароне. — Ты занимаешься ремеслом трактирщика; я, по мере слабых сил своих, ремеслом адвоката. Стало быть, если

я не отрицаю, что у тебя есть право получить возмещение, то и ты не будешь отрицать, что у меня есть право получить вознаграждение за разъяснения, которых ты у меня просил и которые я тебе дал. Теперь ты знаешь, что если чья-то собака крадет у тебя колбасу, хозяин собаки обязан возместить тебе убыток. Раньше ты знал это? Нет. За знания надо платить, любезнейший. Я тоже потратил время и силы, чтобы приобрести их! Думаешь, я шучу?

— Само собой! — со слезами в голосе и разводя руками, признал Дольчемасколо. — Я списываю с вас долг за колбаски, синьор кавалер: я бедный невежда, простите меня, — и на этом действительно кончим разговор.

— Ну нет, ну нет, любезнейший! — вскричал Пиккароне. — Я с тебя долга не списываю. Право есть право, столько же для тебя, сколько для меня. Я плачу, плачу, хочу заплатить. Заплатить и получить плату. Я сидел здесь, работал, как видишь; ты отнял у меня час времени. Двадцать одна лира. Таков тариф. Если не веришь, послушайся меня, любезнейший: пойдя к другому адвокату и осведомись, полагается мне вознаграждение или нет. Даю тебе три дня. Если по истечении этого срока ты мне не заплатишь, я подам на тебя в суд, сынок, можешь не сомневаться.

— Но синьор кавалер, — взмолился Дольчемасколо, прижав ладонь к ладони; он даже изменился в лице.

Пиккароне поднял подбородок, поднял руки:

— И слушать не хочу. Подам на тебя в суд.

Тут Дольчемасколо потерял самообладание. Его душила ярость. Из-за убытка? Вовсе нет. Он подумал о насмешках, которые на него посыплются, которые он уже угадывал, глядя на ухмыляющиеся физиономии двух крестьян; а он-то считал себя таким хитрецом, хвалился заранее, что возьмет верх, и был так близок к победе, рукой подать! Он так распалился, в самый неожиданный момент угодив в собственную ловушку, что внезапно озверел от ярости.

— А знаете, почему, — сказал он, надвигаясь на адвоката, — почему у вас такой вороватый пес? Прошел вашу школу!

Пиккароне выпрямился; злобно глядя на трактирщика, поднял руку:

— Убирайся вон! Тебе еще придется ответить за оскорбления, нанесенные порядочному человеку, который...

— Порядочному человеку?! — взревел Дольчемасколо и, схватив адвоката за поднятую руку, яростно ее встряхнул.

Оба крестьянина бросились к трактирщику, чтобы удержать его; но внезапно рука старика обмякла, и он всей тяжестью повалился на Дольчемасколо, все еще сжимавшего гневно кулаки.

Дольчемасколо в испуге разжал пальцы, и старик вначале всем телом осел на табурет, а затем, завалившись набок, мешком рухнул наземь.

Заметив испуг обоих крестьян, Дольчемасколо скривил лицо, словно в приступе смеха. В чем дело? Он к нему даже не притронулся.

Крестьяне наклонились над лежащим, пошевелили его руку.

— Бегите... бегите...

Дольчемасколо поглядел на обоих бессмысленным взглядом. Бежать?

В этот миг заскрипела одна из створок калитки, и гроб, который старик приказал приберечь про запас для себя самого, торжественно вплыл в сад на плечах двух пыхтящих носильщиков, явившихся, как по вызову, чтобы без промедления приступить к делу.

При виде гроба все оцепенели.

Трактирщику не могло прийти в голову, что Ночо Пампина, по прозвищу Святой Дар, после посещения советника и его замечаний, поспешил навестить у себя порядок и отослать гроб по назначению; но Дольчемасколо мгновенно вспомнил то, что рассказывал нынче утром Мендола у него в трактире; и внезапно ему представилось, что пустой этот гроб, который прибыл, словно по таинственному зову, и ждет адвоката, — послан самой судьбой, судьбой, которая воспользовалась как орудием им, трактирщиком Дольчемасколо.

Он схватился за голову и закричал:

— Вот оно! Вот оно! Гроб его звал! Я к нему даже не притронулся, будьте все свидетелями! Гроб его звал! Он велел приберечь гроб для себя самого! И вот гроб прибыл, потому что он должен был умереть!

И, схватив за руки носильщиков, он встряхнул их, как будто желая вывести из оцепенения:

— Разве не так? Разве не так? Скажите сами!

Но они вовсе не оцепенели от изумления, оба эти носильщика. Гроб они доставили как раз кстати, а потому

то обстоятельство, что они застали мертвым адвоката Пиккароне, было для них самой естественной вещью в мире. Они пожали плечами и сказали:

— Ну да. Вот он, гроб.

1907 (1922)

БУМАЖНЫЙ МИР

Шум и толкотня на виа Национале, в самом начале проспекта; в центре толпы — двое спорящих: мальчишка лет пятнадцати и синьор со щетинистой желтой, словно дыня, физиономией, на которой поблескивали стекла очков от близорукости, толстые, как бутылочные доньшки.

Сей последний, напрягая надтреснутый фальцет, пытался доказать свою правоту и непрерывно размахивал руками, в одной из которых сжимал эбеновую трость с набалдашником слоновой кости, а в другой — книжку, судя по шрифту, старинную.

Мальчишка орал и топал ногами, пиная осколки пошлейшей терракотовой статуэтки, валявшиеся на тротуаре вперемешку с обломками столбика из крашеного под бронзу алебастра, служившего статуэтке цоколем.

Из зрителей некоторые громко хохотали, некоторые строили постную мину, некоторые — сострадательную; а из малолетних сорванцов, забравшихся на фонари, кто лаял, кто свистел, кто гудел в кулак.

— Это уже третья! Это уже третья! — вопил синьор. — Я читаю на ходу, а он нарочно подставляет мне под ноги свои мерзкие статуэтки, чтобы я их опрокинул. Это уже третья! Он охотится за мной! Подстерегает! Один раз на Корсо Витторио, потом на виа Вольтурно, теперь вот здесь...

Торговец статуэтками в свой черед сыпал клятвами и оправданиями, пытаясь заверить близстоящих в своей невинности:

— Да нет же! Он сам виноват! Не читает он вовсе! Наступает прямо на мой товар! То ли не видит, то ли в облаках витает, как бы то ни было, вот что вышло...

«Но трижды?» — со смехом переспрашивали слушатели.

Наконец сквозь толпу удалось пробиться двум полицейским, вспотевшим и запыхавшимся; и поскольку при

их появлении тяжущиеся стороны принялись выкрикивать свои обвинения и оправдания еще громче, стражи порядка решили, дабы прекратить представление, отвезти обоих в наемном экипаже в ближайший полицейский участок.

Но едва синьор в очках сел в экипаж, как, выпрямившись, изо всех сил вытянул шею и стал судорожно вертеть и встряхивать головой; затем, устав от этого занятия, раскрыл книгу и сунулся в нее лицом, коснувшись носом страниц; отвел лицо, весь передернувшись, поднял очки на лоб и снова уткнулся в книгу, пытаясь читать невооруженным глазом; после этой пантомимы впал в сильнейшее волнение, лицо его страшно перекосилось в гримасе ужаса, даже отчаяния:

— О господи!.. Глаза... не вижу... ничего не вижу!

Кучер резко остановил экипаж. Полицейские и торговец статуэтками так растерялись, что не могли даже понять, всерьез ли все это или синьор сошел с ума; они недоумевающе приоткрыли рты в почти недоверчивой ухмылке.

Неподалеку от того места, где остановился экипаж, была аптека; у дверей уже толпились люди — одни пришли сюда, следуя за экипажем, другие остановились поглазеть; и синьор в очках, мертвенно-бледный, совершенно подавленный, был под руки проведен сквозь толпу в помещение.

Он постанывал. Его усадили на стул, он сидел, покачивая головой, поглаживая ладонями ноги, дрожь которых не мог унять, и не обращал внимания ни на аптекаря, который хотел осмотреть его глаза, ни на зрителей, которые утешали его, подбадривали и не скупилась на советы: он должен успокоиться, ничего страшного, временное нарушение, от приступа гнева в глазах потемнело... Вдруг он перестал покачивать головой, поднял руки, стал сжимать и разжимать пальцы.

— Книга, книга! Где моя книга?

Присутствующие недоуменно переглянулись, затем рассмеялись. Ах, так у него была с собою книга? И у него хватало мужества читать на ходу с такими-то глазами? Как... три статуетки? Вот как, и кто же, кто... вон тот? Вот как, нарочно подставлял ему под ноги? Ну и ну! Ну и ну!

— Я хочу заявить на него! — вскричал тут синьор, встав со стула, выставив вперед руки и выпучив глаза, отчего подергивавшаяся его физиономия казалась и

смешной, и жалкой одновременно. — Перед лицом всех присутствующих я хочу заявить на него! Он заплатит за мои глаза! Убийца! Здесь двое полицейских — живо, запишите фамилии, мою и его. Вы все свидетели. Полицейский, пишите: Баличчи... Да, Баличчи, это моя фамилия. Валериано, да; виа Номентано, дом 112, последний этаж. И фамилию этого мерзавца... Где он, здесь? Не выпускайте его! Трижды, пользуясь моим слабым зрением, моей рассеянностью... да, господа, три мерзких статуэтки... А, превосходно, благодарю, моя книга, весьма признателен! Мне нужен экипаж, окажите милость... Домой, домой, я хочу домой! Заявление сделано.

И он двинулся к выходу, вытянув вперед руки, пошатнулся, его поддержали, усадили в экипаж, и двое сердобольных из числа зрителей проводили его до самого дома.

Таков был шумный и балаганный финал истории тихого помешательства, длившегося долгие годы. Бессчетное число раз врач-окулист твердил Баличчи, что есть одно лишь лекарство от его недуга, неотвратимо грозящего слепотой, — отказаться от чтения. Но каждый раз Баличчи выслушивал врача с той неопределенной улыбкой, какую отвечают на явную шутку.

— Вы не согласны? — сказал врач. — Что ж, читайте, читайте, потом поплачьте! Вы теряете зрение, повторяю вам. Потом не говорите: «ах, если бы мне знать!» Я вас предупредил!

Милое предупреждение! Да ведь жить для Баличчи — значило читать. Чем отказаться от чтения, лучше умереть.

Эта маниакальная страсть овладела им с тех пор, как он выучился азбуке. Доверившись с давних-предавних пор попечениям старой служанки, любившей его, как сына, он мог бы жить более чем обеспеченно, если бы не влез в долги ради приобретения бесчисленных книг, загромождавших в величайшем беспорядке его жилище. Лишившись возможности покупать новые книги, он уже дважды перечитал старые, просмаковав каждую от первой до последней страницы. И подобно тому как иные животные принимают, по законам природной самозащиты, окраску и внешние признаки той местности, той растительности, среди которой обитают, так и он постепенно стал каким-то бумажным: руки и лицо — как бумага, волосы и борода — цвета бумаги. Близорукость его

усилилась за эти годы до предела, и теперь казалось, что книги действительно пожирают его даже в прямом смысле слова — настолько близко подносил он их к лицу при чтении.

После этой ужасной истории он, по предписанию врача, сорок дней провел в темной комнате, хотя вовсе не уповал на целительное действие такого средства; и как только срок заключения кончился, Баличчи велел отвести себя в кабинет. Остановившись возле первого же шкафа, он нащупал какую-то книгу, взял ее, раскрыл, уткнулся в нее лицом — сначала в очках, потом без них, как тогда, в экипаже, — и беззвучно заплакал, вжавшись лицом в страницы. Потом тихонько обошел просторное помещение, ощупывая пальцами книжные полки: вот он, весь его мир! А ему в нем больше не жить, разве что в той степени, в какой поможет память!

Реальной жизнью он никогда не жил; можно сказать, он нигде и никогда толком ничего не видел: за столом, в постели, на улице, на скамьях в общественных садах — всегда и всюду он делал лишь одно: читал, читал, читал. А теперь ему, слепому, никогда не увидать живой действительности, которой он так и не изведал, и не увидать действительности, изображенной в книгах, потому что читать он больше не мог.

Книги свои он всегда оставлял в величайшем беспорядке, сваливая кучами или разбрасывая как попало по стульям, на полу, по столам, по шкафам, и теперь это приводило его в отчаяние. Он столько раз намеревался навести хоть какой-то порядок в этом содоме, расставить все книги по их содержанию, но так и не навел — жалко было времени. А сделай он это, мог бы теперь подойти к одному шкафу, к другому, и не было бы такого чувства растерянности, мысли не разбегались бы так, стали бы яснее.

В поисках опытного библиотекаря, который взялся бы за такую работу, он поместил объявление в газетах. Через два дня к нему явился некий премудрый юнец, каковой весьма удивился тому, что слепой хочет привести в порядок свою библиотеку, да вдобавок еще притязает на то, чтобы давать ему указания. Но юнец этот сразу же понял, что бедняга скорее всего помешался — в этом все дело; ведь слыша название книги — вот она, тут, — он каждый раз подпрыгивал от радости, плакал, просил передать ему книгу, ласково поглаживал страницы и прижимал ее к сердцу, словно друга после разлуки.

— Профессор, — фыркнул юнец, — ведь так мы никогда не кончим, подумайте сами!

— Да, да, верно, верно, — соглашался тотчас же Баличчи. — Но эту книгу вы поставьте сюда... Погодите, приложите мою руку к тому месту, куда вы ее поставили... Хорошо, хорошо, вот тут... Чтобы я мог разобратся.

По большей части это были книги о путешествиях, о нравах и обычаях разных народов, книги по естественной истории и беллетристика, книги по истории и философии.

Когда работа была наконец завершена, Баличчи показалось, что обступившая его тьма уже не так непроглядна, он почти извлек свой мир из хаоса. И на некоторое время словно замер, заново вживаясь в него.

Теперь он просиживал целые дни у себя в библиотеке, прижимаясь лбом к корешкам выстроившихся на полках книг, словно надеялся, что от соприкосновения с ними ему в голову перельется то, что в них напечатано. Сцены, эпизоды, обрывки описаний воскресали у него в памяти со всей очевидностью, четкой и выразительной; более того, он снова обретал способность видеть — видеть в этом своем мире какие-то подробности, особенно хорошо ему запомнившиеся в ту пору, когда он перечитывал свои книги: красные огни четырех маяков, горящих на ранней заре в порту, пустынное море с одним только ошвартовавшимся кораблем, рангоут которого со всеми вантами силуэтом вырисовывается на пепельной бледности предзакатного неба; на вершине поросшего деревьями холма, на огненном фоне осеннего заката две громадных вороных лошади, уткнувшиеся мордами в мешки с сеном.

Но он не смог долго выдержать в этом гнетущем безмолвии. Он захотел, чтобы мир его вновь обрел голос, и голос этот, коснувшись его слуха, поведал бы, каков его мир на самом деле, а не в смутных воспоминаниях. Он снова поместил объявление в газетах, на этот раз в поисках чтеца или чтицы; и случай послал ему некую юную синьорину, всю трепещущую в постоянной лихорадке непоседливости. Эта беспокойная особа исколесила полсвета и своей суетливостью, чувствовавшейся даже в манере говорить, напоминала ошалевшего жаворонка, который то вспорхнет, сам не зная, куда лететь, то вдруг опустится на землю и, неистово захлопав крыльями, прыгнет скакать, вертеться во все стороны.

Ворвавшись в кабинет, она выпалила:

— Тильде Пальоккини. А вы?.. Ах да, я же... ну конечно, Баличчи, в газете было... и на двери тоже... О, ради бога, профессор, не надо! Послушайте, не делайте так глазами, мне страшно... Ничего, ничего, извините, я ухожу...

Таково было первое ее появление. Она не ушла. Старая служанка со слезами на глазах объяснила ей, что местечко самое что ни на есть для нее подходящее.

— А он не опасен?

Да какое там — опасен! Ничего подобного! Только странноват немного из-за этих книг. Да-да, из-за этих книжонок, будь они прокляты, и сама она, несчастная старуха, уже не знает, кто она такая — женщина или тряпка, чтобы пыль вытирать.

— Лишь бы вы ему хорошо читали...

Синьорина Тильде Пальоккини поглядела на нее и, ткнув себя указательным пальчиком в грудь, спросила:

— Кто, я?

Таким голосом — в раю не сыщешь благовучнее.

Но когда она в первый раз продемонстрировала свое искусство Баличчи, играя интонациями, меняя регистры, то шепча, то переходя на крик, то замирая, то держась на одной ноте, и все это в сопровождении мимики, столь же неистовой, сколь ненужной, бедняга обхватил голову руками и весь сжался, съежился, словно пытаясь отбиться от множества псов, скалящих на него клыки.

— Нет! Не надо так! Ради бога, не надо так! — закричал Баличчи.

— Я плохо читаю? — удивилась синьорина Пальоккини с самым простодушным видом на свете.

— Да нет! Но, ради бога, не так громко! Как можно тише, синьорина, почти без голоса! Поймите, я ведь читал одними только глазами!

— И очень плохо, профессор! Читать вслух полезно. Если не читать вслух, лучше уж не читать совсем. Но, простите, почему вы так реагируете? Послушайте (она постукивала костяшками пальцев по книге). Звук слабый... Глухой... А предположите, профессор, что я вас целую...

Баличчи оцепенел, побледнел:

— Я запрещаю...

— Да нет же, простите! Вы что, боитесь, что я вас и вправду поцелую? Не буду, не буду! Я только привела пример, чтобы вы сразу поняли разницу. Ну вот, я про-

бую читать почти без голоса. Но, заметьте, когда я так читаю, у меня «эс» получается свистящее, профессор!

При новой попытке Баличчи сжался еще больше. Но он понял, что отныне то же самое произойдет с ним при какой угодно чтице, при каком угодно чтеце. От любого чужого голоса его мир представится ему совсем иным.

— Синьорина, послушайте... Сделайте одолжение, попробуйте читать только глазами, без голоса...

Синьорина Тильде Пальюккини снова поглядела на него, широко раскрыв глаза.

— Как вы сказали? Без голоса? Но тогда как же? Про себя?

— Вот именно... для себя самой...

— Благодарю покорно! — взвилась синьорина. — Вы что, смеетесь надо мною? Что мне прикажете делать с вашими книгами, если вы не сможете их слышать?

— Сейчас объясню, синьорина... — отвечал Баличчи спокойно, с горькой улыбкой. — Я испытываю радость оттого, что кто-то читает их здесь вместо меня... Вам, пожалуй, и не понять этой радости. Но я уже сказал: это мой мир, мне становится легче при мысли, что он обитает, вот так... Я буду слышать, как вы перевертываете страницы, буду ощущать ваше сосредоточенное молчание и спрашивать время от времени, какое место вы читаете, а вы будете говорить... О, достаточно только намека... А я буду следовать за вами по памяти... Ваш голос, синьорина, мне все портит!

— Но я прошу вас верить, профессор, что у меня красивейший голос! — негодуяще запротестовала синьорина.

— Верно... знаю... — поспешно отвечал Баличчи. — Я не хотел вас обидеть. Но вы мне все окрашиваете по-другому, понимаете? А мне нужно, чтобы в моем мире ничто не менялось, чтобы все оставалось как есть... Читайте, читайте... Я скажу вам, что читать. Согласны?

— Ну согласна, согласна. Давайте книгу.

Едва только Баличчи показывал, какую книгу читать, синьорина Тильде Пальюккини на цыпочках выскальзывала из кабинета и отправлялась поболтать со старухой служанкой. Баличчи меж тем жил в мире книги, выбранной им для нее, и наслаждался тем наслаждением, которое по его представлениям, она должна была испытывать. И время от времени спрашивал:

— Прекрасно, не правда ли?

Либо:

— Вы уже перевернули страницу?

Не слыша даже ее дыхания, он воображал, что она углубилась в чтение и не отвечает, чтобы не отвлекаться.

— Да, читайте, читайте... — поощрял он ее полусшепотом, почти сладострастно.

Иной раз, возвратившись в кабинет, синьорина Пальоккини заставляла Баличчи в раздумье: он сидел в кресле, опершись локтями о подлокотники и закрыв лицо руками.

— О чем вы задумались, профессор?

— Я вижу... — отвечал он голосом, доносившимся, казалось, из дальней дали. И добавлял со вздохом, словно пробуждаясь:

— А все-таки я помню, они были рожковые!

— Что именно, профессор?

— Деревья, деревья на холме... В том месте, посмотрите... в третьем шкафу, на второй полке... кажется, третья книга от конца...

— И вы бы хотели, чтобы я вам их отыскала, эти рожковые деревья? — вопрошала синьорина с испугом, но фыркая.

Если она соглашалась доставить ему это удовольствие, то во время поисков чуть ли не вырывала страницы, раздражаясь при просьбе переворачивать их медленнее. Все это ей уже осточертело. Она привыкла жить в движении, мчаться, мчаться — на поезде, в автомобиле, на велосипеде, на пароходах... Мчаться, жить! Она чувствовала, что уже задыхается в этом бумажном мире. И однажды, когда Баличчи выбрал ей для чтения чьи-то путевые заметки о Норвегии, она уже не смогла сдержаться. В ответ на его вопрос, как ей нравится то место, где описывается Тронхеймский собор, поблизости от которого, за деревьями, раскинулось кладбище, и субботними вечерами набожные родичи усопших приносят на могилы свежие венки из живых цветов, синьорина пришла в величайшую ярость:

— Да нет же! Нет же! Нет! — закричала она. — Ничего подобного! Я была там, понятно? И могу сказать вам, что все там совсем не так, как сказано в этой книжке!

Баличчи встал, трясясь от гнева, лицо его переконилось:

— Я запрещаю вам говорить, что все там совсем не так, как в этой книжке! — закричал он, воздев руки. — Мне наплевать, были вы там или нет! Там все

так, как сказано в этой книжке, и точка! Должно быть так, и точка! Вы хотите меня погубить! Уходите! Уходите! Здесь вам больше нечего делать! Прочь отсюда! Уходите!

Оставшись один, Валериано Баличчи ощупью отыскал книгу — синьорина, уходя, швырнула ее на пол — и упал в кресло; раскрыл книгу, дрожащими пальцами любовно разглядел помятые страницы, затем уткнулся в нее лицом и надолго замер так, вглядываясь мысленно в картину Тронхейма с его мраморным собором, с кладбищем неподалеку — богобоязненные родичи усопших субботними вечерами приносят туда венки из живых цветов — все так, в точности так, как сказано в книге. И нельзя менять... Холод, снег, эти живые цветы и синяя тень собора... Нельзя ничего менять. Там все именно так, и точка... Это его мир... его бумажный мир... весь его мир...

1909 (1923)

СОЛОМЕННОЕ ЧУЧЕЛО

Кроме отца, который умер в пятьдесят лет от воспаления легких, все остальные члены их семьи: мать, братья, сестры, дядья и тетки по материнской линии — один за другим умерли от чахотки, не дожив до среднего возраста.

Впечатляющая вереница гробов.

Держались только двое: Марко и Аннибале Пикотти — они как будто решили дать бой болезни, грозившей оборвать сразу две генеалогические линии.

Братья заботливо оберегали друг друга, всегда были нацелу и во всеоружии, не только скрупулезно и неукоснительно выполняли предписания врачей в отношении количества и качества принимаемой пищи, не только добросовестно глотали пилюли и пили микстуры, но также одевались соответственно времени года и погоде, ложились спать и вставали в строго определенный час, совершали ежедневные прогулки и ко всем дозволенным врачами развлечениям относились как к лечебным процедурам.

Ведя такую жизнь, они надеялись в добром здравии достичь возраста, который был предельным для всех их родичей за исключением отца, умершего от другой болезни.

Когда братья — сначала Марко, затем Аннибале — достигли этого возраста, они сочли, что одержали большую победу.

Да только Аннибале, младший брат, благодаря этой победе осмелел настолько, что стал чуточку отпускать поводья, которые до той поры держал натянутыми, стал мало-помалу выходить за рамки жестких правил.

Марко, будучи на два или три года старше, пытался использовать свой авторитет и призвать брата к порядку. Но Аннибале не внял его уговорам, полагая, что теперь, дескать, можно уж не так опасаться смерти, раз она не скосила его в том возрасте, в каком настигала его родных.

Братья были, в общем, одинаковой комплекции — коренастые, хорошо сложенные, с раскосыми глазами, невысоким лбом и пышными усами, но все же он, Аннибале, хотя и младший, был покрепче брата: он мог похвастаться и небольшим брюшком, и более выпуклой грудью, и в плечах был пошире. Стало быть, если Марко, хоть он и послабее, живет и здравствует, то уж Аннибале за счет своего преимущества перед братом может без опаски позволить себе кое-какие нарушения режима.

Марко, выполнив свой долг, как того требовала его совесть, оставил свои укоры и увещевания, с тем чтобы, не подвергая себя никакому риску, посмотреть, как действуют на здоровье брата те излишества, которые тот себе позволяет. Ведь если Аннибале со временем не будет наказан за такое поведение, то и сам он... Как знать! Может, и ему дозволено дать себе послабление, отчего не попробовать?

О нет, нет. Это уж слишком: в один прекрасный день Аннибале сказал ему, что влюблен и хочет жениться. Глупец! Жениться, когда над тобой висит угроза смерти? Да это все равно что броситься прямо в ее объятия! Зачем еще жена? А кроме того, разве не преступление производить на свет других обреченных? И что за несчастная пошла на такой союз? Для нее это двойное преступление, вот именно — двойное!

Аннибале приуныл. Прежде всего заявил брату, что ни в коем случае не позволит ему говорить в таких выражениях о девушке, которая скоро станет его женой; а в остальном — если ему надо сохранить жизнь за счет отказа от нее, то ему такую жизнь не страшно и потерять: чуть раньше, чуть позже — какая разница? Он сыт по горло, с него хватит.

Марко выслушал брата, испытывая к нему снисходительную жалость, и в ответ лишь покачал головой.

Дурачок! Жить... не жить... Разве в этом дело? Главное — не умереть! И не из страха перед смертью, а из-за того, что она являет собой ужасающую несправедливость, против которой восстает все его существо, и своим яростным, упорным сопротивлением он отомстит ей не только за себя, но и за всех погибших родственников.

Довольно. Хватит. Не надо волноваться. Жаль, что он погорячился и потерял самообладание. Больше это не повторится. Нет!

Брат хочет жениться? Ради бога! На здоровье, сделай одолжение!.. Он один будет противостоять смерти, не попадаясь в ловушки, которые расставляет жизнь.

Но во всем должна быть ясность. Вместе жить нельзя: недоразумения, осложнения — все это ни к чему. Хочешь жениться — уходи из дома. Старший брат — глава семьи, дом по праву принадлежит ему. Остальное можно поделить поровну. В том числе и мебель. Пусть Аннибале забирает, что ему понравится, только без суеты и не всё вдруг, чтобы пыль не поднимать, потому что он, Марко, свое здоровье хочет сохранить.

Этот платяной шкаф? Хорошо, и этот комод тоже, и трюмо, и кресла, и умывальник... да, да... Портьеры? Ладно, пусть и портьеры... и большой обеденный стол, будет куда сажать краснощеких карапузов, которые народятся, и горку со всей посудой... Пусть Аннибале только оставит все, что в комнате Марко: старинный диван с креслами — он к ним привык, — два книжных шкафа со старыми книгами да письменный стол — их он оставляет себе.

— И это тоже? — улыбаясь спросил Аннибале.

Между шкафами, на специальном насесте, какие устраивают для попугаев, стояло чучело большой птицы, такое старое, что по выцветшим перьям уже невозможно было определить, что это за птица.

— И это т о ж е , — ответил Марко . — Все, что здесь находится. Чучело птицы... Семейная реликвия. Пусть висит!

Он не стал говорить брату, что это чучело, не подавшееся годам, служило ему вдохновляющим примером всякий раз, как он обращал на него взор: оно так хорошо сохранилось.

Когда Аннибале женился, он даже не пошел на свадьбу: Один-единственный раз (дань приличиям!) зашел в дом невестки и не вымолвил ни одного слова поздравления или хотя бы теплого привета. Пять минут холодной учтивости. Не зайдет он к брату, разумеется, и по возвращении молодоженов из свадебного путешествия, не зайдет вообще никогда. При одной лишь мысли об этом браке он ощущал дурноту и дрожь в коленях.

— Какое несчастье, какое безумие! — повторял он, прохаживаясь взад-вперед по комнате, закупоренной от всех сквозняков и провонявшей лекарствами, глядя в пустоту и ощупывая нервными пальцами оставшуюся мебель. — Какое несчастье, какое безумие!

На старых обоях выделялись места, где стояла вывезенная мебель; эти следы усиливали впечатление утраты, нехватки, пустоты.

— Какое несчастье! Какое безумие! — повторял он снова и снова.

Им так хорошо было, когда оба заботились друг о друге, друг за другом ухаживали, делились мыслями.

А что теперь?

Теперь он один в старом доме, будто неприкаянная душа.

Нет! Прочь эти мысли! Нечего падать духом, размышляя об этом неблагодарном, об этом безумце! Обойдемся и без него.

И Марко принимался тихонько насвистывать какой-нибудь мотив или барабанить пальцами по оконному стеклу, глядя на остовы деревьев, оголенные осенью, и вдруг замечал мертвую муху, высушенную чахоткой и прилипшую к стеклу, по которому он барабанил...

После свадьбы брата прошел почти год.

В канун рождества Марко услышал звуки волынки и бубна перед часовенкой, украшенной ветками — хор девушек и подростков исполнял гимны, какие полагается петь в сочельник; громко трещала солома в двух косяках, зажженных у входа в часовенку. Марко, которого этот шум раздражал, приготовился было лечь спать — наступал установленный час отхода ко сну, — как вдруг подпрыгнул от сумасшедшего звона колокольчика у входной двери, словно потрясшего весь дом.

Это зашли брат и невестка. Аннибале и Лиллина.

Они ввалились, с трудом переводя дух, закутанные, озябшие, и принялись топтать ногами, чтобы согреться, и хохотать, хохотать... Как они смеялись! Праздничные, веселые, счастливые...

Ему показалось, что они пьяны.

О, они зашли на минутку поздравить его с рождением, они не хотят, чтобы из-за них его отход ко сну задержался хоть на минуту. И... а нельзя ли немножко открыть форточку хоть на минуту, проветрить комнату? Нельзя? Даже на минуту нельзя? О боже! Что это за страшилище, вон то чучело на насесте? А это что, весы? Чтоб взвешивать лекарства? Какая прелесть, ну просто прелесть!.. А донна Фанни, где же донна Фанни?

Все десять минут Лиллина не умолкала, порхая по комнате деверя от вещи к вещи.

Марко Пикотти был потрясен, словно в дом ворвался вихрь, возмутивший не только тишину его обжитой комнаты, но и покой его души.

— Однако... однако... — повторял он, сидя на постели, когда гости ушли, и при этом обеими руками тер себе лоб. — Однако...

Он не знал, что сказать.

Возможно ли? Он был так уверен, что брат через неделю после свадьбы свалится, рассыплется... Вышло наоборот: он здоров и бодр! А как весел! Он по-настоящему счастлив...

Стало быть... Может, и ему больше уже не нужны все эти трусливые меры предосторожности? Нельзя ли и ему сбросить с себя этот жуткий кошмар ожидания смерти и жить, жить, окунуться в жизнь с головой, как его брат?

Тот, смеясь, поведал ему, что не принимает никаких лекарств и не соблюдает никакого режима. К черту! Ко всем чертям врачей и лекарств!

— А что, если и мне попробовать?

Приняв такое решение, Марко впервые отправился с визитом к брату.

Его встретили с таким ликованием, что он на какое-то время оторопел. Зажмурился и выставлял руки ладонями вперед, всякий раз как Лиллина порывалась броситься ему на шею. Что за милый чертенок, что за милый чертенок эта Лиллина! Так вся и кипит! Она — жизнь, сама жизнь! Невестка настояла на том, чтобы он остался обедать с ними. Сколько она заставила его съесть и выпить! Марко встал из-за стола пьяный не столько от вина, сколько от радости.

Однако возвратившись от них вечером, он почувствовал недомогание. Сильная простуда и несварение желудка уложили его в постель больше чем на неделю.

Напрасно Аннибале пытался доказать ему, что это случилось с ним потому, что он слишком много думал, а не отдался безрассудству с легким сердцем. Нет, нет. С него довольно. Довольно. И посмотрел на брата таким взглядом, что Аннибале вдруг... Нет, не может быть!

— Что? Что ты во мне разглядел? — спросил тот, бледнея, с улыбкой, застывшей на устах.

О, несчастный! Смерть... смерть... Она уже поставила на его лице свою метку, свое неизгладимое клеймо!

Марко увидел этот знак, когда брат вдруг побледнел: на скулах остались два розовых пятна! Вот чем кончилась радость — двумя яркими точками смертного огня, выступившими на скулах.

Аннибале Пикотти действительно умер примерно через три года после женитьбы.

Для Марко это был страшный удар.

Он, разумеется, предвидел такой исход, он прекрасно знал, что брата ожидает неминуемая смерть. Но все равно, какое это зловещее предупреждение ему, какое потрясение!

Марко не рискнул проводить брата на кладбище. Он слишком разволнуется, а кроме того, испытает чувство досады и даже ненависть, когда к нему станут подходить со словами соболезнования и при этом будут глядеть на его лицо, отыскивая приметы той болезни, от которой умерли все его родные, в том числе и этот — последний.

Нет, он обязан не умирать! Он один из всего рода должен победить смерть. Ему уже сорок пять. Надо продержаться до шестидесяти. А тогда пускай смерть берет свое, но другая, не та, которая постигла всех его родственников. Ему уже будет все равно.

И он удвоил заботы о своем здоровье. Но в то же время опасался, как бы постоянная настороженность и тревога не повредили ему. И тогда он дошел до того, что стал притворяться перед самим собой, будто о смерти вовсе и не думает. Время от времени у него произвольно, без какого бы то ни было раздумья, стали вырываться слова вроде «жарко» или «хорошая погода»; он приносил их совсем не для того, чтобы проверить, не хрипит ли его голос.

Он ходил взад-вперед по комнатам старого дома, тряся кисточкой на бархатной ермолке и насвистывая какой-нибудь мотив.

Миниатюрная донна Фанни, домоправительница, еще не считала себя старухой и за несколько лет службы у Марко ухитрилась сохранить убеждение, что хозяин имеет на нее виды, но не решается признаться в этом из робости. Видя, как он бродит по дому, она подходила, ласково улыбалась и спрашивала:

— Вам что-нибудь нужно, синьорино?

Марко Пикотти глядел на нее сверху вниз и сухо отвечал:

— Мне ничего не нужно. Высморкайте нос!

Донна Фанни кокетливо изгибала стан и говорила:

— Понимаю, понимаю... Вы меня ругаете, потому что любите.

— Никого я не люблю! — кричал он ей тогда, тараща глаза. — Я прошу вас высморкать нос, потому что вы нюхаете табак, а когда человек нюхает табак, он не замечает, что у него под носом капля!

Повернувшись к ней спиной, он снова принимался свистеть, трясая кисточкой и шагать взад-вперед.

Однажды вдове его брата пришла в голову нелепая мысль навестить его.

— Нет, ради бога нет! — вскричал он, закрывая лицо руками, чтобы не видеть, как женщина в трауре плачет. — Уходите, прошу вас, уходите! И никогда больше не навещайте меня! Вы хотите, чтобы я умер? Заклинаю вас, уходите, сейчас же уходите! Я не могу, не могу вас видеть!

Ее приход он воспринял как покушение на его здоровье. Она думала, он не вспоминает брата, что ли? Вспоминает, как же, вспоминает... Но притворяется, что не вспоминает, так как это ему вредно.

Весь день ему было не по себе. А ночью он вдруг проснулся и зарыдал. Поутру же притворился, что ничего не помнит. Утром он был вновь весел и бодр, как дрозд, и время от времени приговаривал:

— Жарко... Хорошая погода...

Когда его усы, долго сохранявшие черный цвет, начали седеть, равно как и виски, Марко не только не опечалился этому, но даже обрадовался, именно обрадовался. Поскольку все его родные умерли молодыми, чухотка для него ассоциировалась с цветущей молодостью. Чем больше удалялся он от своего расцвета лет, тем в боль-

шей безопасности себя считал. Он хотел, он должен был состариться. Вместе с молодостью он ненавидел и все, что с ней связано: любовь, весну. Особенно весну. Ведь весна — самое опасное время года для больных чахоткой. С глухой злобой глядел он, как набухают и лопаются почки на деревьях в саду.

Весной он из дома не выходил.

После обеда оставался за столом и развлекался, выстукивая вилкой на стаканах какой-нибудь мотив. Если на этот звон прилетала, как бабочка на огонь, донна Фанни, он немилосердно гнал ее прочь.

Бедная донна Фанни! Ее жестокий хозяин действительно не питал к ней никаких добрых чувств. Она убедилась в этом, когда серьезно заболела: он отправил ее умирать в больницу. Марко Пикотти был огорчен этим событием лишь оттого, что вынужден был искать новую домоправительницу. И сколько их пришлось ему сменить за три-четыре года! В конце концов, из-за того что ни одна из них не могла ему потрафить, да и сами они долго не выдерживали, он решил обходиться без прислуги.

Так он дожил до шестидесяти лет.

И тогда напряжение, в котором он держал себя долгие годы, сразу спало.

Марко Пикотти счел себя удовлетворенным. Он достиг-таки цели своей жизни.

Что же теперь?

А теперь он мог и умереть. Ну да, умереть, умереть, ничего другого ему не надо: он устал, ему все осточертело, ему тошно! Что теперь для него жизнь? Свою задачу он выполнил, цели достиг, вот и остались ему в жизни лишь усталость, скука, тоска.

Стал он жить без всяких правил: вставать раньше положенного часа, выходить по вечерам, посещать значные места, есть любые блюда. Немного испортил желудок, изрядно похудел, его все больше раздражали знакомые, которые при встрече с ним, как прежде, выражали радость по поводу того, что видят его в добром здравии.

Его хандра и тоска стали настолько невыносимыми, что однажды он наконец понял: надо что-то сделать; он еще не знал точно, что именно, но, во всяком случае, необходимо было избавиться от того кошмара, который

его мучил. Победил он или нет? Нет. Он чувствовал, что пока еще не победил.

Ему сказала об этом, ему окончательно доказало это чучело птицы, торчавшее на насесте между шкафами со старыми книгами.

— Солома... солома... — сказал себе Марко Пикотти в тот день, глядя на птицу.

Он сорвал ее с насеста, извлек из жилетного кармана перочинный нож и вспорол ей брюхо:

— Вот она — солома... солома...

Оглядел свою комнату, увидел диван и старинные кресла из искусственной кожи, и тем же ножом принялся вспарывать обивку, вытаскивая пригоршнями волос и продолжая твердить в отчаянии и с отвращением:

— Вот... солома... солома... солома...

Что он хотел этим сказать? А вот что: он сел за письменный стол, вытащил из ящика револьвер и приставил его к виску. Только и всего. Лишь теперь он победил по-настоящему.

Когда по городку разнеслась весть о самоубийстве Марко Пикотти, поначалу никто не хотел этому верить, настолько это противоречило тому несгибаемому, яростному упорству, с которым он до старости берег свою жизнь. А многие, кто побывал в его комнате и видел вспоротые кресла и диван, не находя объяснения этому обстоятельству, равно как и факту самоубийства, полагали, что тут было совершено преступление и все это дело рук грабителя или даже шайки преступников. К этой мысли пришли, прежде всего, судебные власти, которые тотчас приступили к допросам и расследованию.

Среди вещественных доказательств почетное место заняло чучело птицы, набитое соломой, и, поскольку оно могло оказаться главным козырем следствия, был приглашен дотошный орнитолог, которого попросили определить, что же это за птица.

1910 (1928)

ПОКОНЧИМ С ЭТИМ ДЕЛОМ

В комнате усопшей собрались все родные: престарелый отец, сестры с мужьями, братья с женами и старшими детьми; кто тихо плакал, прижимая к глазам платок; кто, едва заметно, грустно покачивал головой, кривя губы в горестной гримасе и поглядывая

на кровать, где лежала, озаренная с четырех углов свечами, бедняжка покойница, усыпанная цветами, с четками из красных бус в застывших бледных пальцах, скрещенных на груди. Бернардо Сопо, муж покойной, расхаживал взад и вперед по соседней комнате. Широкоплечий, но медлительный и слабый на ноги, плешивый и бородатый, как монах-капуцин, в очках, сползших с полузакрытых глаз на кончик носа, он все ходил и ходил, заложив руки за спину; время от времени останавливался и говорил:

— Эрсилия... Бедняжка...

Молчаливых родственников, собравшихся здесь, чтобы оплакать усопшую, раздражал звук этих шагов, манера говорить так рассудительно и смиренно, без горестных восклицаний. Еще больше раздражал их его вид, когда он, войдя, останавливался на пороге и, откинув голову, прищурясь, смотрел на них так, будто сочувствовал участникам погребального спектакля, ненужной сцены последнего прощания, которую они разыгрывали с полной искренностью, как бы выполняя долг (весьма прискорбный!), но совершенно бесполезный. Когда он поворачивался к ним спиной и вновь принимался вышагивать в соседней комнате, всем невольно думалось, что он с вынужденным терпением ждет там, когда они наконец перестанут плакать. А он то и дело входил в комнату покойницы, с тем же давно знакомым, покорным, но упрямым выражением лица, с которым он когда-то пропускал мимо ушей возмущенные попреки и сносил всеобщее негодование, точь-в-точь как осел сносит удары палкой, но ни на шаг не отходит от края пропасти.

Они словно боялись, что он вдруг возьмет да задует эти четыре свечи, как бы давая понять, что представление затянулось и пора его кончать.

Родственники считали Бернардо Сопо способным и на такое. И впрямь, будь то в его власти — нет, гасить свечи он не стал бы, нет, ни за что, — но уж, конечно, не дал бы их зажечь, не стал бы разбрасывать цветы, не позволил бы вложить в руки покойницы распятие и четки из красных бус. Только вовсе не из тех соображений, какие приписывала ему неприязнь родственников.

Бернардо Сопо подошел к тестю и пригласил его на минутку в свой кабинет. У него внезапно перехватило дыхание, когда он увидел, как мирно стоит в полумраке мебель, не ведая о том, что случилось, в особенности по-

разили его книжные полки, битком набитые толстыми томами философских сочинений. Открыв ящик, он достал оттуда пачку бумаг — ренту покойной жены — и передал их тестю. Тот, отупелый от горя, посмотрел пустыми глазами, покрасневшими от слез, сперва на бумаги, потом на зятя, ничего не понимая.

— Приданое Эрсиили, — сказал Сопо.

Старик возмущенно швырнул бумаги на письменный стол и, хоть ноги у него подкашивались, рывком вскочил с кресла, чтобы вернуться в комнату, где лежала покойница. Но Бернардо Сопо, шуря печальные глаза, протянул к нему руки, удерживая его.

— Ради бога, — взмолился он. — Ведь сейчас надо бы...

— Только плакать! — закричал старик. — Плакать! Плакать надо сейчас, и больше ничего!

Бернардо Сопо опять горестно сощурил глаза, всей душой жалея несчастного старика, несчастного отца. Но тотчас же откашлялся, выпрямился, втянул носом побольше воздуха, потом выдохнул его и с выражением безмерной усталости произнес:

— А чему это поможет?

Ведь жена детей ему не родила, и он обязан был вернуть приданое. Следовало скорей покончить с этим делом.

Другим делом, с которым ему тоже не терпелось скорей покончить, был дом. После смерти жены, без ее ренты, он уже не сможет оплачивать этот дом при своих небольших доходах и множестве налогов. К тому же для него одного дом слишком велик. К счастью, снят он был на имя жены; таким образом, договор после ее смерти сам собой будет расторгнут.

Но ведь оставалась мебель... Все эти вещи, которыми покойница, бедняжка, любившая жить с удобствами, заполнила весь дом до отказа. И Бернардо Сопо казалось, что каждый из этих предметов камнем ложится ему на грудь.

До конца месяца оставалось еще шесть дней. За текущий месяц дом был оплачен, а за следующий платить ему не хотелось; но куда деть обстановку — вот чего он не знал. Он уже твердо решил переехать в меблированную комнату. Но пока что, как побыстрей разделаться с обстановкой? Чтобы покончить с этим делом, надо прежде всего отвезти жену на кладбище; но этого придется ждать самое меньшее сорок восемь часов, по твер-

дому настоянию ее родных, поскольку умерла она скоропостижно от паралича сердца.

«Сорок восемь часов! — твердил про себя Бернардо Сопо, расхаживая по комнате, полузакрыв глаза и спокойно почесывая подбородок сквозь густую поросль капуцинской бороды. — Сорок восемь часов! Как будто, бедняжка Эрсилия может вдруг ожить!.. К несчастью, она умерла. К несчастью для меня, не для нее... Ах, не для нее, бедняжка Эрсилия! Она уже покончила с этим делом, со смертью то есть. А вот нам-то здесь каково теперь! Сколько дурацких дел впереди! И ведь надо за них взяться! Ночное бдение возле покойницы, разумеется, и свечи, и цветы, и отпевание в церкви, и перевозка на кладбище, и погребение... Да еще эти сорок восемь часов!»

И, не обращая никакого внимания на свирепые взгляды родных, которым тесть успел уже сообщить о ренте — приданом усопшей, он всем своим видом показывал, какое беспокойство, какое волнение причиняет ему это вынужденное ожидание.

Изводясь заботами, он не находил себе места; подходил то к одному, то к другому из близких родственников покойницы, одержимый одной мыслью — посоветовать им поскорее взяться хотя бы за одно из предстоящих бесчисленных дел; они отвечали ему недружелюбно, но он не обижался. Он к этому привык. К тому же он признавал, что их неприязнь и раздражение вполне естественны по отношению к нему, человеку, вынужденному напоминать им о тягостных обязанностях повседневного бытия. Он их понимал и сочувствовал им. И вот он остановившись около какого-нибудь родственника, глядел на него, полузакрыв глаза, неподвижный, громоздкий, подавляющий, пока тот не взрывался вопросом: «Тебе что-нибудь от меня нужно?» Он отвечал грустным кивком, затем, понурый и удрученный, вел родственника в столовую и принимался шагать с ним вместе. Походил так раза три взад и вперед, приговаривая временами: «Что за печальная штука жизнь, милый мой! Жизнь... какая жалость...» или, опять: «Эрсилия, бедняжка...», он останавливался и, вздохнув, заявлял со смиренным, кротким видом либо с напускной рассеянностью: «Если хочешь, милый, возьми эти две горки с обеденным сервизом и хрусталем, да и сервант прихвати, если он тебе нравится...»

Подобное предложение в такую минуту, когда покой-

ница еще лежала в доме, казалось ее родным оскорблением, просто ударом в самое сердце. И Бернардо Сопо оставался ни с чем, не получив иного ответа, кроме взгляда, исполненного гадливости и презрения.

И все-таки у него хватало духа вскорости подойти к другому родственнику, увести его в гостиную, пошатавшись с ним взад и вперед и вдруг предложить ему, как и предыдущему:

— Слушай, дружище, если тебе по вкусу вон та кушетка с креслицами, можешь взять их себе.

Наконец, видя, что все близкие в негодовании от него отвернулись, он стал предлагать мебель и другие вещи более отдаленным родным, а потом и друзьям дома, которые оказались не столь щепетильны и благодарили его в растерянности и смущении. Бернардо Сопо, жестом прерывая эти изъявления благодарности, пожимал плечами в знак того, что не придает подарку никакого значения, и добавлял:

— Я бы посоветовал тебе сразу забрать эти вещи; очень хочется поскорее от них избавиться...

Теперь уже вся родня, собравшаяся в комнате покойницы, метала на него оттуда яростные взгляды и выражала всяческими знаками гнев, ярость и презрение, но по другой причине. Нет, они, разумеется, не имеют прав, никаких прав на вещи, принадлежащие только ему, Бернардо Сопо. Но, черт побери, это же непристойно!

Один за другим, не в силах более сдерживаться, они вскакивали с места и набрасывались на него, цедя сквозь зубы, что ему должно быть стыдно, стыдно, как стыдно за него каждому, кто, растерявшись, не сумел дать должный отпор его предложениям. Призывали тех в свидетели: «Ведь правда? Ведь так?» А те только пожимали плечами с горькой улыбкой на устах.

— Да, конечно! Каждому! — восклицали родственники. — Такое оскорбление!

Но Бернардо Сопо, щуря по-прежнему глаза, разводил руками:

— Но, извините, почему, дорогие мои, почему же? Я сбрасываю с себя все лишнее... Для меня все кончено, Друзья мои! Я ни о чем не хочу больше думать... Я знаю, что на мне лежит... Есть дела, за которые надо браться...

А они кричали:

— Допустим, надо; но в свое время и на своем месте, черт возьми!

И тогда он, чтобы положить конец спорам, поправился:

— Да, понимаю... понимаю...

Но он ничего не понял или, вернее, понял одно: отсрочка, которую ему навязывают, это такое же проявление слабости, как слезы. Его считают бессердечным, потому что он не плачет. Но разве слезами измеряется человеческое страдание? Слезы всего лишь показатель слабости того, кто страдает. Плача, мы хотим показать другим, что страдаем, или стараемся кого-то растрогать, или ищем утешения и сочувствия. А он не плакал, зная, что никто не сумеет его утешить и ничье сочувствие ему не поможет. Не надо горевать о тех, кто уходит от нас. Напротив, им надо только завидовать!

Жизнь, по мнению Бернардо Сопо, беспросветно темна; смерть — еще более густой мрак, ворвавшийся в эту тьму. Он не верил, будто светоч знания озаряет жизнь, а светоч веры — смерть. В непроглядной тьме ему виделись на каждом шагу одни только смутные очертания тягостных, трудных, нелепых житейских обязанностей, и уклоняться от них не было смысла, следовало, наоборот, броситься им навстречу, выполнить их и возможно скорее с ними покончить.

Да, именно так, покончить с ними! Вся жизнь заключалась в этом: дела, бессмысленное множество дел, и с каждым надо скорее покончить. Любое промедление — слабость.

Возмущенные родственники отлично знали, что он всегда был таким. Сколько раз Эрсилия развлекала их веселыми рассказами, забавно преувеличивая невероятные приключения, выпавшие ей в супружеской жизни с этим человеком, — ну что с ним поделаешь, если он, бедненький, одержим такой манией, неистовым желанием покончить с любым делом, едва сочтет его нужным и неизбежным. Даже в постели, да, да, словом, всегда, во всех делах! А она, несчастная, по ее словам, догоняла его что было сил, как замученная собачонка, высунув язык.

Собирались ли они в театр — он уже не знал покоя. И вовсе не потому, что поход в театр тяготил его, как раз наоборот! Мысль об этом походе становилась такой навязчивой, что он не мог дожидаться часа, когда уже с этим покончит, да, да, синьоры, покончит с этим делом! Вот он и сидит в темной ложе за час до начала и ждет!

А уж если надо куда-то ехать — боже милостивый! Разверзалась бездна! Сундуки, чемоданы, узлы! Кучер, гони! Носильщик, беги! А пот ручьями, пот ручьями! Сколько вещей потеряно, сколько забыто — и все ради того, чтобы приехать на вокзал за два часа до отправления поезда! И вовсе не из страха опоздать, а только из нежелания лишнюю минуту пробыть дома наедине с нестерпимой мыслью о предстоящем отъезде!

А сколько раз он являлся домой нагруженный пятью или шестью парами обуви, чтобы разом, пусть ненадолго, покончить с этой покупкой! Быть может, он был единственным налогоплательщиком, который вносил деньги сразу за весь год и всегда оказывался первым у окошка кассы. Еще чудо, что он не бежал в первый же день, назначенный для оплаты, будить сборщика на дому!

Бедная Эрсилия, видя, как он изнемогает под тяжестью всех этих трудов, пыталась удержать его; и потом, когда у него впереди неожиданно оставалось свободное время и он, усталый, встревоженный, не знал, куда его деть, спрашивала:

— Видишь? Вот ты и покончил с делами, Беби мой, а что теперь? Что теперь?

На этот вопрос Бернардо Сопо только качал головой, полузакрыв глаза. Он не хотел признаться кому-либо, даже себе, что в самой потаенной глубине тьмы, заполнявшей все его существо, тьмы, куда не проникал ни первый, холодный, бледный луч зари, ни светоч знания, ни светоч веры, трепетал какой-то смутный страх перед неведомым ожиданием, неясное предчувствие, отличное от всего, за чем он гнался, чтобы скорее покончить с делами. И когда ему удавалось с делами покончить, он как бы повисал, задыхаясь, в мучительной пустоте. Страх оставался там, глубоко внутри, а ожидание, увы, всегда было тщетным, всегда.

А годы шли да шли, и сегодня Бернардо Сопо, еще более усталый и отупевший, чем раньше, все так же покорно выполнял житейские обязанности, выполнял их тем покорнее, чем более усталым и отупевшим он становился, но по-прежнему недоумевал — неужели именно для этого, для выполнения этих обязанностей он и жил на земле? Неужели иначе и быть не могло? Неужели он явился на свет и жил только ради этого?

О да, ведь были еще мечты поэтов, сложные построения философов, открытия ученых... Но все это казалось

Бернардо Сопо шутками, забавными, изящными или остроумными иллюзиями. И чем же в итоге все они кончались?

Он мало-помалу уверился в том, что человеку на этом свете не дано что-либо довести до конца и что своими достижениями он либо тешит себя, либо сознательно обманывает других.

Человек живет среди природы, и природа сама думает за него и порождает в нем плоды своей мысли; они так же зависят от времени года, как и плоды растений, только живут, в отличие от тех, несколько дольше, но все же преходящи. Природа ничего не может довести до конца, оттого что она вечна, она никогда ничего не заканчивает.

И человек, следовательно, тоже!

Во всем этом Бернардо Сопо отдавал себе отчет, по мере того как шло время, и он, отвлекаясь от низменного течения повседневных хлопот, от задач, им самим поставленных, от привычек, им самим созданных, удалялся за пределы обычного восприятия мира и взмывал ввысь, чтобы созерцать природу с этой трагической и торжественной высоты. Он понял, что человек сможет что-то закончить, если наденет шоры и увидит только данный предмет в данный отрезок времени; но едва ему покажется, что он приблизился к этому предмету, он тотчас же его потеряет из виду, потому что он тем самым снимет шоры и ему сразу откроется все окружающее, а тогда прощай надежда закончить что-либо! Но что же остается, если нет желания сознательно обманывать себя, хотя бы шутки ради? Увы, ничего, кроме суровых житейских обязанностей, которые надо выполнять, более того, бросаться им навстречу, чтобы возможно скорее с ними покончить. Но в таком случае не лучше ли покончить с собой и разом покончить со всем? Браво, именно так! Покончить с собой... Но надо суметь это сделать... Бернардо Сопо этого не сумел: жизнь, к сожалению, тоже была обязанностью и покончить с нею оказалось невозможным. К тому же у него было столько неимущих родственников, ради которых ему следовало жить.

После выноса и похорон ему удалось избавиться от всего имущества за немногие дни, оставшиеся до конца месяца, и он поселился один, сняв убогую комнатенку.

Никто из родных жены и слышать о нем не хотел. Но это его не трогало. Он наконец сбросил с себя бесчисленные житейские обязанности, которые при жизни жены считал ненужными, но в то же время выполнял, вернее,

бросался им навстречу с привычным мужеством и привычным смирением. Теперь он ограничил себя в расходах на еду, белье, одежду, на все, к чему приучила его жена, а на сбереженные средства помогал бедным родственникам, не проявлявшим никакой признательности за его заботы. Но и это его не трогало. Он считал, что отказывать себе в пользу ближних — его долг, обязанность, хотя и досадная; и так как он давал это понять в письмах к родственникам, они вовсе не были ему благодарны. Вообще-то забота о них, как и все остальное, была для него делом, с которым надо кончать как можно быстрее, каждый месяц. Пусть даже ценой того, что он ел только один раз в день и то очень скудно. Быстрей, быстрей покончить с этим жалким обедом и потом целые сутки о нем не думать. Когда с немногими делами, еще занимавшими его, было покончено, у него оставалось все больше свободного времени, все больше тревожной пустоты внутри, и заполнить ее было нечем.

Он стал тратить время, помогая другим, едва знакомым людям, чьи нужды случайно становились ему известны. Но, как правило, эти благодетельствованные им люди платили ему грубой неблагодарностью. Он никак не мог понять, что все хорошо в свое время, не допускал возможности неспешно предаваться радостным иллюзиям и был убежден, что любое промедление перед лицом суровых и неизбежных житейских обязанностей является слабостью. Он не жалел и не уважал таких слабых, медлительных людей, поэтому являлся в самое неурочное время, чтобы напомнить подопечным о собственных обязанностях, с видом все более измученным и удрученным, как бы говоря: «Вот видите, я здесь из-за вас, я сразу откликнулся, хоть мне это очень трудно; ну, милые мои, давайте же покончим с этим делом!»

Теперь все разбегались, едва завидев его. Все боялись его, как кошмара; все думали, что он испытывает злобное наслаждение, изводя и угнетая их.

С годами ноги его становились все слабее. Тяжело было смотреть, как его теперь подгоняют свои и чужие дела и как он старается побыстрее передвигаться на этих дрожащих ногах, не сдвигаясь, казалось, ни на шаг.

Окутанный трепещущей тенью ускользающего времени, снедаемый неотвязными заботами не о себе, а о других, он подчас останавливался посреди улицы, не помня уже, куда идет и что намерен делать.

С тростью под мышкой, со шляпой в одной руке, а другой взявшись за подбородок и ероша густую бороду, он ненадолго задумывался, прищурясь, тихо бормоча про себя:

— Что-то я еще должен был сделать...

Так вот и сшиб его среди бела дня автомобиль, мчавшийся по пустынной площади. Мгновение — и Бернардо Сопо под колесами; его отвезли в больницу без сознания, с перебитыми ребрами и поломанными руками и ногами. За минуту до смерти он пришел в себя, открыл мутные глаза, хмуρο обвел взглядом врачей и санитаров, окружавших кровать; потом откинулся на подушки и повторил с последним вздохом:

— Что-то мне еще надо было сделать...

1910 (1928)

ПУТЕШЕСТВИЕ

Тринадцать лет жила Адриана Баджи затворницей в старом и тихом, как монастырь, доме, в который вошла совсем еще молоденькой девушкой. Все эти годы она не выходила из дома, ее даже не видели у окна редкие прохожие, которым случалось пройти по круто подымавшейся в гору улочке, такой заброшенной и пустынной, что меж бульжниками мостовой пучками росла трава.

В двадцать два года она овдовела, не прожив с мужем и четырех лет, и тем самым умерла для мирской жизни. Теперь ей было тридцать пять, но одевалась она только в черное, как и в день смерти мужа. Черный шелковый платок скрывал ее густые каштановые волосы, которые она уже не укладывала, а лишь расчесывала на пробор и скручивала узлом на затылке. Но ее бледное, с тонкими чертами лицо словно улыбалось нежной и грустной улыбкой.

Это ее добровольное заточение ничуть не удивляло жителей городка, затерянного в горной глуши Сицилии, где суровый обычай предписывал вдове чуть ли не следовать за мужем в могилу и за соблюдением этого обычая ревностно следили все соседи. Вдова обязана была жить уединенно и носить траур до конца своих дней.

Впрочем, женщины из немногих зажиточных семей городка, как девицы, так и замужние, вообще редко по-

казывались на улице — по воскресеньям шли к мессе да иногда ходили друг к другу. Зато уж наряжались как можно богаче, носили платья, заказанные у самых модных портных Палермо или Катании, и драгоценности, причем делалось это не из кокетства: они шли опустив глаза и раздумяившись от смущения рядом с мужем, отцом или старшим братом. Щегольство это было чуть ли не принудительным: выход в гости или в церковь, расположенную в двух шагах, превращался для женщин в настоящую экспедицию, готовиться к которой начинали накануне. Тут речь шла о чести семьи, и мужчины пеклись о женских нарядах, пожалуй, даже больше, чем сами женщины, ибо хотели показать, что могут себе позволить потратиться на своих женщин и знают в этом толк.

А женщины, во всем послушные, покорные, наряжались, как велели мужчины, старались не подвести; совершив короткую вылазку, преспокойно возвращались к своим домашним делам: замужние рожали детей сколько бог пошлет — таков уж был их удел, а девицы дожидались дня, когда родители скажут: «Иди за такого-то», выходили замуж, и мужей вполне устраивала эта рабская покорность без любви.

Только слепая вера в царство небесное давала женщинам силы сносить, не впадая в отчаяние, тягучую тупую тоску монотонной жизни маленького городка в горах, такого тихого, что он казался безлюдным. Под знойным ярко-синим небом — лабиринт узких, плохо замощенных улиц, по обе стороны которых стояли дома из нетесаного камня, крытые черепицей, с желобом для стока воды.

Если пройти до конца любой из улочек, взору открывались унылые ряды выжженных полос земли — серные копи. Сушь в небе, сушь на земле; неподвижную тишину нарушает лишь сонное жужжанье мух, песня сверчка, далекий крик петуха или собачий лай; в ослепительном сиянии полдня от земли поднимается густой запах сухих трав, из хлевов тянет навозом.

Ни в одном доме не было воды; на просторном внутреннем дворе каждого из немногих господских домов, в средоточии водостоков, ждали милости неба старые чистерны — колодцы для сбора дождевой воды, но дождь шел редко даже зимой; зато уж когда он шел, наступал праздник: женщины выставляли на двор корыта, ведра, ванночки, бочонки, а сами, подоткнув подол грубошерст-

ного платья, стояли в дверях и глядели, как крутые тропинки превращаются в стремительные ручьи, слушали, как вода, стекая с черепицы, бурлит в водосточных желобах и с шумом низвергается в горловину чистерны. Дождь омывал мостовую, стены домов, и люди с наслаждением вдыхали благоуханную свежесть напитанной влагой земли.

Мужчины находили себе хоть какое-то развлечение в делах, в борьбе местных группировок накануне муниципальных выборов, а по вечерам могли пойти в кафе или в гарнизонный клуб; а женщины, у которых с малых лет вытравливали всякие тщеславные помыслы, женщины, которых выдавали замуж без любви, эти рабыни домашнего очага, закончив всегда одни и те же повседневные дела, томилась скукой, держа на руках ребенка или перебирая четки, в ожидании, когда же вернется муж — хозяин, повелитель.

Адриана Баджи мужа не любила.

Был он тщедушен, вечно беспокоился о своем слабом здоровье, а ее все четыре года тиранил и мучил, ревнуя даже к своему старшему брату, которому своей женитьбой причинил большое зло, можно сказать, предал его. В тех краях еще держался обычай, согласно которому из всех сыновей зажиточной семьи жениться должен лишь один, старший, чтобы состояние родителей не оказалось распыленным среди множества наследников.

Чезаре Баджи, старший брат, никогда не выказал недовольствия по поводу узурпации братом его права, может быть, потому, что отец, умерший незадолго до свадьбы, перед смертью распорядился, чтобы главой семьи стал Чезаре, а младший брат беспрекословно повиновался бы ему во всем.

Войдя в старый дом семейства Баджи, Адриана почувствовала себя как-то униженной тем, что оказалась в зависимости от деверя. Положение ее стало вдвойне стеснительным и тягостным, с тех пор как сам ее муж в приступе ревности намекнул, что, мол, Чезаре и сам был не прочь жениться на ней. Теперь она уже совсем не знала, как ей держаться с деверем, и ее смущение углублялось еще и тем, что Чезаре вовсе и не помышлял показывать перед ней свою власть, а, напротив, принял ее сердечно, с искренней симпатией и с первого дня относился к ней, как к сестре.

Чезаре был благороден — в речи, в одежде, в обращении с кем бы то ни было — тем особым врожденным благородством, которое не могли поколебать ни общение с грубыми и простыми земляками, ни дела, которые ему приходилось заниматься, ни праздный образ жизни, к которому вынуждает провинция на протяжении многих месяцев в году.

Впрочем, каждый год он на неделю-другую, а то и на месяц или даже больше, уезжал из городка, оставляя на время все дела. Отправлялся в Палермо, Неаполь, Рим, Флоренцию, Милан, ехал окунуться в жизнь или, как он говорил, вкусить цивилизации. Из этих поездок он возвращался помолодевшим душой и телом.

Адриана, никогда не покидавшая родных мест, всякий раз как деверь возвращался в могильную тишину старого дома, где застаивалось и гнило само время, ощущала какое-то непонятное, пугавшее ее смятение.

Деверь приносил с собой атмосферу иного мира, который она не могла даже себе представить.

Смятение ее росло, когда она слышала визгливый смех мужа, которому брат рассказывал в соседней комнате о своих пикантных приключениях. А потом, вечером, ее охватывали негодование и отвращение, когда муж, наслушавшись рассказов брата, приходил к ней в спальню взвинченный, едва владеющий собой и яростно накидывался на нее. Негодование и отвращение к мужу были тем сильнее, чем больше уважения видела она со стороны деверя.

Когда муж умер, Адриана с тревогой и страхом подумала, как это она останется с деверем одна в доме. Было, правда, двое ребятишек, родившихся за четыре года супружеской жизни. Она ощущала себя матерью, но все равно никак не могла совладать со своей природной застенчивостью и робела перед деверем, как девочка. Впрочем, эта робость никогда не перерастала у нее в неприязнь, но теперь обстоятельства изменились. Во всем был виноват покойный муж, терзавший ее ревностью, недоверием и тайным надзором.

Чезаре Баджи, проявив присущие ему такт и деликатность, тотчас пригласил мать Адрианы переехать в их дом и жить вместе с овдовевшей дочерью. Адриана, избавившись от тирании мужа и ощущая постоянную поддержку матери, стала понемногу приходить в себя, и если не обрела еще совершенного покоя, то, во всяком случае, перестала терзаться душой. Всем своим суще-

ством отдалась она заботам о детях, изливая на них всю любовь и нежность, которые сохранила в неприкосновенности за годы своей несчастливой супружеской жизни.

Чезаре, как и прежде, раз в год уезжал на континент и через месяц возвращался, нагруженный подарками: и невестке, и ее матери, и, конечно, племянникам, о которых всегда заботился по-отечески.

Женщинам было страшно в доме без мужчины, особенно по ночам. А днем Адриане казалось, что в тишине, которая с отъездом Чезаре стала еще более глубокой и зловещей, таится какая-то страшная угроза, нависшая над всем домом; мороз пробегал у нее по коже, всякий раз как она слышала скрип блока над горловиной чистерны, когда ветер тряс веревку. Но неужели ради двух женщин и двух мальчишек, которые, собственно говоря, не составляли его семьи, Чезаре должен был лишать себя единственного праздника за целый год отупляющей скуки в кругу одних и тех же будничных дел? Ведь он мог бы и вовсе ни о ком не заботиться, жить в свое удовольствие, наслаждаться свободой, раз уж брат, женившись, лишил его возможности завести собственную семью; он же вместо того — надо отдать ему должное — все свои короткие часы досуга посвящал заботам о доме, о племянниках-сиротах.

Со временем все печали в сердце Адрианы улеглись. Сыновья подрастали, и она была довольна тем, что воспитанием их руководит их дядя. Она до такой степени вся отдалась детям, что ее удивляло, когда деверь или сами мальчики протестовали против ее чрезмерных забот. Ей непонятно было, как это ее заботы могут быть чрезмерными. О ком же ей еще думать, как не о детях?

Большим горем для нее явилась смерть матери, которая много лет была ее единственной подругой, как бы старшей сестрой. К тому же пока рядом была мать, Адриана ощущала себя молодой, какой на самом деле и была. Теперь, когда матери не стало, а сыновья достигли юношеского возраста — одному шестнадцать, другому четырнадцать — и грозили перерасти дядю, она стала считать себя старухой.

Так жила Адриана до того дня, когда впервые ощутила какое-то стеснение в груди, будто что-то давило изнутри на грудную клетку, отдаваясь то под лопаткой, то меж ребрами, то в левом плече, а в какой-то момент

Адриану пронзала такая острая боль, что перехватывало дыхание.

Она никому жаловаться не стала, и болезнь ее так и оставалась бы в тайне, если бы один из приступов острой боли не застиг ее за столом во время ужина.

Позвали врача, который много лет лечил членов семейства Браджи. Тому сразу не понравились симптомы болезни, а после тщательного осмотра больной он по-настоящему всполошился.

Поражена плевра. Но какой болезнью? Старик врач призвал на помощь коллегу, и вдвоем они попробовали сделать пункцию, которая, однако, ничего не дала. Потом, обнаружив некоторое затвердение лимфатических желез над ключицами, врач заявил Чезаре, что надо поскорей везти больную в Палермо, ибо он боится, что у нее злокачественная опухоль.

Уехать тотчас они не смогли. После тринадцати лет заточения у Адрианы не осталось платья, в котором она могла бы показаться на людях. Пришлось послать срочный заказ в Палермо.

Она всячески противилась, уверяя деверя и сыновей, что ей вовсе не так уж плохо... От одной только мысли о такой дальней дороге ее бросало в дрожь. К тому же наступило время, когда Чезаре обычно уезжал на месяц отдохнуть. Если она с ним поедет, она его стеснит, испортит ему все удовольствие. Нет-нет, она ни за что не поедет! Да и на кого они оставят дом и детей? Последний довод она считала самым сильным, но сыновья и Чезаре только смеялись над ее страхами. Она упрямо твердила, что от такого путешествия ей наверняка станет хуже. О, святая Мадонна, разве они не знают, какие у них тут дороги? Одно мученье! Нет, пусть уж они, ради всего святого, оставят ее в покое!

Когда из Палермо прибыли заказанные платья и шляпки, восторгу сыновей не было границ.

С ликованьем втащили они огромные коробки, обернутые клеенкой, в комнату матери и наперебой стали требовать, чтобы она тут же примерила обновки. Им нетерпелось увидеть свою мать нарядной, красивой. Они подняли такой шум, так упрашивали, что ей пришлось в конце концов согласиться.

Платья, правда, были черные, траурные, но из дорожной ткани и элегантного покроя. Адриана так давно отошла от нарядов, что не имела никакого представления о модных фасонах, не знала даже, как эти платья наде-

вают. На что столько крючков и застежек? Боже мой, какой высокий воротник! И рукава с буфами... Неужели сейчас мода такая?

Меж тем за дверью бушевали мальчишки:

— Ну что, мама, ты готова?

Как будто их мать одевалась, чтобы ехать на бал! В этот момент они не вспоминали о первопричине появления в доме нарядов; по правде говоря, она и сама о ней сейчас не думала.

Когда Адриана, раскрасневшись от волнения, подняла глаза и глянула на себя в зеркало, ее словно ударило горячей волной стыда. Платье, обтянув ее бедра и талию, мягкими линиями подчеркнуло округлость бюста — она увидела в зеркале стройную девичью фигуру. Адриана считала себя старухой, а из зеркала на нее глядела красивая молодая женщина — это не она!

— Что это? Что это такое? Не может быть! — воскликнула она, отворачиваясь от зеркала и прикрывая лицо рукой, чтобы ничего не видеть.

Услышав ее восклицание, сыновья принялись колотить в дверь руками и ногами, дергать ручку, крича, чтобы она открыла и показала им.

Нет! Какое там! Ей стыдно. На что это похоже! Нет! Нет...

Но мальчишки заявили, что сейчас выломают дверь. Пришлось открыть.

Сыновья тоже остолбенели, пораженные такой неожиданной метаморфозой. Мать пыталась их выпроводить:

— Ну что вы... Оставьте меня! Угомнитесь... С ума сошли!..

И тут вошел деверь. О господи! Адриана рванулась, ее первая мысль была — убежать, спрятаться, будто он застал ее голой. Но сыновья не пустили — им, конечно, хотелось показать дяде, какая стала мама, а тот лишь посмеивался над ее смущением.

— Да оно тебе идет, очень идет! — сказал он наконец серьезным тоном. — Ну постой, дай на тебя посмотреть. Она решила поднять глаза.

— Мне кажется, я разряжена, будто для карнавала...

— Все нет. С чего ты взяла? Оно сидит на тебе превосходно. Повернись чуточку... Вот так, в профиль...

Она повиновалась, изо всех сил стараясь обрести спокойный вид, но грудь ее, четко обрисованная платьем, вздымалась слишком часто и выдавала ее волнение, ко-

торое вызвано было тем, что ее так внимательно и серьезно рассматривает Чезаре, великий знаток женщин.

— В самом деле очень хорошо. А как шляпки?

— Вроде корзин с фруктами...

— Такие сейчас и носят: чем больше, тем лучше.

— Мне такую и на голову не натянуть, придется причесать волосы как-то по-другому.

Чезаре снова поглядел на нее со спокойной улыбкой:

— Ну да, у тебя такие роскошные волосы...

— Правильно! Правильно! — подхватили мальчишки. — Ай да мама у нас! Давай-ка причешишься поскорее!

Адриана грустно улыбнулась.

— Вот видите, к чему вы меня принуждаете? — сказала она, обращаясь к деверю.

Отъезд был назначен на следующее утро.

И вот она с ним!

Она отправилась с ним в одно из тех путешествий, о которых прежде думала с таким смущением. А теперь боялась только одного: как бы Чезаре не заметил, что она смущена, ведь сам он сидит перед ней, как всегда, внимательный, но, как всегда, спокойный.

Это его спокойствие, совершенно естественное, могло бы заставить ее устыдиться своего смущения и даже покраснеть, если бы она — заведомо обманывая себя, лишь бы не поддаться чувству стыда — не приписала это свое смущение новизне для нее такого события, как это путешествие, обилию впечатлений, которых никогда раньше не знала ее робкая, замкнутая в себе душа. А свое старание скрыть от него это смущение (хоть оно и не содержало в себе ничего предосудительного) Адриана объясняла как нежелание показать себя слишком наивной и восторженной перед человеком, у которого такое ее поведение могло вызвать скуку и раздражение, так как сам он совершал путешествие который год подряд, знал все на свете и никакого волнения не испытывал. Разве она не смешна с ее детским восторгом, которым так и сияют ее глаза? Это в тридцать-то пять лет!

Вот почему она старалась сдерживать радостное возбуждение или по крайней мере не выдавать его лихорадочным блеском глаз, старалась реже крутить головой, хоть по обе стороны дороги и мелькали разные чудеса, которые она видела впервые. Она старалась скрыть восторг, обуздать свое любопытство, которому хотела бы

дать полную волю, чтобы оно помогло ей преодолеть смущение, от которого слегка кружилась голова. А может, виной тому был ритмичный перестук колес и прозрачное мельканье деревьев и изгородей за окном вагона?

На поезде она ехала впервые. Ей казалось, что с каждым мгновением, с каждым оборотом колес она все дальше проникает в какой-то новый для нее, совсем другой мир; и мир этот складывался из вещей и явлений, которые теперь были рядом, но все равно оставались для нее далекими, которые радовали взор и вместе с тем порождали в душе легкую и неизъяснимую грусть, из-за того что они существовали где-то вне ее жизни и даже за пределами ее воображения, существовали всегда, и она среди них была чужеродным телом — она уйдет, а здесь жизнь, как и прежде, будет идти своим чередом.

Вот деревня: улицы, дома, крыши, окна, двери, каменные ступеньки; там люди со всеми их помыслами и делами живут, словно в плену, на жалком клочке необъятной земли, как до сих пор жила и она в своем городке; за их горизонтом для них не существует ничего, жизнь для них — сон, они рождаются, растут и умирают, не увидев того, что теперь увидит она в своем путешествии, а то, что она увидит, — ничтожно малая часть мира, но для нее это много.

Поворачиваясь от одного окна к другому, Адриана время от времени встречала взгляд и улыбку Чезаре, и тогда он спрашивал:

— Как ты себя чувствуешь?

Она отвечала, кивнув головой:

— Хорошо.

Не раз он садился с ней рядом, чтобы показать ей какое-нибудь селение, где он бывал, гору, напоминающую своими очертаниями какого-то зверя, — все, что он считал достойным ее внимания. Он не понимал, что самые обычные и незначительные для него вещи вызывают в ней бурю новых ощущений, а его замечания и пояснения не только не усиливают, но даже снижают остроту ее впечатлений, из которых в душе ее, охваченной восторгом и непонятной грустью, складывается представление о величии открывавшегося ей неведомого мира.

К тому же его голос не успокаивал смятения ее чувств, а словно бил по нервам, заставляя вздрагивать, и при этом она отчетливее и острее ощущала свою непо-

нятную грусть. Самой себе она казалась жалкой простушкой; она замечала в себе какое-то смутное чувство досады, почти злость, при виде всего, что теперь — слишком поздно для нее — зачаровывало ее взор и переполняло душу.

На другой день по прибытии в Палермо они побывали на приеме у лучшего врача Палермо, и там Адриана все поняла; она заметила, какие усилия делает над собой Чезаре, чтобы не выказать своего глубокого огорчения, с какой деланной озабоченностью просит он врача еще раз повторить его предписания и как тот ему отвечает; она поняла, что ей вынесен смертный приговор и что лекарство, которое надо принимать по столько-то капель два раза в день перед едой, не превышая дозы, ибо оно содержит яд, — обман во имя милосердия, посох идущему через медленную агонию навстречу смерти.

Однако как только Адриана, еще ощущая в ноздрях противный запах эфира, вышла из тени подъезда на улицу навстречу закатному солнцу, которое в нимбе пламенеющих небес висело над морем в конце длинного Корсо, как только увидела окрашенные багрянцем экипажи и купы деревьев, лица и одежды прохожих в пурпурных лучах, витрины и вывески магазинов и кафе, сверкающие, как драгоценные камни, она почувствовала, что в ее мятущую душу через все органы чувств, обостренные словно каким-то божественным опьянением, врывается жизнь, жизнь, жизнь! Она не испытывала тоски, вовсе не думала о близкой неотвратимой смерти, о смерти, которая свила в ней гнездо, затаившись под левой лопаткой, где она ощущала наиболее острые уколы боли. Нет, нет — жить! И все же в этом буйном водовороте чувств откуда-то из глубин ее существа подымался к горлу комок — возможно, ее прежняя, та самая грусть, от которой на глаза навертывались слезы.

— Ничего... Ничего... — сказала она, улыбнувшись davvero, и ее глаза сквозь слезы сверкнули радостью, озарившей все ее лицо. — Я, кажется... Не знаю... Пойдем же, пойдем...

— В гостиницу?

— Нет... нет...

— Тогда, может, поужинаем в «Шале» на берегу моря, возле Форо Италико? Хорошо?

— Да, как хочешь.

— Вот и прекрасно. Идем! Потом прогуляемся по бульвару к Форо, послушаем музыку...

Взяв извозчика, они поехали навстречу лучезарному нимбу.

Как чудесно прошел для нее этот вечер в «Шале» на морском берегу: светила луна, освещая здание Форума, вдоль бульвара катились элегантные коляски, из садов доносился запах цветущего померанца... Ею овладело всепобеждающее очарование, которому она отдалась бы до конца, если бы не тревожное сомнение в том, что все это происходит с ней на самом деле, ибо она смотрела на себя как будто издалека, а сама ничего не помнила, ни о чем не думала и не рассуждала — ей снился сон, и во сне открывалась бесконечная даль.

Это ощущение бесконечной дали охватило ее с новой силой на следующее утро, когда они ехали в коляске по длинным и пустым в тот час аллеям парка Ля Фаворита, и в какой-то момент она глубоко вздохнула и на миг почти вернулась к действительности, так что смогла почувствовать эту даль, не нарушая очарования и не пробуждаясь от сладкого дурмана этого сна, с открытыми глазами при свете дня, ибо и деревья в парке, казалось, тоже спали беспробудным сном в чуткой и таинственной тишине раннего утра.

В какой-то момент она, сама не зная почему, повернулась к Чезаре и благодарно улыбнулась ему.

Но эта улыбка пробудила в ней острую и глубокую жалость к себе самой, ведь она вот-вот умрет, и ее изумленные глаза не увидят всей этой неопишуемой красоты, не увидят жизни, которой и она могла бы жить, как живут другие люди. И тут она подумала, не жестоко ли с его стороны вот так показывать ей мир.

Но вот коляска наконец остановилась в глубине самой дальней аллеи, Чезаре подал невестке руку, и она сошла на землю, чтобы рассмотреть как следует фонтан с фигурой Геракла; и там, у фонтана, под кобальтово-синим небом, которое казалось почти черным вокруг лучезарной беломраморной статуи полубога, стоявшей на высоком цоколе в центре чаши, Адриана наклонилась и стала смотреть в прозрачную воду, на поверхности которой плавали, отбрасывая тень на дно, листья и зеленоватые сгустки тины; и вот, когда она заметила, что при малейшем колыхании водной глади бесстрастные лица сфинксов, стражей водоема, словно затуманиваются раздумьем, тогда и она вдруг почувствовала, как вместе со свежестью, которой пахнуло от воды на ее лицо, в сознание ее проникла какая-то мысль; и сразу же душа ее буд-

то оцепенела, будто свет новых небес загорелся вдруг в пустоте мироздания; ей показалось, что она в это мгновение постигла суть вечности, обрела ясное и полное представление обо всем на свете, в том числе и о том, что сокрыто в бездонном кладезе тайников души человеческой; ей показалось, что раз она все это постигла, то ей этого и достаточно, ибо на какой-то миг — вот на этот самый миг — она ощутила себя вечной.

Она предложила отправиться домой в тот же день. Пора освободить его от себя, он и так потерял уж четыре дня своего отдыха. Еще день уйдет на то, чтобы проводить ее до дома, а потом он может продолжить путешествие, ехать в дальние края, туда, за синее море. Смело может отправляться: за месяц его отсутствия она не умрет.

Ему она этого не сказала, а только попросила, чтобы он отвез ее домой.

— Да что ты? Зачем? — возразил он. — Раз уж ты здесь, поедем со мной, посмотришь Неаполь, там я на всякий случай покажу тебя еще какому-нибудь хорошему врачу.

— О нет, Цезаре. Разреши мне вернуться домой. Это все ни к чему.

— Как это ни к чему? Так будет лучше. На всякий случай.

— Разве еще мало того, что мы узнали здесь? У меня ничего не болит, я себя хорошо чувствую, ты сам это видишь. Буду принимать лекарство. Чего же еще?

Тогда он посмотрел на нее и сказал очень серьезным тоном:

— Адриана, я так хочу.

На это ей нечего было возразить, она была дочерью своего края, где женщина никогда не оспаривает того, что мужчина счел правильным и нужным; она подумала, он хочет застраховать себя тем, что не ограничится консультацией одного врача, так, чтобы после ее смерти все в их городе говорили: «Он сделал все, чтобы спасти ее, возил и в Палермо, и в Неаполь...» А может быть, он надеялся, что другой врач, поопытней, сочтет болезнь излечимой, найдет средство спасти ее? А может быть... да, пожалуй, это верней всего: зная, что она обречена, он хотел доставить ей это последнее удовольствие, чтобы хоть как-то смягчить жестокий удар судьбы.

Но она боялась, да, страшно боялась моря. Как взглянет на него да подумает, что его надо переплыть, у нее дух захватывает, будто ей предстоит преодолеть его вплавь.

— Да нет же, ты сама увидишь, — с улыбкой успокаивал он ее. — В это время года ты и не заметишь, что плывешь по морю. Посмотри, какое оно спокойное. А потом, ты увидишь, какой пароход! Ты ничего и не почувствуешь!

Нет, не могла она поведать ему о неясном тревожном предчувствии, которое испытывала, глядя на это море, — ей почему-то казалось, что если она покинет берег, где она и так считала себя на чужбине, вдали от родного городка и где испытала столько нового, неведомого для нее волнения, если она пустится с ним в еще более дальнее путешествие, затеряется в необъятных просторах этого таинственного моря, то уж никогда больше не вернется домой, на свой родной остров — разве что в гробу. Она гнала это предчувствие прочь, не признавалась в нем себе самой, заставляла себя поверить, что все дело тут в ее страхе перед морем: она его никогда прежде не видела, а теперь надо через него плыть!

В тот же вечер они сели на пароход, отправлявшийся в Неаполь.

Когда пароход снялся с якоря и вышел из гавани, а Адриана, слегка оглушенная криками и гомоном светливой толпы на причале, грохотом и скрежетом кранов и лебедок, пришла в себя, она стала смотреть, как берег уходит вдаль и все, что она видит, уменьшается в размерах: толпа на пристани и трепещущие над ней платки, суда на рейде, дома на берегу; вот уже весь город сливается в светлую туманную полосу у подножья красновато-серых гор, усеянную неяркими точками огней, — и тут она почувствовала, что опять погружается в сон, сон наяву, но при этом глаза ее все больше раскрывались от страха, по мере того как пароход, сотрясаясь всем корпусом от ритмичных ударов винтов, — того и гляди сломается, хоть он и огромный, — углублялся в безбрежное море, слитое воедино с небом.

Чезаре посмеялся над ее страхами и, взяв под руку, чего прежде никогда себе не позволяя, повел ее к тому месту на палубе, откуда можно было видеть могучие, сверкающие сталью поршни, которые приводили в движение винты парохода. Но она, и без того смущенная прикосновением его руки, не выдержала открывшегося

у ее ног зрелища, а еще более — горячих испарений, питанных запахом машинного масла, ей стало дурно, она качнулась и чуть не упала ему на грудь. Но удержалась и пришла в ужас перед силой своего неосознанного желания уступить охватившей ее слабости.

— Тебе плохо?

В голосе его звучала тревога.

Она отрицательно покачала головой — говорить не было мочи. И они, по-прежнему рука об руку, пошли на корму и стали смотреть на фосфоресцирующий след корабля в море, казавшемся черным под небом, усыпанным звездами, к которым из гигантской дымовой трубы медленно вздымались густые клубы дыма, раскаленного докрасна в топках. Довершая волшебную картину, из моря выплыла луна: сначала на горизонте показался окутанный дымкой огромный багровый лик, словно какой-то властелин в грозной тишине осматривал свое водяное царство, потом мало-помалу лик посветлел, и бескрайний морской простор засверкал серебром. И Адриана еще больше встревожилась, снова почувствовав, как неотразимо влечет и манит ее томительно-сладкое желание упасть без сил ему на грудь.

Случилось это в Неаполе, в тот момент, когда они выходили из ресторана-варьете, где поужинали и посмотрели концерт. Ее спутнику в его ежегодных путешествиях не раз случалось выходить поздно вечером из подобных заведений под руку с какой-нибудь дамой, но на этот раз, когда он по привычке предложил Адриане руку, из-под черной шляпки с пером и огромными полями сверкнул такой пламенный взгляд, что он, сам того не сознавая, крепко прижал ее руку к своей груди. Этого было достаточно. Пожар вспыхнул.

В полутьме закрытого экипажа, отвозившего их в гостиницу, они сплелись в объятии, губы их встретились в ненасытном поцелуе, и за несколько коротких мгновений они рассказали друг другу все: он узнал всю ее жизнь, сотканную из долгих лет молчания и муки. Она рассказала ему, что всегда, всегда его любила, не желая этого и не зная об этом; а он — какой желанной была она ему в юности, как он мечтал прижать ее к сердцу, быть с ней всегда! Всегда!

Это было безумие, неистовство, бушующее пламя, питаемое страстным желанием наверстать за немногие

дни, счет которым открыл смертный приговор, свои потерянные годы, годы воздержания от чувства, годы затаенных желаний; им обоим так необходимо было забыть обо всем, отрешиться от прошлого, от самих себя, какими они были по отношению друг к другу прежде, когда соблюдали внешнюю благопристойность, навязанную им жестокими нравами их городка, жителям которого их нынешняя любовь и предстоящая свадьба предстанут позорным делом, святотатством.

Свадьба? Нет. Зачем ей вынуждать его на такой непристойный в глазах окружающих поступок? Зачем связывать его какими-то узами, когда ей так мало осталось жить? Нет-нет, только любовь, любовь безумная и всепоглощающая, на весь короткий срок их путешествия, любовного путешествия без возврата, путешествия через любовь в смерть.

Она не смогла вернуться домой, к сыновьям. Она хорошо это понимала, когда садилась на пароход, она знала, что из-за моря для нее обратной дороги нет. Теперь она поедет об руку с ним дальше, как можно дальше, поедет, ни о чем не думая, без оглядки, навстречу смерти.

Они посетили Рим, Флоренцию, затем Милан, но нигде почти ничего не видели. Таившаяся в ней смерть напоминала о себе острой колющей болью и еще больше разжигала их страсть.

— Ничего! — говорила она при каждом приступе. — Ничего...

И хотя от боли лицо ее заливала смертельная бледность, она тянулась губами к его губам.

— Адриана, тебе же очень больно...

— Нет, ничего... Да что мне боль!

В последний день их пребывания в Милане, откуда они направлялись в Венецию, Адриана, перед тем как надеть платье, внимательно посмотрела на себя в зеркало. И когда, проведя ночь в пути, они вышли утром на палубу и перед ними в рассветной тишине предстал возникающий из моря город, сказочно прекрасный, величественный и вместе с тем навевающий грусть, Адриана поняла, что дальше она не поедет, что ее путешествие подошло к концу.

Она пожелала, однако, насладиться Венецией, и весь день, до глубокой ночи, они катались в гондоле, бесшумно скользившей по глади каналов. А ночью не сомкнула глаз, перебирала в памяти впечатления дня, и этот день почему-то казался ей бархатным.

Был это бархат сиденья в гондоле? Или бархат тихих тенистых каналов? Как узнаешь! Бархат внутри гроба.

Наутро, когда Чезаре отправился на почту послать письма в Сицилию, она вошла в его номер; взяла со столика вскрытый конверт, узнала почерк старшего сына и, поднеся конверт к губам, покрыла его поцелуями; потом вернулась в свой номер, достала из элегантной кожаной сумочки нетронутый пузырек лекарства, содержащего яд, легла на свою неубранную кровать и одним духом осушила пузырек.

1910 (1928)

ЖИВАЯ И МЕРТВАЯ

Тартана ¹, которую дядюшка Нино Мо назвал в честь первой своей жены «Филиппой», входила в порт Эмпедокле. Пламенел закат, прекрасный закат Средиземноморья; в сказочном великолепии огней и красок переливалась и трепетала бесконечная водная гладь. Горели стекла разноцветных домиков, сверкало мергелевое плоскогорье, отливал золотом песчаный берег, и единственным темным пятном по соседству с моллом выступали мрачные очертания древнего замка.

Минуя узкий проход между двумя рифами, матросы увидели, что вся пристань, от замка до белой башни маяка, кишит народом, и народ этот что-то кричит, размахивает беретами и платками.

Конечно, ни дядюшке Нино, ни его матросам не могло прийти в голову, что это их так встречают, — хотя, казалось, крики и бурные жесты относятся именно к ним. Должно быть, сюда вошла какая-нибудь флотилия миноносцев, сейчас она собирается поднять якоря, и население ее приветствует — ведь не каждый день удается повидать настоящий военный корабль.

Дядюшка Нино Мо на всякий случай распорядился спустить паруса и ждать пароходика, который должен был взять «Филиппу» на буксир.

Паруса спустили; тартана медленно скользила между рифами по перламутровой глади воды; и любопытные юнки проворно, как белки, полезли наверх — один на ванты, другой на самую верхушку мачты, третий на рею.

¹ Тартана — род одномачтового судна.

Вон идет буксир, очень быстро, а за ним множество лодок, и они чуть не тонут, столько в них народу набилось, кричат все, размахивают руками, показывают куда-то...

Значит, это все-таки их встречают? Столько народу? И такой шум? Может быть, тут думали, что они погибли?

Команда кинулась на нос, навстречу лодкам — скорее узнать, о чем это так кричат. Пока что можно было разобрать только одно слово:

— Филиппа! Филиппа!

Дядюшка Нино Мо спокойно стоял в стороне. Он один не выказывал любопытства, не двигался с места и невозмутимо смотрел из-под низко надвинутого берега, прищурился, как всегда, левый глаз. Этот глаз был козой. Наконец он вынул изо рта свою пенковую трубку, сплюнул, пригладил тыльной стороной руки жесткие рыжие усы и остроконечную бородку, резко повернулся к юнге и приказал звонить к вечерней молитве.

Он провел в плаваниях всю жизнь, глубоко верил в промысел божий, смиренно переносил все превратности судьбы, и крики толпы всегда его возмущали.

При первом ударе колокола он снял берет, обнажив белую кожу черепа, едва прикрытую легким рыжеватым пушком. Он перекрестился и собрался было начать молитву, как вдруг увидел, что матросы бегут к нему и орут, как сумасшедшие:

— Дядюшка Ни! Дядюшка Ни! Жена ваша! Тетка Филиппа! Жива! Вернулась!

Дядюшка Ни оторопел; он испуганно обвел их взглядом и понял, что это правда, а не наваждение. На его лице мгновенно сменили друг друга гримасы тупого непонимания, недоверия, ужаса, радости. Потом, внезапно придя в бешенство, он оттолкнул напиравших на него матросов, схватил одного из них за грудь и стал яростно трясти, крича:

— Что? Что? — И с поднятыми руками, как будто защищаясь от опасности, кинулся он к носу тартаны, навстречу прибывшим; они оглушительно кричали и махали ему руками. Он отпрянул, опасаясь подтверждения новости (а может быть, внезапного желания броситься в воду?), и опять обернулся к своим, словно просил помощь или удержать его. Жива? Как так жива? Вернулась? Откуда вернулась? Когда? Он не мог говорить, только знаками просил спустить канат, да, да, поскорей.

Канат спустили, он крикнул: «Ну, держите!», крепко ухватился за него, подтянулся и ловко, как обезьяна, вскарабкался на буксир, откуда уже протягивали ему руки.

Команда тартаны разочарованно и сердито смотрела ему вслед. Потом, боясь упустить редкое зрелище, матросы стали кричать, чтобы подобрали канат и прицепили тартану к буксиру. Никто не обратил на них внимания; все шлюпки устремились за буксиром, на борту которого дядюшка Нино Мо растерянно слушал сбивчивый рассказ о воскресении своей первой жены. Три года тому назад она поехала в Тунис к умирающей матери, и все думали, что она погибла, как и все пассажиры, — корабль пошел ко дну, — а вот, оказывается, нет, не погибла, спаслась: сутки пробыла в воде, на доске; потом ее подобрал русский пароход; по пути в Америку она сошла с ума от страха и два года восемь месяцев сидела в сумасшедшем доме в Нью-Йорке; потом выздоровела, пошла в консульство и через три дня уехала сюда — через Геную.

Дядюшка Нино Мо под градом этих фраз, сыпавшихся на него со всех сторон, моргал косыми глазами; левое веко судорожно подергивалось, и все лицо искажалось, как от уколов булавкой.

С одной из шлюпок крикнули: «Две жены завел, вот молодец!» — и грубо захохотали. Он стряхнул оцепенение и обвел толпу презрительным, недобрый взглядом. Жалкие черви! Не раз видел он из бесконечной дали моря, как они исчезают на горизонте. Вот они, сбежались, ждут не дождутся! Толкаются, орут, как бесноватые. Интересно им поглядеть на человека, которого встречают две жены. Да, им смешно, а ему-то каково! Ведь его жены — родные сестры. Как они любили друг друга! Старшая, Филиппа, заменила Розе родную мать, и после свадьбы ее не оставила, взяла к себе в дом, как дочку. Так что Роза, с самой их свадьбы, жила в его доме. И вот, когда Филиппа пропала, он подумал: «Кто ж еще будет так заботиться о маленьком?» Вот он и женился на младшей сестре, все честь честью. А теперь? Теперь что делать? Филиппа приехала, а Роза теперь его жена, и к тому же беременна, на четвертом месяце. Да, тут есть над чем посмеяться! У одного мужа две жены, да еще сестры друг другу, да еще у обоих от него дети! Вон она, вон стоит на пристани. Вон она, Филиппа! Вон она! Живая! Машет ему рукой — видно, хочет ободрить. Дру-

гой рукой обнимает беднягу Розу: та плачет, дрожит, убивается, стыдно ей. А кругом хохочут, хлопают в ладоши, беретами размахивают — ждут.

Дядюшка Нино Мо затрясся от ярости. Хоть бы утонуть, тут же, на месте! Он подумал было заставить гребцов повернуть назад. Бежать надо, далеко, подальше, навсегда. Но тут же он понял, что не сможет противостоять этой враждебной силе и этим людям. Внезапно что-то оборвалось у него внутри, в ушах зашумело, в глазах стало темно. Потом он увидел, что голова его покоится на груди воскресшей жены. Она была выше его на голову — длинная, худая, лицо у нее было смуглое, суровое, она всем походила на мужчину — жестами, голосом и походкой.

Выпустив его из объятий, она на глазах у всех толкнула его к Розе, чтобы он и ее обнял. А та, бедняжка, не сводила с него светлых, прозрачных глаз, похожих на полные слез озера. Оглушенный криками, не помня себя от стыда и горя, он с трудом подавил рыдание, наклонился к трехлетнему ребенку, взял его на руки и в бешенстве зашагал по дороге, крича:

— Домой! Домой!

Обе женщины пошли следом, а за ними, по бокам, и даже впереди, двинулась толпа. Филиппа поддерживала за плечи Розу, вела ее, защищала; ей приходилось поминутно оборачиваться, огрызаться на шутки и насмешки. Время от времени она наклонялась к сестре и громко говорила ей:

— Ну, не реви! Тебе вредно! Вот, вот так, молодец! Чего тут плакать? Все в руках божьих. Все хорошо будет. Ну, не реви, не реви, не реви ты! Все устроится. Бог не оставит.

Потом оборачивалась и кричала то тому, то другому:

— Ну что тут такого? Видите — не подрались, не поругались, все у нас тихо. Мы люди мирные.

Когда дошли до замка, пламя заката уже померкло, пурпурное небо посерело, и народ потихоньку стал расходиться. Многие зажгли фонари и свернули на широкую дорогу, в сторону города, но все-таки большая часть последовала за ними вдоль берега, мимо рыбацких хижин, в Балате, где жил дядюшка Нино. У дома все остановились — посмотреть, что же станут делать эти трое. Как будто можно было что-то решить вот так, на ходу.

Домик был низенький, без окон. И от этой толпы любопытных, сгрудившейся у дверей, в комнате стало еще

темней и еще труднее дышать. Однако ни дядюшка Нино, ни беременная его жена не посмели ничего сказать — тень этой толпы омрачала их души, и они, или по крайней мере Роза, не видели способа избавиться от этой тяжести. Только тетка Филиппа обо всем позаботилась. Она зажгла лампу, поставила ее на стол, уже накрытый к ужину, и подошла к дверям.

— Опять устались! — крикнула она. — Чего стоите? Посмотрели, посмеялись — и ладно. Мы в своих делах сами разберемся. Шли бы лучше домой.

Тогда народ стал понемногу отходить от дверей, отпуская последние шуточки. Правда, многие все-таки притаились на берегу, в темноте, поглядеть, что будет.

Любопытство было особенно возбуждено потому, что все знали безупречную честность, крайнюю богобоязненность, примерное поведение дядюшки Нино Мо и обеих сестер.

Новое доказательство этих качеств не заставило себя ждать. Всю ночь входная дверь была открыта настежь. Печально темнел морской берег, изрезанный крохотными бухтами; маслянисто поблескивала плотная, темная вода; уныло торчали черные рифы, разъеденные приливом, липкие, поросшие водорослями, иногда одинокая волна перекатывалась через них и сразу же катилась обратно, низвергаясь маленьким водопадом. И всю ночь из дверей хижины струился желтый свет лампы. Всякий, кто проходил мимо открытой двери, мог видеть, что сперва все четверо ужинали; потом обе женщины стояли на коленях, а дядюшка Нино сидел у стола, подперев рукой щеку, и все молились; потом ребенок лежал, скорчившись, на супружеском ложе, вторая жена, беременная, примостилась на полу, склонив голову на тюфяк, а те двое, дядюшка Нино и тетка Филиппа, тихо беседовали за столом, друг против друга; потом они присели на пороге, и все говорили, тихо-тихо, в темноте, при слабом свете звезд, под медленный плеск воды.

Наутро дядюшка Нино и тетка Филиппа, никому не сказавшись, отправились искать жилище. Они сняли лачужку на самом краю селения, по дороге на кладбище, в горах; перевезли туда кровать, столик, два стула, а к вечеру и саму Розу, вторую жену, беременную. Роза заперла двери, а они молча вернулись домой, в Балате.

Вся округа жалела Розу. Нехорошо они сделали! Вышвырнули женщину из дому! Одну, в таком положении. Подумать только, в таком положении! И как у них духу

хватило? Разве она в чем провинилась? Конечно, закон так велит... только какой закон? Турецкий это закон! Нет, нет уж, бог свидетель, не по совести они поступили! Не по совести!

Многие тут же отправились поговорить с дядюшкой Нино. Он ходил по пристани, наблюдал за погрузкой (тартана готовилась к плаванию) и был еще мрачнее, чем всегда.

Он не остановился, даже не обернулся — только нагнул свой берет на самые глаза (один глаз открыт, другой закрыт) и, не выпуская изо рта трубки, резко пресек все требования и обвинения:

— Не ваше дело!

Сухо обошелся он и с теми, кого называл «начальством» — с маклерами, торговцами, лавочниками. Правда, с ними он все-таки был чуть помягче:

— Всяк по-своему живет, синь о р, — говорил о н . — Это дела семейные. В таких делах один бог судья.

Через два дня он ушел в плавание; но даже своей команде не сказал ничего.

Пока его не было, сестры жили вместе, в старом доме. Жили они дружно, мирно, вместе возились по хозяйству и смотрели за мальчиком. А на расспросы соседей разводили руками, поднимали глаза к небу и печально улыбались:

— Как бог велит, кума.

— Как бог велит, куманек.

Вместе отправились они на пристань встречать тартану. Малыш шел посередине. На этот раз любопытных было немного. Сойдя на берег, дядюшка Нино поздоровался с обеими сестрами, молча поцеловал сына, взял его на руки и пошел к дому; жены отправились следом. Но теперь в дом вошла Роза, вторая, беременная. А Филиппа с мальчиком тихо ушли в домик, что по дороге на кладбище.

И тут вся округа поняла, что Розу жалеть нечего — никто ее не обижал. Все пришли в ярость. Возмущала разумная простота этого решения. Правда, сперва открытие ошеломило всех, потом — рассмешило. Но, посмеявшись, все возмутились. В глубине души никто не мог отрицать, что лучше не придумаешь — ведь ни одна не обманывала, ни одна не виновата, обе законные его жены перед богом и перед людьми. Особенно раздражало полное спокойствие, согласие, глубокое смирение набожных сестер. Они не ревнуют, не завидуют. Понятно,

розе ревновать нечего; она сестре всем обязана, и потом, как ни говори, она все-таки завладела чужим мужем. Вот Филиппа — другое дело. Хотя и Филиппе обижаться не на что, Роза ее не обманывала и ни в чем перед ней не провинилась. Так как же тогда? Значит, обе они соблюдали святость брака, обе верны своему долгу по отношению к хозяину, кормильцу. Кстати, сам он домой почти не заходил, на суше бывал дня два-три в месяц.

Да, тут ничего не скажешь. Все честь по чести... А все-таки — хоть и честно, хоть и мирно они порешили — что-то тут не так.

И как только дядюшка Нино вернулся во второй раз, мировой судья вызвал его к себе, чтобы сообщить ему со всей строгостью, что двоеженство преследуется законом.

Прежде чем идти к судье, дядюшка Нино посоветовался с адвокатом, и потому выслушал наставления с обычной своей невозмутимостью. Потом он возразил, что в данном случае о двоеженстве говорить нельзя, поскольку в бумагах сказано, что первая жена умерла, и по закону у него только одна жена, Роза. «А превыше закона человеческого, — заключил он, — есть закон божеский, и я из него не выходил».

Были у него неполадки и в мэрии, куда каждые пять месяцев он аккуратно являлся регистрировать рождение ребенка. «Это — от мертвой». «Это — от живой».

Когда он пришел в первый раз — зарегистрировать ребенка от Розы, все сошло хорошо. Филиппа недавно приехала и по закону числилась мертвой. Но как быть со вторым, через пять месяцев, от Филиппы? Она ведь мертвая. Так что или тот незаконный, или этот.

Дядюшка Нино Мо почесал затылок, сдвинул берет на самый нос и сказал чиновнику:

— А... прошу прощенья, нельзя будет его записать как будто от второй?

Чиновник удивленно уставился на него:

— Как так от второй? Да ведь пять месяцев только прошло...

— Это верно, это верно, — согласился дядюшка Нино, скребя в затылке. — Как же тут быть?

— Как тут быть? — вскипел чиновник. — Это вы меня спрашиваете, как быть? А вы кто такой будете? Султан? Паша? Может быть — бей? Кто вы такой, интересно знать? Надо было раньше думать, черт вас дери, а не морочить мне голову! Сами хороши!

Дядюшка Нино Мо отшатнулся от него и ткнул себя пальцем в грудь:

— Я? — закричал он. — А что же мне делать, если на то воля божья?

Тут чиновник рассвирепел:

— Бог! бог! бог! Все бог да бог! Умер кто — бог взял! Не умер — бог помиловал! Ребенок родился — бог послал! Две жены завел — тоже бог! Да хватит вам все на бога валить! Черт вас дери, приходите хотя бы раз в девять месяцев. Я вам всех запишу, все будут законные!

Дядюшка Нино Мо выслушал его спокойно. Потом сказал:

— Это уж от меня не зависит. Вы делайте, как вам будет угодно. Я свой долг выполнил. Честь имею.

И каждые пять месяцев он выполнял свой долг, твердо веря, что такова воля божья.

1910 (1928)

БОЯЗНЬ СЧАСТЬЯ

Задолго до того, как Фабио Ферони окончательно потерял былую рассудительность и внезапно надумал жениться, он из года в год отдыхал от трудов дневных не на прогулках или в кафе, как другие, а на террасе своего холостяцкого жилья, где с интересом и любовью наблюдал, в полном одиночестве, за жизнью мух, пауков и муравьев, что так и кишели среди расставленных тут и там цветочных вазонов.

С особым удовольствием помогал он вот уже который год старой черепахе в ее бестолковых попытках забраться, с тупым упрямством, на первую из трех ступенек, ведущих с террасы в комнатку, которая служила ему столовой.

— Как знать, — не раздумалось Ферони, — как знать, что за радости чуются ей в этой комнатке, если она столько лет так настойчиво старается туда добраться!

Но вот беда, как только черепаха, собрав последние силы, вставала наконец во весь рост на высоту ступеньки и, вцепившись кривыми лапками в ее край, начинала с отчаянным трудом подтягивать туловище, она внезапно теряла равновесие и падала, опрокинувшись на свой шершавый панцирь.

И хотя Ферони был твердо уверен, что, если черепахе и удастся одолеть первую, и вторую, и третью ступеньку и сделать круг по столовой, ей все равно захочется вернуться вниз, на щебеночный пол террасы, он частенько поднимал ее и осторожно ставил на первую ступеньку в награду за многолетнее тщетное упорство.

К своему изумлению, он обнаружил, что черепаха, то ли со страху, то ли из недоверия, ни разу не воспользовалась его помощью; она втягивала лапки и голову под панцирь, долго лежала неподвижно, как камень, а потом, тихонько повернувшись, подползала к краю ступеньки, явно показывая, что хочет спуститься.

И он ставил ее на пол, а вскоре черепаха снова бралась за свой нескончаемый труд — пыталась вскарабкаться на первую ступеньку.

— Вот скотина! — воскликнул Ферони, когда это случилось в первый раз.

Но потом, хорошенько поразмыслив, он понял, что обругал скотиной животное, как обругал бы человека,

В самом деле, он ведь обругал черепаху скотиной во все не за то, что она, после многолетних стараний, все еще не могла взять в толк, что ступенька слишком высока и, стоит ей выпрямиться во весь рост, она неизбежно потеряет равновесие и опрокинется на спину, — нет, он обругал черепаху за то, что хотел помочь ей, а она от помощи отказалась.

Что же следовало из этих размышлений? А вот что: обзывая в подобном случае человека скотиной, ты жестоко оскорбляешь животных, принимая за глупость их честность или инстинктивную осторожность. Ты обзываешь скотиной человека, отказавшегося от твоей помощи, ибо не положено хвалить человека, если он поступает честно, как животное.

Все это общие рассуждения.

У Ферони были особые причины возмущаться честностью или осторожностью, как их там не называй, этой старой черепахи, и он чуть ли не радовался, когда она так нелепо и отчаянно барахталась впустую, лежа на спине, пока наконец ему не надоедало смотреть на ее мучения и он не преворачивал ее здоровенным пинком.

Никто никогда в жизни не протянул ему руку помощи, когда он пытался забраться повыше.

И все же это, по сути дела, не очень огорчало бы Фа-

био Ферони, отлично знавшего, какой эгоизм порождают в человеке суровые житейские трудности, если бы на его долю не выпало куда более плачевное испытание, давшее ему, казалось, право ждать помощи или хотя бы сострадания окружающих.

Вот что это было за испытание: как бы усердно ни стремился он к намеченной цели, как бы ни напрягал все свои душевные силы, действуя осмотрительно, терпеливо и упорно, всякий раз именно в тот миг, когда он был уже на подходе, коварный случай выскакивал ему наперерез, как чертик из табакерки, и он кувыркком катился вниз точь-в-точь как эта самая черепаха.

Жестокая игра. Дунет, щелкнет, встряхнет, как раз когда дело пошло на лад, и все летит вверх тор-машками!

Только не говорите, что эти внезапные крушения не слишком заслуживали сочувствия, оттого что желания были весьма скромными. Во-первых, не всегда они были такими скромными, как в последнее время. К тому же... да, конечно, чем выше заберешься, тем больше падать — но разве не равны по ощущению падение муравья с пересохшего стебелька высотой в две пяди или человека с колокольни? Не говоря уж о том, что чем скромнее желания, тем более жестокими следует считать эти шуточки случая. Нечего сказать, хороша забава — напасть на муравья, иначе говоря — на беднягу, если тому годами не везет и он изощряется, как умеет, всеми правдами и неправдами, чтобы изобрести и пустить в ход какое-нибудь жалкое средство, которое хоть немного улучшит его положение, захватить его врасплох и в единый миг уничтожить все его хитроумные уловки, давным-давно выстраданную надежду, висящую на ниточке, что становится все тоньше, по мере того как потихоньку подбираешься к цели! Перестать надеяться, перестать мечтать, перестать чего-либо желать, брести себе вперед в полной покорности, целиком отдавшись на милость судьбы, — вот единственное, что ему оставалось; и Фабио Феро-- хорошо это понимал; но, увы, надежды, желания и мечты, как назло, неумолимо возрождались снова; сама жизнь разбрасывала эти семена повсюду, и на его почву они падали тоже, и как ни приморозили ее пережитые беды, она не могла отказать им в приюте, не могла помешать им пустить слабенькие корни, а затем и чахлые ростки, печально и робко дрожавшие во мраке и холоде его недоверия к жизни.

Проще всего было бы ему притворяться, что он не замечает их, или уверять себя, что неправда, будто он надеется на то-то, желает того-то или позволяет себе хоть чуточку помечтать о том, что эта надежда, это желание может когда-либо сбыться. Просто он живет себе да живет, как бы вовсе ни на что не надеясь, ничего не желая, ни о чем не мечтая; но на самом-то деле он украдкой поглядывал на эту надежду, это желание, эту затаенную мечту, очень серьезно следя за ними, чуть ли не тайком от самого себя.

Когда же случай, как всегда, внезапно, но неизбежно подставлял мечтам подножку, Ферони, разумеется, вздрагивал от неожиданности, но тут же делал вид, будто всего только передернул плечами, криво усмехался и заливал боль горьким, как морская вода, утешением, говоря себе, что ничуть не надеялся, ничегошеньки не ждал и вовсе ни о чем не мечтал, а поэтому чертов случай на сей раз — нет, на сей раз случай его не околпачил!

— Да все понятно! Все понятно! — говорил он в такие минуты друзьям, знакомым, сослуживцам по библиотеке, где он работал.

Друзья смотрели на него, не понимая толком, что, собственно, понятно.

— Да разве вы не видите? Министерство пало! — объяснял Ферони. — И все понятно!

Казалось, будто он один понимает самые нелепые и неправдоподобные вещи, с тех пор как ни на что больше, так сказать, всерьез не надеялся, но лелеял, от нечего делать, некие призрачные надежды, которые мог бы иметь, но не имел, мечты, которыми мог бы обольщаться, но не обольщался; он стал устанавливать самые таинственные причинно-следственные связи событий с любовью своей чепухой; сегодня причиной было падение министерства, завтра — приезд шаха персидского в Рим, послезавтра — перерыв в подаче электрического тока, отчего половина города на полчаса погрузилась во тьму.

Словом, Фабио Ферони окончательно помешался на том, что он называл прыжками чертика из табакерки; а вследствие этого помешательства он подпал под власть самых причудливых суеверий и, совсем позабыв прежние спокойные философские рассуждения, удивлял всех странными выходками и необъяснимыми чудачествами.

В один прекрасный день он женился — неожиданно-негаданно, без всяких размышлений, чтобы случай не успел опрокинуть все вверх тормашками.

По правде говоря, он уже давненько поглядывал (как всегда, украдкой) на эту синьорину Малези, жившую неподалеку от библиотеки; и чем красивей и милей казалась ему Дрзета Малези, тем чаще твердил он направо и налево, что она дурнушка и жеманница.

Так как невеста сетовала на его торопливость, хоть ей и самой не терпелось поскорей выйти замуж, Ферони сказал ей, что давным-давно готовился к этому событию; и дом уже обставил так-то и так-то, только пусть она обещает не ходить туда заранее, это будет для нее прекрасным сюрпризом к свадьбе; он ни за что не хотел сказать, на какой улице находится этот дом, боясь, как бы она потихоньку не пошла одна, либо с матерью, либо с братом, поглядеть на него — уж больно соблазнительно описывал он ей, в мельчайших подробностях, какие в доме удобства, какой вид из окон, какую мебель он приобрел и с любовью расставил во всех комнатах.

Долго обсуждали они предстоящее свадебное путешествие: куда ехать? Во Флоренцию? В Венецию? Но когда дошло до дела, Ферони увез жену в Неаполь, в полной уверенности, что обманул случай, погнал его во Флоренцию и в Венецию, пусть там шныряет из одной гостиницы в другую, чтобы отравить ему радости медового месяца, а он меж тем спокойно насладится им, спрятавшись в Неаполе.

И Дрзета, и родные ее были изумлены его неожиданным решением ехать в Неаполь, хотя уже несколько привыкли к подобным сменам настроения и планов. Но они и не подозревали, какой сюрприз их ждет после свадебного путешествия.

Где же этот домик, гнездышко, давным-давно приготовленное и столь тщательно описанное? Где? В грезах, предназначенных случаю, как все, что делал теперь Фабио Ферони, — пусть теперь случай позабавится, пусть попробует по злой своей воле разрушить этот домик, выкинув какой-нибудь непредвиденный фокус. Вот и оказалась Дрзета по приезде в Рим в двух меблированных комнатах, наспех выбранных ее супругом среди бесчисленных объявлений в газете, пока они ехали в поезде.

На этот раз ярость и негодование смели все преграды, установленные хорошим воспитанием и недолгим знакомством. Дрзета и ее родные кричали, обвиняя его

в обмане, более того — в мошенничестве. Зачем было лгать? Зачем было описывать прекрасно обставленный дом со всеми удобствами, зачем?

Фабио Ферони, готовый заранее к этим нападкам, терпеливо ждал, пока утихнет первый порыв бури, радостно улыбался и, старательно нацелившись, выдергивал то один, то другой волосок из носа.

Дрзета плачет? Ее родные бранят его? Вот и хорошо, вот и хорошо, это ему за счастье, пережитое в Неаполе, это ему за любовь, переполнявшую его душу. Вот и хорошо, что так получилось.

Из-за чего, собственно, льет слезы Дрзета? Из-за дома, которого нет? Подумаешь, велика беда! А что, если бы он был?

Он объяснил ее родным, почему не подготовил домик заранее и почему солгал: объяснил, что солгал он, кстати, по их вине — не надо было приставать, к нему с расспросами, когда он в самом начале заявил, что у него все давно подготовлено и что он хочет сделать замечательный сюрприз молодой жене. А приготовил он деньги, вот они: двадцать тысяч лир, скопленные, собранные за столько лет, ценой таких усилий; и вот какой сюрприз он готовил Дрзете: он отдаст ей эти деньги из рук в руки, чтобы она сама, и только сама, устроила их гнездышко по своему вкусу, такое, как полагается в жизни, а не в грезах. Но только, бога ради, пусть она ни в коем случае ни в чем не следует описанию домика, придуманному им в свое время; пусть он будет совсем другим; пусть она выберет его с помощью мамы и брата; он же сам и знать об этом ничего не хочет; ведь если он, хотя бы в самой малой степени, одобрит тот или иной ее выбор и обрадуется ему — пиши пропало! И наконец, он должен их предупредить: им следует выбросить из головы надежду на то, что ему будет приятен купленный и обставленный ими дом, потому что с этой минуты ему в любом случае все будет неприятно, весьма неприятно!

То ли по этой причине, то ли благодаря сердечному отношению хозяев дома, где они жили, благодушных старичков с перезрелой дочерью, Дрзета не торопилась вить гнездышко. С хозяевами договорились, что они съедут, как только у них родится первый ребенок.

Однако в первые месяцы супружеской жизни Дрзета тайком заливалась слезами, потому что, искренне желая угодить мужу, она еще не понимала, что говорит он прямо противоположное тому, чего хочет сам.

А желания Фабио Ферони, по сути дела, сводились к одному — порадовать чем-то свою женушку; но, зная, что, стоит ему высказать вслух какое-нибудь желание и привести его в исполнение, случай поспешит вывернуть все наизнанку, он из предосторожности говорил и делал как раз противоположное тому, что желал, и молодой жене приходилось не сладко. Когда же она наконец это заметила и начала ему потакать, то есть делать все ему наперекор, признательность, любовь и восхищение Фабио Ферони достигли предела. Но бедняга, разумеется, поостерегся и не проявил своих чувств — ведь счастье наконец улыбнулось ему и это уже его пугало.

Как скрыть переполняющую его радость?

Как притворяться недовольным?

А когда он смотрел на свою малютку Дрзету, ожидавшую ребенка, глаза его застилала слезы нежности и благодарности.

В последние месяцы беременности жена с мамой и братом наконец занялись домиком. Тревога Фабио Ферони день ото дня становилась все мучительней. Он обливался холодным потом, когда жена с восторгом хвалилась покупкой нового предмета обстановки.

— Иди посмотри... иди же, посмотри! — говорила ему Дрзета.

Он готов был обеими руками закрыть ей рот — слишком велика была радость, нет, не радость, а счастье пришло наконец-то, настоящее счастье. Значит, с минуты на минуту должна стрястись беда, иначе и быть не могло. И Фабио Ферони все чаще бросал во все стороны быстрые косые взгляды, чтобы вовремя заметить и предотвратить каверзы случая, каверзы, быть может гнездящиеся даже в любой пылинке; и он бросался наземь и на четвереньках, по-кошачьи преграждал дорогу жене, если там валялась какая-то кожа, на которой могла поскользнуться ее ножка. Как знать, может быть в этой кожуре и скрыта каверза! А может быть... да, конечно, здесь, в птичьей клетке... Как-то раз Дрзета уже залезла на табуретку, чтобы насыпать конопляное семя в чашечку, и могла ведь упасть. Долой канарейку! А когда Дрзета, в слезах, не хотела ее отдать, Фабио Ферони ошетинился, как рассерженный кот, и заорал:

— Ради бога, прошу тебя, не мешай мне! Не мешай!

А вытаращенные глаза его так и бегали туда-сюда, так и горели — смотреть было страшно.

И вот наконец однажды ночью она застала его в ру-

башке, со свечой в руке, когда он разыскивал каверзы, подстроенные случаем, в столовой, среди кофейных чашечек, расставленных кверху дном на буфетной полке.

— Фабио, что ты делаешь?

Он приложил палец к губам и прошептал:

— Тсс... тихо! Докопался! Ей-богу, на этот раз докопался! Теперь уж он меня не облапошит!

Вдруг что-то пробежало по его босым ногам — не то мышь, не то дуновение ветерка, не то таракан, только Фабио Ферони испустил отчаянный вопль, подскочил, запрыгал, как козел, и схватился за живот, крича, что вот он тут, тут, чертик из табакерки, тут, у него, внутри, внутри, в животе! И давай носиться вскачь в одной рубашке по всему дому, потом вниз по лестнице, а потом и по безлюдной улице, с криком, с хохотом, а перепуганная Дрзета звала из окна на помощь.

1911 (1925)

КРАСНАЯ КНИЖЕЧКА

Низия. Деловитый и суетливый городишко, узкая песчаная полоса, берег Тунисского пролива.

Не только люди рождаются не к месту и не ко времени. Города тоже вырастают не там, где хотелось бы, а там, где их порождает какая-нибудь естественная потребность человеческой жизни. И если в какое-то место эта самая потребность сгоняет слишком много людей, а потом еще от них слишком много нарождается детей и внуков, а место ограничено, то город волей-неволей растет не так, как надо.

Низия могла расти, только громоздя дом на дом и таким путем карабкаясь вверх по крутой мергелевой террасе, которой кончалось плоскогорье, грозно нависавшее над морем сразу за городом. Низия могла бы вольготно раскинуться там, наверху, на обширном плоскогорье, но тогда она оказалась бы далеко от прибрежной полосы. Пожалуй, если бы там и поставили дом, то в один прекрасный день он, нахлобучив шляпу из красной черепицы и закутавшись в плащ из белой штукатурки, спустился бы к морю, словно подросший гусенок. Потому что именно на прибрежной полосе рождается жизнь.

На плоскогорье жители Низии устроили кладбище. Там, наверху, — покой и отдохновение. Для мертвых. — Отдохнем наверху, — говорят низийцы.

Они говорят так потому, что внизу, у моря, отдыха не знают; там среди грохота и пыли грузят серу, уголь, лес, зерно, солонину — какой уж тут отдых! Кто хочет отдохнуть — пожалуйте наверх; они туда и отправляются после смерти, а пока живы, тешат себя мыслью, что отдохнут, уйдя в лучший мир.

Что ж, неплохое утешение.

Жители Низии, несомненно, заслуживают снисхождения: не так просто сохранять честность, когда живешь не там, где хотелось бы.

В их тесных домишках, вернее, лачугах, конурах царит такое острое и влажное зловоние, что от него малопомалу подмокает и портится самая стойкая добродетель. Это разложение добродетели, то есть эту вонь, создают свиньи и куры, а нередко и какой-нибудь облезлый ослик. Дым не находит выхода из этих халуп, застаивается, покрывая копотью потолок и стены. Какие недовольные гримасы строят святые на почерневших лубочных картинках, развешанных по этим стенам.

Мужчины почти не замечают ни вони, ни копоти — они закрубели и очерствели в повседневном труде на пристани или на судах; женщины — замечают, замечают и злятся, и, видимо, не находя возможности дать другой выход своей злости, рожают. Бог ты мой, сколько у них детей! У той — двенадцать, у другой — четырнадцать, у этой — шестнадцать... Правда, вырастить удастся только трех или четырех. Но те, что умирают в пеленках, помогают поднять этих трех или четырех, которым повезло, а может, и не повезло, трудно сказать; а помощь эта заключается в том, что каждая мать, потеряв грудного младенца, тотчас отправляется в приют и приносит другого — подкидыша, а с ним и красную книжечку, по которой несколько лет можно получать в городской управе тридцать лир в месяц на прокорм приемыша.

В Низии все торговцы холстом и прочей мануфактурой — мальтийцы. Если кто из них и родился в Сицилии — все равно мальтиец. «Пойти к мальтийцу» в Низии означает: пойти купить какой-нибудь материи. Эти мальтийцы не только орудуют метром, но ведут дела и повыгодней: они перекупают красные книжечки, давая за них

товару на двести лир — как раз приданое для невесты. В Низии почти все девушки так выходят замуж: с помощью красных книжечек, за которые их матери должны кормить подкидышей грудью.

Любо посмотреть, как в конце месяца процессия тучных и молчаливых мальтийцев в вышитых чувяках и черных шелковых шапочках, с синим платком в одной руке и серебряной или костяной табакеркой — в другой направляется к зданию городского муниципалитета, где каждый предъявит десять, а то и пятнадцать красных книжечек. Садятся рядышком на скамью в пыльном коридоре, где открывается окошко отдела вспомоществования сиротам, и ждут своей очереди, мирно поддремивая, нюхая табак или лениво отгоняя мух. Обычай выплачивать алименты мальтийцам существует только в Низии.

— Маренга Роза! — выкликает инспектор городской управы.

— Здесь! — отвечает мальтиец.

Маренга Роза де Николао — особа, хорошо известная муниципалитету Низии. Двадцать с лишним лет почти без перерыва питает она лихоимство мальтийцев этими самыми красными книжечками. Сколько детей умерло у нее в грудном возрасте? Она и сама не помнит. Вырастила она четырех дочерей. Трех выдала замуж. Теперь на выданье четвертая.

Но трудно сказать, годится ли еще Маренга Роза в кормилицы или же она — выжатый лимон. Так что мальтийцы, с которыми она имела дело, выдавая замуж первых трех дочерей, выказали ей недоверие, когда зашла речь о четвертой.

— Ньора Розилла, вам его не выкормить.

— Это я-то не выкормлю? Я?

Ее обидели в ее достоинстве породистой самки, которая столько лет давала приплод, и груди ее не оскудевали; но поскольку спорить с молчаливыми мальтийцами — пустое дело, она отводила душу, надсаживаясь криком у дверей их лавок.

Если приют доверил ей подкидыша, разве это не признание ее способности выкормить малыша?

Но в ответ на этот довод мальтийцы, сидя в тени за прилавком, только кривили губы в улыбке и покачивали головой.

Как видно, не доверяли они ни врачу, ни члену городской управы, ответственным за приютских подкидышей. Даже более того: мальтийцы прекрасно понимали, что, с точки зрения врача и члена городской управы, выдать замуж дочь с помощью красной книжечки — задача гораздо более важная для матери, чем воспитание подкидыша, который если и умрет — что за беда! Кто станет по нем плакать и убиваться?

Дочь — это дочь, а подкидыш — он и есть подкидыш. Если девицу не выдать замуж, она, чего доброго, примется умножать число подкидышей, о которых придется заботиться опять-таки муниципалитету.

Но если для муниципалитета смерть подкидыша — благо, для мальтийца она — по меньшей мере потеря прибыли, даже если ему и удастся выцарапать обратно выданный под красную книжечку товар. Поэтому нередко в вечерний час мальтийцы под видом прогулки отправляются на разведку в грязные переулки, где кишат голые дети, загорелые и чумазные, вперемешку со свиньями и курами, где с порога своих хибар переговариваются друг с другом, а чаще — ругаются все их клиентки, поставщицы красных книжечек. Мальтийцы пекутся о подкидышах не меньше, чем эти женщины — о свиньях.

Один мальтиец всех переплюнул тем, что раз в день посылал собственную жену кормить грудью особенно хилого подкидыша.

Ну так вот: Роза Маренга нашла наконец мальтийца — не бог весть какого, новичка, но он посулил ей за красную книжечку товару хоть и не на двести лир, как обычно, а все же — на сто сорок. Жених и его родичи согласились, и был назначен срок свадьбы.

И вот голодный подкидыш, подвешенный в чем-то вроде мешка к упругому шесту, засунутому за балку в углу конуры, орет с утра до вечера, а Туцца, дочь Розы Маренги, невеста, кокетничает с женихом, хихикает, шьет приданое и время от времени дергает за веревку, привязанную к импровизированной люльке, качает ее:

— А-а-а, маленький, а-а-а! Ну что за еретёнок такой!

«Еретёнок» — уменьшительное от «еретик» и должно означать: «беспокойный, капризный, несносный и неугомонный». Не правда ли, мягко, по-христиански, осуждает она ересь младенца? Немного молока — и малыш стал бы правоверным католиком. Но у мамы Розы его так мало...

Чего доброго, отчаянный крик младенца будет провожать Тущу и в тот день, когда она пойдет к венцу, что подделаешь. По чести говоря, если бы ей не нужно было выходить замуж, мама Роза на этот раз не взяла бы подкидыша. Она взяла его ради нее, малыш ради нее исходит криком, он кричит, чтобы она могла заниматься любовью. Любовь — такая могучая сила, что из-за нее не услышишь и воплей голодного ребенка.

Жених, кстати, работает в порту грузчиком, освобождается поздно, и, если вечер тихий, все трое — мать, дочь и жених — идут на плоскогорье упиться лунным светом, а младенец продолжает орать в темноте, один в пустой лачуге. Своим криком он изрядно докучает соседям, и те единодушно предрекают ему скорую смерть как избавление от мук. Надолго ли хватит духу, если так кричать с утра до ночи.

Даже борова донимает подкидыш своим криком: тот фыркает и сердито сопит; беспокойно шевелятся забившиеся под печь куры.

О чем квочнут меж собой куры? Среди них есть такие, кому доводилось в свое время высиживать цыплят и ходить с выводком, эти не раз испытали тревогу, когда слышали издали отчаянный писк заблудившегося цыпленка. В таких случаях клуша мечется в панике, хлопая крыльями и топорща свой гребень, и не успокоится, пока не отыщет запропадившегося птенца. Так почему же мать вот этого цыпленка, который наверняка тоже заблудился, не бежит сломя голову на его отчаянный писк?

Курица глупа — она высиживает и яйца, снесенные другими курами, если их ей подложат, а потом не может отличить цыплят, вылупившихся из этих чужих яиц, от тех, что вылупились из ее собственных, она их любит и пестует, как своих. Курам неведомо, что человеческому птенцу кроме тепла материнского тела нужно еще и молоко. А вот боров это знает, потому что и ему когда-то нужно было молоко, и он его получал, ого, сколько получал! Потому что его мать, хоть она и свинья, подставляла ему соски в любое время дня и ночи — соси до отвала. Вот почему борову не понять, как это можно поднимать такой визг из-за того, что тебе не дают молока, вот почему он возится в темноте хлева и сердито хрюкает на человеческого детеныша, орущего в люльке, он тоже считает его «еретиком».

Хватит, малыш, дай уснуть сытому борову, его клонит ко сну, не мешай спать курам и соседям. Поверь, ма-

ма Роза дала бы тебе молока, если бы оно у нее было, но его нет. Тебя не пожалела твоя настоящая, никому не известная мать, откуда же взять жалость этой женщине, которой нужно жалеть собственную дочь? Дай ты ей подышать воздухом там, наверху, после дня тяжкого труда, дай насладиться счастьем влюбленной дочери, которая гуляет при лунном свете под руку с женихом. Знал бы ты, какое лучезарное покрывало, усыпанное блестками росы и звонкими серебряными искрами, стелет там, наверху, луна! И как среди этого очарования и волшебства в душе рождается жалость, тяга к добру. Туцца дает сама себе зарок быть нежной матерью своим будущим детям.

Перестань, бедняжка, ну сунь в рот собственный палец и соси его, соси, пока не уснешь! Палец? О боже! Что это? Большой палец левой руки у тебя так распух, что почти не лезет в рот! Он один такой огромный на твоей озябшей скрюченной ручонке; он — единственная крупная часть твоего тщедушного тельца. Через этот палец, засовывая его в рот, ты сам себя высосал, так что остался только скелетик, обтянутый кожей. Как это ты еще находишь в себе силы, чтоб так кричать?

Вот чудеса! Как-то вечером мать, дочь и жениха по возвращении с лунных ванн встречает полная тишина.

— Тише вы, тише! — просит Роза влюбленных, которые остановились у дверей поболтать.

Они и без того разговаривают тихо, только Туцца вдруг прыскает, оттого что жених шепнул ей на ухо какое-то словечко, а может, и поцеловал, в темноте не разберешь.

Мама Роза, войдя в лачугу, сразу направилась к колыбели, прислушалась. Тишина. Призрачный свет луны протянулся по земляному полу от двери до печки, под которой спали куры. Одна из кур беспокойно шевельнулась и тихонько заклохотала. Черт ее подери! И черт подери пьяницу мужа, который как раз вернулся из кабака и, обходя влюбленных, шмякнулся о дверь.

Но что это? Шум не разбудил ребенка. А ведь он всегда спит так чутко, что стоит пролететь мухе — он уже проснулся. Мама Роза озабочена. Она зажигает лампу, заглядывает в колыбель, потом протягивает руку к лобку ребенка и вдруг вскрикивает.

Туцца подбегает к матери, смущенный жених остается у двери. Что там кричит ему мама Роза? Зачем ей нуж-

но, чтоб он бежал скорей к колыбели и оборвал веревку, которой она привязана к шесту у потолка? Для чего? Да ну скорей же, скорей! Уж мама Роза-то знает, для чего. Но парень словно оцепенел от жуткого безмолвия младенца и продолжает столбом стоять у двери, мрачно и хмуро глядя на женщин. Тогда мама Роза, опасаясь, что вот-вот сбегутся соседи, сама залезает на табурет и, крикнув Туцце, чтобы та поддержала тельце ребенка, обрывает веревку.

Какое несчастье! Какое несчастье! Веревка оборвалась неизвестно отчего! Веревка оборвалась, ребенок выпал из люльки и убили. Убили насмерть. Они нашли его на полу, он был уже холодный. Какое несчастье! Какое несчастье!

Всю ночь, даже когда сбежавшиеся на ее крики соседки разошлись по домам, Роза плакала и причитала; и едва забрезжило утро, принялась снова рассказывать о несчастье всякому, кто появлялся у дверей.

Упал, говорите? Да на тельце-то ни синяка, ни ссадины. Но уж такое худое, что страх смотреть, только на левой ручке большой палец раздулся, как пузырь!

Врач, осмотревший труп ребенка, скорчил презрительную гримасу, пожал плечами и ушел. Соседи в один голос утверждали, что ребенок умер с голоду. Жених, понимая, должно быть, в каком горе его невеста, не показывался. Зато пришли его мать и замужняя сестра, пришли как раз в тот момент, когда в лачугу ворвался разъяренный мальтиец, этот новичок в своем ремесле, и стал требовать обратно выданное под красную книжечку приданое. Роза Маренга кричала, рвала на себе волосы, била кулаком в грудь, распахнула кофточку, дабы наглядно доказать, что есть-таки у нее молоко, взывала к милосердию, умоляла мальтийца пожалеть бедную невесту и ради всего святого подождать до вечера, пока сама она не побывает у синдика, у члена городской управы и у приютского врача, ну ради всего святого! Так она и пошла в муниципалитет: растрепанная, не переставая кричать и размахивать руками, а мальчишки свистели и улюлюкали ей вслед.

Возбужденные и взволнованные соседи толпой окружили мальтийца, который остался караулить свое добро. Мать и сестра жениха тоже остались — посмотреть, чем все это кончится. Какая-то сердобольная соседка вошла в лачугу и с помощью Туццы, утопавшей в слезах, обмыла и обрядила новопреставленного младенца.

Ожидание было долгим; устали соседи, устали родные жениха, и все пошли по домам. Непокколебимый мальтиец остался на страже. Все снова собрались у дверей лачуги под вечер, когда подъехали похоронные дроги, которые прислали городские власти для похорон подкидыша.

Его положили в еловый гробик и уже подняли, чтобы водрузить на катафалк, когда под насмешливые взгляды, крики удивления и свистки через толпу прошла торжествующая, сияющая Роза Маренга с другим подкидышем на руках.

— Вот! Вот! — крикнула она, издали показывая ребенка дочери. Та улыбнулась сквозь слезы, а катафалк медленно потащился в гору — на кладбище.

1911 (1928)

ПОЙ-ПСАЛОМ

И вы приняли сан священника?
— Нет. Я дошел лишь до звания иподиакона, то есть псаломщика.

— Псаломщика? А что делает псаломщик?

— Поет псалмы; держит книгу перед дьяконом, когда тот читает Евангелие; подносит чашу со святой водою во время мессы, держит дискос¹, завернув его в полотно, во время литургии...

— А-а, так вы читали из Евангелия!

— Нет, синьор. Евангелие читает дьякон. А псаломщик поет псалмы.

— И вы пели псалмы?

— А как же? Коли ты псаломщик — пой псалом.

— Пой псалом?

— Пой псалом.

Что в этом было смешного?

Старый доктор Фанти задавал эти вопросы Томмазино Унцио, только что покинувшему семинарию из-за утраты веры, в кругу местных бездельников, расположившихся за столиком перед аптекой на просторной площади, где ветер шуршал опавшими листьями, которые то загорались осенними красками в лучах солнца, то блекли в тени набегающих облаков. Получив ответ, доктор

¹ Дискос — металлический кружок, которым закрывается чаша со святой водой.

состроил такую гримасу, что присутствующие с трудом сдержали смех — кто закусил губу, а кто прикрыл рот ладонью.

Но как только Томмазино ушел, сопровождаемый хором опавших листьев, грянул дружный хохот:

— Значит, пой псалом?

— Пой псалом!

Так случилось, что Томмазино Унцио, псаломщик-расстрига, оставивший семинарию из-за того, что утратил веру, получил прозвище Пой-Псалом.

Веру можно потерять по тысяче причин, и обычно тот, с кем это случается, убежден, хотя бы поначалу, что он приобрел нечто взамен, ну хотя бы свободу делать то, чего раньше не позволяла вера.

Однако же когда утрата веры вызвана не буйством мирских вожделений, а душевной жадой, которую уже не утоляет святая вода из чаши, вот тогда утративший веру едва ли сочтет, что одновременно сделал какое-то приобретение. Но тем не менее такой человек плакаться не станет, поскольку он убежден, что потерял нечто уже не имеющее для него никакой ценности.

Томмазино Унцио с верой утратил все, включая состояние, которое мог бы получить от отца по завещанию покойного дяди — священника, если бы не отказался от духовной карьеры. Отец, разумеется, попробовал урезонить сына с помощью оплеух и пинков, держал его несколько дней на хлебе и воде, бросал в лицо сыну всяческие оскорбления и при этом в выражениях не стеснялся. Томмазино все стерпел геройски — он уповал на то, что отец в конце концов убедится в невозможности возродить подобными средствами веру сына и вернуть его в лоно церкви.

Беднягу Томмазино удручало не столько само произведенное над ним насилие, сколько его низменный характер, полностью противоположный высоким принципам, побудившим молодого человека сбросить с плеч сутану.

С другой стороны, он понимал, что его щеки, бока и желудок как объекты экзекуции дали его отцу возможность отвести душу, смирить боль, которую остро ощущал и сам виновник: ведь жизнь его окончательно разрушилась, превратилась в бесформенную грудку обломков, укрытую в четырех стенах их дома.

Вместе с тем молодому человеку хотелось как-то доказать окружающим, что он нарушил обет не из желания «пуститься во все тяжкие», как не уставал твердить его отец всякому встречному и поперечному. Он ушел в себя, заперся в своей комнате и выходил из дома лишь для того, чтобы пройтись либо вверх, через каштановые рощи, до равнины Пиан-делла-Бритта, либо вниз, по дороге через поля, в долину, до заброшенной церквушки Санта-Мария ди Лорето. Шел он всегда погружившись в размышления и ни на кого не поднимал глаз.

Правда, бывает и так, что дух человека охвачен тяжким страданием или одержим честолюбивыми мечтами, а тело предоставляет дух его заботам, а само незаметно от него начинает мало-помалу жить своей жизнью: наслаждаться свежим воздухом и здоровой пищей.

Так случилось и с Томмазино: в то время как дух его все глубже погружался в меланхолию и истощал себя безнадежной грустью, тело, будто назло, довольно быстро округлилось и приняло цветущий вид, как у аббата.

Какой уж тут Томмазино! Он теперь Томмазоне Пой-Псалом... Взглянув на него, всякий согласится с отцом. Но ведь все жители их маленького городка знают, какую жизнь ведет бедный юноша: ни одна женщина не скажет, что он на нее посмотрел хотя бы мельком.

Жить, не созная, что живешь, как камень, как растение; забыть даже собственное имя; жить ради жизни, не задумываясь, как живут звери и птицы, без волнений, без желаний, без воспоминаний и раздумий — без всего, что придает жизни смысл и значение. Вот хотя бы так: растянуться на траве и, заложив руки за голову, смотреть, как плывут в синем небе ослепительно белые облака, пронизанные солнцем; слушать ветер, который, как морской прибор, шумит в вершинах каштанов, и, под шум ветра и листвы, сознать тщету всех устремлений, тоскливую унылость человеческого существования.

Облака и ветер.

Да, но увидеть и назвать облаком то, что, сияя, проплывает в бездонной синеве, — это уже все. Разве облако знает о том, что оно облако? И знают ли это деревья и камни, которые и себя-то не сознают?

А вот ты — ты видишь облако и называешь его облаком, да еще, чего доброго, и задумаешься (почему бы и нет?) о круговороте воды в природе: она превращается в облако, чтобы потом снова стать водой. Объяснить эти

превращения может самый захудалый учительшка физики, но кто объяснит причину причин?

Наверху, в каштановой роще, — стук топора; внизу, в копах, — стук кирки.

Калечат гору, валят деревья, чтобы строить дома. Новые дома в этом городишке среди гор. Сколько усилий, стараний, забот и трудов, и все для чего? Для того чтобы вывести вверх печную трубу и пустить из нее дым, который тотчас рассеется в бесконечности пространства.

Наши мысли и воспоминания — тот же дым...

И все-таки, созерцая величественную картину природы, пышную зелень дубовых, оливковых и каштановых рощ, спускавшихся уступами от отрогов хребта Чимино до самого Тибра, Томмазино чувствовал, как его отчаяние постепенно переходит в тихую бесконечную грусть.

Все иллюзии и разочарования, все горе и вся радость, все надежды и чаяния людей казались ему пустыми и преходящими, когда он созерцал предметы и вещи, которые бесстрастны, но долговечны: мысли и чувства исчезают, вещи — остаются. Дела человеческие на фоне вечной природы представлялись ему облачками, сменяющимися друг друга в быстром круговороте. Достаточно взглянуть хотя бы на громады гор по ту сторону долины Тибра, которые тянутся к горизонту и там сходят на нет, исчезают в розовой дымке.

О эти человеческие дерзания! Сколько восторженных кликов из-за того, что человек стал летать подобно птице! Но ведь как летит птица? Полет ее — сама легкость и свобода, он так же безыскусен, как радостная птичья трель. Теперь представьте себе неуклюжий ревущий самолет, представьте также беспокойство, боязнь, смертельный страх человека, который захотел летать как птица! Там — трель и шорох крыл, здесь — грохот и бензиновая вонь и угроза смерти. Мотор сломается, заглохнет и — прощай птица!

— Человек, — взывал Томмазино Унцио, лежа на траве, — перестань летать. Зачем тебе летать? Разве ты когда-нибудь летал?

И вдруг по городку вихрем пролетела новость, всех ошеломившая: лейтенант де Венера, начальник гарнизона, публично дал пощечину Томмазино Унцио и вызвал его на дуэль, из-за того что тот отказался дать объяснения по поводу своего поступка, которого он не отрицал:

накануне он обозвал душой синьорину Ольгу Фанелли, невесту лейтенанта, встретив ее на дороге у заброшенной церкви Санта-Мария ди Лорето.

Новость вызвала изумление, а у некоторых и смех, она казалась настолько невероятной, что расспросам и переспросам не было конца.

— Томмазино? Вызван на дуэль? Назвал душой синьорину Фанелли? И не отперся? Отказался дать объяснения? И принял вызов?

— Ну да, черт возьми, получил пощечину!

— И они будут драться?

— Завтра, на пистолетах.

— На пистолетах с лейтенантом де Венерой?

— На пистолетах.

Значит, причина была самая серьезная. Все полагали, что тут, вне всякого сомнения, речь шла о бурной страсти, долго скрываемой и прорвавшейся наружу только теперь. Скорей всего, он бросил ей в лицо «Дура!», так как она полюбила не его, а лейтенанта де Венеру. Ясное дело! Все жители городка и в самом деле считали, что только дура может полюбить этого идиота де Венеру. Но сам де Венера, конечно, не разделял общего мнения, а потому потребовал объяснений.

Меж тем синьорина Ольга Фанелли клялась и божилась со слезами на глазах, что такой причины прискорбного поступка Томмазино быть не могло: она видела этого молодого человека всего два или три раза, причем он даже не поднимал на нее глаз и не выказал никакого, хотя бы малейшего признака того, что питает к ней эту самую тайную дикую страсть, о которой все толкуют. Нет-нет! Только не это! Тут должна быть какая-то другая причина. Но какая же? Ведь ни с того ни с сего никто не обзовет девушку душой.

Если всем, особенно родителям юноши, секундантам, лейтенанту и Ольге во что бы то ни стало хотелось узнать истинную причину странного поступка, то самому Томмазино горше всех было оттого, что он не мог ее открыть, так как был уверен, что если и откроет, все равно никто ему не поверит, а только все подумают, будто он хочет к оскорблению добавить еще и скрытую издевку.

И действительно, кто поверит, что он, Томмазино Унцио, погружаясь все глубже в свою философическую меланхолию, за последние несколько недель оказался охваченным острой и нежной жалостью ко всему, что рож-

дается на свет и живет какое-то время без цели и смысла, пока не наступят увядание и смерть. И чем непостоянней, слабей и неуловимей та или иная форма жизни, тем больше она трогала Томмазино, порой до слез. Как поразному рождаются существа, каждое — один-единственный раз, в данной единственной форме (ибо двух одинаковых форм не бывает), для такой короткой жизни, иногда всего на один день, и занимает такое ничтожное пространство, а вокруг — неосознаваемый огромный мир, зияющая пустота непостижимой тайны существования! Рождаются и муравей, и мошка, и травинка... Муравей — и мир! Вселенная — и мошка или травинка... Травинка рождается, растет, цветет, вянет — и навсегда исчезает; ее, этой травинки, больше не будет никогда. Никогда!

И вот уже около месяца Томмазино день за днем наблюдал за одной травинкой, которая росла меж двух камней, поросших мохом, на задворках заброшенной церкви Санта-Мария ди Лорето.

Он чуть ли не с материнской нежностью следил, как эта былинка понемногу перерастала окружающую траву, как она робко и нерешительно высовывалась из расщелины между замшелыми камнями, словно ее мучили и страх, и любопытство, словно ей хотелось полюбоваться пейзажем — бесконечной зеленой равниной, простершейся внизу; он наблюдал, как потом она тянулась все выше и выше, держалась все более смело и даже дерзко — красноватая метелочка на конце ее торчала точно петушиный гребень.

Каждый день он созерцал ее по часу или даже по два, жил ее жизнью, качаясь при малейшем дуновении ветерка; в панике прибегал к ней, когда поднимался сильный ветер или когда ему казалось, что его опередит небольшое стадо коз, которое каждый день поутру проходило мимо церкви и иногда задерживалось, чтобы пощипать травку меж камней. Когда Томмазино убеждался, что ветер и козы пощадили его травинку и метелочка ее торчит по-прежнему задорно, его радости не было границ. Он ласкал травинку, нежно поглаживал пальцами, затаив дыхание; уходя с наступлением темноты, препоручал ее первым звездам, загоравшимся на темном небосводе, с тем чтобы они охраняли ее всю ночь. И даже находясь вдали от своей травинки, он мысленным взором видел ее меж камнями, под черным небом, на котором мерцают звезды-хранительницы.

Так вот, в тот день, придя в обычный час пожить одной жизнью с травинкой, Томмазино увидел, что за церковью на одном из тех самых двух камней сидит синьорина Ольга Фанелли — видимо, присела отдохнуть.

Он остановился, не решаясь подойти и полагая, что она уже отдохнула и вот-вот уйдет. Девушка и в самом деле скоро встала (возможно, ее смутило присутствие мужчины), огляделась, потом рассеянным жестом протянула руку, сорвала ту самую травинку и взяла ее в зубы за середину, так что метелочка закачалась у ее щеки.

Бедняга Томмазино Унцио ощутил такую боль, будто ему вырвали сердце, и, когда девушка, держа травинку в зубах, поравнялась с ним, какая-то неодолимая сила заставила его крикнуть ей в лицо: «Дура!»

Как же он мог теперь признаться, что так грубо оскорбил девушку из-за какой-то травинки?

Лейтенанту де Венере пришлось дать ему пощечину.

Томмазино устал от своего бесцельного житья, устал носить эту гору плоти — свое тело, устал терпеть насмешки, которые стали бы еще злей, если бы он отказался от дуэли. И он принял вызов, потребовав при этом, чтобы условия дуэли были самыми жесткими. Он знал, что лейтенант де Венера — превосходный стрелок. В этом можно было убедиться каждое утро, посетив занятия на стрельбище. И все же Томмазино пожелал стреляться с лейтенантом на рассвете следующего дня, избрав местом поединка уголок того же самого стрельбища.

Он получил пулю в грудь. Сначала рана казалась не очень серьезной, потом раненому стало хуже. Пуля пробила легкое. Поднялась температура, начался бред. Четверо суток врачи отчаянно боролись за жизнь молодого человека.

Когда они объявили, что сделать ничего нельзя, синьора Унцио, женщина весьма набожная, стала умолять сына вернуться пред лицом смерти к святой вере. Томмазино ради матери согласился принять исповедника.

Тот спросил у умирающего:

— Но из-за чего, сын мой? Из-за чего?

Томмазино, приоткрыв глаза, вздохнул, слабо улыбнулся и тихим голосом ответил:

— Из-за простой травинки, падре...

Все решили, что он продолжает бредить.

1911 (1922)

ВО ИМЯ ДОБРОДЕТЕЛИ

Паолино Ловико повалился, как сноп, на скамейку у входа в аптеку Пулейо на Пьяцца Марина. Заглянул внутрь, за прилавок, и, отирая платком пот, стекавший с его волос на разгоряченное лицо, спросил у Саро Пулейо:

— Не заходил?

— Джиджи? Нет. Но скоро будет. А зачем тебе?

— Зачем? Затем, что он мне нужен. Зачем... Все тебе надо знать!

Он прикрыл платком голову, уперся локтями в колени, подбородком в ладони и, нахмутив брови, с мрачным видом уставился в землю.

Все его здесь знали, на Пьяцца Марина. Вот прошел один приятель:

— Эй, Паоли!

Ловико поднял глаза и тотчас же опустил, проворчав:

— Оставь меня в покое!

Другой приятель:

— Паоли, что с тобой?

На этот раз Ловико сдернул платок с головы и переменял позу, почти уткнувшись лицом в стену.

— Паоли, ты плохо себя чувствуешь? — спросил из-за прилавка Саро Пулейо.

— Иди ты к чертовой бабушке! — взорвался Паолино Ловико, вбегая в аптеку. — Какого рожна тебе от меня надо, скажи на милость? Тебя кто-нибудь спрашивает, плохо ли ты себя чувствуешь, хорошо ли себя чувствуешь, чем ты болен, чем не болен? Отвяжитесь вы от меня!

— Э, — сказал Саро. — Тебя что, тарантул укусил? Ты спрашивал Джиджи, я и подумал, что...

— Один я на свете, что ли? — завопил Ловико, размахивая руками; глаза его метали молнии. — А может быть, у меня собака заболела? Или индюк закашлял? Занимайтесь своими делами, ради святого, святейшего, не знаю кого, не знаю как!

— А вот и Джиджи, — сказал Саро, смеясь.

Поспешно вошел Джиджи Пулейо, задержавшись на минуту у стенного шкафчика, чтобы заглянуть, нет ли вызовов в его ящике.

— Привет, Паоли!

— Спешешь? — спросил, нахмурившись, Паолино Ловико, не отвечая на приветствие.

— Да, очень, — вздохнул доктор Пулейо, сдвигая шляпу на затылок и обмахивая лоб платком. — Дела, дорогой мой, сейчас серьезные.

— А у меня что — не серьезное? — с яростной издевкой подхватил Паолино Ловико, размахивая у него под носом кулаками, — Какая у тебя еще эпидемия? Холера? Бубонная чума? Рак, который уносит всех без разбора? Ты обязан меня выслушать! Так вот, слушай: покойники покойниками, но сейчас здесь я! Я имею право первенства. Эй, Саро, тебе не нужно потолочь что-нибудь?

— Нет, а что?

— Тогда выйдем! — решил Ловико, схватив за руку Джиджи Пулейо и вытаскивая его из дома. — Здесь я не могу говорить!

— Разговор будет длинный? — на ходу спросил доктор.

— Очень длинный!

— Извини меня, дорогой, но мне некогда!

— Некогда? Знаешь, что я тогда сделаю? Брошусь под трамвай, сломаю ногу и заставлю тебя полдня торчать около меня. Куда тебе надо идти?

— Сначала вон сюда, поблизости, на виа Бутера.

— Я тебя провожу, — сказал Ловико. — Ты поднимешься к больному, я подожду тебя внизу, и потом мы продолжим разговор.

— Но, в конце концов, что с тобой стряслось? — спросил доктор Пулейо, приостановившись и всматриваясь в него.

Под взглядом доктора Паолино Ловико развел руками, ноги у него подогнулись, вся его взъерошенная фигура обмякла, и он ответил:

— Джиджино, дорогой, я человек конченный!

И глаза его наполнились слезами.

— Говори, говори, — подбадривал его доктор. — Ну, идем, а ты рассказывай, что случилось.

Паолино сделал несколько шагов, потом снова остановился и, удерживая Джиджи Пулейо за рукав, начал издали с таинственным видом:

— Заметь, я говорю с тобой, как с братом. А впрочем, нет. Ведь врач то же, что исповедник, верно?

— Конечно. У нас тоже существует профессиональная тайна.

— Хорошо. Тогда я буду говорить с тобой как на духу, перед священником.

Он приложил руку к животу и торжественно добавил, с видом заговорщика:

— Могила, да?

А затем, широко раскрыв глаза и соединив большой палец с указательным, как бы для того, чтобы взвешивать слова, которые собирался сказать, он отчеканил по слогам:

— Петелла живет на два дома.

— Петелла? — спросил озадаченный Джиджи Пулейо. — А кто такой Петелла?

— Да капитан Петелла, господи! — вскипел Ловико. — Петелла из Объединенного пароходства.

— Я его не знаю, — сказал доктор Пулейо.

— Не знаешь? Тем лучше. Но все равно — могила! Два дома, — повторил он с тем же мрачным и серьезным видом. — Один здесь, другой в Неаполе.

— Ну так что же?

— А, для тебя это ничего? — спросил Паолино Ловико, содрогаясь от ярости. — Женатый мужчина подло использует свою морскую профессию и заводит себе другую семью в новом месте, а для тебя это ничего? Ведь это турецкие нравы, черт возьми!

— В высшей степени турецкие, кто же с тобой спорит? Но тебе-то какое дело? Ты-то зачем вмешиваешься?

— Какое мне до этого дело, мне? Зачем я вмешиваюсь?

— Извини, жена Петеллы тебе не родственница?

— Нет! — крикнул Паолино Ловико, и глаза его налились кровью. — Это несчастная женщина, которая терпит адские муки. Честная женщина, понимаешь? Гнусно обманутая собственным мужем, понимаешь? Разве обязательно быть ее родственником, чтобы возмущаться?

— Но извини, я-то что могу поделывать? — спросил Джиджи Пулейо, пожимая плечами.

— Так дай же мне сказать, чертова перечница! Чертова природа! Чертова жизнь! — фыркнул Ловико. — Чувствуешь, какая жара? Я подыхаю! Этому дорогому Петелле, дражайшему Петелле мало того, что он изменяет жене, что имеет другую семью в Неаполе; у него три или четыре сына там, от той, и один здесь, от жены. Тут он больше иметь не желает. Сам понимаешь, те, которые там, незаконные; если появится еще один и будет доставлять ему хлопоты, он может просто наплевать на него, вот и все. Тогда как здесь, при жене, от законного сына

не так-то легко отделаться. И что же он придумал, этот гнусный мошенник? (О, эта история тянется вот уже два года!) Вот что он придумал: в те дни, когда он высаживается на берег, он хватается за малейший предлог, чтобы поссориться с женой, а на ночь запирается и спит один. На следующий день он снова уезжает — и поминай как звали. И так два года!

— Бедная женщина! — сочувственно воскликнул Джиджи Пулейо, не в силах сдержать улыбку. — Но я-то, извини... я все еще не понимаю.

— Послушай, дорогой мой Джиджино, — подхватил другим тоном Ловико, повиснув на его руке. — Вот уже четыре месяца я даю уроки латинского языка мальчонке, сыну Петеллы, ему десять лет, он ходит в гимназию в первый класс.

— А, — произнес доктор.

— Если бы ты знал, как мне жаль эту несчастную синьору! — продолжал Ловико. — Сколько бедняжка пролила слез, сколько слез!.. А какая она добрая! Да к тому же красавица, представь себе. Была бы дурнушкой, еще можно бы понять... Но она красавица! Каково ей терпеть, что с ней так обращаются, обманывают, пренебрегают, швыряют в угол, как ненужную тряпку... Хотел бы я посмотреть, кто бы тут устоял! Кто бы не взбунтовался! И кто посмеет ее осудить? Она честная женщина, женщина, которую необходимо спасти, дорогой Джиджино. Понимаешь? Она сейчас в ужасном положении... В отчаянии!

Джиджи Пулейо остановился и строго посмотрел на Ловико.

— Ну нет, дорогой, — сказал он. — Такими вещами я не занимаюсь. У меня нет ни малейшего желания нарушать уголовный кодекс.

— Идиот несчастный! — взорвался Ловико. — Да ты что себе вообразил? Чего, ты думаешь, мне от тебя надо? За кого ты меня принимаешь? Ты считаешь, что я человек безнравственный? Мошенник? Что я хочу твоей помощи для... Да мне от одной мысли противно и страшно становится!

— Какого же рожна ты от меня хочешь? — воскликнул доктор Пулейо, теряя терпение.

— Справедливости хочу! — в свою очередь закричал Паолино Ловико. — Морали, вот чего я хочу! Хочу, чтобы Петелла был хорошим мужем и не запирал дверь перед носом у жены, когда приезжает домой!

Джиджи Пулейо разразился оглушительным хохотом.

— И что... и что ты тре... и что ты требуешь... ой, ой, ой... ха-ха-ха... тре... требуешь... чтобы я... бед... беда... бедный Пет... ха-ха-ха... насильно... насильно мил... ой-ой-ой-ой...

— Чего смеешься, чего смеешься, скотина? — в бешенстве зарычал Паолино Ловико, размахивая кулаками и . — Перед тобой трагедия, а ты смеешься? Подлец не желает выполнять свои обязанности, а ты смеешься? Честь и жизнь женщины под угрозой, а ты смеешься? О себе я уж не говорю! Я человек конченный, я брошусь в море, если ты мне не поможешь, соображаешь ты или нет?

— Но чем я могу тебе помочь? — спросил Пулейо, тшетно пытаясь подавить смех.

Паолино Ловико решительно остановился посреди дороги, крепко сжимая руку доктора повыше локтя.

— Сказать тебе, как обстоит дело? — сказал он злобно . — Петелла прибывает сегодня вечером; завтра отправляется на восток; пойдет в Смирну; будет отсутствовать около месяца. Времени терять нельзя. Или сейчас, или все пропало. Ради всего святого, Джиджино, спаси меня! Спаси эту бедную мученицу! У тебя наверняка есть средство, наверняка есть лекарство... Не смейся, черт возьми, а то я тебя придушу! Или нет, смейся, смейся, если хочешь, над моим отчаянием, только помоги... дай лекарство... дай какое-нибудь средство, какое-нибудь снадобье...

Джиджи Пулейо подошел к дому на виа Бутера, где ему надо было посетить больного. Он с трудом удержался, чтобы опять не рассмеяться, и сказал:

— В общем, ты хочешь сегодня вечером помешать капитану найти предлог для ссоры с женой?

— Вот именно!

— Во имя добродетели, не так ли?

— Во имя добродетели. Ты опять шутишь?

— Нет, нет, сейчас я говорю серьезно. Слушай: я должен зайти сюда, а ты возвращайся в аптеку, к Саро, и подожди меня там. Я скоро приду.

— А что ты хочешь сделать?

— Предоставь это мне! — успокоил его доктор . — Иди к Саро и жди меня.

— Пожалуйста, поторопись! — крикнул ему вдогонку Ловико, молитвенно сложив руки.

На закате Паолино стоял у причала в ожидании прибытия капитана Петеллы на «Седжесте». Он хотел увидеть его хотя бы издали, сам не зная, для чего, — посмотреть, как он выглядит, и послать ему вслед целый поток ругательств.

Он надеялся, после схватки с доктором Пулейо, от которого ему удалось добиться помощи, что возбуждение, охватившее его с утра, хоть немного уляжется. Не тут-то было! После того как он отнес синьоре Петелле некий таинственный пакетик, наполненный пирожными с кремом (капитан очень любил сладкое), и вышел из ее дома, он пошел куда глаза глядят, а возбуждение его все росло и росло.

Что теперь делать? Наступил вечер. Ему хотелось лечь в постель как можно позднее. Но вскоре он устал кружить по городу, а к его беспокойству еще примешивался страх: он боялся, что кому-нибудь из его бесчисленных знакомых придет в голову злополучная мысль подойти к нему, и это может кончиться ссорой.

Дело в том, что он обладал несчастным свойством быть «прозрачным». Да, именно так! И эта его прозрачность всегда неизменно смешала лицемеров, пропитанных ложью. Ясное, открытое проявление чувств, хотя бы самых горестных, самых мучительных, неизменно вызывало смех у тех, кто никогда не испытывал их или так привык их маскировать, что уже не верит им, когда сталкивается с простым человеком, вроде него, который, к своему несчастью, не умеет их скрыть и побороть. Он заперся у себя дома, бросился на кровать, не раздеваясь.

Какая она, бедняжка, была бледная, какая бледная, когда он принес ей пакетик с пирожными! Бледная, с затравленными глазами, по правде сказать, она была совсем не красива.

— Улыбайся, дорогая! — уговаривал он ее со слезами в голосе. — Хорошенько принарядись, ради бога! Надень ту блузку из японского шелка, которая тебе так идет. Но главное, умоляю тебя, не надо выглядеть как на похоронах. Смелей, смелей! Ты все хорошо подготовила? Прошу тебя, пусть у него не будет никакого повода жаловаться! Мужайся, дорогая, до завтра! Будем надеяться!.. Не забудь, ради бога, вывесить платочек на шнурке перед окном твоей комнаты, чтобы подать мне знак. Завтра утром я первым делом приду посмотреть... Постарайся, чтобы я увидел этот знак, дорогая, постарайся, чтобы я его увидел!

Прежде чем уйти, он синим карандашом усеял «десятками» и «десятками с плюсом» тетрадку с латинскими переводами этого остолопа, сыночка, которого от латинского языка бросало в дрожь.

— Ноно, покажи это папе... Знаешь, как папа обрадуется! Так и продолжай, дорогой, так и продолжай, и через какой-нибудь год ты будешь знать латынь лучше любого гуся из Капитолия, из тех, Ноно, которые обратили в бегство галлов, помнишь? Слава Папирию! ¹ Веселей, веселей! Мы все должны быть веселы сегодня вечером. Ноно! Папа едет! Веселый и добрый! Чистый, подтянутый! Покажи-ка ногти... Они чистые? Молодец. Смотри не запачкай их. Слава Папирию, Ноно, слава Папирию!

Пирожные... А что, если этот болван Пулейо насмеялся над ним? Нет, нет, этого не может быть. Ведь он ему объяснил, как это важно. Обмануть — значило бы совершить неслыханную подлость. Однако... однако... однако... что, если лекарство не настолько сильное, как тот уверял?

И вот он снова весь кипит от злости при мысли о равнодушии, вернее, пренебрежении этого человека к собственной жене, как будто оскорбление нанесено лично ему. Да ведь так оно и есть! Возможно ли, что эту женщину, которой довольствуется он, Паолино Ловико, мало того, которая кажется ему столь достойной любви, столь желанной, этот негодяй ни во что не ставит? Возможно ли, что он, Паолино Ловико, довольствуется отбросами другого, женщиной, которая для другого все равно что ничего? Или та синьора из Неаполя лучше? Красивее жены? Интересно бы на нее посмотреть! Поставить их рядом, ту и другую, а потом привести его и крикнуть прямо в лицо:

— А, так ты предпочитаешь ту? Это потому, что ты грубое животное без понятия и вкуса! А совсем не потому, что твоя жена хуже ее: она во сто тысяч раз лучше! Да посмотри же на нее, посмотри хорошенько! Как у тебя хватает духу не прикоснуться к ней? Ты не понимаешь тонкостей... не понимаешь нежной красоты... прелести меланхолической грации! Ты животное, свинья и не способен понять такие вещи, потому и презираешь. И потом, кого ты ставишь на одну доску? Базарную бабу с настоящей синьорой, с честной женщиной?

¹ Папирий — имя нескольких законодателей Древнего Рима.

Ну и ночь выдалась ему! Ни минуты покоя.

Когда ему наконец показалось, что начинает светать, он не смог оставаться на месте.

Синьора Петелла спала не вместе с мужем, а в отдельной комнате, так что она могла бы даже ночью вывесить платочек на оконный шнурок, чтобы сразу избавиться его от беспокойства. Должна же она понимать, что он всю ночь не сомкнет глаз и при первом проблеске зари примчится, чтобы убедиться собственными глазами.

Так думал он, спеша к дому Петеллы. Охваченный страстным желанием, он был совершенно уверен, что найдет у окошка условный знак, и когда его не оказалось, это было для него смертельным ударом. У него подкосились ноги. Ничего, ровно ничего! И какой мрачный вид у этих опущенных жалюзи...

И тут им овладело бешеное желание подняться по лестнице, ворваться в комнату Петеллы, придушить его в постели!

И как будто он вправду туда вошел и совершил преступление, он внезапно опал, как пустой мешок. Он пытался себя урезонить: может быть, еще рано, вряд ли можно было рассчитывать на то, что она встанет ночью и вывесит условный знак, чтобы он нашел его на заре; может быть, она не смогла... кто знает?

Полно, отчаиваться еще рано... Надо подождать. Но только не здесь... Ждать здесь, каждую минуту, целую вечность. Вот только что с ногами... ног он больше не чувствует!

К счастью, свернув в первый переулок, он увидел в нескольких шагах маленькое открытое кафе, крошечное кафе для рабочих, которые по утрам шли на верфь, расположенную поблизости. Он вошел, упал на деревянную скамью.

В кафе было пусто, и хозяина не было видно. Доносились только голоса из темного внутреннего помещения, где, по-видимому, только-только начинали растапливать печи.

Когда вскоре пред ним предстал здоровяк без пиджака и спросил, что ему подать, Паолино Ловико устремил на него растерянный, злобный взгляд, потом сказал: — Плат... я хочу сказать... кофе! Крепкого, очень крепкого кофе, прошу вас!

Подали ему сразу. Но... Половину он пролил на себя, половину выплюнул, вскочив на ноги. Проклятие! Обжегся.

— Что с вами, синьор?

— Ааааахх... — задыхался Ловико, вытаращив глаза и разинув рот.

— Немножко воды... немножко воды... — советовал хозяин кафе. — Возьмите выпейте воды!

— А брюки? — простонал Паолино, оглядывая себя.

Он вынул из кармана платок, обмакнул кончик в стакан и принялся сильно тереть пятно. Какая приятная прохлада растеклась по его бедру!

Он расправил намокший платок, взглянул на него, побледнел, бросил на поднос монетку в четыре сольдо и выбежал на улицу. Но не успел он свернуть из переулочка, как — бац! Перед ним, носом к носу, — капитан Петелла.

— О! Это вы?

— Да... это... я... — бормотал Ловико, чувствуя, как кровь отхлынула у него от лица. — Я... я сегодня рано встал... и...

— Решили прогуляться на свежем воздухе? — договорил Петелла. — Счастливчик! Никаких забот... никаких хлопот... Свободен! Холост!

Ловико впился ему глазами в глаза, стараясь угадать... Но уже тот факт, что эта скотина не дома в такой час, да еще этот его взъерошенный, пасмурный вид... Ах негодяй! Наверно, вчера вечером опять затеял ссору с женой! «Я его убью. — подумал Ловико, — честное слово, убью!» А сам сказал с улыбочкой:

— Но я вижу, что и вы...

— Я? — буркнул Петелла. — Что я?

— Ну... в такой час...

— Ах, вы удивляетесь, что видите меня на улице в такой час? Бессонная ночь, дорогой господин учитель. Жара, должно быть... Сам не знаю!

— Вы... вы не... вы плохо спали?

— Я вовсе не спал! — раздраженно крикнул Петелла. — И знаете что? Когда я не сплю... когда мне не удастся заснуть... я не помню себя от злости!

— А чем... извините... чем виноваты... — продолжал бормотать Ловико, весь дрожа и все же улыбаясь, — чем виноваты другие? Извините...

— Другие? — спросил ошеломленный Петелла. — А при чем тут другие?

— Но... раз вы говорите, что злитесь? На кого вы злитесь? С кем соритесь, когда вам жарко?

— Да с самим собой, с погодой, со всеми! — заорал

Петелла. — Мне нужен воздух... я привык к морю... а землю, дорогой господин учитель, особенно летом, землю я просто не выношу... дом... стены... хлопоты... женщины.

«Я его убью! Честное слово, убью!» — внутренне скрежетал Ловико. Но спросил с той же улыбочкой:

— И женщины тоже?

— А, знаете, для меня женщины... по совести говоря... Все время путешествуешь... долго находишься вдали... Я не говорю теперь, когда я постарел... Но в молодости... Женщины! А у меня, знаете, всегда было одно счастливое свойство. Когда я хочу, я хочу... а когда не хочу, то не хочу. Решал всегда я.

— Всегда? («Убью!»)

— Всегда, когда я этого хотел, ясное дело. А вы не так, а? Вы легко поддаетесь? Улыбочка? Ужимочка? Скромный, стыдливенький вид... скажите, а? Скажите правду.

Ловико остановился и посмотрел ему в лицо.

— Сказать вам правду? Я, если бы у меня была жена...

Петелла расхохотался.

— Да ведь мы сейчас говорим не о женах! При чем тут жены? Женщины! Женщины!

— А жены разве не женщины? Кто же они?

— Они тоже бывают женщинами... иногда! — воскликнул Петелла. — Но у вас-то жены нет, дорогой господин учитель, и я вам желаю для вашего же блага никогда ее не иметь. Потому что жены, знаете...

С этими словами он подхватил его под руку и продолжал говорить, говорить. Ловико содрогался. Он смотрел в лицо, смотрел на его опухшие глаза с темными кругами, но, может быть... да, может быть, они у него такие потому, что ему не удалось уснуть. И то по некоторым фразам ему казалось, будто из них можно заключить, что бедняжка вне опасности, то, наоборот, услышав другие слова, он снова погружался в сомнение и отчаяние. И эта пытка длилась целую вечность, потому что этот скот все хотел гулять да гулять и тащил его за собой вдоль морского берега. Наконец, он повернул обратно, к дому.

«Я его не отпускаю! — подумал Ловико. — Поднимусь в дом вместе с ним, и если он не выполнил своих обязанностей, то этот день для всех троих будет

последним». Он был весь поглощен этой жестокой мыслью, сосредоточив на ней все свое неистовое нервное возбуждение; и вдруг, свернув за угол и подняв глаза к окну в доме Петеллы, почувствовал, как у него сразу расслабилось, отнялось все тело, когда он увидел растянутые на шнурке, о боже, о боже, о боже, один... два... три... четыре... пять платочков!

Нос его сморщился, рот приоткрылся, голова затряслась, и душившая его радость вылилась в одном томительном «ах».

— Что с вами? — воскликнул Петелла, поддерживая его.

Ловико:

— О дорогой капитан! О дорогой капитан, спасибо, спасибо! Ах, для меня просто наслаждение... эта... эта прекрасная прогулка... но я устал... устал до смерти... разбит, совершенно разбит. Спасибо, спасибо от всего сердца, дорогой капитан! До свидания! Счастливого пути, а? До свидания! Спасибо, спасибо...

И не успел Петелла войти в подъезд, как он пустился бегом, ликующий, торжествующий, улыбаясь, и с веселыми, сияющими от счастья глазами показывал растопыренные пять пальцев всем, кто попадался ему на пути.

1911 (1928)

НОТАРИУС БОББИО И МОЛИТВА ПРЕСВЯТОЙ ДЕВЕ

Редкостный случай произошел лет пять тому назад с почтенным нотариусом из городка Рикьери по имени Марко Саверио Боббио.

Был он философом-любителем и весь свой досуг, которого у хорошего нотариуса немного, посвящал философским штудиям; он прочел целую кучу книг по древней и современной философии, причем некоторые из них перечитал и глубоко обдумал.

Во рту у Боббио, к сожалению, было несколько гнилых зубов. А, по его мнению, ничто так не располагает к изучению философии, как зубная боль. Он утверждал, что у каждого философа, по-видимому, был хотя бы один больной зуб, а у Шопенгауэра наверняка одним дело не обошлось.

Зубная боль привела к изучению философии, а изучение философии со временем привело к утрате веры, хотя

в детстве Боббио верил горячо и страстно, ходил с матерью каждое утро к мессе, а каждое воскресенье исповедовался и причащался.

Правда, то, что мы знаем о себе, — лишь часть, и, быть может, совсем незначительная, того, что мы представляем собой на самом деле. Боббио даже утверждал, что все сознаваемое человеком можно сравнить с тем количеством воды, которое мы видим, заглянув сверху в бездонный колодец. Очевидно, он хотел этим сказать, что за пределами нашей памяти существуют ощущения и реакции, не контролируемые нашим теперешним сознанием, ибо в нас живет не только наша нынешняя личность, но и та, какой мы были в далеком прошлом; мы сегодня живем, чувствуем и мыслим и лишь вспоминаем чувства и мысли, давно нами забытые, стертые в памяти, исчезающие; но какое-нибудь ощущение — вкусовое, слуховое или зрительное — может их вдруг оживить и тем самым засвидетельствовать, что в нас живет другое существо, о котором мы и не подозревали.

Марко Саверио Боббио был широко известен в Рикьери не только потому, что был превосходным, до крайности дотошным нотариусом, но еще и благодаря своему огромному росту, который, в сочетании с цилиндром, тройным подбородком и солидным брюшком, делал фигуру Боббио внушительной, запоминающейся. Так вот, господя, хоть и был он человеком неверующим, отчаянным атеистом, в нем продолжал жить без его ведома набожный мальчуган, тот самый мальчуган, который каждое утро ходил к мессе с матерью и двумя сестренками, а каждое воскресенье исповедовался и причащался в церкви монастыря Бадиола аль Кармине; быть может, этот мальчик, опять же без ведома Боббио, перед тем как отойти с ним вместе ко сну, складывал за него ладони и читал молитвы, слова которых Боббио давно забыл.

Но он вспомнил эти молитвы, вспомнил до последнего слова несколько лет тому назад, когда с ним произошел тот редчайший случай, о котором мы хотим рассказать.

Боббио с женой и детьми жил тогда на своей даче в двух милях от Рикьери. Утром он садился на ослика (бедный ослик!) и ехал в город, в свою контору, править неотложные дела, а вечером возвращался к семье.

Но уж воскресенье-то он целиком посвящал отдыху и развлечениям. Приезжали родственники, друзья, в саду накрывался стол, женщины помогали на кухне или болтали между собой, дети предавались своим забавам, мужчины шли на охоту или играли в шары.

Смешно было видеть, как играет Боббио, как он бегает за шарами, тряся необъятным пюзом и тройным подбородком.

— Марко! — кричала ему жена. — Не споткнись! И постарайся не чихать!

Не дай бог ему чихнуть! У него всякий раз получался прямо-таки взрыв, открывавший все затворы, и частенько ему приходилось после чиханья бежать в укромное место, схватившись за штаны спереди и сзади.

Не мог он совладать с громадой собственного тела. Оно как бы рвало постромки и выходило из повиновения, беспорядочно шарахалось, наводя страх на окружающих, ибо сдержать его было невозможно. Когда оно наконец снова входило в свою колею и возвращалось к хозяину, в нем появлялись какие-то неожиданные боли, повреждения: то рука заболит, то нога, то голова.

Но чаще всего — зубы.

Ох уж эти зубы! Они не давали бедняге Боббио житья. Дантист уже выдрал пять или шесть из них, а может, и больше, наверно больше, но те, что остались, как будто мстили за удаленных собратьев.

Как-то в воскресенье из города приехал шурин Боббио с целой компанией: с женой, детьми, родственниками жены, родственниками родственников — пять экипажей; веселью не было конца и вдруг — бац! Под вечер, когда все уже садились за стол, у Боббио схватило зуб, да еще как схватило!

Чтобы не портить гостям праздник, несчастный Боббио пошел к себе в комнату, держась за щеку, приоткрыв рот и глядя перед собой остекленевшими глазами; гостей он попросил начинать трапезу, не обращая на него внимания. Но через час он снова появился, и вид у него был такой, будто он уже не соображает, на каком он свете; ему казалось, что паровая мельница, самая настоящая мельница, с жужжаньем и визгом перемалывает что-то у него во рту. Ошеломленные гости испуганно глядели ему в рот, словно ожидали, что оттуда и в самом деле посыплется мука. Какая там мука! Из рта Боббио текла слюна, слюна. Это было нелепо, и всё на свете было нелепо, жестоко, чудовищно. Все сидели за

праздничным столом и пировали себе, а он терял рассудок от боли, впадал в бешенство, для него конец света уже наступил!

Боббио тяжело дышал, лицо его налилось кровью, глаза вылезали из орбит, руки тряслись; он, точно медведь, переваливался с ноги на ногу и крутил головой, как будто хотел боднуть стену. Его движениям и жестам надлежало быть стремительными и яростными согласно состоянию его духа, но они получались мягкими и плавными, должно быть, из-за страха еще больше забредить больной зуб.

Да сидите вы, сидите, ради всего святого! О, бог ты мой! С ума, что ли, хотя бы они его свести, вскакивая с мест? Сидите, пожалуйста, сидите! Ничего... Ну кто тут может помочь! Глупости... притворное сочувствие... Да нет же, ничего не надо! Он не может говорить... Кто-нибудь один... Пусть кто-нибудь один велит запрячь лошадей в какой-нибудь из прибывших утром экипажей. Надо поехать в Рикьери и вырвать этот зуб. Скорее же! Скорей! Остальные пусть сидят за столом. Как только запрягут... Нет-нет. Он поедет один, один... Не нужно провожатых! Никого он не может ни видеть, ни слышать... Ради бога, он сам...

Немного погода Боббио сидел в карете — один, как и хотел, — и томился, тонул, погибал в жужжании нестерпимой боли, а меж тем уже стемнело, и лошади тянули экипаж в гору почти шагом... Но что это с ним? Его вдруг охватила дрожь, он весь затрепетал от какой-то нежности, жалости к самому себе, властно проникшей в его затуманенное болью сознание, — ну за что он так страдает? В этот момент карета проезжала мимо незатейливой часовенки Марии Всеблагой, над входом в которую был повешен зажженный фонарь, и вот Боббио, охваченный трепетной жалостью к себе, обезумевший от боли, не сознавая, что делает, уставился на этот фонарь и...

— Богородице Дево, радуйся, Благодатная, Господь с тобою; благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего Иисус. Святая Мария, Божья Матерь, молись за нас, грешных, ныне и в час смерти нашей. Аминь.

И тут вдруг наступила тишина: смолкло жужжанье в голове Боббио, тихо стало вокруг — тишина разом нахлынула на весь божий свет; тишина освежающая, непостижимо легкая, мягкая.

Боббио в изумлении отнял руку от щеки и стал настороженно вслушиваться. Испутив долгий-долгий вздох — вздох облегчения, избавления, он пришел в себя... О господи! Зуб не болел... Боль исчезла так внезапно... Будто по волшебству... Только он прочел молитву Пресвятой Деве, и тут же... Неужели? Ну да, так и было... А прошло ли?... Прошло, сомнения нет... Молитва, что ли, помогла? Да что это он!.. Это он-то мог подумать, что молитва... Он прочел ее просто так... по наитию... а теперь, как темная баба...

Карета тем временем продолжала катить в Рикьери: Боббио был настолько смущен и озадачен, что не отдал кучеру распоряжения повернуть обратно.

Его охватил стыд, и особенно терзала мысль о том, как это он мог, словно баба, кинуться за помощью к боготатери, пробормотать молитву, после чего боль действительно прошла; а с другой стороны, он испытывал и угрызения совести, оттого что проявляет неблагодарность, не веря, не желая поверить в чудодейственную силу молитвы, после того как избавление уже было ему даровано; а еще где-то в глубине души его затаился страх: а ну как из-за этой самой неблагодарности боль возвратится?..

Но нет! Боль не возвратилась. И Боббио, велел кучеру повернуть обратно, вскоре предстал перед выбежавшими навстречу домочадцами и гостями, паря, как на облаке, и с торжествующей улыбкой заявил:

— Все в порядке! Боль вдруг прошла сама по себе, когда проехали часовню Марии Всеблагой... Сама по себе!

Прошло несколько лет. И вот в один прекрасный день, когда Боббио отдыхал после обеда на кушетке в своем рабочем кабинете и читал первую книгу «Опытов» Монтеня, на губах его вдруг появилась ироническая улыбка, и он снова вспомнил о том редком случае, о котором мы рассказали.

В главе двадцать седьмой он прочел: «C'est folie de rapporter le vrai et le faux a nostre suffisance»¹.

¹ Безумие судить, что истинно и что ложно, на основании нашей осведомленности (франц.). —Здесь и далее перевод с французского А. Бобовича.

Однако за иронической улыбкой пряталось какое-то беспокойство и, читая, Боббио время от времени трогал рукой правую щеку.

Монтень писал:

«Quand nous lisons dans Bouchet les miracles des reliques de saint Hilaire, passe; son credit n'est pas assez grand pour nous oster la licence d'y contredire; mais de condamner d'un trait outes pareilles histoires me semble singulière imprudence. Ce grand saint Augustin tesmoigne...»¹

— Вот как! — воскликнул Боббио, саркастически усмехнувшись. — Стало быть, Блаженный Августин свидетельствует или, скажем, удостоверяет, что видел собственными глазами, как в Милане перед мощами святого Гервасия прозрел слепой ребенок, как в Карфагене женщина, которую осенила крестом новообращенная, исцелилась от язвы... Но ведь точно так же Блаженный Августин мог бы засвидетельствовать или удостоверить с моих слов, что Марко Саверио Боббио, почтенный нотариус из Рикьери, исцелился однажды от жестокой зубной боли, прочтя молитву Пресвятой Деве...

Тут Боббио закрыл глаза, сложил губы трубочкой, дыхнул и потянул носом:

— Дурной запах!

Растянув губы и склонив голову набок, попробовал, не открывая глаз, чуть надавить на щеку.

— Проклятье! Снова он, что ли, заболел, этот зуб? Ой, как заболел... Опять заныл, прах его побери...

Боббио засопел, с трудом встал, бросил книгу на кушетку и принялся ходить по комнате, наморщив лоб и держась за щеку. Стал перед трюмо и, сунув в рот палец, оттянул щеку, чтобы взглянуть на больной зуб в зеркало. От холодного воздуха тот заныл еще сильнее, так что Боббио поскорей закрыл рот и сморщился от боли. Потом обратил взор к потолку и в отчаянии потряс кулаками.

Он знал по опыту, что отчаиваться и приходить в ярость не надо — будет еще хуже. Постарался взять себя в руки: снова лег на кушетку и немного полежал, по-

¹ Когда мы читаем у Буше о чудесах, совершенных якобы мощами святого Илария, то не станем задерживаться на этом: доверие к этому писателю не столь уж велико, чтобы мы не осмелились усомниться в правдивости его рассказов. Но отвергнуть все истории подобного рода я считаю недопустимой дерзостью. Святой Августин, этот величайший из наших святых, говорит... (франц.).

лузакрыв глаза, словно выкашивал в себе свою боль, потом открыл их и снова принялся за чтение.

«...une femme nouvellement baptisée lui fit; Hesperius... une femme en une procession ayant touché a la chasse saint Estienne d'un bouquet s'estant frottée les yeux, avoir recouvré la veue qu'elle avoit pieca perdue...»¹

Снова Боббио усмехнулся, но усмешка его тотчас перешла в гримасу — острая боль пронзила челюсть, — и он довольно сильно стукнул по ней кулаком. Усмешка оказалась вроде вызова.

— Ну ладно, — произнес он. — Давайте проверим... Пусть Монтень и Блаженный Августин будут свидетелями... Посмотрим, повторится ли то, что случилось со мной тогда...

Он закрыл глаза и с застывшей улыбкой на губах, дрожавших от боли, стал тихонько читать молитву Пресвятой Деве, на этот раз по-латыни, с трудом вспоминая слова: «...gratia plena... Dominus tecum... fructus ventris tui... nunc et in hora mortis...»² Тут он открыл глаза. «Amen»³. Подождал несколько мгновений — ну, что там с зубом?

Да нет! Не прошло... Еще сильнее припекает... Конечно, сильнее... сильнее...

— О, святая Мария, святая Мария!

Боббио оторопел. Эта последняя мольба была *не его*: она слетела с его губ, но голос был *не его*, и слова эти были произнесены с жаром, который был *не его*. И вот, пожалуйста... вот... передышка... облегчение... Неужели все-таки?.. Как в тот раз?.. Ой, нет! Ой-ой... Ой-ой...

— К черту Монтеня! И Блаженного Августина!

Боббио водрузил на голову цилиндр и, сердито ворча, держась за щеку, отправился к зубному врачу.

Трудно сказать, читал он по дороге молитву Пресвятой Деве, сам того не замечая, или не читал. Может — да, а может — нет... Но так или иначе перед самой дверью врача он вдруг остановился. Его брови были нахмурены, по лицу струился пот, и вся фигура его выражала такое смешное недоумение, такую растерянность,

¹ ...которым ее осенила другая, только что окрещенная женщина; как один из его друзей, Гесперий... как одна женщина, до этого много лет слепая, коснувшись своим букетом во время религиозной процессии раки святого Стефана, потеряла себе этим букетом глаза и тотчас прозрела... (франц.)

² Благодатная... Господь с тобою... плод чрева твоего... ныне и в час смерти нашей (лат.).

³ Аминь (лат.).

что какой-то проходивший мимо знакомый окликнул его:

— Синьор Боббио!

— А?..

— Что с вами такое?

— Да ничего... У меня было зуб заныл...

— И все прошло?

— Ну да... Само по себе...

— Вы бы лучше сказали: «Слава богу!»

Боббио оскалился, как взбесившийся пес:

— Черта с два! — крикнул он. — При чем тут бог?!
Говорю вам — само по себе! Хотя из-за того, что я так говорю, зуб наверняка через минуту снова заболит!.. Но знаете, что я сделаю? Сейчас он не болит, но я все равно пойду и попрошу его выдрать! Пусть их выдерут все до одного и сейчас же! Сыт я этими шутками, сыт по горло, хватит с меня!

И под смех своего приятеля яростно рванул дверь и вошел в дом зубного врача.

1912 (1922)

ЛОВУШКА

Нет-нет, я не смирюсь! Чего ради? Если бы у меня были какие-нибудь обязанности перед другими, я бы еще подумал. Но у меня же их нет! А так — ради чего?

Вот что я тебе скажу: ты не можешь меня осудить. И, вообще говоря, никто меня осудить не может. Ведь то, что понимаю я, понимаешь и ты, понимает любой и каждый.

Почему вы пугаетесь, проснувшись в темноте? Потому что источником и основой жизни вы считаете дневной свет. Свет, порождающий иллюзии.

Вы боитесь мрака и безмолвия. Поэтому вы зажигаете свечу. Но свет ее кажется вам печальным, унылым, не так ли? Не к этому свету вы тянетесь. Вам подавай солнце! Солнце! У вас не порождает иллюзий тусклый свет, зажженный вашей дрожащей рукой.

Дрожит ваша рука, и колеблется все, что для вас составляет реальность. Эта ваша реальность кажется вам в полутьме ненастоящей, призрачной, искусственной, как свет свечи. И ваши нервы судорожно напрягаются, вы

цепенеете от страха: а ну как из-под этой реальности, призрачность которой вы открыли, проглянет другая: темная, страшная — настоящая! Слышится вздох... Что там такое? Какой-то скрип...

И вот от ужаса перед неведомым вас охватывает дрожь, на лбу выступает холодный пот, а перед вами в неверном свете свечи движутся по комнате призрачные образы ваших дневных иллюзий. Вглядитесь — у них, как и у вас, водянистые глаза в опухших веках, они, как и вы, желты от бессонницы, у них ревматизм грызет суставы, как и у вас. Слышите, как скрипят суставы пальцев на ногах?

А что делается с вещами! Они все будто застыли в напряженном ожидании, и вас это пугает.

Вещи окружают вас и тогда, когда вы спите.

Сами они не спят. Стоят на своих местах и днем, и ночью.

Ваша рука открывает и закрывает дверцы шкафа. А завтра их будет открывать и закрывать другая рука. Неизвестно чья... Но шкафу все равно. Сейчас он набит тряпьем, старыми костюмами, которые хранят форму ваших усталых коленей, ваших острых локтей. Завтра в нем будут развешаны чьи-то другие костюмы. Зеркало в шкафу сегодня отражает ваш образ, но не хранит его; не сохранит оно и ничей другой образ.

Само зеркало ничего не видит. Зеркало — как истина.

Ты думаешь, я брежу? Говорю загадками? Полно, ты меня понимаешь, ты понимаешь даже то, чего я не говорю, потому что очень трудно выразить словами смутное чувство, которое овладело мной и не дает мне покоя.

Ты знаешь, как я жил до сих пор. Знаешь, что я всегда с отвращением и ужасом относился к тому, чтобы обрести какую-то определенную форму, застыть и отвердеть в ней хотя бы на мгновение.

Друзья немало потешались над моими постоянными... как вы их там называете? Ах, да, трансформациями, вот именно: над трансформациями в моем облике. Вы потешались над ними, не давая себе труда вникнуть в суть дела, а она заключалась вот в чем: мне до зарезу нужно было видеть свое отражение в зеркале каждый раз иным, я пытался тешить себя иллюзией, будто каждый раз я становлюсь другим, не тем, что прежде!

Но увьи! Что я мог изменить? Дошло до того, что я обрил себе голову, раньше времени стал лысым; потом поочередно: сбрасывал усы, оставляя бороду; сбрасывал боро-

ду, оставляя усы; сбрасывал и то и другое; отпускал то окладистую бороду, то эспаньолку, то длинные бакенбарды...

Я вел игру с помощью собственных волос.

Но глаза, нос, уши, торс, ноги и руки я изменить не мог. Оставалось только гримироваться подобно актеру. И я не раз об этом подумывал. Но пришел к выводу, что тело-то мое и под маской останется прежним... и будет стареть!

Пробовал я отыграться на духовном мире. О, тут игра шла повеселей!

Вот вы ставите превыше всего хваленое постоянство чувств и твердость воли. А почему? Да все по той же причине: вы трусите! Вы боитесь сами себя, то есть опасаетесь, как бы вам, изменившись, не потерять ту реальность, которую вы сами себе сотворили, — ведь тогда пришлось бы признать, что реальность эта не более чем ваша иллюзия и, стало быть, никакой другой реальности, кроме той, которую мы творим себе сами, вообще не существует.

Но в том-то и штука, что сотворить собственную реальность — это значит фиксировать какое-то свое душевное состояние, застыть в нем, затвердеть, окаменеть! Иначе говоря, надо остановить в себе непрерывное движение жизни, превратиться в крохотное затхлое болотце, ибо жизнь — это вечный и беспредельный огненный поток.

Вот какая мысль терзает и бесит меня!

Жизнь — это ветер, жизнь — это море, жизнь — это огонь! Но не земля, ибо земля покрылась корой и обрела форму.

Всякая форма — смерть.

Все, что обретает форму и обособляется от вечного и беспредельного огненного потока, обречено на смерть.

Мы все — существа, попавшие в ловушку, выхваченные из вечно живого потока и тем самым преданные смерти.

Какое-то короткое время поток бежит в нас, внутри нашей особой, изолированной, неизменной формы, но мало-помалу течение слабеет, огонь гаснет, форма засыхает, хотя в этой отвердевшей форме движение еще не совсем замерло.

Смерть — лишь завершение процесса умирания, который мы называем жизнью!

Я ощущаю себя пленником ловушки, поставленной смертью, — именно ловушка вырвала меня из потока жизни, где я лился, не принимая никакой формы, и фиксировала во времени, в том времени, в котором я живу!

Почему я попал в это время, а не в другое?

Я мог струиться дальше и быть схваченным позже, жить в другое время, обрести другую форму... Ты говоришь, получилось бы то же самое? Ну да, раньше или позже... Но все-таки я был бы другим — неважно кем, неважно каким, но другим. Ловушка определила бы мне другую судьбу, я увидел бы другие вещи или, может быть, те же самые, но с иных сторон и в ином порядке.

Ты не представляешь себе, как я ненавижу все вещи, которые попадают мне на глаза, ибо они оказались в ловушке вместе со мной, они существуют в моем времени, они понемногу умирают со мной вместе! Я ненавижу их и жалею! Ненавижу, пожалуй, больше.

Правда, если бы я попал в ловушку попозже, я ненавидел бы и ту, другую свою форму, как теперь ненавижу эту; я ненавидел бы и другое время, как ненавижу мой сегодняшней день; и я точно так же ненавидел бы все иллюзии жизни, которые мы, *мертвецы всех времен*, строим себе из жалких крох движения и тепла, что еще останутся в нас от вечного потока настоящей жизни, которому нет предела.

Мы — хлопотливые мертвецы, а воображаем, что строим себе жизнь.

И мы еще соединяемся в объятии — покойник с покойницей — и думаем, что даруем кому-то жизнь, а на самом деле даруем смерть... Еще одно существо в ловушке!

— Иди, милый, иди сюда! Начинай умирать, милый, ну, давай... А, ты плачешь? Плачешь и сучишь ножками... Ты хочешь струиться дальше? Ну, будь умницей, милый! Что поделаешь! Ты схвачен, ты створожил, обрел форму... Придется потерпеть! Будь умницей...

Пока мы маленькие, пока наше нежное тело растет, пока оно почти невесомо, мы вовсе не замечаем, что попали в ловушку! Но потом мы тяжелеем, начинаем ощущать собственный вес, замечаем, что прежней легкости движений уже нет.

Я с досадой и горечью наблюдаю, как дух мой мечется в ловушке, не желая обрести покой в моем уже не юном, отяжелевшем теле. Тотчас гоню я всякую мысль, которая грозит утвердиться во мне, тотчас бросаю лю-

бое занятие, которое грозит стать привычкою; я не хочу быть рабом долга или собственных привязанностей, не хочу, чтобы дух мой застыл под твердой корою убеждений. Но я чувствую, как тело мое день ото дня все более неохотно подчиняется мятежному духу: оно стареет, слабеет в коленях, да и в руках нет уж былой силы... Оно просит покоя. И оно его получит.

Нет и еще раз нет! Я не могу и не хочу смириться, не хочу медленно умирать, являя собой жалкое зрелище старческой немощи. Не хочу. Но сначала я... не знаю, что я сделаю, только мне обязательно нужно дать выход той ярости, которая душит меня.

Ну хотя бы... вцеплюсь вот этими самыми ногтями в лицо какой-нибудь хорошенькой женщине, которая держится вызывающе, затуманивая голову каждому встречному!

Как глупы, как глупы женщины, эти жалкие неразумные существа! Наряжаются, прихорашиваются, стреляют глазками направо и налево, улыбаются, выставляют напоказ свои соблазнительные формы, насколько это позволяют приличия, и ни на минуту не задумываются о том, что и они тоже в ловушке, что их ожидает смерть и что в себе они носят ловушку для тех, кто еще не появился на свет!

Да, именно в них, в женщинах, ловушка для нас, мужчин. Они на какой-то миг доводят нас до белого каления, чтобы исторгнуть из нас еще одно существо, обреченное на смерть. Распаленные их ласками и речами, слепые от буйной страсти, мы опрометью кидаемся в ловушку.

Меня самого — это меня-то! — они заставили пасть. Причем совсем недавно. Вот почему я в такой ярости.

Подлая ловушка! Если б ты ее видел... Что твоя непорочная дева! Скромная, робкая. Завидев меня, всякий раз опускала глаза и краснела. Знала, что иначе меня не совратишь.

Она приходила сюда во исполнение высокого христианского долга милосердия, приходила к больному и страждущему. Не ко мне, конечно, а к моему отцу. Она помогала нашей старой домоправительнице ухаживать за бедным моим отцом, который лежит вон в той комнате...

Живя по соседству, она подружилась с нашей домоправительницей и заходила к ней поплакаться на своего мужа: этот кретин вечно попрекал ее тем, что она бездетна.

Понимаешь, в чем тут дело? Когда человек начинает костенеть, когда не может уже двигаться, как прежде, ему хочется видеть вокруг себя других мертвецов, маленьких, мягких и гибких, которые еще движутся, как двигался он сам, когда был мягким и гибким; ему хочется, чтобы эти маленькие мертвецы походили на него и выделяли всякие штучки, на которые сам он уже не способен.

Приятная забава — утирать нос маленькому мертвецу, который еще не понимает, что он в ловушке, прихорашивать его и водить на прогулку.

Так вот, она сюда ходила.

— Я представляю себе, — говорила она мне, опуская взор и заливаясь краской, — как вам, должно быть, больно, синьор Фабрицио, столько лет видеть вашего отца в таком состоянии!

— Да-да! — бросал я в ответ и шел прочь.

Теперь-то я уверен, что она, как только я отворачивался, давилась смехом и закусывала губу, чтобы не расхохотаться.

Я каждый раз уходил от нее, так как чувствовал, что против собственной воли восхищаюсь этой женщиной, и совсем не потому, что она хороша собой (а она была настоящая красавица, и чем скромнее она держалась, выказывая пренебрежение к своей красоте, тем неотразимее становилась для меня); я восхищался ею потому, что она не удовлетворяла желания мужа поймать в ловушку еще одно несчастное существо.

Я думал, все дело было в ней. Оказалось — наоборот: у них ничего не выходило из-за этого болвана, ее мужа. И она это знала или, по крайней мере, подозревала, пока у нее не было полной уверенности. Потому, видно, и смеялась — надо мной смеялась, надо мной: ведь я восхищался ею как раз из-за ее мнимого бесплодия. Смеялась втихомолку, затаив коварство в душе, — и ждала. И вот однажды вечером...

Случилось это здесь, в этой самой комнате.

Я сидел тут в полумраке. Мне, видишь ли, нравится наблюдать, как за окнами угасает день, как меня понемногу обволакивают сумерки, при этом я говорю себе: «Меня здесь нет. Если бы в этой комнате был кто-нибудь, он встал бы и зажег лампу. Я не зажигаю лампу, потому что меня здесь нет. Я — как вещи в этой комнате — кресла, столик, портьеры, шкаф, диван, — которым не нужен свет, которые не знают, не видят, что я здесь.

Я хочу быть таким же, как они: не видеть себя, забыть, что я тут сижу...»

Итак, я сидел в темноте. Она вышла на цыпочках вон оттуда, из комнаты моего отца, где горел ночник, слабый свет которого едва пробивался сквозь щель приоткрытой двери, не рассеивая сумерек.

Я не видел ее, сидел к ней спиной. Может быть, и она меня не видела. Наткнувшись на меня, вскрикнула, вроде бы лишилась чувств и упала мне на грудь. Я наклонился к ней, щека моя слегка коснулась ее щеки, так что я совсем близко ощутил жар ее трепещущих губ, и...

Меня пробудил наконец ее смех. Демонический смех. Он до сих пор звучит у меня в ушах! Как смеялась, ну как смеялась эта злодейка, смеялась, пока не скрылась за дверьми! Смеялась тому, как ловко заманила меня в ловушку напускной скромностью, смеялась над моей посрамленной суровостью и еще кое над чем, как я понял впоследствии.

Она уже три месяца как уехала отсюда — ее муж получил место преподавателя лица где-то в Сардинии.

Бывает, что и назначение приходит кстати.

Я не увижу плод моего падения. Не увижу никогда. Но порой меня так и подмывает помчаться к этой злодейке и задуть ее до того, как она поймает в ловушку несчастное существо, исторгнутое из меня таким предательским способом.

Я рад, друг мой, что не знал своей матери. Если бы я ее знал, моя неутолимая ярость скорей всего не вспыхнула бы во мне. Но раз уж она вспыхнула, я рад, что не знал матери...

Идем, загляни-ка в эту комнату. Смотри!

Это мой отец.

Он семь лет уже в таком состоянии. Все, что от него осталось — рот да глаза. Рот жует, глаза плачут. Он не говорит, не слышит, не может шевельнуть ни рукой, ни ногой. Ест и плачет. Ест, когда в рот положат. Плачет самостоятельно, без причины, а может, в нем что-то осталось, последняя искорка, которая упрямо тлеет через семьдесят шесть лет после начала угасания.

Ну, как ты думаешь, разве не ужасно застыть вот так, намертво, и все-таки оставаться в ловушке, не имея никакой возможности вырваться из нее?

Он скорей всего не думает о своем отце, о том, кто вырвал его из потока жизни семьдесят шесть лет тому назад и тем самым обрек на смерть, которая так безбож-

но запаздывает. Но я-то о своем отце думаю, я сознаю, что я — отпрыск этого человека, который уже перестал двигаться, я понимаю, что он, и никто другой, определил, когда мне попасть в ловушку!

Гляди — плачет! Вот всегда так: сам плачет и меня до слез доводит! Он хочет освободиться, это ясно. Что ж, настанет день, когда я его освобожу. С собой вместе. Вечера теперь стали холодные, и вот как-нибудь вечером мы растопим жаровню... Не хочешь ли составить компанию?..

Нет?.. Не стоит благодарности... Да, конечно, пойдем прогуляемся, дружище. Я вижу, ты соскучился по солнцу. Идем.

1912 (1922).

ЧИСТАЯ ПРАВДА

Едва Сару Ардженту, по прозвищу Тарара, был доставлен на скамью подсудимых, отгороженную от остальной части мрачного судебного зала высокой решеткой, как первым делом он извлек из кармана большущий, красный, в желтых цветах платок и аккуратно разостлал его на сидении, чтобы не запачкать свой праздничный костюм из грубого темно-синего сукна. Костюм и платок были совсем новые.

Удобно устроившись, Сару повернулся лицом к крестьянам, толпившимся за перегородкой в той части зала, которая отведена для публики, и улыбнулся. Его щетинистая обычно физиономия была свежевыбрита — и это придавало ему сходство с обезьяной. В ушах висели золотые серьги.

От толпы крестьян шел терпкий, пронзительный дух конюшни и пота, свежего навоза и прелой овчины, от которого делалось дурно.

Какая-то женщина, одетая в черное, в шерстяной накидке, натянутой по самые брови, при виде подсудимого испуленно заголосила; между тем сам подсудимый весело поглядывал из своей клетки и то поднимал натруженную крестьянскую руку, то кивал направо и налево головой, делая это, впрочем, не столько в знак приветствия, сколько для того, чтобы выказаться приятелям и товарищам по работе нечто вроде признательности и даже известного снисхождения.

После стольких месяцев предварительного заключения этот суд был для него почти праздником. Поэтому он и принарядился, словно в воскресный день. По бедности Тарара не мог нанять адвоката и вынужден был довольствоваться защитником, назначенным судом; нов том, что зависело от него лично, Тарара был на высоте: чистенький, бритый, причесанный, одет по-праздничному.

Как только суд покончил с необходимыми формальностями и был оглашен состав присяжных, председательствующий велел подсудимому встать.

— Ваше имя!

— Тарара.

— Это прозвище. Назовите настоящее имя.

— А, понимаю, ваша честь. Зовут меня Ардженту, Сару Ардженту, ваша честь. Но все знают меня как Тарара.

— Так. Сколько вам лет?

— Не знаю, ваша честь.

— Как не знаете?

Тарара подернул плечами и скорчил гримасу, совершенно ясно дав этим понять, что подсчитывать годы всегда представлялось ему занятием если не предосудительным, то уж во всяком случае бессмысленным. Однако добавил:

— Я ведь из деревни, ваша честь. Кто там считает годы?

В публике рассмеялись; председательствующий склонился над разложенными перед ним бумагами:

— Вы родились в тысяча восемьсот семьдесят третьем году. Следовательно, сейчас вам тридцать девять лет.

Тарара покорно развел руками:

— Как прикажете, ваша честь.

Чтобы не вызывать в зале новых приступов веселья, председательствующий стал поспешно задавать новые вопросы, отвечая на них сам:

— Правильно? Правильно.

Покончив с вопросами, он сказал:

— Садитесь. Сейчас секретарь огласит обвинительное заключение.

Секретарь начал чтение, однако уже вскоре должен был прервать его, так как от зловония, пропитавшего зал, старшине присяжных сделалось дурно. Сторожа получили распоряжение открыть двери и окна.

Вот тогда-то и стало ясным неоспоримое превосходство подсудимого над судьями.

Восседавший на своем огненно-красном платке Тарара даже не замечал этого зловония, столь привычного для его носа, и безмятежно улыбался; он не чувствовал жары, хотя и был облачен в толстое синее сукно; не испытывал он ни малейшего беспокойства и от мух, которые вынуждали присяжных заседателей, королевского прокурора, адвокатов, сторожей и даже карабинеров отчаянно жестикулировать. Мухи облепляли ему руки, сонно жужжали вокруг лица, хищно впивались в лоб, губы, глаза — Тарара их не чувствовал, не гнал и только улыбался.

Молодой защитник, назначенный судом, заранее уверил своего подзащитного в благополучном исходе дела, поскольку речь шла всего лишь об убийстве жены, измена которой была доказана.

С блаженной наивностью, свойственной животным, Тарара оставался совершенно спокойным. На его лице не было и тени угрызений совести. Ему было решительно непонятно, почему он должен отвечать за дело, которое никого на свете, кроме него, не касалось. Он воспринимал правосудие только как печальную неизбежность. В хозяйстве крестьянина — неурожайные годы, в жизни — правосудие. Не все ли равно?

Правосудие со всей его парадностью — величественными скамьями, судейскими шапочками, тогами, пышными плюмажами — было для Тарара чем-то вроде той большой новой паровой мельницы, которую так торжественно открывали в прошлом году. Разглядывая год назад вместе с другими зеваками эту удивительную машину, все это нагромождение колес, всю эту чертовщину из поршней и блоков, Тарара ощущал, как мало-помалу в нем росло чувство удивления и вместе с тем недоверия. Каждый привозил на эту мельницу свое зерно, но кто бы мог поручиться потом, что полученная обратно мука была именно из его зерна, а не из чужого? Приходилось закрывать на это глаза и покорно брать ту муку, которую давали.

Вот так и теперь с тем же самым недоверием и той же покорностью Тарара вручал свою судьбу машине правосудия.

Он знал лишь, что разможил жене голову топором. Произошло это так. Тарара целую неделю батрачил на полях возле городка Монтаперто. Вернувшись в очеред-

ной субботний вечер домой, промокший и грязный, Тарара узнал о большом скандале, который произошел в Арко-ди-Спото, где он жил.

За несколько часов перед тем его жену застали на месте преступления с кавалером доном Агатино Фьорикой.

Донна Грациелла Фьорика, супруга кавалера, — руки в браслетах и кольцах, щеки нарумянены, вся изукрашена, как мул, на котором под звуки тамбурина возят в церковь зерно, — сама, лично, привела двух полицейских во главе с комиссаром Спано в тупичок Арко-ди-Спото, чтобы те удостоверили факт прелюбодеяния.

Соседи не смогли скрыть от Тарара постигшего его несчастья, ибо жену, вместе с кавалером, продержали всю ночь под арестом. На следующее утро, как только она показалась в дверях дома, Тарара бросился на нее и, прежде чем успели вмешаться соседи, размозжил ей голову.

А что там бубнит секретарь суда — кто его разберет?..

Когда секретарь кончил чтение, председательствующий снова приказал подсудимому встать и отвечать на вопросы:

— Подсудимый Ардженту, вы поняли, в чем вас обвиняют?

Тарара чуть шевельнул рукой и с обычной своей улыбкой ответил:

— Ваша честь, по правде сказать, я не очень-то слушал.

Председательствующий сердито сделал ему внушение:

— Вы обвиняетесь в том, что утром десятого декабря тысяча девятьсот одиннадцатого года убили топором Росарию Феминеллу, вашу жену. Что вы скажете в свое оправдание? Повернитесь лицом к присяжным и говорите ясно, с должным уважением к суду.

Тарара прижал руку к сердцу, словно в знак того, что у него нет ни малейшего желания относиться к суду с неуважением. Присутствующие зрители, уже настроенные на веселый лад, заранее предвкушали ответ. Тарара это заметил и некоторое время смущенно молчал.

— Отвечайте же! — понукал его председательствующий. — Скажите синьорам присяжным то, что имеете сказать.

Тарара пожал плечами и наконец решился:

— Видите ли, ваша честь, тут сидят все люди ученые, и что написано в бумагах, они сами разберут. Я, ваша честь, человек простой. Но раз в этих бумагах написано, что я убил жену, значит, так оно и есть. И говорить тут не о чем.

На этот раз не удержался от смеха сам председатель.

— Не о чем говорить? Э нет, почтенный, тут есть о чем поговорить...

— Я хочу сказать, ваша честь, — пояснил Тарара, сновa прижимая руку к сердцу, — хочу сказать, что убил ее я, вот и все. Я убил ее — да, ваша честь, я обращаюсь к синьорам присяжным, — я убил ее собственными руками, синьоры присяжные, потому что иначе я не мог поступить, вот. Больше мне прибавить нечего.

— Прошу соблюдать порядок, синьоры! Прекратите смех! — напустился председательствующий, яростно трезвоня колокольчиком.

— Где вы находитесь ? Вы же в зале суда! Судят человека за убийство! Если смех будет продолжаться — я прикажу очистить зал. Мне чрезвычайно стыдно, синьоры присяжные, уж вам-то напоминать о серьезности дела!

И, грозно нахмурившись, он обратился к подсудимому:

— Что вы имели в виду, когда сказали, что иначе поступить не могли?

В наступившей гробовой тишине Тарара смущенно ответил:

— Я хотел сказать, ваша честь, что не я в этом виноват.

— Как так не вы виноваты?

Тут молодой защитник, назначенный судом, не выдержал и счел долгом восстать против грозного тона, с каким председатель обращался к подсудимому.

— Прошу прощения, синьор председатель, но этак мы вовсе собьем с толку беднягу! Мне кажется, он прав, утверждая, что не он в этом виноват, а жена, которая изменяла ему с кавалером Фьорикой. Это же ясно!

— Извините, синьор адвокат, но я прошу вас не мешать суду! — сердито прервал его председательствующий. — Пусть говорит подсудимый. Продолжайте, Тарара. Вы согласны с тем, что сказал ваш защитник?

Тарара сперва отрицательно покачал головой, потом пояснил:

— Нет, ваша честь. Бедняжка покойница тоже не виновата. Всему виной одна эта... супруга кавалера Фьорики, которая нипочем не хотела оставить все шито-крыто, как было. Какого рожна, ваша честь, понадобилось ей закатывать такой скандал возле самого моего дома? Такой скандал, ваша честь, что камни мостовой — и те покраснели, глядя, как достойного, высокочтимого кавалера Фьорику — а ведь мы все его знаем за такого — накрыли в одной рубашке, без штанов, в берлоге грязной крестьянки? Одному богу известно, ваша честь, на что только не приходится нам идти ради корки хлеба!

Пока Тарара все это говорил дрожащим от волнения голосом, со слезами на глазах и прижимая к груди сцепленные в пальцах руки, в зале гремел неудержимый хохот, а многие просто корчились от смеха. Но даже сквозь этот смех председательствующий сумел уловить, что подсудимый своим заявлением придал делу новый, неожиданный для него оборот. Понял это и молодой адвокат, который увидел, как разом рушилась вся придуманная им система защиты. Он повернулся к обвиняемому и стал делать ему предостерегающие знаки.

Но было слишком поздно. Председательствующий, неистово потрясая колокольчиком, задал подсудимому вопрос:

— Так вы признаете, что знали о связи вашей жены с кавалером Фьорики?

— Синьор председатель, — вмешался защитник, вскочив с места, — извините... но так я... так я...

— Что так, так?.. — прервал его окрик председательствующего. — Я же обязан немедленно все уточнить!

— Я протестую против вашего вопроса, синьор председатель!

— Протестовать вы не имеете никакого права, синьор адвокат! Допрос веду я!

— В таком случае я слагаю с себя обязанности защитника.

— Сделайте одолжение... Нет, неужели вы это серьезно? Раз подсудимый сам признает...

— Нет, позвольте, позвольте, синьор председатель! Подсудимый еще ничего не признает. Он только сказал, что, по его мнению, во всем виновата синьора Фьорика, которая устроила скандал перед самым его домом.

— Допустим! Но на каком основании вы мешаете

мне спросить подсудимого, знал ли он о связи своей жены с Фьорикой или нет?

В ту же секунду из зала посыпались предостерегающие Тарара возгласы и знаки. Председательствующий пришел в бешенство и снова пригрозил очистить зал.

— Подсудимый Ардженту, отвечайте: вы знали о связи вашей жены с кавалером?

Смешавшийся, сбитый с толку, Тарара покосился на защитника и обвел глазами зал.

— Должен ли я... сказать «нет»? — вопросительно пробормотал он наконец.

— Болван! — крикнул из задних рядов какой-то старик крестьянин.

Молодой защитник стукнул в сердцах кулаком по скамейке и пересел на другое место.

— Говорите всю правду, это в ваших же интересах! — обратился к Тарара председательствующий.

— Ваша честь, я и так говорю чистую правду, — начал Тарара, на этот раз прижав к сердцу сразу обе руки. — А правда — вот она в чем: все было так, как если бы я ничего не знал! Потому как дело это — да, ваша честь, я обращаюсь к синьорам присяжным, — потому как дело это, синьоры присяжные, было тайным и, значит, никто не мог сказать мне в лицо, что я о нем знал. Я говорю так, синьоры присяжные, потому как я человек простой, неученый. Что может знать бедняк, который обливадется потом на полях с понедельника рано утром и до субботы поздно вечером? Такая беда может приключиться со всяким! Конечно, вот если б кто подошел ко мне в поле и сказал: «Тарара, гляди, твоя жена путается с кавалером Фьорикой», — мне не оставалось бы ничего иного, как взять топор, побегать домой и размозжить ей голову. Но никто, ваша честь, не приходил и не говорил мне такого; а я на всякий случай, когда мне случалось вырваться домой на неделе, всегда кого-нибудь посылал предупредить жену. Говорю это к тому, ваша честь, чтобы вы поняли, что я никому не желал зла. Мужчина есть мужчина, ваша честь, а женщина есть женщина. Оно, конечно, мужчина должен понимать, что женщина так уж устроена, что не может не изменять, даже когда она вовсе не остается по целым дням одна, то есть я хотел сказать, когда ее муж и не пропадает на работе по целым неделям; но ведь и женщина должна уважать мужчину и понимать, что он не может позволить кому попало плевать себе в лицо, ваша честь! Есть вещи... ко-

торые, ваша честь, — я обращаюсь к синьорам присяжным, — есть вещи, синьоры присяжные, хуже плевков — они режут глаза! И мужчина не может их сносить! Я, синьоры, готов поклясться, что эта несчастная всегда уважала меня; хоть и то верно, что я в жизни не тронул у нее волоска на голове. Все соседи могут это подтвердить! При чем тут я, синьоры присяжные, если эта синьора, храни ее бог, примчалась... Вы, ваша честь, велели бы позвать сюда эту синьору, и уж я бы с ней поговорил! Нет ничего хуже — я обращаюсь к вам, синьоры присяжные, — нет ничего страшнее крикливых баб! «Если бы ваш муж, — сказал бы я этой синьоре, будь она тут сейчас передо мной, — если бы ваш муж спутался с незамужней, то ваша милость могли бы скандалить сколько душе угодно, потому как никто от этого не страдает... Но по какому праву вы, ваша милость, пришли досаждать мне, человеку тихому и спокойному, который никогда не совал нос в чужие дела, который никогда не хотел ничего ни видеть, ни слышать, который, синьоры присяжные, без шума, с утра до позднего вечера добывал свой хлеб с мотыгой в руках? Для вашей милости это веселая шутка, — сказал бы я этой синьоре, будь она сейчас тут, передо мной. — Что значит для вас этот скандал, ваша милость? Пустяк! Одна забава! Через два дня вы уже помирились с мужем. А подумали вы, ваша милость, что тут замешан еще один муж? Что этот муж не может позволить плевать себе в лицо, что этот муж должен что-то сделать? Если бы ваша милость сперва пришли ко мне и все, как есть, рассказали, я бы ответил: „Бросьте, синьора! Мы же мужчины! Мужчина, дело известное, от рожденья охотник! Что вам за дело до грязной крестьянки? Кавалер, ваш муж, привык с вами к тонкой французской булке; так не перечьте ему, если изредка ему придет охота побаловаться коркой крутого черного домашнего хлеба!"» Вот как сказал бы я ей, синьор судья, и тогда, быть может, не произошло бы того, что, видит бог, к сожалению, произошло по вине этой синьоры.

Председательствующий снова пустил в ход звонок, и лишь ценой невероятных усилий ему удалось уговорить зал, который встретил лихорадочную исповедь Тарара выкриками и смехом.

— Таковы, значит, ваши показания? — спросил он у подсудимого.

Выдохшийся Тарара отрицательно покачал головой:

— Нет, ваша честь. Какие же это показания? Это чистая правда, синьор судья.

За эту чистую правду Тарара получил тринадцать лет тюрьмы.

1912 (1912)

ТЫ СМЕЕШЬСЯ!

Этой ночью жена опять сердито дернула его за локоть, и бедный синьор Ансельмо мгновенно проснулся.

— Ты смеешься!

Ошеломленный, с заложенным со сна носом, тяжело, со свистом дыша от внезапного пробуждения, он сглотнул слюну, почесал волосатую грудь; затем хмуро спросил:

— Что?.. И сегодня тоже? О господи...

— Каждую ночь! Каждую ночь! — простонала жена, позеленев от злости.

Синьор Ансельмо приподнялся на локте и, продолжая чесать грудь, спросил с раздражением:

— А ты уверена? Может быть, это просто отрыжка, что-нибудь с желудком, а тебе кажется, что я смеюсь?

— Нет, ты смеешься, ты смеешься, ты смеешься! — трижды прокричала жена. — Хочешь послушать как? А вот так!

И она разразилась громким раскатистым смехом, тем самым, каким каждую ночь смеялся во сне ее муж.

Изумленный и раздосадованный, не в силах все-таки до конца поверить, он еще раз спросил:

— Неужели вот так?

— Да, вот так. вот так!

И, изнемогая от усилия, которого потребовал от нее этот взрыв смеха, жена уронила голову на подушки и, вытянув руки вверх одеяла, простонала:

— О господи, как болит голова...

На комод в спальне еле колебался слабый огонек ночника перед изображением Лоретской Божьей Матери. Когда пламя вздрагивало, вся стоящая вокруг мебель как будто начинала шевелиться.

И точно так же шевелились в смятенной душе синьора Ансельмо досада и раздражение, огорчение и гнев. По

поводу этого небывалого, невероятного смеха, которым смеялся он каждую ночь, заставляя жену подозревать, что он купается бог знает в каких волнах блаженства, в то время как она лежит рядом, раздраженная, без сна, с головной болью, мучительным сердцебиением, нервным удушьем — словом, со всеми реальными и воображаемыми недугами чувствительной женщины на пятом десятке.

— Зажечь свечу?

— Да, зажги, зажги! И скорее накапай мне лекарство. Двадцать капель и немного воды.

Синьор Ансельмо зажег свечу и, как мог проворно, соскочил с постели. И вот в таком виде, босиком и в ночной рубашке, проходя мимо зеркального шкафа, чтобы взять с комода капельницу и пузырек с успокоительной микстурой, он увидел себя в зеркале и непроизвольно поднял руку, чтобы поправить длинную прядь волос, которой он тщетно прикрывал свою лысину. Жена с постели заметила этот жест.

— Это же надо, волосы приглаживает! — злобно усмехнулась она. — И хватает же наглости прихорашиваться даже среди ночи, в ночной рубашке, и это — когда я умираю!

Синьор Ансельмо резко обернулся, как будто его внезапно ужалила гадюка, и, тыча в жену пальцем, закричал:

— Это ты-то умираешь?

— Как бы я хотела, — простонала она в ответ, — как бы я хотела, чтобы господь заставил тебя испытать — я не говорю все, но хоть малую толику того, что мне сейчас приходится терпеть!

— Да полно тебе, моя милая, — пробурчал синьор Ансельмо. — Если бы тебе на самом деле было так плохо, ты не стала бы попрекать меня нечаянным жестом. И всего-то я только руку поднял, только поднял руку... О, черт! Сколько же я накапал?

И, разозлившись, он выплеснул на пол воду из стакана, в который вместо двадцати попало бог знает сколько капель микстуры. И пришлось ему вот так, босиком и в ночной рубашке, идти на кухню за водой.

— Я смеюсь!.. Подумать только, это я-то смеюсь... — повторял про себя синьор Ансельмо, идя на цыпочках по длинному коридору со свечой в руке.

Тихий голосок донесся из открытой в коридор двери.

— Дедушка...

Это был голос Сузанны, одной из пяти внучек синьора Ансельмо, самой старшей и его любимицы, которую он называл Сузи.

Два года назад, после смерти единственного сына, синьор Ансельмо приютил в своем доме всех пятерых внучек вместе с невесткой. Невестка, злая и грубая баба, которая женила на себе его несчастного сына, когда тому было всего восемнадцать лет, несколько месяцев назад, к счастью, сбежала из дома с неким господином, близким другом своего покойного мужа; так пятеро сироток, из которых старшей, Сузи, едва исполнилось восемь, остались на руках синьора Ансельмо — именно на его руках, так как, ясное дело, на руках бабушки, со всеми ее хворями, они остаться не могли. У нее не было сил даже заботиться о самой себе.

Но ее очень заботило, очень даже заботило, поднимет ли синьор Ансельмо невзначай руку, чтобы пригладить оставшиеся у него на голове несколько волосков! Потому что у бабушки, несмотря на все ее хвори, еще хватало духу жестоко его ревновать, как будто бы он в нежном возрасте пятидесяти шести лет, с седой бородой и лысым черепом и при всех радостях, которыми щедро одарила его милостивая судьба — внучки, которых он не знал, как прокормить на свое скудное жалованье, сердце, которое еще продолжало кровоточить после смерти его несчастного сына, — как будто бы он мог еще надеяться на романы с хорошенькими женщинами!

Может быть, потому-то он и смеялся. Ну да, ну да! Кто знает, сколько женщин страстно целовало его во сне каждую ночь!

Бешенство, с которым жена его будила, и злобная зависть, с какой она кричала ему: «Ты смеешься!» — не могли, конечно, иметь иной причины, кроме ревности.

Которая... а впрочем, что за чепуха! Ну, что она такое была, эта ревность? Так, крохотный смешной осколок от камня ада, который милостивая судьба вложила в руку его жены, чтобы та проводила время, беря ему раны; все те раны, которыми судьбе было угодно украсить его существование.

Синьор Ансельмо поставил свечу на пол около двери, чтобы ее свет не разбудил внучек, и вошел в комнату на голос Сузи.

Видимо, для того чтобы деду жилось еще лучше, судьба сделала так, что Сузи, в которой он не чаял души, росла болезненным ребенком; одно плечико у нее

было выше другого, и день ото дня ее шея все больше становилась похожей на стебель, слишком тонкий для этой слишком большой головки. Ах, эта головка Сузи...

Синьор Ансельмо склонился над кроватью, чтобы внучка могла обвить его шею худенькой ручонкой, и сказал:

— Знаешь, Сузи, а я опять смеялся!

Сузи посмотрела на него с мучительным удивлением.

— И сегодня ночью тоже?

— Да, и сегодня ночью. Эдак раска-а-тисто! Ладно, пусти меня, милая, я должен принести бабушке воды. А ты спи, спи и, знаешь, постарайся тоже посмеяться во сне. Спокойной ночи.

Он поцеловал внучку в голову, хорошенько подоткнул одеяло и пошел на кухню за водой.

Судьба так усердно покровительствовала синьору Ансельмо, что он сумел (и от этого ему было только лучше) возвысить свой дух до философских размышлений, которые хотя и не смогли поколебать его веру, глубоко укоренившуюся в его сердце, но не позволяли ему утешаться надеждой на бога, который оттуда, слыше, ободряет и вознаграждает. И оттого, что он не верил в бога, не мог он и поверить — хотя ему так этого хотелось — в существование озорного чертенка, который вселился в его тело и развлекается тем, что каждую ночь заливается громким смехом только для того, чтобы пробудить самые мрачные подозрения в душе ревнивой жены.

Синьор Ансельмо был уверен, совершенно уверен, что никогда он не видел сна, который мог бы заставить его так смеяться. Он вообще не видел снов! Никогда! Каждый вечер в обычный час он засыпал мертвым, свинцовым сном, черным, глубоким и долгим. И сколько мучений стоило ему пробуждение! Веки давили на глаза, словно два могильных камня.

Но если не чертенок и не сны, то не оставалось никакого другого объяснения этому смеху кроме какой-нибудь загадочной болезни; может быть, это кишечные спазмы проявлялись приступами громкого судорожного смеха?

На другой же день синьор Ансельмо обратился к молодому врачу, специалисту по нервным болезням, который время от времени посещал его жену.

Этот молодой невропатолог заставлял пациентов оплачивать не только свою медицинскую ученость, но и свои белокурые волосы, которые преждевременно выпали от чрезмерных занятий, и свое зрение, которое по той же причине также ослабло у него раньше времени.

Но, кроме замечательных знаний в области нервных болезней, он располагал еще одним средством, которое предоставлял в распоряжение господ пациентов уже бесплатно. То были его глаза за стеклами очков, глаза разного цвета: один глаз желтый, а другой — зеленый. Он зажимивал желтый глаз, подмигивал зеленым и все объяснял. Да, объяснял он все с удивительной ясностью, которая доставляла господам пациентам полное удовлетворение даже в тех случаях, когда они были неизлечимо больны.

— Скажите, доктор, а бывает, что человек смеется во сне, не видя сна? И громко, эдаким раска-а-а-тистым смехом?..

В ответ молодой невропатолог принялся излагать синьору Ансельмо новейшие теории сна и сновидений; он говорил полчаса, пересыпая свою речь греческой терминологией, которая придает такую солидность профессии врача, и наконец заключил: нет, не бывает. Без сновидений так смеяться во сне невозможно.

— Но клянусь вам, доктор, что я действительно не вижу снов, ну просто не вижу и никогда в жизни не видел! — раздраженно воскликнул синьор Ансельмо, заметив на лице жены язвительную улыбку, которой та встретила заключение молодого врача.

— О нет! Поверьте мне! Это вам только кажется, — прибавил этот последний, зажимив желтый глаз и подмигивая зеленым. — Вам так кажется... На самом деле вы видите сны. Непременно видите. Только потом вы их не помните, потому что спите очень крепко. Обычно — я вам это уже объяснял — мы помним лишь те сны, которые видим в то время, когда, так сказать, пелена сна уже немного рассеялась.

— Так, значит, я смеюсь над тем, что вижу во сне?

— Несомненно. Вам снятся радостные сны, и вы смеетесь.

— Ну не издевательство ли! — вырвалось в ответ у синьора Ансельмо. — Разве это не издевательство, доктор, быть счастливым хотя бы во сне и так и не узнать, в чем оно, это счастье, заключается. Потому что, клянусь вам, я об этом понятия не имею! Жена трясет меня,

кричит: «Ты смеешься!» Я просыпаюсь и тупо смотрю на нее, потому что ничего не помню; не помню, что смеялся, не помню, над чем смеялся.

Но потихоньку, потихоньку он с этим примирился. Да, да! Так оно и должно было быть. Природа просто предусмотрительно помогала ему этими снами. Как только он закрывал глаза и переставал видеть картину своих горестей, природа тотчас же освобождала его от всех мрачных мыслей и, как невесомую пушинку, уносила в прохладные аллеи самых радостных сновидений. Правда, она жестоко отнимала у него воспоминания об этих таинственных наслаждениях, но зато неизменно вознаграждала, незаметно вселяя бодрость в его душу, чтобы на следующий день у него бы достало сил сносить удары и превратности судьбы.

Теперь, придя со службы, синьор Ансельмо сажал себе на колени Сузи, которая так похоже умела подражать его ночному смеху, потому что много раз слышала, как его изображала бабушка, трепал ее по увядшим, совсем старушечьим щечкам и говорил ей:

— Ну, Сузи, покажи, как я смеюсь! Дай-ка я его послушаю, этот свой злосчастный смех.

И Сузи, откинув голову и обнажив тонкую рахитичную шейку, разражалась веселым смехом, громким, звонким и бесхитростным.

Синьор Ансельмо блаженно слушал, буквально впитывал в себя этот смех — хотя при виде этой тонкой детской шейки ему хотелось плакать — и, глядя в окно, покачивая головой, шептал:

— Кто знает, как я бываю счастлив, Сузи! Как я бываю счастлив во сне, когда вот так смеюсь!

Но, к сожалению, синьору Ансельмо суждено было лишиться и этой иллюзии.

Однажды по какой-то случайности ему удалось запомнить один сон, один из тех снов, которые заставляли его так смеяться каждую ночь.

Вот он, этот сон: ему снилась широкая парадная лестница, и по ней с трудом, опираясь на палку, поднимался некий Торелла, его старый сослуживец, у которого ноги были колесом. За Тореллой легкой походкой поднимался его начальник, кавалер Ридотти, и доставлял себе

жестокое развлечение тем, что бил своей палкой по палке Тореллы, который из-за своих ног был вынужден всею тяжестью на нее опираться. Наконец бедняга Торелла не выдержал. Он наклонился вперед, уперся обеими руками в ступеньку лестницы и, как мул, стал лягать ногами кавалера Ридотти. Злобно усмехаясь, тот ловко уклонялся от ударов и старался наконечником своей безжалостной палки ткнуть в зад бедного Тореллу, в самую его середину, что в конце концов ему и удалось.

С воспоминанием об этой картине синьор Ансельмо проснулся, и улыбка внезапно застыла у него на губах; он почувствовал, что у него перехватило дыхание и что-то внутри оборвалось. Боже, так вот над этим он и смеялся? Над этой ерундой?

Он скривил рот в гримасе глубокого отвращения и замер, глядя перед собой.

Так вот над чем он смеялся! Это и было то счастье, которым, как ему казалось, он наслаждался во сне! О господи... господи...

Но все же философский дух, который вот уже несколько лет как в нем поселился, и на этот раз пришел к нему на помощь, подсказав, что смеяться по такому глупому поводу — вещь совершенно естественная. Над чем же еще смеяться? А уж в его-то положении, если не посмеешься из-за какой-нибудь глупости, то и вовсе никогда не засмеешься.

Разве не так?

1912 (1924)

REQUIEM AETERNAM DONA EIS, DOMINE ¹

Их было двенадцать: десять мужчин и две женщины. Со священником — тринадцать.

В приемной, заполненной посетителями, стульев на всех не хватило. Сели шестеро, среди них священник и обе женщины, а семеро остались стоять прислонившись к стене.

Женщины, до глаз закутанные в черные шали, все время плакали. Когда под наплывом каких-то мыслей

¹ Вечный покой даруй им, Господи (лат.).

плач их усиливался, глаза десяти мужчин и священника также затуманивались слезой, ибо все они догадывались, что это за мысли.

— Ну, будет... будет... — тихонько успокаивал их священник, но у самого голос дрожал от волнения.

Женщины в ответ лишь поднимали голову, открывая покрасневшие от слез глаза, и взгляды их были полны смутной, неосознанной тревоги.

От всех, в том числе и от священника, пахло козлом, и к этому запаху примешивался жирный навозный дух, такой острый, что другие посетители сердито отворачивались либо затыкали носы, а кое-кто даже восклицал: «Фу!»

Но вновь прибывшие ничего не замечали. Для них этот запах был своим, родным; это был запах той жизни, которую они вели среди коз, овец и мулов там, в горах, где земля выжжена солнцем, где нет ни реки, ни ручья. Чтобы не умереть от жажды, им приходилось каждое утро возить воду на мулах из тинистого пруда в долине, за много миль от их поселка. Где уж тут тратить воду на мытье. К тому же теперь они еще и вспотели от беготни, а охватившее их отчаяние придавало их запаху терпкость чеснока — так пахнет от затравленного зверя.

Если они и замечали косые взгляды, то приписывали их вражде, которую, по их мнению, питают к ним эти господа, которые все заодно, все против них.

Они прибыли из поместья барона Маргари, расположенного высоко в горах, и провели в пути целый день: священник между двух женщин — впереди, за ними толпой — остальные десять.

Их грубые сапоги из сыромятной кожи, подбитые гвоздями, целый день высекали искры из мощенных камнем дорог.

Суровостью веяло от грубых крестьянских лиц, заросших щетиной недельной давности, а в волчьих глазах застыло острое темное отчаяние. Какая-то жестокая нужда довела этих людей до такого состояния, что, казалось, они вот-вот обезумеют, взорвутся.

Они уже побывали и у синдика, и у разных советников, и у членов городской управы; теперь они во второй раз пришли сюда, в префектуру.

Накануне господин префект не пожелал принять их, но они все же сумели, перебивая друг друга и отчаянно жестикулируя, вперемежку со слезами, мольбами и угро-

зами изложить свою жалобу на владельца поместья заместителю префекта, который напрасно пытался убедить их, что ни синдик, ни он сам, ни господин префект, ни его превосходительство министр, ни даже его величество король не располагают властью, достаточной для того, чтобы выполнить их просьбу; наконец, отчаявшись, пообещал им, что господин префект выслушает их завтра в одиннадцать часов в присутствии владельца поместья, барона Маргари.

Давно пробило одиннадцать, время близилось к полудню, а барон не показывался.

Впрочем, дверь кабинета, где префект принимал посетителей, все это время оставалась закрытой.

— Там люди, — отвечали привратники.

Наконец дверь открылась, и оттуда, отवेशивая прощальные поклоны и скрипя ботинками, вышел не кто иной, как сам барон Маргари — низенький, толстый, красный от жары, с платочком в руке. С ним вышел заместитель префекта.

Шестеро сидевших вскочили, женщины громко вскрикнули, а суровый священник выступил вперед и патетически воскликнул:

— Но это же... это предательство!

— Падре Сарсо! — громогласно возгласил привратник, стоя у открытых дверей кабинета.

Заместитель префекта обернулся к священнику:

— Ну вот, вас приглашают, вы получите ответ. Входите, только вы один... Спокойно, господа, спокойно!

Озадаченный и взволнованный священник стоял в нерешительности, не зная, идти или нет, а его люди, не менее озадаченные и взволнованные, вопрошали, плача от обиды на вероломство, которое им казалось очевидным:

— А мы? А мы? Как это так? Какой ответ?

Потом все разом, без всякого порядка стали кричать:

— Нам нужно кладбище!

— Мы крещеные.

— Навьючиваем покойника на мула!

— Как свиную тушу!

— Покой усопшим, синьор префект!

— Нам нужны могилы!

— Пядь земли для упокоения праха!

Женщины вопили, заливаясь слезами:

— Ради нашего умирающего отца! Он умирает и,

перед тем как закрыть глаза навсегда, хочет быть уверен, что опочит в могилке, которую велел для себя вырыть, хочет, чтоб над ним росла травка наших родных мест!

А священник стал перед открытой дверью кабинета и, воздев руки, кричал громче всех:

— Это же самая высокая мольба верующих: *Requiem aeternam dona eis, Domine!*

На шум сбежались со всех сторон привратники, стражники, служащие и по распоряжению префекта, которое он прокричал, стоя в дверях, очистили приемную, вытолкали на улицу даже тех, кто стоял на лестнице.

Когда из здания префектуры с воплями вывалилось столько народу, на главной улице мигом собралась большая толпа, и падре Сарсо, на которого со всех сторон сыпались вопросы, решил дать выход переполнявшему его негодованию: он стал махать над головой руками, как утопающий, кивать головой направо и налево в знак того, что сейчас ответит всем... Сейчас... да-да... Тихо... Чутьочку посторонитесь... Власти выставили за дверь... К народу, к народу!

И священник обратился к толпе с такой речью:

— Христиане! Я обращаюсь к вам от имени Господа Бога, воля которого выше всех законов человеческих, ибо ей подвластны все и вся на земле! Наш удел — не только жить на свете! Наш удел — жить и умирать! Если несправедный человеческий закон при жизни отказывает бедняку в праве на клочок земли, на который он мог бы ступить и сказать: «Это мое», то после смерти никакой закон не может отказать ему в праве на могилу! Христиане! Вот эти люди пришли сюда от имени четырехсот таких же несчастных, чтобы получить право на погребение! Им нужны могилы! Им и их близким!

— Кладбище! Кладбище! — вскинув руки, закричали вразброд все двенадцать маргаритан.

Ропот толпы придал священнику вдохновения, и он продолжал, поднявшись на цыпочки, чтобы всем было слышно:

— Вот, христиане, взгляните на этих двух женщин... Где вы? Покажитесь! Вот у этих двух женщин умирает отец, который и всем нам отец, наш общий родоначальник! Шестьдесят с лишним лет тому назад этот человек, лежащий теперь на смертном одре, поднялся в горы и на скалистом хребте, во владениях барона Маргари, поставил хижину из тростника и глины. Теперь там больше ста пятидесяти домов, и в них живут более четырехсот

человек. До ближайшей деревни — около семи миль. Когда у кого-нибудь из этих людей умирает отец или мать, жена или сын, брат или сестра, ему предстоит претерпеть муку, видя, как тело близкого человека трясется в ящике, навьюченном на мула, милою за милей по трудной дороге между скал! О, христиане! Не раз случалось, что мул споткнется, и покойник непотребным образом вываливается на осклизлые камни горного ручья! И все это лишь потому, христиане, что синьор барон Маргари наотрез отказал нам в разрешении хоронить усопших на небольшой площадке возле нашего селения, так, чтобы мы могли присматривать за могилами. До сих пор мы терпели эту муку и не роптали, а только просили, на коленях умоляли этого жестокосердного барона! Но теперь, когда умирает наш общий отец, наш старик, и горит желанием знать заранее, что будет погребен там, где в полутора сотнях домов горит зажженный им некогда огонь, — теперь мы пришли сюда требовать не то чтоб какого-то права по закону, но лишь че... Что? Что такое?.. Лишь человечности и...

Закончить он не смог. Большой отряд стражников и карабинеров врзался в толпу и под крики, свистки и аплодисменты разогнал зевак. Начальник полиции взял под руку падре Сарсо и препроводил его в комиссариат, куда отвели и остальных двенадцать маргаритан.

Барон Маргари, окруженный знакомыми, стоял в стороне, тяжело дыша, как будто он вот-вот задохнется или его хватит удар перед лицом публичного скандала, который устроил священник своей необычной проповедью; барон не раз порывался освободиться от державших его услужливых рук и броситься на оратора. Теперь, когда толпа поредела, он выступил вперед, стал посредине тотчас образовавшегося круга и, отдуваясь словно после тяжелой битвы, принялся рассказывать, что он и его отец, дон Раймондо Маргари, кого эти люди и этот прохожимец в сутане выставляли здесь как бессердечных варваров, отказывающих им в праве на погребение, на самом деле вот уже шестьдесят лет страдают от наглого вторжения в их земли отца этих двух женщин, страшного человека, бессовестного узурпатора и мошенника, каких свет не видал. Уже давно он, барон Маргари, будто и не хозяин той земли, где эти люди поставили свои дома, а священник выстроил церковь, не только не уплатив ни налога, ни арендной платы, но даже не испросив его разрешения. Он мог бы послать своих полевых стражников

и согнать этих людей со своей земли, как паршивых собак, а дома их снести, но он этого не сделал и не собирается делать, и эти люди стали там жить и размножаться, что твои кролики: каждая из этих женщин родила не менее двадцати детей, так что за шестьдесят лет на горе вырос целый поселок. Но им этого мало, они еще и недовольны: их подстрекнул этот их святой заступник, который кормится за их счет — ведь он собирает с них подать на содержание храма, — и вот они пришли сюда; они, видите ли, желают не только жить на земле барона, но и оставаться в ней после смерти. А уж этому не бывать, нет, не на того напали! Живых он кое-как терпит, а мертвых ему не надо, это уж слишком! Они хотят укорениться на захваченной земле, захоронив в нее своих покойников! Префект согласился с бароном, он даже обещал послать в горы стражников и карабинеров, чтобы охранить его от возможного насилия: старик, их родоначальник, который вот уже месяц умирает от водянки, способен распорядиться, чтобы его похоронили заживо в могиле, давно уже вырытой по его приказу там, где он хочет устроить кладбище, как только его дочери и священник сообщат, что им отказали.

И в самом деле, когда падре Сарсо и его подопечные в послеобеденный час были отпущены и направились в трактир, где накануне оставили мулов, они увидели там большую группу конных стражников и карабинеров, которые получили приказ сопроводить их до самого поселка.

Увидев отряд, падре Сарсо вскипел:

— Только этого и не хватало! Разбойники мы, что ли, чтобы нас вести под конвоем? Впрочем, ладно, пусть... Так даже лучше... Ведите хоть в наручниках! Домой, в горы! На коней!

Он словно бы принял мученичество и гордился этим, так что ему даже не терпелось вернуться в поселок под конвоем и тем самым показать своим прихожанам, как смело и решительно он действовал, борясь за право на могилу для их старейшины.

День клонился к вечеру, а ведь в поселке их ждут со вчерашнего дня. Они доберутся туда лишь ночью. Доживет ли старик до ночи? В душе каждый надеялся, что они найдут его уже мертвым.

— Ох, наш отец... отец... — всхлипывали женщины. Конечно, лучше ему умереть с надеждой, что им,

быть может, удалось вырвать у барона разрешение на устройство кладбища!

Вперед... выше и выше... Опустились сумерки, и чем больше затягивается возвращение в поселок, тем больше крепнет в сердцах у всех, кто их ждет, эта надежда. И тем горше будет разочарование.

Бог ты мой! Как далеко разнесится топот копыт... Будто кавалерийский поход... Что подумают жители поселка, когда увидят с ними такое войско?

Старик сразу все поймет.

Он умирал, окруженный родичами, на свежем воздухе, сидя в кресле перед дверью — настолько опух от водянки, что лежать уже не мог. Тут он остался и на ночь, лоя ртом воздух и глядя в небо, а вокруг него собрались жители поселка — они уже целый месяц дежурили возле него по ночам.

Сделать хотя бы так, чтобы он не увидел отряд стражников...

Падре Сарсо обратился к сержанту, ехавшему рядом с ним:

— Вы не могли бы немного поотстать и держаться где-нибудь неподалеку? Тогда мы из милосердия сказали бы несчастному старику, что разрешение получено!

Сержант помолчал. Он побаивался священника и не хотел связывать себя обещанием. Наконец ответил:

— Посмотрим, падре, посмотрим на месте.

Но когда после трудного многочасового пути они прибыли к подножью горы, на которой стоял поселок, то, несмотря на темноту, издали увидели такую необычную картину, что никто уже более не помышлял о лжи из милосердия.

Наверху, на скалистом склоне, роились огни. Тут и там горели факелы из соломы, освещая вздымавшиеся к звездам густые клубы дыма — как на рождество. И как на рождество, люди при свете факелов пели.

Что там случилось? Скорей наверх, но-о-о!

Там, наверху, жители поселка собрались, как видно, для выполнения какого-то дикого похоронного обряда.

Старик, которому невольно стало ждать избавления от мучавшей его одышки, велел перенести себя в кресле к вырытой для него могиле, которая должна была, по его замыслу, ознаменовать открытие кладбища.

Он был уже обмыт, причесан и обряжен как покойник; рядом с креслом, в котором он полулежал, похожий на огромный хрипящий шар, стоял гроб из еловых до-

сок, сколоченный еще неделю тому назад. На крышке гроба лежала черная шелковая шапочка, пара матерчатых туфель и платок, тоже черный, сложенный так, чтобы им удобно было подвязать подбородок старика, как только он умрет. Словом, все необходимое для снаряжения покойника в последний путь.

Вокруг стояли люди с факелами и пели литанию:

— Sancta Dei Genitrix...

— Ora pro nobis!

— Sancta Virgo Virginis...

— Ora pro nobis!¹

А над этим хороводом огней мерцал звездами необъятный купол небосвода.

Легкий ночной ветерок шевелил жидкие волосы на голове старика, еще не высохшие и непривычно гладкие. Едва шевеля опухшими руками, сложенными на груди, он стонал и хрипел, как бы подбодряя и утешая себя:

— Травка... Травка!..

Он думал о той траве, что взойдет из родной земли на его могиле. К ней он и протягивал обезображенные водянкой ноги, похожие на два пузыря, в синих штанах из грубой хлопчатобумажной ткани.

Как только родичи, обступившие старика, подняли крик, завидев на склоне такой большой отряд всадников, бряцающих саблями, старик попытался встать; он услышал причитания и грустные голоса вновь прибывших, все понял и хотел броситься в яму. Его удержали; все сгрудились вокруг него, чтобы защитить его от насилия; но сержант все же пробился в центр образовавшегося круга и приказал тотчас отнести умирающего домой, а всем остальным разойтись.

Подняв старика на кресле, как статую святого на носилках, его унесли, а остальные жители поселка, размахивая факелами, с воплями и рыданиями, направились к своим домам, белыми пятнами разбросанным по гребню горы.

Вооруженный отряд остался в темноте под звездным небом караулить пустую яму, гроб из еловых досок и лежавшие на его крышке шапочку, туфли и платок.

1913 (1922)

¹ — Пресвятая Богородица...

— Моли Бога за нас!

— Пресвятая Дева...

— Моли Бога за нас! (лат.).

СТАТУЭТКА МАДОННЫ

Представьте себе коробку с игрушками: деревья, увенчанные кроной из кудели, ствол которых приклеен к деревянному кружку, чтоб не падали, а под ними — квадратные домики, церковь с колокольной и все прочее; затем представьте, что такую коробку дали младенцу Иисусу, и тот, играя, построил для приходского священника, которого звали падре Фьорика, его бенефиций, причем рядом с церковью, нареченной именем святого Петра, стоял дом священника; его три окна были украшены накрахмаленными полотняными занавесками, которые, если посмотреть с улицы, наводили на мысль о чистоте и тишине покоев, залитых солнцем; у дома — сад, где тебе и навес из виноградных лоз, и японская хурма, и гранаты, и лимоны, и апельсиновые деревья; а вокруг церковного двора — убогие домишки прихожан, разделенные улицами и проулками; с крыши на крышу перелетают стаи голубей, к стенам домов боязливо жмутся кролики; тут же куры, ненасытные и драчливые, и, конечно же, свиньи, всегда немного грустные и вроде бы раздосадованные своей чрезмерной тучностью.

Мог ли предполагать приходской священник, падре Фьорика, что в его мирок, устроенный вот таким образом, проникнет дьявол?

А дьявол проникал в него сколько хотел и когда хотел, тайно, но без всякого труда: то под личиной примерного прихожанина, то в образе набожной женщины, а то и в виде какого-нибудь безобидного предмета. Падре Фьорика, можно сказать, каждый божий день проводил в обществе дьявола и не подозревал об этом. Правда, заподозрить неладное приходскому священнику было трудно, потому что дьявол не стремился погубить его совсем, а развлекался тем, что заставлял его поддаваться мелким соблазнам, так что прегрешения пастыря, когда они выходили на свет божий, большого зла ему не причиняли: ну посмеются его верные прихожане, собратья по клиру да начальство — только и всего.

Вот, например, как-то раз этот злокозненный бес внушил некоей благочестивой прихожанке, ездившей в Рим на празднества по случаю святого года, коварную мысль: привезти в подарок падре Фьорике изящную табакерку из слоновой кости, на эмалевой крышке которой был изображен святейший папа. И что бы вы думали? Дьявол забрался в табакерку, несмотря на это изображе-

ние, и больше месяца искушал святого отца во время проповеди на вечерне:

— Ну одну щепотку! Ну же! Достань табакерку, пусть все видят, как она хороша. А как приятно будет благочестивой женщине, которая тебе ее подарила — вон она смотрит на тебя... Одну-единственную щепотку!

Бубнил и бубнил свое упрямый бес, и падре Фьорика, который прежде не нюхал табак и робко попробовал это зелье только в день подношения ему злосчастливого подарка, в конце концов вытаскивал из кармана табакерку и огромный носовой платок из цветастого ситца. И что же? Проповедь прерывалась — падре Фьорика принимался чихать и чихал раз по сорок кряду, а потом шумно и яростно сморкался, так что прихожане покатывались со смеху.

Но самую злую проделку нечистый совершил, когда вселился в душу бедняжки Марастеллы, красивой тридцатилетней женщины, слабоумной от рождения, безобидной дурочки, которая веселила соседей наивной доверчивостью и постоянным восторженным изумлением. Так вот, дьявол вселился в душу Марастеллы и заставил ее влюбиться *сogam ropulo*¹ в приходского священника, падре Фьорика, хотя тому было уже под шестьдесят и волосы его были белы, как снег.

Несчастливая Марастелла, всякий раз как видела его у алтаря во время службы или на амвоне, когда он произносил проповедь, не уставала восклицать, роняя крупные слезы умиления и колотя себя в грудь:

— Ах, святая Мадонна, как он прекрасен! Что за сладкие уста! А какой взгляд!

Из этого мог бы выйти скандал, если бы всем не были известны безупречная добродетель приходского священника и наивность бедной дурочки — так что дело ограничивалось опять-таки смехом.

Но однажды Марастелла, завидев падре, выходящего из церковных ворот, бросилась перед ним на колени посреди деревенской площади и, схватив его руку, покрывала ее страстными поцелуями, а потом стала водить ею по своим волосам, по лицу и даже по шее, горестно стеля:

— О, святой отец, погасите этот пожар, ради бога! Ради бога, погасите во мне этот пожар!

Бедный падре Фьорика в растерянности и недоумении

¹ На глазах у всех (*лат.*).

склонился к женщине, даже не пытаясь отнять свою руку, и лишь вопрошал:

— Какой пожар, Марастелла? Какой пожар, дочь моя?

Пожалуй, он так бы и не понял, в чем дело, если бы из ближних домов не выбежали соседки, которые подняли дурочку с колен и разъяснили ему все так недвусмысленно, что падре Фьорика побледнел, задрожал и бросился наутек, крестясь обеими руками.

Ну уж на этот раз дьявол слишком себя обнаружил. В безумной выходке Марастеллы все узнали его руку. Тогда он задумал новую каверзу, которая причинила приходскому священнику самое большое горе в его жизни.

Дьявол отвратил от церкви Гуидуччо. Вот послушайте, как это было.

Гуидуччо, девятилетний мальчуган, был единственным ребенком мужского пола в семье синьора Грели, представителя весьма именитого для тех мест рода.

Семья эта уже много лет была как бельмо на глазу у приходского священника, ибо все ее члены обходили церковь стороной, не потому, что они были врагами веры, а потому, что церковь, по мнению синьора Грели (он был гарибальдийцем, сражался в отряде генуэзских карабинеров в кампанию 1860 года и был ранен в руку под Милаццо), по-прежнему оставалась врагом родины — вот почему синьор Грели, как истый патриот, считал, что не может ступить на порог церкви.

Падре Фьорика давно уже отошел от политики и никак не мог взять в толк, почему это любовь к родине не позволяет матери и старшим сестрам Гуидуччо ходить в церковь хотя бы по воскресеньям. Не то чтоб исповедоваться и причащаться, куда там! Хотя бы к воскресной мессе, святой боже! И приходской священник по наущению дьявола, который ходил за ним, как тень, пробовал снискать расположение синьора Грели.

— Вот он идет! Не вздумай сделать вид, что ты его не замечаешь. Поклонись ему, поклонись первым, отвесь поклон смиренно, но с достоинством!

И падре Фьорика тотчас внимал совету дьявола: кланялся и улыбался, но хмурый синьор Грели на поклон и улыбку отвечал лишь коротким, едва заметным кивком. А дьявол, конечно, ликовал.

И вот как-то летом, в канун большого праздника, синьор Грели вернулся домой усталый после утренних трудов и прилег отдохнуть часок после обеда, а дьявол — что бы вы думали? — незаметно пробрался с ватагой мальчишек на колокольню церкви Святого Петра и ну звонить во все колокола, да так громко и назойливо, что синьор Грели, который нравом был горяч и легко возгорался гневом, в какой-то момент не выдержал, соскочил с кровати и, как был в рубашке и кальсонах, схватил ружье, выбежал на террасу и — да-да, так оно и было — совершил святотатство, пальнув по колоколам церкви Святого Петра.

Пуля попала в один из трех колоколов, крайний справа, самый громкий — что значит меткий глаз бывшего генуэзского карабинера! Бедный колокол! Подобно собачонке, которая встречает хозяина звонким радостным лаем, но, получив предательский пинок, жалобно визжит, колокол с громкого торжественного тона сорвался на пронзительное дребезжанье. Прихожане, собравшиеся на праздник, все как один возмутились подобным кощунством и толпой ринулись требовать к ответу святотатца. Лишь по милости божьей удалось перепуганному священнику, выскочившему из церкви в полном облачении, удержать свою благочестивую паству от грубого насилия над синьором Грели. Падре Фьорика вовремя удержал их, успокоил тем, что выступил поручителем за синьора Грели, который подарит церкви новый колокол, а по случаю его освящения будет устроен еще более пышный праздник.

Тогда-то Гуидуччо Грели и вошел впервые в церковь Святого Петра.

Правда, падре Фьорика хотел, чтобы крестной матерью колокола была синьора Грели или хотя бы их старшая дочь, которой шел восемнадцатый год. Но потом в душе он благодарил синьора Грели за то, что тот не удовлетворил его просьбу и прислал сына, ибо торжественная церемония вызвала в душе мальчика настоящее чудо прозрения.

Было ли виной тому праздничное возбуждение или похвалы правоверных прихожан в его адрес, или же, что более вероятно, ему понравилось, как звучит новый колокол, в который он звонил собственноручно, поднявшись высоко на колокольню, в сияющую лазурь небес?

Так или иначе, но с того дня голос этого колокола каждое утро звал мальчика в церковь к первой мессе. Заслышав звон, мальчик украдкой вставал с постели, бежал к старой служанке и просил, чтобы та взяла его с собой в церковь.

— А если папа заругается? — спрашивала служанка.

Но Гуидуччо ничего и слышать не хотел, его словно подстегивал каждый удар колокола, зовущего откуда-то из предрассветной мглы. Когда они, вздрагивая, шли узким переулком, где было еще совсем темно, мальчик жался к старухе, а выйдя на площадь перед церковью, задирал голову и смотрел на колокольню, откуда неслись звуки, приводившие его в какой-то непонятный трепет; затем он ощущал такое же непонятное облегчение, едва ступал на порог церкви и видел свечи, мерцавшие на алтаре, вдыхал торжественно-волнующий запах ладана.

Когда приходской священник, падре Фьорика, обернувшись с алтаря к молящимся, в первый раз увидел мальчика, преклонившего колени у самой балюстрады, когда увидел глядевшие из-под каштановых кудрей еще сонные, но широко открытые и горевшие чуть ли не священным безумием детские глаза, он почувствовал озноб от нахлынувшей на него нежности, и ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы преодолеть желание тотчас отойти от алтаря и приласкать этого херувима, молитвенно сложившего руки.

Закончив службу, падре Фьорика сделал старухе знак, чтобы та привела мальчика в ризницу; там он его обнял за плечи, поцеловал в лоб и в голову и показал ему поочередно все предметы церковной утвари и облачения: расшитые золотом ризы, стихари, епитрахили, митры, пропахшие ладаном и воском; потом мягко убедил его рассказать матери, что был этим утром в церкви, куда позвал его благовест, и попросить, чтобы она разрешила ему снова прийти сюда. Затем пригласил его — опять-таки если мама позволит — в свой дом посмотреть цветы, виньетки на книгах, образки святых да послушать его рассказы из священной истории.

Гуидуччо стал ходить в дом священника каждый день — так ему понравились рассказы из священной истории. А приходской священник, падре Фьорика, видя перед собой широко открытые, внимательные глаза на бледном вдохновенном лице мальчугана, возносил хвалу господу, ниспославшему ему такое чудо — расцвет веры

в чистой и невинной детской душе; и когда Гуидуччо в самый патетический момент рассказа не смог сдержать переполнявший его душу восторг и, бросившись священнику на шею, прижался к его груди, тот преисполнился такой радости, что сердце его чуть не разорвалось; он прослезился и, прижав к себе мальчика, воскликнул: — О, сын мой! Какую судьбу уготовил тебе Создатель?

Но, увы! Дьявол был тут как тут, он притаился за креслом, в котором сидел падре Фьорика с мальчиком на коленях, и приходской священник, как всегда, не замечал его.

Ну уж мог бы заметить, бог ты мой, что по лицу Гуидуччо время от времени пробегает какая-то тень и он хмурит брови! А причиной этого беспокойства служила добродушная снисходительность, с которой падре Фьорика смягчал, сглаживал некоторые эпизоды священной истории; эта снисходительность и это добродушие смущали чувствительную душу мальчика, потому что дома отец и сестры уже заронили в эту душу сомнение, недоверие.

И вот послушайте, как дьявол сумел воспользоваться тем, о чем догадался по этим и другим слабым приметам, на которые приходской священник, падре Фьорика, не обратил внимания.

Май считается месяцем Богоматери, и в церкви Святого Петра после проповеди и евангельских чтений, после раздачи благословений и пения хором под орган хвалебных гимнов, разыгрывалась по лотерее среди верующих восковая фигурка Мадонны на подставке под стеклянным колпаком. Коленопреклоненные женщины и девушки пели гимны, не отрывая глаз от этой Мадонны, которая стояла на алтаре, окруженная горящими свечами и множеством цветов; каждая мечтала, чтобы жребий пал на нее. Однако были и такие, которые, видя, как страстно молится Гуидуччо, полагали, что пусть уж лучше Мадонна достанется ему. И больше всех этого желал, разумеется, приходской священник, падре Фьорика.

Лотерейный билет стоил сольдо. В течение всей недели ризничий продавал билеты, ставя на каждом имя владельца. В воскресенье все билеты, свернутые в трубочку, высыпались в стеклянную урну; падре Фьорика запускал туда руку, ворошил ее содержимое, а прихожане, стоя на

коленях, замирали в ожидании, затем он извлекал один билетик, показывал его всем присутствующим, разворачивал и, водрузив на кончик носа очки, читал имя выигравшего. После этого к дому счастливца направлялась процессия: статуэтку несли с песнопениями, под звуки барабана.

Падре Фьорика представлял себе, в каком восторге будет Гуидуччо, если счастливым окажется его билетик, и теперь, перемешивая бумажные трубочки в урне и глядя на стоявшего на коленях мальчугана, мечтал, что совершится чудо: его пальцы угадают билет, на котором написано имя его любимца. И при этом приходской священник чуть ли не сердился на мальчика за то, что тот, имея возможность на пол-лиры, которые получал от матери каждое воскресенье, купить десять билетиков, не желал воспользоваться этим своим преимуществом перед другими мальчишками и довольствовался одним, и даже сам приобретал для них билеты на все оставшиеся девять сольдо.

К тому же, как знать, может, эта Мадонна, войди она в дом синьора Грели, помирит с церковью и остальных членов семьи!

Вот так дьявол и смущал приходского священника. И на этом не остановился. В последнее воскресенье мая, когда наступил торжественный момент жеребьевки и падре Фьорика стал у алтаря, где стояла восковая статуэтка Мадонны рядом со стеклянной урной, дьявол потихоньку пристроился у него за спиной и шепнул, — вы только подумайте! — что, дескать, можно прочесть имя Гуидуччо, какой бы билетик ни попался. Так он и поступил. Среди всеобщего ликования Гуидуччо, однако, сначала покраснел, как рак, потом побледнел, насупился, как-то дико посмотрел на священника, задрожал и закрыл лицо руками; ускользнув от богомолков, подступавших к нему с объятиями и поцелуями, выбежал из церкви, примчался домой, бросился к матери и отчаянно зарыдал. Когда с улицы немного погода донеслись звуки гимна, который хором пели под рокот барабана участники процессии, мальчик затопал ногами, стал рваться из рук матери и сестер и кричать:

— Это неправда, неправда! Не нужно мне ее! Пусть уносят обратно! Это неправда! Не нужно!

А произошло вот что: девять сольдо из десяти, полученных от матери, Гуидуччо, как всегда раздал мальчишкам; когда же он направлялся в ризницу с последним со-

льдо, чтобы купить лотерейный билет себе, к нему подошел оборванный и босой мальчишка, который три недели проболел и в предыдущих лотереях не участвовал; завидев Гуидуччо, направлявшегося в ризницу с монетой в руке, мальчишка спросил, не ему ли эта монета предназначена. И тот отдал ему последний сольдо.

Синьор Грели уже не раз насмешливо предостерегал сына:

— Гляди, Дуччо! Этот поп хочет тебя окопачить. Я уже вижу тебя с тонзурой и в рясе. Гляди, не попадись!

А теперь падре Фьорика присудил ему Мадонну, хотя его имени не было ни на одном билете. Для чего?

Синьора Грели, чтобы успокоить сына, тотчас распорядилась отнести статуэтку Мадонны обратно в церковь, и с тех пор приходской священник, падре Фьорика, ни разу не видел Гуидуччо Грели.

1913 (1923)

САМ

Нет, не потратятся его родные на похороны по первому разряду, с нарядным катафалком, с лошадьми в попонах и плюмажах, с кучером и служителями в париках. А вот по второму, конечно, похоронят, ради людей, чтобы не осудили:

Двести пятьдесят лир по тарифу.

Гроб, пускай даже еловый, а не ореховый или буквый, они совсем неприкрашенным не оставят — опять же чтобы не осудили люди.

Обитый красным бархатом, хотя бы и самым дешевым, с позолоченными ручками и кистями — самое малое четыреста лир. Затем добрые чаевые тому, кто его обмоет и оденет в погребальный наряд (хороша услуга!); расход на шелковую ермолку и полотняные туфли; расход на витые свечи, что должны гореть по четырем углам кровати; чаевые носильщикам, которые понесут гроб до катафалка и от катафалка до могилы; расход на венок, уж один-то единственный надо, господи! Забудем о духовом оркестре, без него можно обойтись; зато нужны две дюжины восковых свечей для сопровождающих процессию сироток из «Корочки бедняка», они-то живут на эти деньги, иначе говоря, на пятьдесят лир, по-

лучаемых за проводы каждого городского покойника; да кто знает, сколько еще набегит непредвиденных расходов!

От всего этого Матео Синагра избавит родных, если отправится на своих ногах на кладбище и там, без лишних затрат, покончит с собою перед оградкой семейной гробницы. Таким образом, после того как мировой судья осмотрит место происшествия, труп в два счета сбросят туда же и без малейших хлопот оставят там, где уже давно покоятся его отец, мать, первая жена и двое детей от этой жены.

Покойники, должно быть, полагают, что главное — расстаться с жизнью, и на этом деле конец. Для них-то, несомненно, так оно и есть. Но им и в голову не приходит, какая остается страшная обуза — труп, лежащий на кровати день или два, сколько неприятностей, сколько расходов предстоит живым, которые, разумеется, оплакивают его, но должны как-то от него избавиться. Зная, сколько будет стоить это избавление — вот, например, в его случае, иначе говоря, в случае смерти в полном здравии, — господа покойники-добровольцы могли бы потрудиться пройти пешком до кладбища и сами принять меры, чтобы там упокоиться.

Итак, Матео Синагра теперь ни о чем другом немышлял. Жизнь внезапно потеряла для него всякий смысл. Он почти не мог с точностью припомнить, чем занимался в этой жизни прежде. Да, конечно, всякими обычными глупостями, как делали все. И не замечал этого. Бездумно, легко. Можно сказать, ему здорово везло, если не считать последних трех лет. Ни разу не сталкивался он с трудностями, ни разу не случалось ему остановиться на миг в растерянности, решать делать что-то или не делать, идти тем путем или другим. С веселой уверенностью брался он за всевозможные дела; шел всевозможными путями и всегда продвигался вперед, преодолевая препятствия, непреодолимые, быть может, для других.

Все это кончилось три года назад. Вдруг, неведомо как, неведомо почему, ему изменило некое вдохновение, что столько лет служило ему, помогало идти вперед бодро и спокойно; рухнула его жизнерадостная уверенность и вместе с ней рухнули все дела, всегда приходившие к удачному концу благодаря каким-то ловким ходам и приемам, которые теперь он в смятении даже припомнить не мог.

Вот так все, будто за один день, сразу изменилось, потускнело, даже внешний облик предметов и людей. Нежданно он столкнулся лицом к лицу со своим другим «я», еще, по сути дела, незнакомым, в другом мире, впервые открывшемся ему: жестоком, тупом, непроницаемом, равнодушном.

Поначалу он только слегка растерялся, как теряется человек, привыкший к постоянному грохоту машин, если они внезапно останавливаются. Потом понял, что разорен, и разорен не только он, но также отец и брат его второй жены, вверившие ему крупные капиталы. Возможно, тесть и шурин, несмотря на тяжелые потери, еще выплывут на поверхность, его же разорение было окончательным. Он заперся дома, не так подавленный свалившейся на него бедой, как сознанием непоправимости таинственной катастрофы, будто молнией поразившей весь строй его жизни.

Двигаться? Но зачем? Зачем выходить из дома? Бесполезен любой поступок, любой шаг, даже говорить и то бесполезно. Молча, забившись в угол, словно помешанный, смотрел он, как плачет и причитает в отчаянии жена. Весь заросший, нестриженный, небритый.

А потом наконец взбешенный шурин вытолкал его взашей из дома, предварительно силой заставив постричься. Пора за что-то взяться, зарабатывать хотя бы десять жалких лир в день, поступив рассыльным в маленький земельный банк, как раз только что открывшийся. Сколько можно сидеть сиднем дома? Вон, вон отсюда, вон! Разве мало бед он уже натворил? Неужели он рассчитывает остаться с женой и малышками на шею своих жертв? Вон!

Ладно, вон так вон. И вот уже несколько дней, как он вышел из дома. Нанялся рассыльным в этот маленький земельный банк. Потертая шляпа, обтрепанный костюм, рваные башмаки — весь этот дурацкий вид приносит ему какое-то облегчение. Никто его не узнает.

— Как, это Матео Синагра?

Сказать по правде, он и сам себя уже не узнавал. И наконец в то утро...

Именно друг, близкий друг из былых, счастливых времен, открыл ему глаза.

Кто же он такой теперь? Да никто. Не только потому, что потерял все, что имел, не только потому, что дошел до убогого, униженного положения рассыльного, в обтрепанном костюме, потертой шляпе, рваных баш-

маках. Нет, нет. Он поистине никто, потому что в нем ничего не осталось, кроме внешнего облика (да и тот изменился до неузнаваемости), от того Матео Синагры, каким он был три года назад. В этом рассыльном, только что вышедшем из дома, он не находил себя, и другие тоже его не узнавали. Так что же? Кто он такой? Другой человек, едва начавший жить; ему еще предстоит учиться жить, если уж на то пошло, жить новой, убогой, горестной жизнью на десять, жалких лир в день. А стоит ли? Ведь Матео Синагра, настоящий Матео Синагра, умер, окончательно умер, три года тому назад.

Все это ему сказали с откровенной жестокостью глаза друга, случайно встреченного им в то утро.

Друг этот вернулся домой, где не был без малого шесть лет, и ничего не знал о его бедах. Проходя мимо, друг его не узнал.

— Матео? Да как же это? Ты Матео Синагра?

— Да, говорят...

— Да как же?..

А глаза его, эти глаза все смотрели и смотрели на него с такой растерянностью и в то же время с такой жалостью, с таким отвращением, что он вдруг увидел себя в них мертвым, окончательно мертвым, без единой крохи той жизни, какой жил когда-то Матео Синагра.

И как только друг, не находя больше для этой тени ни слов, ни взгляда, ни улыбки, повернулся спиной, Матео Синагру охватило странное чувство, будто все вокруг сразу потеряло всякий смысл и жить стало незачем.

Да разве это случилось только сию минуту? Нет! Черт возьми, нет! Уже целых три года... Вот уже три года, как он умер, целых три года... И что же, он все еще держится на ногах? Дышит... дышит... видит?.. Да как это? Если он уже ничто! Если он уже никто! На нем все еще этот костюм, вот уже три года... На ногах, вот уже три года, все те же башмаки...

Прочь, прочь, прочь! Как ему не стыдно? Мертвец, а еще разгуливает? Пшел на место, на кладбище!

Сбросив с плеч эту обузу, этого покойника, родные смогут позаботиться о вдове, о сиротах...

Матео Синагра нащупал в жилетном кармашке револьвер, верного спутника стольких лет. И вот он, недолго думая, уже идет по дороге, ведущей на кладбище.

Право, забавное это зрелище и небывалое наслаждение.

Мертвец идет сам, на своих ногах, потихоньку, не спеша, навстречу своей цели. Матео Синагра прекрасно знает, что он мертвец; вдобавок старый мертвец, трехлетней давности, у него вполне достало времени, чтобы избавиться от каких бы то ни было сожалений об утраченной жизни.

Он стал легче легкого — как перышко! Он нашел самого себя, вошел в свой облик, стал собственной тенью. Одолев все препятствия, избавясь от всех печалей, сбросив все заботы, неторопливо идет он к месту упокоения.

И вот эта дорога, ведущая на кладбище, сейчас, когда он, мертвец, идет по ней в последний раз, безвозвратно, видится ему в новом свете, и это наполняет его радостью избавления, радостью уже потусторонней, уже вне жизни.

Покойники едут по этой дороге в карете, запертые, закупоренные в двойном гробу, цинковом и деревянном. А он идет себе пешком, дышит, может вертеть головой туда и сюда, может смотреть и смотреть. И он смотрит по-новому на все, что у него уже отнято, что для него больше не имеет смысла.

Деревья... Гляди-ка! Разве такими были деревья? Разве это те же самые? А эти горы, вон там... зачем они? Эти лазурные горы, а над ними белое облако... Облака... тоже странно!.. А там, в глубине, море... Разве оно было таким? Неужели это море?

У воздуха совсем новый вкус, он наполняет легкие, ласково освежает губы, ноздри... Воздух... ах, воздух... какое наслаждение! Он вдыхает его... ах, он его впивает, как при жизни никогда не впивал, как не может впивать его никто из живых! Воздух как воздух, но уже не надо его вдыхать, чтобы жить. Всей этой бесконечности, всего охватившего его блаженства не дано испытать другим мертвецам, которые едут по той же дороге в карете, лежа навтыяжку во всю длину, погруженные в темноту гроба. Не дано этого и живым, не ведающим, что значит испытать это блаженство вот так, уже после всего, однажды и навсегда: живая, сушая, трепещущая вечность!

А идти еще далеко. Но он мог бы остановиться и здесь: он уже достиг вечности, в ней он движется, дышит, в божественном опьянении, неведомом живым.

— Хочешь меня взять? Унеси меня... — Это камешек. Камешек на дороге. Почему бы и нет?

Матео Синагра наклоняется, подбирает его, взвешивает в руке... Камешек... Разве такими были камни? Вот эти самые? Да, вот он, маленький осколок породы, кусочек живой земли, всей этой живой земли, осколок вселенной... Вот он тут, в кармане, пойдет с ним вместе.

А этот цветок?

Конечно, и ему найдется место, вот здесь, в петлице мертвеца, который идет сам, отчужденный, спокойный, счастливый, на своих ногах идет в могилу, как на праздник, с цветком в петлице.

Вот и вход на кладбище. Еще каких-нибудь двадцать шагов, и мертвец будет дома. Никто не льет слез. Он пришел сюда сам, легкой походкой, с цветком в петлице.

Как хороши кипарисы, стоящие на страже у ограды. О, это скромная обитель, на холме, среди оливковых деревьев. Тут насчитаешь всего-навсего не более сотни надгробий, совсем простых, незатейливых: навесик над распятием, а вокруг — решеточки и немного цветов.

Право, для мертвых это завидное жилище, такое кладбище. До города далеко, живые редко его посещают. Матео Синагра входит и окликает сторожа, усевшегося возле двери своего домика справа от входа, в серой шерстяной шали, наброшенной на плечи, и форменной фуражке, надвинутой на нос.

— Эй, Пиньокко!

Пиньокко спит.

Матео Синагра стоит и смотрит, как спит этот единственный живой среди столькох мертвецов, и у него, мертвеца, это вызывает досаду, даже некоторое раздражение.

Что ни говори, а мертвым приятно думать, что кто-то живой охраняет их сон и занимается этим на земле, под которой они лежат. Сон на земле, сон под землей — чересчур много сна. Надо бы разбудить Пиньокко, сказать ему:

— Вот и я. Я один из твоих подопечных. Я пришел сюда сам, своими ногами, чтобы родные не слишком потратились на меня. Так вот как ты нас охраняешь?

Да ну, какая уж тут охрана, бедный Пиньокко! Зачем мертвецам сторож? Вот он полил то здесь, то там какие-

то клумбочки; вот зажег над той или другой могилой лампадку, которая никому не светит; вот подмел дорожки, убрав опавшие листья; что ему еще остается делать? Никто здесь не дышит. И его клонит ко сну от жужжания мух и неспешного шелеста заброшенных оливковых деревьев на холме. Он ведь тоже ждет смерти, бедняга Пиньокко; вот он ненадолго и заснул, в ожидании, здесь на земле, в то время как мертвецы спят вечным сном под землей.

Быть может, скоро его разбудит сухой шелчок револьверного выстрела. А может быть, и не разбудит. Револьвер такой маленький, а Пиньокко спит так крепко... Попозже, вечером, когда он, прежде чем закрыть ворота, последний раз обойдет кладбище, он наткнется на какой-то темный предмет, вон на той дорожке, там, в глубине.

— Эге! Это еще что такое!

— Ничего, Пиньокко. Это один из тех, кому место под землей. Зови, зови людей, пусть приготовят ему постель, внизу, кое-как, без особого почтения. Он пришел сам, чтобы избавить родственников от лишних расходов, а также потому, что ему приятно видеть себя таким, заранее, мертвым среди мертвых, у себя дома, пришедшим на свое место в добром здравии, с открытыми глазами, в полном сознании. Пусть у него в кармане останется этот камешек, иссушенный солнцем там, на дороге. И цветок пусть останется у него в петлице, ведь это сейчас последнее украшение мертвеца, он сам его сорвал и сам себе подарил, вместо всех венков, которых не принесут ему родные и друзья. Он еще здесь, на земле; но он как будто вышел из-под земли, после трехлетнего пребывания там, оттого что ему хотелось посмотреть, как выглядят на склоне холма надгробия, клумбы, посыпанные гравием дорожки, черные кресты и жестяные венки на могилах бедняков.

Красивое зрелище, ничего не скажешь. Потихоньку, на цыпочках, проходит Матео Синагра на кладбище, не разбудив Пиньокко.

Еще слишком рано, чтобы лечь спать. До вечера он побродит по дорожкам, с любопытством поглядывая по сторонам (как мертвец, разумеется); подождет, пока взойдет луна и вот тогда — спокойной ночи.

1913 (1928)

ВЕРА

Эта смиренная комнатка священника была полна света и покоя; на полу, выложенном потрескавшейся кое-где плиткой из Валенцы, лежал прямоугольный солнечный отсвет, падавший из окна, и над ним легко струилась вверх золотая пыль, а на поверхности прямоугольника виднелись тени, настолько четкие, что можно было разглядеть даже узор вышитых ажурно занавесок, только на тени узор этот казался нарисованным; можно было разглядеть даже тень от подвешенной к карнизу клетки, в которой прыгал кенар; и запах хлеба, только что вынутого из печи, поднимался снизу, со двора, и смешивался с влажным запахом ладана из церквушки и острым ароматом сухой лаванды, пучками которой было переложено белье в старинном комоде.

Казалось, в этой комнатке никогда ничего не произойдет. Все застыло в неподвижности: и это солнечное пятно, и этот покой; неподвижны были травинки меж серых бульжников двора, видневшегося из окна, и соломинки, выпавшие из кормушки, пристроенной в углу под красным черепичным навесом, а на черепицах лежали осколки камней, вывалившихся сверху из выщербленной стены церкви, к которой был пристроен дом священника.

Внутри, в комнатке, по обеим сторонам комода стояли узкие старинные стулья, покрытые черным лаком и протертые тщательно-претщательно; на спинках у всех был посеребренный крест, придававший им вид пожилых монахинь, довольных тем, что здесь они в сохранности, и уход за ними хороший, и никто никогда их не коснется; казалось, они с удовольствием поглядывают на скромную железную кровать священника, в изголовье которой, на выбеленной стене, висело старинное распятие: черный крест и выточенная из слоновой кости фигурка Спасителя, хрупкая и пожелтевшая.

Но больше всего, казалось, был доволен безмолвием большой восковой младенец Иисус, который лежал в обитой небесно-голубым шелком ивовой колыбели, стоявшей на комодe и прикрытой от мух легким газовым покровом, также небесно-голубым; он спал своим розовым сном, подложив ладонь под пухлую щеку, залитый солнцем и окутанный смешанными запахами ладана, лаванды и домашнего горячего хлеба.

А в плетеном креслице, стоявшем в изножии постели, сидел дон Пьетро, неудобно откинув на спинку лысую

цвета пергамента голову, и тоже спал. Но спал он совсем другим сном. Спал с разинутым ртом, сном усталого и больного старика. Тонкие веки, казалось, не в силах более даже прикрыть глаза — наболевшие, отверделые, тусклые. Нос заострился, затрудненное дыхание, свистящее и неровное, свидетельствовало о болезни сердца.

Лицо — желтое, изможденное, осунувшееся — запрокинулось, и сон коварно придал ему неприятное и тупое выражение, словно тело, пользуясь минутной отлучкой духа, пыталось отомстить ему за то, что в течение стольких лет суровая воля мучила, держала в рабстве жалкую изнуренную плоть. И этим выражением тупого безволия, этой струйкой слюны, стекавшей по отвислой губе, плоть хотела показать, что силы ее на исходе. Тело возглашало свое животное страдание открыто до непристойности.

Десять минут назад дон Анджелино стремительно влетел в комнату, но внезапно остановился и к креслу дона Пьетро подошел уже на цыпочках. Он долго стоял, глядя на спящего старика безмолвно, но в тревоге, которая, постепенно ожесточаясь, сменилась яростью; и потому он то разжимал кулаки, то сжимал с такой силой, что ногти впивались в ладонь. Ему хотелось бы разбудить старика криком:

— Я решил, дон Пьетро, — слагаю сан!

Но он старался сдержать даже собственное дыхание из боязни, что, проснувшись, святой старец застанет его врасплох с этим выражением ярости и тревоги, проступавшим, наверное, и во взгляде, и во всем его лице, искаженном досадой; более того, он испытывал искушение вышвырнуть в окно свисавшую с карниза клетку, так раздражал его кенар, царапавший коготками цинковое дно, что, как опасался дон Анджелино, могло разбудить старика.

Всего лишь день назад, в пятом часу пополудни, он, дон Анджелино, метался по этой комнате, лихорадочно жестикулировал, дергался всем телом, словно желая скинуть сутану, избавиться от нее свою несчастную бунтующую плоть, вскидывал полы сутаны ногами, словно пиная, — и ожесточенно спорил с доном Пьетро, отстаивая свое решение отказаться от священнического сана, — не потому, что он утратил веру, о нет, но потому, что пришел к искреннему убеждению: читая и размышляя, он выработал в себе новую веру, более живую и свободную, а потому не мог более ни принимать догмы, узы

и лишения, навязанные прежней, ни подчиняться им. Спор становился все яростнее, но лишь с его стороны, не столько из-за ответов дона Пьетро, сколько из-за растущей досады дона Анджелино на самого себя, из-за бессмысленной и непреодолимой потребности высказать все этому святому старцу, который был первым его наставником и многие годы был его духовником, хоть дон Анджелино и сознавал, что дон Пьетро не способен понять его мук, тревоги, отчаяния.

И действительно, дон Пьетро дал ему излить душу, только шурился время от времени, да легкая улыбка шевелила бесцветные губы, казалось, уже неспособные улыбаться, и улыбка была добродушно насмешливой; а иногда старик бормотал без всякого презрения, снисходительно:

— Суета... суета...

Новая вера? Но какая же, если есть всего лишь одна? Более живая, более свободная? В этом-то и состоит суетность; и он, дон Анджелино, поймет это сам, когда уйдутся юношеские порывы, потухнет раздутый дьяволом жар, спокойней потечет кровь по жилам и в дерзких глазах уже не будет этого огня, и сам он, поседевший, а то и облысевший, уже не будет таким видным и горделивым. Словом, дон Пьетро обращался с ним, как с мальчиком, да-да, как с послушным мальчиком, который, конечно же, не учинит скандала, которым угрожает, хотя бы потому, что сознает, какое горе причинил бы он своей старой матушке, стольким для него пожертвовавшей.

И действительно, при воспоминании о матери дон Анджелино и сейчас почувствовал, что на глазах у него выступают слезы. А ведь между тем он и пришел-то к этому решению ради нее, ради старой своей матушки, потому, что не хотел больше ее обманывать, — и еще потому, что мать чтит его, точно маленького святого. И этот старческий сон — какое жестокое зрелище, какое жестокое! Ведь безмерное убожество этого тела, истощенного из-за того, что им, телом, пренебрегали, было самым убедительным доказательством в пользу новых истин, открывшихся дону Анджелино.

Но тут отворилась дверь, и в комнату вошла сестра дона Пьетро, маленькая старушка с восковым лицом, в черном платье и черном шерстяном платке, накинутом на голову, еще более согбенная и дрожащая, чем ее брат. Дону Анджелино почудилось, что в комнату, словно вы-

званная магией сыновних слез, вошла его мать — маленькая, с восковым лицом и в черном платье, как сестра донна Пьетро. Он поднял на нее глаза почти в ужасе, вначале не поняв даже ее вопросительного жеста, означавшего:

— Что он делает, спит?

Дон Анджелино утвердительно кивнул.

— А почему ты плачешь? — спросила старушка шепотом.

Но тут старик открывает слезящиеся глаза, и голова с разинутым еще ртом приподнимается, отделяясь от спинки кресла.

— А, это ты, Анджелино? Что там?

Сестра приблизилась к нему и, склонившись над креслом, что-то прошептала на ухо брату. Дон Пьетро встал с усилием; волоча ноги, подошел к дону Анджелино и, положив руку ему на плечо, проговорил:

— Не окажешь ли мне услугу, сынок? Ко мне пришла из деревни одна бедная старуха. Я, как видишь, еле держусь на ногах. Может быть, ты пойдешь к ней вместо меня? Она внизу, в ризнице. Ты можешь спуститься в церковь, не выходя из дому, по внутренней лесенке. Ступай, ступай, ведь ты всегда был и будешь мне добрым сыном. И да благословит тебя господь!

Дон Анджелино, не сказав ни слова, вышел. Наверное, он и не понял толком слов старика. На внутренней винтовой лесенке, ведшей из дома священника в церковь, темной и узкой, он остановился и, прижавшись лицом к руке, которой придерживался за стену, снова заплакал, как ребенок. Слезы жгли ему глаза, причиняли мучительную боль. Слезы постыдного бессилия, слезы и ярости, и сострадания одновременно. Добравшись, наконец, до ризницы, он вдруг почувствовал себя словно отрешенным от всего окружающего. Ризница показалась ему не такой, как обычно, он словно впервые вошел сюда. Холодная, убогая и светлая. И увидев сидевшую там старуху, он не совсем понял, чего эта старуха ждет, и она показалась ему не совсем реальной.

То была дряхлая крестьянка, вся закутанная в грязные лохмотья; ее кроваво-красные веки были чудовищно вывернуты. Она что-то шамкала, и при этом острый ее подбородок беспрестанно подскакивал к самому носу. В одной руке старуха держала за лапки двух петушков, а на раскрытой ладони другой руки лежали три серебряные лиры, бог весть с каких пор сбереженные. На

полу, у ног старухи, засунутых в огромные истоптанные мужские башмаки, стояла засаленная котомка, полная сухого миндаля и грецких орехов.

Дон Анджелино смотрел на старуху с ужасом.

— Что вам нужно?

Старуха, вглядываясь ему в лицо, забормотала что-то; язык с трудом ворочался в беззубом рту, щеки были дряблые, ввалившиеся.

— Как вы сказали? Не слышу... Тетушка Кроче?

Да, тетушка Кроче. Она и есть тетушка Кроче; дон Пьетро-то хорошо ее знает. Тетушка Кроче Скома; муж у нее помер, тому много лет, в реке утонул, в Наро. А пришла она сюда пешком, с котомкой за плечами, из долины Каннатело пришла. Дорога неблизкая, миль семь, а то и больше. А пожертвование свое — двух петушков, да котомку с миндалем и орехами, да три лиры на мессу — она принесла, чтобы умиловить святого Калоджеро, дон Пьетро-то знает, всеблагого угодника, он сына ее исцелил от смертельной болезни. Да вот сын, как поправился, сразу уехал в Америку. Обещал, что писать ей будет оттуда и посылать каждый месяц на прожитие. Год прошел и четыре месяца, а от сына никаких вестей, не знает она даже, жив он или умер. Знать бы хоть, что жив он, пускай ничего не посылает, она перебьется. Но ведь ни единой строчки! Ничего... Но тут все деревенские ей сказали, потому так вышло, что, когда исцелился сын, не выполнила она обета, данного святому Калоджеро. Так оно и есть, дело ясное, она и сама признает. Но ведь обета она почему не выполнила, дон Пьетро-то знает, — потому как все, что у нее было, ушло на лечение сына, и остались у нее только глаза, чтобы слезы лить, кровавые слезы! Вот так — кровавые! Да к тому же сын в отъезде, сама она старая, помощи ждать не от кого, как тут скопить на пожертвование, да три лиры на мессу, когда того, что она за день заработает, еле хватает, чтобы с голоду не умереть. Год и четыре месяца пришлось ей копить, а каких трудов ей это стоило, один господь бог ведает! Зато теперь — вот два петушка, а вот три лиры, и миндаль, и орехи. Смиляется добрый святой Калоджеро, и скоро, уж само собой, придет ей из Америки весть, что сын ее здравствует и благоденствует.

Покуда старуха вела эти речи, дон Анджелино ходил по ризнице взад и вперед, бросая по сторонам негодующие взгляды, и то сжимал, то разжимал кулаки, потому

что ему хотелось схватить эту старуху за плечи и, яростно встряхнув, крикнуть прямо в лицо ей:

— Так это и есть твоя вера?

Но нет, только не ей, не этой несчастной старухе; не ее, а священников, своих братьев, хотел бы он схватить за плечи и встряхнуть: это они держат бедный люд в таком постыдном неведении истинной веры и на этом неведении наживаются. Боже правый, как могут они брать за мессу у такой вот старухи три лиры, петушков, миндаль и орехи?

— Забирайте свою котомку и ступайте домой! — крикнул он, дрожа от гнева.

Старая женщина ошеломленно уставилась на него.

— Вы можете идти домой, я сказал! — ярость дон Анджелино все усиливалась. — Не нужны святому Калоджеро ни петушки, ни орешки! Если угодно богу, чтобы сын написал вам, напишет, не сомневайтесь. А что касается мессы, дон Пьетро болен, я уже говорил. Идите домой! Идите домой!

Старуха, словно оглушенная потоком гневных слов, забормотала:

— Да что же вы такое говорите? Ведь я обет дала, вы не поняли разве? Обет!

И в словах ее, хоть и полных убежденности, звучало такое изумление — неужели он не понимает, даже не верится, — что дон Анджелино не мог не призадуматься. Он напомнил себе, что пришел сюда вместо дон Пьетро, и сдержался. Подыскивая слова помягче, он попытался уговорить старуху взять обратно петушков, миндаль и орехи, а что касается мессы, если она захочет, он, пожалуй, сам ее отслужит вместо дон Пьетро, вот так, но при условии, что три лиры она оставит себе.

Старуха снова поглядела на него почти с ужасом и повторила:

— Как же так? Что вы такое говорите? Чего же тогда обет мой стоит? Ведь это обет! Коли не дам я того, что обещала, чего стоит обет? Но, прошу прощения, с кем я толкую? Не со священником разве? А коли со священником, почему вы так говорите со мною? Может, вы думаете, что приношение мое святому Калоджеро-чудотворцу не от чистого сердца? О господи, господи! Может, вы из-за того, что я рассказала, сколько мук приняла, куда все собрала?

И при этих словах горькие слезы полились из-под жутких кроваво-красных век.

Ее слезы растрогали дона Анджелино, теперь ему было совестно, и он корил себя за черствость, почти пристыженный чувством внезапного почтения к этой старухе, которая плакала у него на глазах оттого, что была оскорблена в своей вере. Он подошел к ней, стал утешать, сказал, что у него и в мыслях не было того, что ей заподозрилось, пусть оставит здесь свое подношение, три лиры тоже, ну да, и пусть войдет в церковь, а он сейчас же приступит к мессе.

Дон Анджелино вышел позвать причетника, поспешно вернулся в ризницу, и покуда причетник помогал ему облачаться, он подумал, что после мессы найдет способ отдать старой крестьянке и три лиры, и петушков, и подношение в котомке. Но вот что главное: чтобы благостыня эта обрела смысл для несчастной старухи и была принята ею, нужно, наверное, чтобы и он тоже отдал что-то — то, чего нет больше у него в душе, разве не так? Если в возмещение за все труды и муки, которые приняла эта женщина, чтобы исполнить обет, он не отслужит мессу с самым чистосердечным и пламенным рвением, какой благостыня будет стоить такая месса? Недостойное представление за подаяние в три лиры?

И дон Анджелино, уже в стихаре и с потиром в руках, остановился на пороге ризницы в нерешительности и тревоге, глядя в церковь, где никого не было, — подобает ли выходить к алтарю тому, кто утратил веру? Но в церкви была старуха, она простерлась перед алтарем, прижавшись лбом к полу, и дон Анджелино ощутил, что грудь его вздымается, словно ее наполнило новым дыханием, от которого по спине пробежал странный холодок. Почему вера представлялась ему до этого мгновения прекрасной и сияющей, как солнце? Вот она перед ним, вот она, вера, преклонившая колени в скорби и в нищете, простершаяся ниц, убогая в тревоге своей и страхе!

И дон Анджелино устремился к алтарю, словно подталкиваемый неведомой силой, и дух его был исполнен такой благодати, что руки его дрожали и дрожь объяла душу, как в тот день, когда вышел он к алтарю в первый раз.

И во имя этой веры молился он, закрыв глаза, ибо проник в душу этой старухи, словно в темный и тесный храм, где та вера теплилась; он молился богу этого храма, такому, каким был этот бог, каким он мог быть, — ибо все же был он единственным благом, единственной опорой в этой нищете.

И, отслужив мессу, оставил он у себя и подношение, и три лиры, чтобы не унижить малой благодетельной великую благодетельную эту веру.

(1923)

ПОКРОВИТЕЛЬ МОРЕХОДОВ

Клянусь, не хотел я оскорбить синьора Лаваккару ни в первый раз, ни во второй, что бы ни говорили в наших местах.

Синьор Лаваккара любезно завел со мной разговор об одном своем борове и хотел убедить меня, что это умнейшая тварь.

Тогда я спросил его:

— Прошу прощения, он тощий?

И тут синьор Лаваккара поглядел на меня так, словно вопрос мой был оскорбителен — не для него, а для его скотины.

Синьор Лаваккара отвечал:

— Тощий?! Больше квинтала потянет.

И тогда я сказал:

— Прошу прощения, и вы полагаете, что он может быть умен?

Речь шла о борове. Но синьор Лаваккара во всем колышащемся преизбытке своей розовой благодетельной плоти решил, что в первый раз я хотел оскорбить борова, а теперь — его самого, словно я высказал общее соображение того рода, что, мол, тучность исключает ум. Но речь шла, повторяю, о борове. А потому не должен был синьор Лаваккара приходить в такой гнев и спрашивать меня:

— А я в таком случае могу быть умным, как по-вашему?

Я поспешно отвечал:

— При чем тут вы, дорогой синьор Лаваккара? Разве вы — боров? Прошу прощения. Когда вы едите с добрым аппетитом — да сохранит вам его господь, — для кого вы едите? Вы едите для себя, другим от вашей тучности никакой выгоды. А боров, напротив того, думает, что ест для себя, а тучнеет ради выгоды других.

Он не рассмеялся. Какое там! Стоял передо мной, мрачный и еще больше разозлившийся. Тогда я, чтобы умаслить его, прибавил торопливо:

— Предположим, дорогой синьор Лаваккара, предположим, что вы при всем вашем светлом уме — боров, прошу прощения. Стали бы вы есть? Я — нет. При виде очередной порции корма я бы хрюкнул в ужасе: «Нет уж! Благодарю покорно, господа! Кушайте меня тощим!» Если боров тучный, стало быть, он не понял этой истины; а если он не понял этой истины, можно ли считать его умным? Вот почему я спросил вас, тощий ли у вас боров. Вы отвечали, что он потянет больше квинтала, а в этом случае, дорогой синьор Лаваккара, прошу прощения, может, он у вас и прекрасный боров, ничего не скажу, но уж, конечно, умным его не назовешь.

По-моему, яснее не объяснить. Но на синьора Лаваккару объяснение ничуть не подействовало. Наоборот, я только ухудшил дело, в чем и убедился в дальнейшем ходе разговора. Чем больше старался я объяснить суть, тем больше мрачнел лицом синьор Лаваккара, и он цедил сквозь зубы:

— Угу... угу...

Потому что ему, конечно, показалось, что я, когда приписываю его животному человеческие размышления или, вернее, утверждаю, что животное его рассуждает, словно человек, то имею в виду вовсе не пресловутого борова, а его самого, синьора Лаваккару.

Вот как все было. Но я же знаю, что синьор Лаваккара пересказывает всем и каждому мои речи, дабы все убедились в том, до чего я самонадеян, и дабы все ему подтвердили, что это мое рассуждение не имеет смысла применительно к животному, поскольку любое животное, в том числе и свинья, полагает, что ест себе на выгоду, и не может знать, что его откармливают другие ради собственной выгоды; и если боров родился боровом, что он может поделывать? Как боров, он поневоле должен есть, и глупо утверждать, что ему не следовало бы этого делать, а следовало бы отказываться от корма, чтобы не тучнеть — такие-де мысли свинье в голову прийти не могут.

Полностью с этим согласен. Но ведь, боже правый, дело в том, что синьор Лаваккара уж так мне расписывал ум этой твари — ему-де только дара речи недостает. Вот я и хотел ему доказать, что боров и не может обладать даром речи, и счастье для него, что нет у него этого хваленного человеческого ума; потому что человек-то может позволить себе роскошь обжираться, как свинья, он-то знает, что в конце концов, как ни разжиреет, под нож

не попадет, но свинья — нет, нет и еще раз нет! Прах побери, мне кажется, дело ясное!

Хотел оскорбить? И не думал! Я таким манером хотел защитить синьора Лаваккару от него же самого и сохранить в целости мое почтение и избавить его от каких бы то ни было угрызений совести, которые могли бы мучить его за то, что он продал свою скотину и обрек на заклятие в праздник Покровителя мореходов. А если мне не поверят, не взыщите: я рассержусь всерьез и скажу синьору Лаваккаре, что либо его боров — самая обыкновенная свинья и вовсе не обладает этим хваленым человеческим умом, который синьор Лаваккара ему приписал, либо свинья — он сам, синьор Лаваккара, и тут я оскорблю его вправду.

Вопрос логики, господа! И к тому же речь идет о человеческом достоинстве, и я обязан спасти оное любой ценой, но смогу это сделать лишь при условии, если мне удастся убедить синьора Лаваккару и тех, кто держит его сторону, в том, что тучные свиньи не могут быть умными, ибо в том случае, если эти свиньи беседуют меж собой, как утверждает и настаивает синьор Лаваккара, то в праздник Покровителя мореходов окажется обреченным на заклятие не свиное стадо, а человеческое достоинство.

По правде сказать, не знаю, какая существует связь между Покровителем мореходов и закланием свиней, начинающимся в день его праздника. Думаю, что поскольку в жаркую пору есть мясо этих животных вредно — настолько, что летом убой свиней запрещен, — а с началом осени становится прохладнее, то праздник Покровителя мореходов, который приходится как раз на один из сентябрьских дней, превратили в удобный повод сыграть заодно, как у нас говорится, свиную свадьбу. И сыграть посреди чистого поля, ибо праздник Покровителя мореходов празднуется в старинной норманской церквушке святого Николая, которая высятся на основательном расстоянии от нашего селенья, за поворотом большой дороги, среди полей.

Наверное, есть какая-нибудь история или легенда, объясняющая, почему нарекли Покровителем мореходов статую Спасителя, стоящую в нашей церкви; я этой истории не знаю. Но воистину, тот, кто ваял статую, изваял такие муки Христовы — всем мукам муки, с такой

свирепостью взялся за дело, что на худых голенях Христа, пригвожденных к черному грубой работы кресту, на ребрах его, которые можно пересчитать, живого места не оставил, сплошные раны и язвы. Конечно, терзали иудей живую плоть Христову, но тут уж постарался он, резчик. А ведь говорится: быть, как Христос, и любить человечество! Но этот Покровитель мореходов, хоть так с ним обошлись, творит чудо за чудом, и несть им числа, что явствует из сотен и сотен серебряных и восковых изваяний и рисованных картинок, по обету принесенных в дар ему и заполняющих целую стену в церквушке; на каждой картинке синее море бушует, и уж такое оно синее — синей не бывает, и суденышко тонет, а на корме выведено название — красивыми крупными буквами, чтобы всякий мог разобрать толком, — словом, всякая всячина, а из-за раздвинувшихся туч, вняв мольбам терпящих бедствие, появляется этот Христос и свершает чудо.

Хватит. Я между тем из-за словопрения об уме и тучности свиней и из-за плачевнейшего недоразумения, им вызванного, не получил от синьора Лаваккары приглашения на праздник.

Это обстоятельство горестно для меня не столько из-за того, что я лишился удовольствия отведать свинины, сколько из-за того, что мне пришлось сделать над собой усилие, чтобы явиться на праздник в качестве стороннего зрителя, а явился я туда лишь затем, чтобы не нанести обиды стольким добрым людям и спасти, как я уже сказал, человеческое достоинство.

Это сущая правда. Я-то, исходя из здравых понятий, которыми проникся отныне, и не предполагал, как тяжело мне будет присутствовать на празднике. Но в конце концов с божьей помощью справился с собой.

Когда утром в туче пыли, поднявшейся над большим, я увидел все это белесое свиное племя, которое вприскокку и с хрюканьем потянулось к месту праздника большими и малыми стадами, мне захотелось взглянуть повнимательнее в каждую из этих тварей по отдельности.

И это умные животные? Да полно! С таким-то рылом, с такими ушами, с таким потешным колечком сзади? И разве стали бы они так хрюкать, если бы были умными? Да ведь это их хрюканье — голос самой жадности! Да ведь они роются даже в дорожной пыли, до самого

последнего мига ничуть не подозревая, что в ближайшем времени их заколют. Доверяют человеку? Благодарю покорно за такое доверие! Словно с тех пор, как мир стоит и люди имеют дело со свиньями, человек не показывал свинье постоянно, что вожделеет ее мяса, поэтому-то она и не должна ни в малейшей степени доверять ему! Прах побери, да ведь даже при жизни свиньи человек умудряется отведать ушей ее и хвоста! Что же, хорошо это? Уж если мы хотим именовать доверием скудоумие, давайте будем последовательны, во имя господа, и не будем говорить, что свиньи — животные разумные.

Но, прошу прощения: а если бы человек не ел свинины, что могло бы обязать его разводить свиней с таким тщанием, прислуживать им — а ведь он человек, крещеная плоть! — водить на пастбище — за какие доблести? Чем может отплатить человеку свинья за корм, который от него получает? Никто не станет отрицать, что свинья, покуда жива, живет в свое удовольствие. Поразмыслив над свиным образом жизни, приходишь к выводу: если в конце концов свинья обречена на убой, пусть тем и довольствуется, ибо сама по себе, как свинья, она, разумеется, такой жизни не заслужила.

А теперь, господа почтенные, перейдем к людям. И в них тоже мне захотелось взглядеться повнимательнее — в каждого по отдельности, — покуда они направлялись к месту празднества.

Какое разительное несходство, господа!

Божественный дар разума просвечивал даже в самых незначительных действиях: в том, как они досадливо отворачивали лица, чтобы уберечься от пыли, поднятой свиньями копытцами, и в том, как почтительно приветствовали друг друга.

Да ведь даже одно то, что люди додумались прикрывать тканями непристойную наготу тела, одно только это уже ставит человека настолько выше омерзительной свиньи — подумайте сами. Конечно, человек может объесться до того, что чуть не лопнет, что весь обмарается, но ведь что важно — что он моется и носит одежду. И даже если представить себе, что они, все эти мужчины и женщины, шествуют по дороге нагишом — вещь невозможная, но допустите все-таки, — не стану утверждать, что зрелище было бы красивое: старухи, брюханы, грязнули; и все же какое несходство, подумайте са-

ми, взять хотя бы только свет ока человеческого, этого зеркала души, или взять хотя бы дар слова или улыбки.

А мысли, которые приходили в голову всем этим людям, притом что все они шли на праздник: может, и не обязательно об отце или матери, но уже непременно о ком-то из друзей, о внучке, о дядюшке — еще в прошлом году и они тоже принимали радостное участие в сельском празднике, и они тоже вдыхали свежий воздух полей, а теперь лежат в сырой земле, бедняжки... Вздохи, всхлипывания, кое у кого даже угрызения совести. Да, да! Отнюдь не все эти лица выражали веселость. Предвкушение удовольствий скоромного дня не могло разгладить лбы, на которых столько постных дней оставили морщины гнетущих забот, следы усталости и мук. И многие заслуживали сострадания, ибо несли на этот праздник, длящийся только один день, все горести, накопленные за год, дабы проверить, сумеют ли они среди всех этих упитанных сангвиников показать желтоватые зубы в вымученной улыбке.

А еще я думал обо всех искусствах, обо всех ремеслах, которыми с таким прилежанием, с таким трудолюбием и риском занимаются эти люди и которые свиньям, конечно же, неведомы. Ибо свинья есть свинья, и только; но человек — о нет, господи: он может быть и свиной заодно, не спорю, но свиной — и врачом, к примеру, свиной — и адвокатом, свиной — и преподавателем словесности и философии, и нотариусом, и делопроизводителем, и часовщиком, и кузнецом... И я с удовлетворением видел, что толпа эта, шествовавшая по большаку, являет знаки всех трудов, скорбей и забот человечества.

В какой-то момент мимо меня проследовал синьор Лаваккара: он вел за руки двух младших сыновей — один справа, другой слева, позади шла супруга, такая же розовая и цветущая, как он сам, а впереди две старшие дочери. Все шестеро сделали вид, что не видят меня; но обе дочери замешкались и покраснели до корней волос, а один из малышей, отойдя на несколько шагов, трижды поворачивал голову, чтобы украдкой глянуть на меня. На третий раз я для смеха показал ему язык и незаметно помахал рукой; выражение лица у него сделалось очень серьезное, очень угрюмое и рассеянное, и он сразу же отвел глаза.

Он тоже будет есть свинину, бедный малыш; может быть, обестеся, но будем надеяться, что не до колик.

А если и до колик, на то есть все же человеческая предусмотрительность. Подите-ка поищите предусмотрительность у свиней; найдите-ка свинью-аптекаря, чтобы сумела приготовить касторовое масло для поросят, обжорством испортивших себе желудок!

Я долго следовал взглядом за милой семейкой синьора Лаваккары, шествовавшей, несомненно, навстречу весьма и весьма острому приступу несварения желудка; но смог все же утешиться мыслью, что завтра они найдут у аптекаря слабительное, которым и вылекутся.

Сколько наспех сколоченных навесов с развевающимися над ними полотнищами на пересеченной большаком лужайке перед церковью святого Николая!

Таверны на открытом воздухе; столы, столы и скамьи; винные бочонки, большие и малые; переносные печурки, прилавки и колоды мясников.

Картина буйного празднества была подернута пеленой, состоявшей из смеси пыли и пропитанного жиром дыма; но казалось, что четкость очертаний исчезла не столько из-за этой пахнущей жиром поволоки, сколько от общей сумятицы, вызванной суетой и гамом.

Однако не радостные клики звучали на этом празднестве, а вопли, вырывавшиеся в пароксизме мучительной боли. О, человеческая чувствительность! Бродячие торговцы, расхваливавшие свой товар, трактирчики, зазывавшие к накрытым столам, мясники за прилавками покрывали своим разноголосьем, сами того, быть может, не ведая, жуткий визг свиней, которых тут же, среди толпы, забивали, свежевали, потрошили, разделывали. И колокола хорошенькой церковки, звеневшие во всю мочь, без перерыва, помогали человеческим голосам заглушать милосердно этот визг.

Вы скажете: но почему всех этих свиней не забивали хотя бы подальше от толпы? А я отвечу: да потому, что в таком случае праздник утратил бы одну из традиционных своих черт, утратил бы свой первобытный характер священного действия, жертвоприношения.

Вы не думаете о религиозном чувстве, господа.

У меня на глазах очень многие бледнели, затыкали пальцами уши, отворачивались, чтобы не видеть, как нож со всего размаху вонзается в глотку вырывающейся свиньи, которую крепко держат восемь рук, окровавленных, онемевших; сказать правду, я тоже отворачи-

вался, но внутренне горько сожалел о том, что с развитием цивилизации человек постепенно становится все слабодушнее, все больше утрачивает религиозное чувство, хоть и стремится при этом обрести его во все большем совершенстве. Человек продолжает, конечно, поедать свинину; охотно присутствует при изготовлении колбасок, при промывке потрохов, при разделке блестящей, плотной, подрагивающей печени на ровные ломти; но отворачивается, чтобы не видеть самого акта жертвоприношения. И, разумеется, ныне не в ходу воспоминание о древней Майе, матери бога Меркурия, второе имя которого повторено в нашем итальянском слове «прогсо» — свинья.

К вечеру я снова увидел синьора Лаваккару: потный и сам на себя не похожий, без пиджака, держа в руках большое продолговатое блюдо, он в сопровождении двух малышей направлялся к прилавку мясника, которому продал свое умное животное. Шел, дабы получить — это входит в сделку — свиную голову и всю печень.

На этот раз — и с гораздо большим основанием — синьор Лаваккара снова сделал вид, что не видит меня. Один из малышей плакал; но хочу надеяться, что плакал он не от мысли, что сейчас увидит бледную, бескровную голову любимой жирной свинки, которую на протяжении двух лет столько раз ласкал в хлеву при доме.

А отец поглядит на нее, на эту голову с широкими поникшими ушами, с глазами, печально полусомкнувшимися между щетинками, и, может быть, похвалит с еще одним всхлипом ум, который в ней заключался, и своим проклятым упрямством испортит себе удовольствие съесть эту голову.

Ах, если бы он пригласил меня к себе за стол! В этом случае мне наверняка не пришлось бы изведать то тяжкое огорчение, которое испытывал я сейчас, когда, единственный, у кого был пустой желудок, единственный, у кого глаза не помутнели от винных паров, наблюдал, как все эти люди-человеки, достойные всяческого почета и уважения, мало-помалу впадают в состояние полнейшего ничтожества, начисто утрачивая даже проблески сознания, начисто утрачивая всякое воспоминание о бесчисленных заслугах, обретенных за долгие века и поставивших человека превыше всех прочих населяющих землю тварей благодаря трудам его и доблестям.

Мужчины без пиджаков, женщины, распутившие пояса, трясущиеся головы, багровые лица, слезящиеся глаза, безумные пляски среди перевернутых столов и опрокинутых скамеек, разухабистые песенки, потешные огни, выстрелы из пугачей, детский плач, залиvistый хохот. Суший шабаш под алыми тучами заката, плотными и суровыми, почти пугающими во внезапности своего появления.

И вскоре я увидел, как под этими самыми тучами, которые, постепенно расползаясь, становились все темнее, по зову святых колоколов весь этот пьяный сброд, пихаясь и толкаясь, кое-как собирается вместе и стадом устремляется вослед за изваянием Христа, тем самым пугающим изваянием истязуемого Спасителя на черном кресте — его уже вынес из церкви бледный клирик, а следом идут несколько священников, явно соблюдавших пост, в стихарях и епитрахиях.

Два поросенка, которым, к их величайшему счастью, удалось не попасть под нож и которые развалились под смоковницей, при виде этого шествия, как мне показалось, переглянулись между собой, как будто желая сказать:

— Вы, брат, видишь? А еще говорят, что мы и есть свиньи.

Я почувствовал, что взгляд этот ранил меня до глубины души, и тоже поглядел на пьяную толпу, шествовавшую мимо меня. Но нет, нет — вот оно, утешение! — я увидел, что толпа плачет — они плакали, все эти пьяные люди, рыдали в голос, били себя в грудь, рвали на себе растрепанные волосы, покуда брели, спотыкаясь и пошатываясь, следом за истязуемым Христом. Да, они объелись свининой, опились — все правда, но теперь, шествуя вослед за своим Христом, они рыдали в отчаянии, эти люди-человеки.

— О глупейшие животные, смерть под ножом — ничто! — вскричал я тогда торжествующе. — Вы, свиньи, живете в сытости и покое, всю свою жизнь, покуда она длится. Взгляните же теперь на жизнь этих людей! Они уподобились животным, они охмелели, но вот они плачут безутешно, следуя за своим истекающим кровью Христом, пригвожденным к черному кресту! Вот они оплакивают съеденных ими свиней! Сыщется ли трагедия трагичнее этой?

ПУШИНКА

Она поняла, что родные жалеют ее вовсе не за то, что она так страдает, а за то, что ее неизлечимая болезнь причиняет страдания им самим, и эта беспокойная жалость порождена грубыми укорами совести. Толстый муж, лысый и хмурый, толстая кузина с выгнутым, как панцирь, торсом и мощными грудями, упирающимися в подбородок, с громоздкой, как железный шлем, прической над низким лбом, с огромным носом, увенчанным безобразными очками, да еще вдобавок с усиками, бедняжка! Оба охотно страдают, чтобы тем самым заранее искупить облегчение, отраду, которые их ждут после ее смерти.

Пока ее терзают приступы боли, они суетятся и хлопчуют вокруг нее, а потом, едва боль отступает и она тихо лежит, предаваясь невинным радостям, непонятному для других блаженству, вдыхая свежесть заново постланного белья, муж и кузина, видимо, отказываются разделить с ней эти счастливые минуты и попросту уходят прочь, оставляя ее одну.

Итак, все яснее ясного: они не признают за ней права на хорошее самочувствие, зато предоставляют ей право мучить их своей болезнью, сколько она сможет и как захочет. Более того, они чуть ли не ждут от нее за это благодарности.

Не слишком ли много?

Мучить их? Да, она была обязана их мучить; она и не могла обойтись без этого, от нее ведь это не зависело. А то, что они покидали ее в минуты облегчения, ничего не значило, более того, было ей приятно — она-то знала, что эти двое даже не догадываются, чем она наслаждается, чем живет.

Казалось бы, ничем. И впрямь, она ведь была лишена всего, чем живут другие. И могла бы считать, что ничего не отнимает у других, лежа здесь в ожидании смерти, которая все не шла. Но глаза ее, что сохранились живыми на этом жалком, исхудавшем, прозрачном лице и еще не утратили прозрачного блеска сапфира, нередко озарялись лукавой улыбкой.

Может быть, она казалась себе муравьишкой из басни, которую она прочитала когда-то в детской книжке: он ползет по мостовой и спрашивает прохожих: «Ну как, добрые люди, очень вам мешает моя соломинка?» Соломинка? Да никому она не мешает. Однако муравей пола-

гает, что все уличное движение, люди, экипажи — все останавливается, чтобы пропустить его с этой соломинкой!

Ей тоже давно пора бы перейти улицу! А она все еще не перешла ее; она не может идти по улице, потому что время для нее не идет.

Это тщетное ожидание смерти как бы приглушило для нее окружающую жизнь.

Долгие годы жила она, страдая недугом, который оставался тайной для врачей, жила непонятно как. Лежа в светлой, просторной белой комнате на широкой белой кровати она стала хрупкой, как летние мотыльки, рассыпавшиеся золотой пылью, чуть тронешь их пальцем. Как могла она, такая хрупкая, выдерживать один за другим приступы свирепой боли? Нечеловеческой боли, судя по глухим, звериным стонам, рвавшимся у нее из горла. И все же она выдерживала. А успокоившись, вела себя как ни в чем не бывало. Правда, худела она чем дальше тем больше; глядя на нее, страшно было себе представить, как она исхудает через десять, через двадцать лет — ведь она и двадцать лет, и больше могла пролежать в этой постели как живой труп; в то же время болезнь не обезобразила ее, бывая детская грация не исчезала, а становилась все заметнее; казалось, она не столько худеет, сколько понемногу уменьшается, как будто ей суждено идти вспять и расстаться с жизнью не в старости, а в младенчестве.

Но глаза ее, глаза, сияющие лазурью на истощенном детском личике, отнюдь не были детскими; они-то как раз становились все лукавее, дьявольски лукавыми, в особенности когда боль отпускала ее и она лежала, еще вцепившись руками в кровать, еще не подняв всклокоченную головку, сползшую с подушки, еще откинув и разбросав в беспорядке простыни, и смотрела, как удаляются спины толстого мужа и толстой кузины, согбенные в глубокой печали.

Они, бедные, в отчаянии! Кто знает, какие разговоры ведут они там и о чем думают здесь, дежуря возле нее. Быть может, им чудится, что она находится во власти тайных, непостижимых чар и потому бесконечно далека от них, но одновременно так близка, так доступна их взглядам! То, что она звала солнцем, то, что она звала воздухом, произнося слова «солнце» и «воздух» голосом,

утратившим человеческое звучание, было, по мнению тех двоих, чем-то совсем иным, чем их солнце, их воздух; по сути дела, то было солнце иного времени, воздух, которым она, должно быть, дышала в ином месте, далеко отсюда; а они здесь, сейчас полагали, что ей уже не нужны ни солнце, ни воздух, ни что бы то ни было.

Где-то далеко-далеко осталось счастливое ее время с тогдашним солнцем и воздухом, когда она была красивой, здоровой и счастливой и в прозрачных сапфировых глазах трепетали желания или вспыхивал шутливый гнев; но образы былой жизни, ясные, четкие, сохранившие всю яркость красок, жили в ней по-прежнему, как отражение в зеркале.

Она идет, чуть покачиваясь, но легко — так легко! — под густым сводом длинного зеленого тоннеля, куда не проникает ни один луч, но зато в самом конце, у выхода, горит ослепительное солнце; розовые ручки придерживают поля большой соломенной шляпы, стянутые черной бархатной лентой, завязанной у подбородка. О, эта соломка! В голубом стекле бассейна, куда она бежит посмотреть, как в зеркало, шляпа покажется перевернутой корзиночкой.

— Амина! Амина!

Кто ее зовет? Аллея кончается лестницей, и она спускается по ступеням. На берегу никого нет. И вот она в лодке, одна в бурном море, волны налетают на нее, хлещут свинцовыми плетками; она чувствует себя водой, она чувствует себя ветром. Она живет этой бурей. И всякий раз, когда хлестнет плеть — ах, что за божественный восторг впивать эту влагу! — у нее, в опьянении, вот-вот вырвется крик, как у дикого коня. Стремительная, чудодейственная, трепетная сила то швыряет, то баюкает ее, приводя в ужас. Но какое упоение в этом головокружительном ужасе!

Однако следует вовремя остановиться, иначе ее ждут новые муки и неистовая боль опять вопьется зубами ей в грудь, исторгая из нее звериные вопли. Нет, нет, та жизнь должна оставаться далекой, вот так, только там, в воспоминаниях...

Как любит она эти дни, со светлыми облаками, пролившимися дождем, когда благоухает омытая земля и влажные лучи сулят всем растениям и насекомым обманчивую надежду на приход весны!

Ночью же облака расплываются по всему небу и звезды тонут в них, но потом облака выпускают

звезды одну за другой в глубины мимолетных синих прогалин. А она, чувствуя, как душу ее переполняют тревожная нежность и любовь, широко распахивает глаза навстречу ночной синеве и вбирает в себя все звезды.

Несколько капель воды, несколько капель молока, и все. Но во сне, даже когда она грезила с открытыми глазами, воспоминания, ставшие ее жизнью, становились пищей. То была уже не материальная еда, а запах и вкус тех блюд, что больше всего нравились ей, фрукты и зелень, и тогдашний воздух, и веселье, и здоровье.

Как могла она умереть? После недолгого сна душа ее полностью восстанавливалась, а телу, в теперешнем его состоянии, почти исчезнувшему телу, хватало капли воды, капли молока.

Теперь ее глазам и всем предельно обостренным чувствам нестерпимы были грубые, неуклюжие тела мужа, кузины, любого, кто приближался к ее кровати; они внушали ей отвращение, подчас даже ужас. Ее прозрачные тонкие ноздри вздрагивали и сжимались, едва их касался омерзительный запах этих тел, их терпкое, ощутимое дыхание; даже взгляды, с жалостью устремленные на нее, казались ей, ложились тяжелым грузом. Да, да, и сострадание, и любые другие чувства и желания, жившие в этих телах, — все они слишком много весили и дурно пахли. Поэтому она часто зарывалась лицом в подушку, пока те не отходили от кровати. Она смотрела на них издалека, из глубины пространства, где витали светлые, легкие, воздушные сны, и втайне смеялась над этими странными, неповоротливыми животными, которые не могут увидеть себя такими, какими видит их она, обреченными на вечную глупую маету, на тягостные, нечистые страсти.

Больше всех смешил ее муж, когда неподвижно застыл посреди комнаты в тупой, угрюмой, бычьей задумчивости. Даже издали ей была видна его ноздреватая кожа в мелких черных точечках. Он-то, разумеется, думал, что хорошо умывается по утрам, не хуже других; но ведь и у других, как они ни мылись, кожа была усеяна этими черными точечками. Она одна замечала их, как замечала пористые носы и все остальное, что, конечно, презабавно, если смотреть вот так, издалека.

Например, толстая очкастая кузина никогда не могла выдержать ее взгляда, если пристально смотреть на нее, откинув голову на подушку и подтянув к лицу край бе-

лоснежной простыни. Крошечное личико было едва заметно в этой белизне и только светились пронзительные, огромные синие глаза, как два живых драгоценных камня.

Но глаза эти смеялись, горели дьявольским смехом и не потому, что под очками кузины шевелились толстые, длинные ресницы, похожие на усики насекомых, а потому, что она отлично знала, что кузина входит сюда кроткой сиделкой, будто воды не замутит, а между тем в других комнатах этого дома разыгрывается такая грубая, нелепая драма, что и не вообразишь, — драма страстей бедной толстой очкастой кузины; позорная мучительная драма — прости ее, боже! — тайная любовная драма с толстым кузенном, приправленная бесконечными слезами, бедняжка!

Ей хотелось сказать кузине: ладно уж, довольно терзаться, она ведь все знает, догадалась с самого начала и коль скоро смерть не приходит, чтобы освободить их, она считает вполне естественным, что пора бы кузену с кузиной спокойно зажить супружеской жизнью, если их толстые тела — да знаю я, господи! — неизбежно потянулись друг к другу вследствие столь частых встреч и потребности во взаимном утешении. Вполне естественно. А ведь за эти шесть лет бедной кузине уже два раза приходилось куда-то исчезать, первый раз на три месяца, второй — на два. Потому что — о господи! — да, разумеется, взаимные утешения — занятие пылкое и без последствий остаться не может. Муж сказал, что кузина уехала за город отдохнуть. Но сказал это с таким смущенным и пристыженным видом, что она, конечно, расхохоталась бы ему в лицо, если бы еще могла смеяться. Но смеяться она могла теперь только глазами. Смеяться, громко смеяться алыми губами, блестящими зубами, смеяться как безумная, она могла только там, во сне наяву, когда видела себя розовой и здоровой; и там, да, там она смеялась, смеялась и смеялась, да еще как смеялась, прямо как безумная!

Быть может, ей следовало стыдиться этого смеха как греха, ведь этот напрасный смех, конечно же, будет стоить слез остальным. Но что же ей делать, если смерть не идет за ней? И к тому же какой там стыд, если муж и кузина, устав от тщетного ожидания ее смерти, успели отлично договориться друг с другом? Они только не могли, пока она жива, узаконить свой союз и рождение двух детей. Раньше надо было думать о детях-то! А они

их сделали и теперь плачут. К счастью, правда, оба малыша еще не могут горевать вместе с ними, они-то ведь, подобно ей, живут вне этой неуклюжей возни грубых и запутанных страстей.

Однажды она получила доказательство. В просторной светлой комнате никого не было. Время от времени кузина уговаривала себя, что больная спит и ее можно оставить одну, нарушив ясно выраженную волю ее мужа. Они, эти двое, давно жили друг с другом, однако, как ни странно, хранили в своих заплывших жиром, но нежных сердцах привязанность к ней, часто смешившую ее искренностью и трогательностью; порой эта привязанность омрачала жизнь тенью ревности — например, когда муж, поддерживая больную во время приступа, дрожащими пальцами поправлял ее длинные золотистые волосы, как делал это, быть может, в минувшие годы!

В этот день кузина оставила ее одну, несмотря на то, что глаза ее были приоткрыты. Неважно, ей хотелось думать, что больная уснула и она может ненадолго выйти из спальни; вдруг дверь открылась и на пороге появилась толстая девчушка в очках, прижимая к груди грязную одноногую куклу в розовой рубашонке и держа в другой ручке обкусанное яблоко. Она нерешительно переминалась с ноги на ногу и напоминала цыпленка, который убежал из курятника и случайно попал в гостиную.

Больная, улыбаясь, поманила ее к постели; но девочка, как зачарованная, стояла и смотрела на нее издалека.

Очки носит, бедная малышка, каждому ясно, хочешь не хочешь, чья это дочка; но в остальном — девочка толстененькая, здоровая, спокойная и можно поручиться, что она и не догадывается, сколько волнений стоило матери ее незаконное появление на свет; она ни о чем не подозревает и радуется чудесным красным яблокам, растущим для нее в этом незаконном мире, где только с куклой пока что может приключиться беда — оторвется нога или отклеются волосы из пакли.

В порыве великодушия она притворилась спящей, когда взволнованная мать ворвалась в комнату и, не помня себя, потащила девочку прочь из запретного, надежно охраняемого места. Она все еще делала вид, что спит,

когда кухня вернулась, еще взбудораженная происшествием, и уселась возле постели как сиделка; но боже, боже, какое искушение вдруг открыть смеющиеся глаза и спросить невзначай: «Как ее зовут?»

Да, хватит, рано или поздно надо прийти к такому решению. Кто знает, сколько еще осложнений вызовет никому не нужное сохранение этой тайны? К тому же ей страшно хотелось узнать, кто второй ребенок, мальчик или девочка, и ходит ли второй тоже в очках, чтобы ни у кого не было сомнений, чей он.

Тайна неожиданно раскрылась сама собой, через несколько дней после появления девочки в запретной комнате.

Крики, плач, грохот опрокинутых стульев, какой-то переполох — вот что донеслось до нее в обеденный час. Она догадалась по звукам, что кого-то тащат с большим трудом, поддерживая за голову и за ноги, из одной комнаты в другую, из столовой в спальню. Мужа? Апоплексический удар? Плач, вопли становились все отчаяннее. Должно быть, он умер.

Смерть пришла не за ней, не за той добычей, что давно была готова и ждала, а за другим, вовсе ее не ожидавшим. Вошла в дом, проскользнула мимо запертой двери ее белой комнаты; быть может, задержалась на миг, взглянула на нее, распростертую в белой постели, а потом вошла в столовую, подкралась сзади и стукнула крючковатым пальцем по блестящему черепу ее толстого мужа, безмятежно поглощавшего ежедневный обед.

Оплакивать ли ей это горе? Пусть занимаются этим живые. Для нее уже давно нет ни праздников, ни похорон, ни радостей, ни горестей, она только наблюдает за ними, лежа в постели, как за смешными тенями чужой жизни. Она тоже принадлежит смерти. Тончайшая нить ее жизни все еще тянется, увлекая ее в прошлое, вдаль, прочь от этих безжизненных предметов, среди которых живет ее дух, и ничего ей не надо, кроме капли воды и капли молока; эта нить не может связать ее с жизнью других людей, навсегда чуждой, как бессмысленный сон.

Она закрыла глаза и терпеливо ждала, пока уляжется суматоха. Несколько дней спустя к ней вошла опухшая от слез толстая кухня в очках, вся в черном, ведя за руки двух девочек в черных платьях. Она встала у кровати как дурной сон, затряслась, надрываясь в плаче, и нако-

нец собралась с духом и отчаянно выкрикнула ей в лицо, заливаясь слезами, указывая на маленьких сироток, что она причинила им непоправимое зло, не умерев первой. Как же, как теперь будут жить эти две малышки?

Сперва она слушала, испуганная криками; когда же это театральное зрелище, исполненное подлинного горя, слишком затянулось, она перестала слушать; внимательно рассматривала она вторую девочку, с удовольствием отметив, что та очков не носит. Наслаждаясь прохладой, она невольно сравнивала себя, хрупкую, почти бесплотную, в белой и свежей постели, с этим черным клубком отчаяния и слез толстой кузины, свивавшимся и развивавшимся перед ее глазами, и еще ей показалось смешным, что та надела траур по ее мужу и обрядила бедных девочек в черные платья; с приветливым любопытством глядела она, как малышки, ничего не понимая, изумленно осматривались в запретной комнате, куда наконец проникли.

Нет, конечно, девочки не понимают, что это за страшное зло она им причинила и о чем мама так громко кричит и плачет. Но разве нельзя все это как-то исправить? Разве нет выхода? Она задала этот вопрос ради девочек, чтобы избавить их от рыданий и воплей. Можно? Тогда к чему стоны и слезы? О чем речь? Передать ее имущество этим двум малышам? Да конечно же! Да хоть сейчас! По сути дела, она была уверена, что обладает только одним — вот этой тончайшей нитью жизни, которой нужны лишь несколько капель воды, несколько капель молока. Какое ей дело до всего остального? Какое ей дело — отдать или нет другим то, чего у нее давно уже нет? Трудно и сложно? Ах, вот как! И что же? И почему? Но, право, до чего нелепа вся эта жизнь, если такое простое дело может стать трудным и сложным.

Несколько дней спустя она увидела воплощение всех этих бессмысленных сложностей в лице нотариуса, который явился к ней с двумя свидетелями и читал бесконечный документ, совсем непонятный ей. Наконец ей очень осторожно протянули давно невиданный предмет — перо, чтобы она поставила свою подпись под этим актом, не только внизу, но еще несколько раз на полях каждого листочка.

Ее подпись?

Она взяла перо, внимательно осмотрела его. Потом взглянула в лицо нотариусу, а ясные сапфировые глаза смеялись в недоумении. Ее подпись? Значит, на ней еще

висит груз какого-то имени, которое надо поставить здесь, на этой бумаге?

Амина... а дальше как? Девичью фамилию, потом фамилию в замужестве? О, еще надо добавить «вдова»? Вдова — она? И посмотрела на кузину. Потом написала: «Амина Берарди, вдова покойного Франческо Висмара».

Какое-то мгновение она рассматривала свою неуверенную подпись на бумаге. И ей показалось смешным, что все делают вид, будто в этой строчке заключена она сама и всех это устраивает; мало того, они так восхищаются ее великодушием, ведь эта подпись отдает настоящее богатство в руки бедных малышей в черных платьях. Да? И еще, значит? Еще... Амина Берарди, вдова покойного Франческо Висмара. И, перетаскивая длинное, неуклюжее имя с одного листа гербовой бумаги на другой, она словно играла сама с собой в забавную игру, как девочка, когда изображает взрослую даму, нарядившись в мамино платье с длинным шлейфом.

1916 (1928)

РУКА БОЛЬНОГО БЕДНЯКА

Всего раз? Три раза, не меньше! Три? Пять... уже и сам не помню. Почему больница так действует на вас?

У меня нет дома... нет близких...

И потом, знаете ли, транжирить деньги (если они есть) на удовольствия — неважно, что мне такие траты никогда не грозили, я свои удовольствия не покупаю, так вот, на это, пожалуй, я мог бы согласиться. Но вдобавок к болезни, ко всем страданиям еще тратиться на лекарства, на врачей — вот уж на это моего согласия нет. Впрочем, у меня никогда не было денег на то, что принято именовать жизненными удовольствиями; следовательно, я имею право на лечение *gratis*¹ тех хворей, которые успел заполнить.

А их, кажется, немало; нет, не кажется, а безусловно. Они — мой пропускной билет в больницу, без них туда нет входа. И, судя по всему, хвори вполне добротные, я имею в виду — хронические: ну, скажем, не в порядке сердце, печень, почки... Говорят, я подорвал весь свой

¹ Даром (лат.).

организм. Наверное, так оно и есть, но для меня это не суть важно, потому что, в общем, при всем при том — я имею в виду, если дело обстоит именно так — эта беда еще не беда. Настоящая беда в другом...

— В чем?

Ах, друзья мои, вы слишком много хотите знать! В отличие от меня, который не хотел и не хочет знать никогда и ничего! Если я должен объяснять вам, в чем настоящая беда, значит, для вас она не существует. А если так, с какой стати мне пускаться в объяснения?

Я, например, никогда не спрашивал лечивших меня врачей, какие хвори терзают мое тело, этого усталого, замученного осла, который тащит меня на себе. Я и сам знаю, что совсем загонял его, да еще по таким дорогам, на которые не свернет ни один здравомыслящий человек.

И точка!

Одно мне противно: из-за этого я слышу среди врачей разумным пациентом. Полное мое безразличие к тому, чем именно я болен, врачи, видите ли, принимают за веру в глубину их познаний. По их первому требованию я послушно высовываю язык; кричу «тридцать три, тридцать три!» четыре, пять, десять раз подряд; безропотно терплю, когда чужое холодное ухо прижимается к моей спине; не протестую, когда любую часть моей персоны, будто она вовсе и не моя, слишком фамильярно шупают чужие руки, пусть мытые-перемытые, но, о господи, занятые омерзительно грязной службой обществу — копанием во всех язвах рода человеческого; предоставляю их пальцам изо всех сил молотить по мне, а их шприцам меня колоть; глотаю все их гнусные микстуры и пилюли, не жалуясь на тошноту и отвращение: «Боже мой, доктор, что это вы мне прописали? Почему оно такое горькое, доктор?» — и, следовательно, где вы найдете пациента разумнее, чем я? Больной, который так слепо верит в медицину, не может не быть, по их убеждению, разумнейшим из существ.

Ну и довольно об этом. Мне приятно, что вы смеесть. Пусть это пойдет вам на пользу.

Вот поэтому... поэтому, что касается меня, то я никогда не мог взять в толк, зачем, желая понять, каковы на самом деле окружающие нас вещи, зачем расспрашивать других? Другие скажут вам, как они сами понимают их, какими эти вещи представляются им. Вас это удовле-

творяет? Ну, а я, благодарю покорно, я хочу понять сам, хочу запечатлеть их в себе, какими они представляются мне и только мне. Разве вещи имеют свой собственный, не зависящий от нас образ и смысл, свою собственную ценность? Нет, это я придаю им образ, вкладываю в них смысл, награждаю ценностью. Так почему я должен принять вашу точку зрения? Вот уж увольте! Если я буду спрашивать вас, то сам никогда ничего не узнаю, потому что, сверх ваших представлений, вы тоже ничего не знаете. А какой мне толк знать, каким представляется этот мир вам? Так что увольте.

Вот в чем, друзья мои, истинная наша беда — все, что под нами, и над нами, и вокруг нас, все предметы и явления уже века и века имеют тот образ и смысл, ту ценность, которые приданы им людьми. Такое-то и такое-то небо, такие-то и такие-то звезды, море и горы такие-то и такие-то, и поля, и города, и улицы, и дома... господи боже мой, чего вам еще нужно? Нам теперь силой навязывают невыносимую скучищу этой неподвижной действительности, условной и обусловленной, и все безропотно ее принимают. Я просто готов их убить! Говорю вам, для меня сидеть на стуле — и то стало настоящей пыткой. Чтобы хоть немного ее облегчить, я должен — вы не возражаете? — по меньшей мере положить его вот так, да, на спинку, и сесть на него верхом. Это к примеру! Но многие ли пытаются содрать эту коросту общих мест? Избавиться от гнетущей скуки избитых понятий? Освободить вещи от обветшавших видимостей, в которые по привычке, по лености разума нас всех с таким тупым упрямством заставляют верить? А ведь почти нет человека, которому не случилось бы хоть раз в некую счастливую минуту по-новому посмотреть на мир, на жизнь, проникнуть во внезапном озарении в иной, новый смысл вещей, понять в единый миг, что, наверное, с ними, с этими самыми вещами, возможны новые, слышанные, небывалые отношения, — и тогда жизнь, представшая нашим прозревшим, по-новому восприимчивым глазам, обретает чудесную, многообразную, переменчивую ценность. И тут же — увы! — мы возвращаемся к единообразию привычных понятий, к рутине привычных отношений, вновь принимаем на веру привычные ценности ежедневного существования; неизменно лазурное небо глядит на нас по вечерам неизменными своими звездами, море усыпляет неизменным плеском, дома отовсюду глазуют окнами неизменных фасадов, и неиз-

менными мостовыми ложатся нам под ноги улицы. И меня считают сумасшедшим только потому, что я хочу жить в том мире, который для вас был мгновенным миражем, кратким, благотворным потрясением сна наяву, животрепещущего и светоносного; в мире без единой привычно-исхоженной тропы, без окостенелых установлений, свободном от всех обветшалых видимостей, хочу всегда свободно и глубоко дышать среди всегда обновляющихся и полных жизни вещей.

У меня изношено сердце, пришли в негодность легкие; что из того? Пусть я слыву сумасшедшим, но я живу. Нет у меня ни дома, ни положения. Отправлюсь в больницу? Поверьте, никогда я не шел туда по собственной воле, своими ногами, — всегда отправляли другие, бесчувственного, на носилках. Там я приходил в сознание и сразу решал:

— Ага, вот я где! Что ж, придется снова высовывать язык.

И немедленно, охотно и послушно, без единой жалобы, высовывал его по первому требованию, чтобы поскорее оттуда выбраться.

Как занято выглядит лицо человека — врача ли, санитаря ли, — когда он стоит у вашей постели, а вы лежите и смотрите на него снизу вверх и видите черные, с вывернутыми краями дыры ноздрей и дугу рта, концами опертую на шар подбородка! А когда этот рот начинает произносить слова, вам открывается над оградой зубов уздечка верхней губы, а позади — почти все небо.

Уверяю вас, даже и не вслушиваясь в то, что изрекает рот, вы все равно теряете уважение к человечеству.

Но я пообещал рассказать вам о руке больного бедняка.

Вступление получилось длинноватое, но, думаю, не совсем бесполезное, потому что теперь вы по крайней мере не станете требовать от меня подробностей, которые помогли бы вам расчувствоваться на привычный манер, то есть всяких там сведений вроде:

1. Кто такой этот человек,
2. Как он очутился в больнице,
3. Чем болен...

Об этом, дорогие мои, не будет ни слова. Я сам ничего решительно не знаю, не удосужился узнать, хотя на-

верняка мог бы спросить у санитаря. Я видел только руку больного и только о ней и могу рассказать.

Вас это устраивает? Ну, что ж, слушайте.

Было это в той больнице, где я лежал в последний раз. Не делайте таких дурачки-скорбных лиц, ничего душещипательного в рассказе не будет. Мне всегда удавалось установить с больницей — притом, что я терпеть не могу врачей и медицину — теплые, проникновенные отношения.

Вы только подумайте, внимание к пациентам довели там до такой утонченности, что мы не видели друг друга, так как между кроватями стояли одностворчатые ширмочки, вернее, рамы с прибитыми по углам муслиновыми занавесками, всегда безукоризненно чистыми — их еженедельно снимали, стирали и гладили. Порою вся эта белизна создавала иллюзию — тут ей на помощь приходил лихорадочный жар, — будто лежишь в облаке и вместе с ним плывешь по лазури, которая вливалась в палату через стекла огромных окон.

Справа к каждой постели в этой длинной, очень светлой, хорошо проветренной палате была вплотную придвинута вот такая рама, в высоту доходившая до верхнего края подушки. Поэтому я видел только руку моего соседа слева, когда он выпрастывал ее и опускал на покрывало. Я разглядывал эту руку с любопытством влюбленного, и мало-помалу она поведала мне историю, которую я собираюсь вам пересказать.

Ну, разумеется, поведала она ее либо жестами, скорее всего произвольными, либо тем, как лежала, желтая, костлявая, на белом покрывале, иногда ладонью кверху с полусогнутыми, чуть сведенными пальцами, уже совсем покорная судьбе, пригвоздившей ее к этой кровати, словно к кресту, иногда сжатая в кулак от внезапной ли судорожной боли или от приступа гнева и нетерпения, который всегда сменялся бессилием смертельной усталости.

Я понял, что вижу руку больного бедняка: пусть она дочиستا отмыта по всем правилам больничной гигиены, но на ней, костлявой и пожелтевшей, точно застыл слой неистребимого пота, который, собственно, даже не пот, а патина нужды, и никакой водой эту патину не смоешь. Она была на утолщенных, немного шероховатых суставах пальцев; на их сгибах, где кожа сморщилась, точь-в-

точь как на шее у черепахи; в линиях ладони, про которые говорят, будто это смерть поставила на руку человека свою печать.

И тогда я стал раздумывать, каким же ремеслом занималась эта рука.

Конечно, не черной работой—рука была хрупкая и тонкая, как у женщины, не узловатая, не деформированная, разве что последняя фаланга указательного пальца казалась необычайно цепкой, а большой палец был всегда полусогнут и от пясти до косточки слишком мускулист.

Я заметил, что, когда кончик указательного пальца нажимал на большой, тот непроизвольно, как бы по привычке, поддавался ему, точно мой сосед, сам того не сознавая, этим нажатием призывал какую-то далеко отступившую действительность и дотрагивался до нее вот здесь, на подушечке предупрежденного таким способом пальца: действительность собственного своего существования до болезни. Может быть, магазин, где в нос ударяет острый запах новых тканей; штуки материи, аккуратно разложенные одна на другой по полкам, по скамьям, в витринах; стойка для проданного товара; стол, где лежит развернутая ткань, от которой нужно отрезать кусок, и на ней пара больших ножниц; серый кот под столом; портные, сидящие рядами и готовые в любой момент что-то приметать, что-то пришить на машинке, и среди них — он. Ему, может, и не нравилась эта действительность; он, может, отнюдь не вкладывал душу в свое ремесло, но ремесло тем не менее было вот в этих двух пальцах, в этом большом пальце, который по привычке стольких лет непроизвольно покорялся нажатию указательного. А вокруг была нынче куда более унылая действительность: пустота и томительная праздность большого распорядка, недуг, усталое и тревожное ожидание — чего? — может быть, смерти.

Да, несомненно, то была рука портного.

По другому ее жесту я затем понял, что бедняк-портной с недавних пор отец, что у него родился ребенок.

То и дело он поднимал колено под покрывалом. Тогда рука, до этого неподвижная, тоже поднималась, ее пальцы дрожали, она начинала делать круги над выставленным коленом, точно ласкала, но, конечно, ласка относилась не к колену.

К кому же она могла относиться?

Может быть, на этом колене не раз лежала головка его малыша, и рука поднималась, чтобы погладить тонкие шелковистые волосики.

Наверное, пока рука, делая дрожащие круги над коленом, ласкала что-то отсутствующее, веки больного были сомкнуты, и глаза под их защитой видели ребячью голову, и наполнялись горячими слезами, и вот они уже текут по скрытому от меня лицу. И впрямь, рука прервала неуверенно ласкающие движения, она скрылась за рамой, сперва приподняв край простыни. Через несколько секунд простыня снова была в порядке, но вот оно, место с краю, намокшее от слез.

Итак, вывод: у портного был ребенок. Но не торопитесь: эта история не так уж проста. Впрочем, речь ведь идет только о том, как двигалась и как лежала рука.

Однажды, поздним утром, я очнулся от глубокого, свинцового забытья, которое обычно следует за особенно острым приступом болезни, самой, пожалуй, тяжкой из всего моего набора.

Открыв глаза, я увидел у постели соседа целое сборище женщин и мужчин, видимо родственников. Первым делом я подумал, что он умер. Нет. Никто не плакал, не причитал. Более того, посетители разговаривали и с больным, и между собой, притом весело, хотя и вполголоса, чтобы не потревожить других больных.

День был неприятный. Так почему и зачем у постели больного столпилось столько народу?

О чем они говорили, я не слышал и не желал слушать. Меня так обессилил долгий летаргический сон, что даже видеть их было невыносимо. Я закрыл глаза.

Возле самой ширмы стояла спиной ко мне толстая старуха, и вся ее разбухшая персона, особенно ее... ну просто необъятная, туго обтянутая плиссированной юбкой в черную и красную клетку, наваливалась на меня, душила, как мучительный кошмар. Вот уж неподходящее время для такого сборища! Сквозь полуприкрытые веки я мельком увидел долговязого священника, но не обратил на это внимания. Может быть, даже наверное, я опять надолго впал в забытье. Красные и черные клетки на юбке растягивались передо мной как сеть, как тюремная решетка, полосы огня переплетались в ней

с полосами мрака и, огненные, жгли мне глаза. Когда я открыл их, у постели больного уже не было ни души.

Я поискал глазами его руку... Что такое? На безымянном пальце кольцо? Да, маленький золотой обруч, обручальное кольцо. Так вот в чем дело, он новобрачный... Свадьба! Эти люди собрались здесь, чтобы сочетать его браком.

Бедная рука, такая желтая, такая костлявая, и этот символ обручения... С любовью? Нет. Со смертью... Ведь на больничной койке вступают в брак только в предвидении смерти.

Значит, болезнь неизлечима. Да, мне об этом достаточно ясно сказала рука, слишком желтая, слишком костлявая, слишком неуверенная в движениях, в каждом своем жесте. С какой медлительной печалью большой ее палец вращал на безымянном кольцо, которое было ему слишком велико...

И, наверное, глаза, хотя и глядели на золотой кружок вблизи, были устремлены куда-то вдаль, а в мыслях, вероятно, мелькало:

— Это колечко... Что оно означает? Я здесь, чтобы от всего оторваться, а оно меня связывает... С кем? И надолго ли? Сегодня надели его мне на палец, завтра, может быть, придут и снимут...

Рука поднялась к самому лицу и на весу застыла. Она хотела, чтобы ее видели совсем близко с этим колечком-однодневкой, которое могло бы рассказать о многом, а говорило только об одном, о горестном, горестном...

Но нет, подумал он потом, все-таки, все-таки это кольцо что-то связывает: связывает его имя с жизнью его ребенка. Этот ребенок родился до свадьбы, значит, имени у него не было, а вот теперь будет. Так что, благодаря кольцу, одним угрызением совести меньше.

Большой палец начал снова поглаживать кольцо; потом рука бессильно опустилась на покрывало.

Утром, проснувшись, я больше не увидел руку; о том, как она лежит, можно было догадаться только по чуть приподнятой в одном месте простыне, затягивающей теперь всю постель, чтобы не было туда доступа мухам, за сто миль чующим смерть.

1917 (1928)

ТАЧКА

Я никогда на нее не смотрю, если поблизости кто-то есть; но чувствую, что она-то смотрит на меня, смотрит и смотрит, ни на миг не отводя глаз.

Я хотел бы объяснить ей, когда мы остаемся наедине, что это всё пустое, что она может не беспокоиться, что я никогда не осмелюсь делать с другими то, что так торопливо проделываю с ней, то бесконечно важное для меня и незначительное для нее. Я этим занимаюсь с ней каждый день в удобную минуту, в величайшей тайне, с радостью, исполненной ужаса, ибо, дрожа от страха, испытываю сладострастное наслаждение божественным, сознательным безумием и чувствую, что хотя бы на мгновение обретаю полную свободу и могу отомстить за все.

Я должен быть уверен (а уверенность эту, по-моему, может дать мне только она одна), что никто не узнает, чем я занимаюсь. Если все откроется, это повлечет за собой невообразимые беды, и не только для меня одного. Я буду конченным человеком. Может быть, меня даже схватят, свяжут и в ужасе препроводят в сумасшедший дом.

И вот я читаю в глазах моей жертвы тот самый ужас, который охватит всех, если моя тайна будет раскрыта.

Бесчисленные люди вверяют мне свою жизнь, честь, свободу, состояние, осаждают меня с утра до ночи, добиваясь моего вмешательства, совета, помощи; я несу к тому же бремя другого, весьма важного долга по отношению к обществу и семье: у меня есть жена и дети, которые нередко поступают не так, как должно, и поэтому необходимо постоянно одергивать их суровой, властной рукой, постоянно подавать им пример моего беспрекословного и неуклонного подчинения обязанностям, а обязанности у меня одна ответственной другой — обязанности мужа, отца, гражданина, профессора юридического факультета, адвоката. Итак, горе мне, если откроется моя тайна!

Правда, жертва моя ничего сказать не может. Однако с некоторых пор я не чувствую себя в безопасности. Я растерян и встревожен. Потому что — хоть она и впрямь не может ничего сказать — она смотрит на меня этими своими глазами, и в них так ясно виден ужас, что я боюсь, как бы в любую минуту кто-нибудь, кроме

меня, не заметил этого ужаса и не стал доискиваться причины.

Тогда, повторяю, я буду конченным человеком. Значительность моего поступка может быть понята и оценена немногими, кому внезапно жизнь предстала такой, какой предстала мне.

Рассказать об этом так, чтобы меня поняли, нелегко. Но я попытаюсь.

Две недели тому назад я возвращался из Перуджи, куда ездил по делам, связанным с моей работой.

Я вменяю себе в строжайший долг, помимо всего остального, никогда не поддаваться гнетущей меня усталости, непомерному грузу возложенных на меня обязанностей и не позволяю себе хотя бы в малейшей степени чем-то отвлечься хотя мой измученный мозг время от времени требует этого. Единственное, что я могу сделать, когда какое-то занятие чрезмерно утомляет меня, это переключиться на другое, новое.

Поэтому я взял с собой кожаную папку с еще неизвестными мне документами, чтобы изучить их в поезде. Едва мне встретилось в них какое-то затруднение, я оторвался от бумаг и обратился взглядом к окну вагона. Я смотрел в окно, но ничего не видел, углубившись в затруднявший меня вопрос.

Нет, по правде говоря, я не могу утверждать, будто ничего не видел. Глаза мои видели и, возможно, по-своему наслаждались прелестью и мягким очарованием умбрийских полей. Но сам я, разумеется, не отдавал себе отчета в том, что видят глаза.

Мало-помалу внимание, которое я уделял встретившейся трудности, стало рассеиваться, однако это не значит, что я обратил его на светлую, отрадную и безмятежную местность, расстилавшуюся перед моими глазами. Я не думал о том, что вижу, да и вообще ни о чем больше не думал; не знаю, сколько времени просидел я в таком оцепенении, смутном и непонятном, но вместе с тем приятном и светлом. Дышалось легко. Дух мой как бы лишился способности что-либо ощущать и в бесконечной дали, с несвойственным ему восторгом, уловил едва заметное кипение иной жизни, которой он никогда не жил, но мог бы жить, не здесь, не сейчас, а там, в той бесконечной дали, — жизни, давно минувшей, прожитой им, быть может, неведомо как и когда; от нее вея-

ло неясными воспоминаниями, но вспоминались не поступки, не образы, а подобия желаний, исчезнувших, еще не возникнув; печалью небытия, тревожной, невнятной и все же острой, схожей, должно быть, с печалью цветов, не успевших распуститься, — словом, кипение той жизни, которую ему предстояло когда-то прожить там, далеко-далеко, откуда она подавала знаки трепетными вспышками света; но не зародилась она, эта жизнь, где дух, конечно же, обрел бы себя во всей полноте, во всей цельности, пусть даже для страданий, а не только для радости, но то были бы поистине его собственные страдания.

Я не заметил, как глаза мои закрылись, но и во сне я, должно быть, видел мою несбывшуюся жизнь. Я говорю «должно быть», потому что проснулся я уже близко от города, в очень дурном настроении, совсем разбитым, с терпкой горечью и сухостью во рту, и тотчас же на меня навалилась отчаянная тоска, какое-то мрачное, налитое свинцом безразличие; все, что я видел вокруг и к чему давно привык, внезапно показалось мне лишенным всякого смысла и в то же время подавляло своим нестерпимым унынием.

В таком состоянии я вышел на перрон, сел в ожидавший меня у выхода автомобиль и поехал домой.

И вот я оказался у себя на лестнице, на площадке, перед дверью своей квартиры.

Именно тогда, стоя перед этой дверью цвета темной бронзы, где на овальной медной табличке было выгравировано мое имя, со всеми званиями впереди него и всяческими атрибутами моей учености и профессии позади, я вдруг, как бы со стороны, увидел самого себя и свою жизнь, но не узнал себя и жизнь эту не признал своей.

К моему ужасу, я в единый миг обрел уверенность в том, что человек, стоящий перед этой дверью, держа под мышкой кожаную папку, человек, живущий в этом доме, не я и не был мною никогда. Внезапно я понял, что всегда находился вне этого дома, вне жизни этого человека, и не только этого, а, по существу, вне какой бы то ни было жизни. Я никогда не жил; не было у меня никакой жизни; я хочу сказать, не было той жизни, какую я мог бы назвать своей, желанной мне, прочувствованной мною.

Даже мое тело, весь мой внешний облик, неожиданно вжившийся мне сейчас именно в такой одежде, в таком костюме, — все показалось мне чужим, будто кто-то навязал мне этот облик, придумав его, чтобы заставить меня действовать в чуждой мне жизни, совершать в этой жизни, где меня никогда не было, такие поступки, в которых дух мой, как я теперь внезапно понял, никогда не участвовал, никогда, никогда! Кто же сделал его таким, человека, представлявшегося мною? Кто хотел, чтобы он стал таким? Кто так его одел, так обул? Кто заставил его двигаться и говорить именно так, а не иначе? Кто навязал ему все эти обязанности, одна другой тягостней и отвратительней? Комендаторе, профессор, адвокат, человек, нужный всем, уважаемый всеми, вызывающий всеобщее восхищение, тот, чье вмешательство, совет, помощь всем необходимы, тот, кого рвут на части, не давая минуты покоя, минуты передышки, — это я? Я? Неужели? Да полно вам! Какое мне дело до забот, одолевающих этого человека с утра до вечера, какое мне дело до уважения, почтения, которыми он пользуется, комендаторе, профессор, адвокат, какое мне дело до богатства и почестей, пришедших к нему благодаря усердному, тщательному выполнению им всех обязанностей и добросовестной работе?

А там, за дверью, где на медной табличке овальной формы красуется мое имя, живет женщина и четверо детей; и каждый день, с тем же отвращением, что я испытываю теперь сам, но не терплю в них, они видят невыносимого человека, назвавшегося мною и представшего передо мной сейчас как посторонний, нет, как враг. Моя жена? Мои дети? Но если правда, что он никогда не был мною, если правда, что невыносимый человек, стоящий перед этой дверью, вовсе не я (а я с ужасающей уверенностью чувствовал, что это именно так), то чья жена эта женщина и кто отец этих четверых детей? Я? Нет! Не я, а тот самый человек, кому в эту минуту дух мой, будь ему дано обрести телесную оболочку, истинный свой облик, надавал бы пинков, либо избил бы его, разорвал на части, уничтожил вместе со всеми его заботами, со всеми его обязанностями, и почестями, и уважением, и богатством, и вместе с женой, да, наверно, вместе с женой.

Ну, а дети?

Я схватился руками за голову и стиснул ее изо всех сил.

Нет. Я не чувствовал, что эти дети — мои. Но странное, тягостное чувство к ним, живущим вне меня, к тем самым детям, которых я видел каждый день, которым был нужен и я, и мои заботы, советы, вмешательство, — вот это чувство вместе с отчаянной тоской, напавшей на меня, когда я проснулся в поезде, заставили меня вернуться в невыносимого человека, стоящего перед дверью.

Я вынул из кармана ключи, открыл эту дверь и вошел в этот дом и в прежнюю свою жизнь.

Теперь о сути моей трагедии. Я сказал «моей», но кто знает, сколько нас, таких! Тот, кто живет, не видит себя, пока жив, просто живет... Если человеку дано увидеть собственную жизнь, значит, он больше ею не живет: он ее терпит, он ее влачит, влачит, как мертвый груз. Ибо любящая форма есть смерть.

Очень, очень мало людей, знающих это; большинство, чуть ли не все, борются, суеются, чтобы достигнуть, как принято говорить, положения, чтобы обрести некую форму, и, обретя, полагают, что завоевали жизнь, а на самом деле начинают умирать. Они этого не знают, потому что не видят себя, потому что уже не могут вырваться из умирающей формы, обретенной ими, они не сознают, что мертвы, и думают, что живы. Познает себя только тот, кому удастся увидеть свою форму, сотворенную им самим или другими, судьбой, обстоятельствами, условиями, в которых он родился. Но если мы можем увидеть ее, эту форму, это означает, что наша жизнь уже покинула ее, иначе мы бы ее не увидели, мы жили бы в ней, в этой форме, не видя ее, и понемногу умирали бы в ней с каждым днем, ибо она сама по себе есть смерть, но распознать ее не могли бы. Следовательно, мы можем видеть и познать только то, что в нас мертво. Познать себя и умереть.

В моем случае дело обстоит еще хуже. Я вижу не только то, что мертво во мне; я вижу, что никогда не был живым, вижу форму, сотворенную для меня другими, не мной, и чувствую, что в этой форме жизнь моя, истинная моя жизнь, никогда не пребывала. Меня взяли, как берут любой материал, взяли некий мозг, некую душу, мышцы, нервы, плоть и по своему вкусу соединили и обработали их, чтобы они могли трудиться, действовать, выполнять обязанности, а я ищу себя в них и не нахожу. И я кричу, душа моя кричит в этой чуждой мне

мертвой форме: как? неужели это я? неужели я такой? Да полно вам! И у меня вызывает тошноту, отвращение, ужас, ненависть, тот, кто не я и никогда мною не был, мертвая форма, что держит меня в плену без надежды на избавление. Форма, несущая бремя моих обязанностей, хотя я и не признаю их своими, подавленная моими заботами, хотя мне до них нет решительно никакого дела, окруженная всеобщим уважением, хотя мне оно не нужно; форма, которая и есть не что иное, как эти обязанности, эти заботы, это уважение вне меня, поверх меня: все пустое, все мертвое, но оно гнетет меня, душит, давит, не дает дышать.

Освободиться? Но никто не может сделать так, чтобы содеянное оказалось не содеянным и чтобы не было смерти, когда она уже схватила и крепко нас держит.

Все, содеянное тобой, существует. Если ты совершил поступок — неважно, что ты сам потом себя в нем не узнаешь, — то, что ты сделал, остается при тебе, это — твоя тюрьма. Последствия твоих поступков обвиняют тебя, как щупальцы, а ответственность, которую ты несешь за свои непредвиденные и невольные поступки, давит на тебя, как тяжелый и спертый воздух, которым невозможно дышать. И разве можно от нее избавиться? Разве могу я, в темнице формы, чуждой мне, но представляющей меня в глазах всех людей именно таким, каким все меня знают, каким я им нужен, каким меня уважают, разве могу я принять иную жизнь, истинную мою жизнь и жить ею? Жить в форме, мертвой для меня, но вынужденной существовать для других, для всех, кто навязал ее мне, кто хочет, чтобы она была именно такой, а не иной? Она непременно должна быть такой. Такой она нужна моей жене, детям, обществу, иначе говоря, господам студентам юридического факультета университета, господам клиентам, вверившим мне свою жизнь, честь, свободу, состояние. Она нужна им только такая, и я не могу ее изменить, взбунтоваться, отомстить; и все же мне это удается каждый день, на одно мгновение, когда я совершаю этот свой поступок, в величайшей тайне, с трепетом и безмерной осторожностью выбирая подходящую минуту, когда никто не может меня увидеть.

Итак, вот уже одиннадцать лет живет у меня старенькая собака, белая с черным, разжиревшая, коротконогая и лохматая, с помутневшими от старости глазами.

У нас с ней никогда не было хороших отношений;

возможно, она вначале не одобряла моей профессии, из-за которой в доме неукоснительно соблюдалась тишина; но с возрастом она, мало-помалу стала с ней свыкаться и вот уже давным-давно, устав от назойливых пристававший детей, без конца возившихся с ней в саду, нашла убежище в моем кабинете и с утра до вечера спала на ковре, спрятав в лапах острую мордочку. Здесь она чувствовала себя в безопасности, под защитой бесчисленных бумаг и книг. Время от времени она приоткрывала один глаз и смотрела на меня, как бы говоря:

— Так, дорогой, молодец! Работай, и не уходи отсюда, потому что, пока ты здесь сидишь и работаешь, никто не войдет и не помешает мне спать.

Безусловно, именно так думала бедная собака. Искушение воспользоваться ею для моей мести охватило меня внезапно, две недели тому назад, когда я заметил, как она на меня поглядывает.

Ничего плохого я ей не делаю; вообще ничего особенного я не делаю. Просто, как только у меня появляется возможность, как только я хотя бы на мгновение освобождаюсь от клиентов, я осторожно, потихоньку встаю с кресла, чтобы никто не заметил, что моя мудрость, внушающая всем страх и зависть, моя потрясающая мудрость профессора юридического факультета и адвоката, моя суровая важность мужа и отца на миг покинули кресло, где восседали как на троне; на цыпочках подкрадываюсь к двери и украдкой заглядываю в коридор, не идет ли кто; закрываю дверь на ключ — только на одно мгновение; глаза мои горят от радости, руки дрожат от сладострастного предвкушения минуты, когда я наконец позволю себе стать безумным, стать безумным хотя бы на миг, вырваться на миг из темницы мертвой формы, насмеяться над ней и разрушить, уничтожить на миг эту мудрость, эту важность, что душат и унижают меня; я подбегаю к ней, к собаке, спящей на ковре; потихоньку, осторожно беру ее за задние лапы и толкаю вперед, как тачку; заставляю ее сделать так восемь или десять шагов, не больше, на передних лапах, держа ее за задние.

И это все, ничего больше. Сразу же после этого я иду к двери, тихо-тихо отпираю ее без малейшего щелчка и снова усаживаюсь на свой трон, в свое кресло, и вот уж я готов принять очередного клиента, с прежней суровой важностью, заряженный, как пушка, всей моей потрясающей мудростью.

Но вот беда: последние две недели собака все смотрит на меня мутными глазами, широко раскрытыми от ужаса. Повторяю, я хочу, чтобы она поняла, что это все пустое, что она может быть спокойной и не надо ей так смотреть на меня.

Но ведь собака отлично понимает, какой страшный поступок я совершаю. Вот если бы это в шутку сделал кто-нибудь из детей, это и впрямь было бы пустяком; но она хорошо знает, что я-то шутить не могу; она и допустить не может, чтобы я пошутил хотя бы на мгновение, — и вот она, проклятая, все смотрит да смотрит на меня, охваченная ужасом.

1917 (1928)

У ВАС НА СПИНЕ СМЕРТЬ

-А, так я и думал. Просто мирный прохожий...
Что, опоздали на поезд?
— Да, знаете, и всего на минуту. Подъезжаю к вокзалу и вижу, как он уходит у меня из-под самого носа.

— Могли бы и догнать.

— Как бы не так. Я знаю, это смешно, но, господа, разве догонишь со всеми этими свертками, пакетами, пакетиками! Ноша как у осла. Вы же знаете женщин — купи то, купи это — конца нет. Верите ли, высадившись из коляски, я потратил не меньше трех минут, чтобы пристроить все эти свертки: по два на каждый палец.

— Да, ничего себе... А знаете, что бы я сделал на вашем месте? Просто забыл бы их в коляске.

— А что скажет жена? А дочки? А их подружки?

— Ну, повизжат. Меня бы это только позабавило.

— Вы говорите так, потому что, видно, не знаете, что такое женщины на даче.

— Прекрасно знаю. И как раз потому оставил бы все в коляске. Ведь они любят говорить, что в деревне им абсолютно ничего не нужно.

— И если бы только это! Они способны утверждать, что и дачу-то снимают только из экономии. Ну, а потом они поселяются в пригородной деревушке, и чем она грязнее, беднее и безобразнее, тем больше хочется им красоваться там всеми своими шикарными туалетами. Что делать, таковы женщины, сударь! Впрочем, для это-

го они и созданы... «Хорошо бы, дорогой, если бы ты съездил в город. Мне так нужно это... и еще вот это. А кроме того, ты бы мог, если тебя это не затруднит (особенно трогательна эта фраза «если тебя не затруднит»)»... И потом, раз уж ты будешь в городе... то на обратном пути...» — «Но каким образом, дорогая, я за три часа выполню все эти поручения?» — «Ну, о чем ты говоришь! Возьмешь извозчика...» И, понимаете, вот ведь беда: собираясь пробыть в городе всего три часа, я не взял ключей от дома.

— Что вы говорите? Так вот почему...

— Я оставил всю эту гору пакетов и пакетиков в вокзальной камере хранения и отправился ужинать в ресторан, а потом, уже просто с досады, — в театр. Там все помирили от жары. Ну, а после спектакля что делать? Идти ночевать в гостиницу? Было уже двенадцать, а в четыре часа утра отходит первый поезд в моем направлении. Чтобы поспать каких-то три часа, не стоило тратиться. И вот я здесь. Ведь это кафе, кажется, не закрывается на ночь?

— Нет, сударь, не закрывается. Так вы оставили все свои пакеты в камере хранения?

— А что? Они могут пропасть? Но они хорошо перевязаны...

— Нет, нет, что вы... Вы говорите, хорошо перевязаны. О, я хорошо знаю это особое искусство, с которым приказчики в магазинах заворачивают покупки... Какие у них руки! Большой лист плотной бумаги, розовый, глянцеви́тый, блестящий... Даже смотреть на него — удовольствие... Он такой гладкий, что хочется прильнуть к нему щекой, чтобы насладиться его прохладной лаской... Приказчик расстилает его на прилавке, а потом так легко, так изящно кладет на него легкую, тщательно сложенную ткань. Сначала тыльной стороной руки он загибает один край листа, потом накладывает на него другой и, как бы добавляя последний штрих, легко и грациозно делает небольшой отворот, потом с обеих сторон складывает лист треугольником, подгибая его вниз, потом... протягивает руку к катушке со шпагатом, отматывает как раз такую длину, какая нужна, чтобы перевязать пакет, и перевязывает его так быстро, что вы не успеваете прийти в восхищение от его ловкости, как вам уже вручают пакет с петелькой сверху, чтобы продеть в нее палец.

— Я вижу, вы хорошо изучили повадки приказчиков.

— Изучил? О, сударь, да я целые дни провожу в магазинах. Я способен битый час простоять перед лавкой, смотря внутрь сквозь витрину. У витрины я забываю обо всем... Мне кажется, что я сам становлюсь... во всяком случае, хотел бы стать вот этим куском шелка... этим вот полотном в полоску... этой алой или голубой лентой, которую продавщицы галантерейных магазинов, отмерив ее на метре — вы видели, как они это делают? — навивают себе крест-накрест вокруг мизинца и большого пальца левой руки, прежде чем завернуть. Я смотрю на покупателей, мужчин или женщин, которые выходят из магазина, неся свертки на пальце, держа их в руке или под мышкой... слежу за ними глазами, пока не теряю из виду... и представляю себе. О, как много я себе представляю! Вы даже вообразить себе не можете. Мне это необходимо. Мне все это необходимо.

— Необходимо? Простите, а для чего?

— Для того, чтобы ощутить себя привязанным к жизни; вот так, хотя бы в воображении обвиться вокруг нее, как плющ обвивается вокруг чугунной ограды. Не давать воображению ни минуты покоя... Сливаться... постоянно сливаться с жизнью окружающих меня людей, но только не тех, кого я знаю. Нет, нет. С ними я не мог бы слиться. Если бы вы знали, какую они внушают мне скуку... даже отвращение. Мне нужно сливаться с жизнью чужого человека, с той жизнью, вокруг которой мое воображение может работать свободно; свободно, но не по своему произволу, а учитывая все мельчайшие детали, все особенности этой незнакомой мне жизни. О, если бы вы знали, как оно работает, мое воображение! Как глубоко мне удастся проникнуть! Скажем, я вижу незнакомый дом, воображаю, что в нем живу, дышу его воздухом... и даже ощущаю его запах... Вы знаете, что каждый дом пахнет по-своему? Ваш, мой... Но запаха своего дома не чувствуешь, ведь это запах самой нашей жизни! Вы понимаете меня? Вижу, что вы готовы сказать «да»...

— Да, конечно. И я представляю, какое удовольствие вы испытываете, рисуя в своем воображении все эти картины.

— Удовольствие?

— Ну разумеется. Мне так кажется.

— Да какое там удовольствие! Скажите-ка, вот вам случалось когда-нибудь обращаться к известному врачу?

— Мне? Нет. Зачем? Я ничем не болен.

— Нет, нет. Меня интересует, приходилось ли вам бывать в приемной такого врача, в приемной, где пациенты ожидают своей очереди?

— Ах да... мне однажды пришлось вести к врачу дочку, у которой было что-то с нервами.

— Хорошо, хорошо. Остальное меня не интересует. Так вот, эти приемные... Вы обращали внимание на то, как они обставлены? Старомодные диваны с темной обивкой... мягкие стулья, часто разрозненные... креслица там какие-нибудь... Одним словом, подержанная мебель, купленная по случаю и собранная для пациентов, мебель, совсем непохожая на всю обстановку дома. Для собственной семьи, для приятельниц жены господина доктора есть другая гостиная, обставленная совсем иначе, изысканно и роскошно. Кто знает, каким диссонансом прозвучал бы какой-нибудь стул или кресло из их гостиной, если бы они оказались в этой приемной, для которой хороша и эта случайная мебель. Хотел бы я знать, обратили ли вы внимание, когда водили свою дочку к врачу, на кресло или стул, на котором сидели в ожидании приема.

— Право, нет...

— Ну да, потому что вы не были больны... Пациенты, целиком поглощенные своим недугом, тоже часто не замечают их. Иные из них молча ждут, не отводя глаз от собственного пальца, который выводит какие-то узоры на полированной ручке кресла. Они погружены в свои мысли и не видят ничего вокруг. Но потом, когда мы выходим из кабинета и вновь оказываемся в приемной, какое странное впечатление производит на нас стул, на котором мы сидели несколько минут назад, ожидая неведомого нам диагноза. Стул этот или уже занят другим пациентом, который тоже еще не знает, чем он болен, или стоит на своем месте, свободный и бесстрастный, в ожидании, пока на него не сядет еще кто-нибудь... Но о чем же мы говорили? Ах да... об удовольствии, которое должно доставлять мне мое воображение. Не знаю, почему это мне сразу пришел в голову этот стул из приемной, где пациенты ожидают своей очереди...

— Да, в самом деле, почему?

— Вы не понимаете? Я тоже. Но дело в том, что существуют образы, абсолютно, казалось бы, не соприкасающиеся друг с другом, и которые представляют собою нечто столь специфически наше, рожденное нашим инди-

видуальным опытом, что никто никого бы не понимал, если бы мы не позволяли себе пользоваться этими образами при общении. Право, нет ничего более нелогичного, чем некоторые аналогии. Но связь тут, по-видимому, такая. Вот послушайте. Почувствовали бы радость эти стулья, если бы могли представить себе пациента, который сядет на один из них в ожидании приема? Какая болезнь притаилась в нем? Куда он пойдет и что станет делать после врача? Нет, никакой радости они не почувствовали бы. Вот так же и я — не испытываю никакой радости. На прием без конца приходят пациенты, а они всё стоят, бедные стулья, и место на них занимает то один, то другой. Что ж, я в таком же положении. То меня занимает одно, то другое. Сейчас меня занимаете вы, и, уверяю вас, я не испытываю никакой радости при мысли о поезде, на который вы опоздали, или о вашей семье, которая ждет вас на даче, или о ваших неприятностях, которые я легко могу себе представить.

— Ну, знаете...

— И благодарение богу, если это только неприятности. Иным бывает и хуже... Я говорил вам, что мне нужно в воображении слиться с жизнью другого, но при этом я не радуюсь и не сочувствую. Я делаю это для того, чтобы ощутить всю тяготу жизни, всю ее тяжесть, которые таковы, что мы, право же, должны были бы так легко с ней расставаться. Но это, знаете ли, нужно убедительно доказывать самому себе, доказывать терпеливо, прибегая к неопровержимым доводам и примерам. Потому что хоть мы и не знаем, что это такое, наша страсть к жизни, но она всегда при нас, мы чувствуем, как ком в горле, это наше желание жить, которое никогда не может насытиться, потому что жизни нашей — в каждый отдельно взятый ее миг — всегда чего-то не хватает и мы не можем насладиться ею вполне. Все наслаждение остается в прошлом, которое продолжает в нас жить. Желание жить приходит к нам оттуда, от воспоминаний, которые и привязывают нас к жизни. Хотя чем мы, собственно, к ней привязаны? Какими-то пустяками. Мелкими неприятностями и... несбыточными надеждами... тщетными хлопотами. Да, да, это так. Но то, что сегодня кажется пустяком... мелкой неприятностью... осмелюсь сказать, даже несчастьем, большим несчастьем, то, смею вас уверить, по прошествии четырех, пяти, десяти лет обретает бог знает какую прелесть... какое очарование... И эти слезы... А жизнь, о господи, при одной

мысли потерять ее... особенно, когда знаешь, что это вопрос дней... Смотрите! Вон там, на углу. Видите смутные очертания женской фигуры? Ну вот, она исчезла.

— Где? Кто?

— Не видели? Ее уже нет.

— Там была женщина.

— Ну да, моя жена.

— А, ваша супруга!

— Она следит за мною издали. И, знаете, мне иногда так хочется дать ей пинка. Но толку от этого не было бы: она как привязчивая бродячая собака. Чем больше вы ее пинаете, тем упорнее она за вами идет. Вы представить себе не можете, как страдает из-за меня эта женщина. Она перестала есть, перестала спать... Днем и ночью она бродит вокруг меня, вот так, не подходя близко... Господи, хоть бы она отряхнула свое платье и выбила пыль из тряпки, которую носит на голове вместо шляпы! Ведь это уже не женщина, а какая-то старая развалина. У нее даже волосы на висках навечно припорошены пылью, а ведь ей всего тридцать четыре года. Вы не поверите, до чего она меня раздражает. Иногда я бросаюсь к ней, трясу за плечи и кричу ей прямо в лицо: «Дура!» Она все терпит. Стоит неподвижно и смотрит на меня таким взглядом... таким взглядом, что, клянусь, у меня начинают чесаться руки от дикого желания ее задушить. Но она — ни слова. Она ждет, пока я отойду, и снова идет за мной. Вот, смотрите... она опять выглянула из-за угла...

— Бедная женщина...

— Да какая там бедная женщина! Понимаете, она хочет, чтобы я жил дома, чтобы я безмятежно наслаждался ее нежной и преданной заботой... радовался идеальному порядку в комнатах, блеску мебели, размеренному тиканью стенных часов в столовой и той мертвой зеркальной тишине, которая царит в моем доме. Вот чего она хочет. И вот я спрашиваю вас, для того чтобы вы поняли всю нелепость... да нет, даже не нелепость, а убийственную жестокость этого ее притязания, — я спрашиваю вас, как вы думаете, могли бы дома Авеццо или Мессины, если бы они заранее знали о землетрясении, которое вскоре разрушит их до основания, могли бы они спокойно спать при свете луны, выстроившись в ряд вдоль улиц и площадей в соответствии с градостроительным планом муниципалитета? Боже мой, дома из

камня и балок, обреченные на исчезновение! Представьте себе жителей Авеццо и Мессины, которые спокойно раздеваются перед сном, складывают одежду, выставляют обувь за дверь спальни и, укрывшись одеялом, наслаждаются свежей белизной постельного белья, зная, что через несколько часов все они будут мертвы... Вам представляется такое возможным?

— Наверное, ваша супруга...

— Позвольте мне кончить. О, если бы смерть, сударь, была чем-то вроде отвратительного насекомого, которое прохожий вдруг замечает у вас на спине... Вы спокойно идете себе по улице. Внезапно вас останавливает прохожий и, осторожно вытянув два пальца, обращается к вам: «Прошу прощения, вы позволите? У вас на спине смерть, милостивый государь». И он берет ее двумя пальцами и отбрасывает прочь... Это было бы великолепно. Но смерть — она не насекомое. У множества из тех, кто сейчас непринужденно и беззаботно гуляет по улицам, она, возможно, уже сидит на спине. И человек ее не видит и спокойно размышляет о том, что он будет делать завтра и послезавтра. А сейчас, сударь, подойдите сюда... сюда, к этому фонарю. Я вам кое-что покажу. Смотрите. Видите здесь, под усами... эту большую лиловую шишку? Знаете, как она называется? Сладкозвучное имя, слаще сахара, — эпителиома. Выговорите, выговорите это слово, и вы почувствуете всю его сладость: эпителиома. Понимаете, смерть уже подходила ко мне. Она воткнула мне в рот этот цветок и сказала: «Подержи-ка его, дорогой. Через восемь или десять месяцев мы свидимся вновь». А теперь скажите, могу ли я с этим цветком во рту жить дома, спокойно и безмятежно, как того хочет эта несчастная? Я кричу ей: «Ну хорошо, хочешь я тебя поцелую?» — «Да, хочу! Поцелуй!» И знаете, что она сделала? На прошлой неделе она булавкой расцарапала себе губу, а потом, сжав мне голову руками, попыталась поцеловать меня... поцеловать в губы... Говорит, что хочет умереть вместе со мной. Она просто обезумела... И дома я больше не живу. Часами я простаиваю перед витринами магазинов, восхищаясь ловкостью приказчиков. Потому что, понимаете ли, если внутри у меня вдруг станет пусто, я смогу, не задумываясь, убить первого встречного... вытащить револьвер и застрелить любого, того, кто, ну вот хоть как вы, имел несчастье опоздать на поезд. Но нет, нет, сударь, не пугайтесь. Это шутка. Я уйду. Скорее я убил бы себя...

...У вас здесь продают чудесные абрикосы. Как вы их едите? Прямо со шкуркой? Разламываете пополам и медленно сжимаете двумя пальцами, как источающие сок губы... Какое наслаждение!

Передайте поклон вашей высокочтимой супруге и девочкам. Я как будто вижу их, в белом и голубом, на зеленом лугу в тени деревьев... А завтра утром, когда вернетесь к себе, окажите мне одну услугу. Я думаю, ваша деревушка расположена недалеко от станции... И, сойдя на рассвете с поезда, вы, наверное, пойдете домой пешком. Сорвите первый пучок травы на обочине дороги и пересчитайте в нем травинки. Сколько насчитаете травинок, столько дней мне еще осталось жить. Только, прошу вас, выберите пучок погуще. Доброй ночи, сударь.

1918 (1923)

ПОХИЩЕНИЕ

Сидя верхом на осле, Гуарнотта покачивался в такт движениям животного, будто сам шагал по дороге; ноги его, не продетые в стремяна, и в самом деле едва не чертили дорожную пыль.

Как всегда, он возвращался в этот час со своего поля, расположенного на выступе плоскогорья, откуда открывался вид на море. Осел, такой же старый, грустный и усталый, как его хозяин, натужно вышагивал в гору. Бесконечная дорога петляла по склону холма, на вершине которого теснились, налезая друг на друга, ветхие домишки.

Все крестьяне уже возвратились с полей, и дорога была пустынна. Если бы кто-нибудь встретился старику, то наверняка поздоровался бы с ним. Слава богу, его тут все знали и уважали.

Для Гуариотты весь мир был таким же пустынным, как эта дорога, а его собственная жизнь — пепельно-серой, как опускавшиеся сумерки. Когда он смотрел на голые ветви деревьев над потрескавшимися камнями ограды, на запыленную листву смоковниц, выстроившихся в ряд, на кучи щебня у обочины, которые никто не собирался разравнять на изрытой, ухабистой дороге, ему казалось, что все вокруг оцепенело в тишине и безлюдье, что над всем нависла безысходная и бесконечная тоска, которая томила его душу. Чувство безысходности усили-

вала тишина, мягкой пылью осевшая на дороге, так что не слышно было даже цокота ослиных копыт. А сколько этой дорожной пыли каждый вечер приносил Гуарнотта домой! Когда он снимал и отдавал жене свой пиджак, та, держа его на вытянутой руке, показывала поочередно шкафу, кровати, комоду и стульям и отводила душу таковыми восклицаниями:

— Ну, посмотрите-ка! Вы только посмотрите! Да на нем можно пальцем рисовать узоры!

Если бы она сумела убедить мужа не надевать хотя бы в поле этот черный суконный костюм! Она специально заказала для него три (три!) бумазейных.

Гуарнотта, стоявший без пиджака перед женой, готов был вцепиться зубами в три узловатых пальца, которые та яростно совала ему под самый нос. Но, будучи по характеру незлобивым, ограничивался тем, что бросал на нее косой взгляд — пусть себе болтает. Пятнадцать лет тому назад у него умер единственный сын, и он дал обет одеваться только в черное. Стало быть...

— Да в поле-то на что тебе траур? Давай нашу черную полоску на рукав бумазейного пиджака. Ведь прошло уже пятнадцать лет, хватило бы и черного галстука!

Что с ней толковать! Разве не проводит он каждый божий день на своем поле у моря? В деревне уж много лет его никто и не видал. Стало быть...

— Что стало быть?

А стало быть, если он не будет носить траур по сыну в поле, где же еще его носить?

— Господи боже, хоть бы подумал, прежде чем лаять что попало.

В сердце? Вот удружила! Будто в сердце я его не ношу! Но я-то хочу носить его еще и на себе...

— Ну да, чтобы его видели деревья или птицы небесные...

А ведь и правда: сам он одежду у себя на плечах не видит. Да что жена так расходится? Не самой же ей выколачивать и чистить щеткой этот костюм каждый вечер? Есть ведь служанки, целых три на двоих. Денег жалко? Один костюм в год — восемьдесят или девяносто лир. Великое дело! Могла бы понять, что распускать язык ей не подобает. Она его вторая жена. А покойный сын был от первого брака! Родственников у Гуарнотты нет, даже дальних, и после его смерти все его добро (которого немало) достанется ей и ее внукам. Так придерживала бы язык, хотя бы из благоразумия. Да где уж!

Если б она это поняла, то не была бы тем, что она есть...

Вот почему Гуарнотта весь день проводил на своих полях у моря. В одиночестве, среди деревьев, под легкий шелест листвы, под глухое неторопливое ворчанье моря возделывал он полосу за полосой и научился понимать тщету всего на свете, научился видеть томительную тоску человеческой жизни.

До деревни оставалось меньше километра. С колокольни церкви неслись негромкие размеренные звуки вечернего благовеста. И вдруг на крутом повороте дороги:

— Стой! Слезай!

Из темных кустов выскочили трое мужчин. У каждого на лице была повязка, в руках — ружье. Один схватил осла за недоуздок, другие два в мгновение ока стащили старика с седла и повалили на землю, затем один из них, прижав коленом к земле ноги Гуарнотты, связал ему руки, а другой наложил ему на глаза сложенный в несколько раз платок и затянул его концы узлом на затылке.

Старик успел только вымолвить:

— Вы что, ребята?

Его поставили на ноги и повлекли, яростно подталкивая, дергая за руки, в сторону от дороги, вниз по каменистому склону, в долину.

Больше, чем рывки и толчки, Гуарнотту пугало тяжелое дыхание тех людей, что творили над ним насилие. Раз они дышат, как загнанные звери, значит собираются совершить над ним что-то ужасное.

Однако сразу убивать его они, судя по всему, не хотели. Если б они выполняли чей-то приказ или вершили вендетту, то покончили бы с ним там, на дороге, пристрелив его из засады. Стало быть, его захватили в плен, чтобы получить выкуп.

— Ребята...

Те еще пуще стали толкать его и дергать, снова велели ему молчать.

— Ну ослабьте хоть малость повязку! Глаза выдавливает. Не могу больше...

— Шагай!

Сначала под гору, потом в гору, вперед, назад, опять под гору, в гору, в гору и в гору. Куда они его тащат?

Гуарнотта задышался от этого бега вслепую по камням, сквозь кусты; его по-прежнему толкали и дергали, в голове бурлил водоворот мыслей и чувств, мелькали

картины одна другой страшнее, и все же (странное дело!) он видел перед собой огни, первые огни деревни, свет керосиновых ламп, зажигавшихся там, на вершине холма — огоньки в окнах и на улицах, причем видел он их такими же, какими они были перед тем, как на него напали, какими он видел их каждый вечер, возвращаясь с поля, и теперь он видел их (странное дело!) так отчетливо, будто на глазах его не было тугой повязки и будто он шел прямо на эти огоньки. Так он и шел, дергаясь от толчков и спотыкаясь о камни, шел, обуреваемый страхом, и нес в себе мирные и грустные огоньки, а с ними и весь холм, всю деревню, где никто не подозревал, какое насилие чинят сейчас над ним, где каждый спокойно и не спеша занимался привычным делом.

В какой-то момент он услышал торопливое цоканье ослиных копыт.

— Вон оно что!

Значит, они тащат с собой и его старого, усталого мощника. Да этому-то что! Чувствует, наверно, бедняга, непривычную грубость, но идет, куда ведут, а что и к чему — не понимает. Если б остановились хоть на минуту, если б разрешили Гуарнотте говорить, он им спокойно сказал бы, что отдаст все, чего они хотят. Не так уж много ему осталось жить, чтобы он за малую толику денег, которые теперь уже не приносили ему никакой радости, пошел на такую муку, которую приходится терпеть сейчас.

— Ребята...

— А ну, тихо! Шагай!

— Да не могу я больше! Зачем вы со мной так? Я же готов...

— Молчи! Потом поговорим... Иди!

И он шел, повинуюсь их приказу, шел целую вечность. Наконец совсем изнемог от усталости и боли в глазах из-за тугой повязки, ноги его подкосились, и он потерял сознание.

Гуарнотта пришел в себя лишь под утро в какой-то пещере с низким сводом и почувствовал, что его насквозь пропитал острый запах плесени, который исходил, казалось, даже от мертвенно-бледных рассветных лучей.

Тусклый свет едва-едва пробивался сквозь небольшое отверстие в глиняной стене, служившее входом в пещеру, но все же этот свет хоть как-то смягчал терзавший Гуар-

нотту кошмар воспоминаний о минувшей ночи, о сценах жестокости, которые он припоминал как бы сквозь сон, о сценах слепой, звериной жестокости, проявленной к нему: когда он уже не мог держаться на ногах, его то несли по очереди, взвалив, как куль, на плечи, то бросали на землю и тащили волоком, то несли вдвоем за руки и за ноги.

Где он теперь?

Гуарнотта прислушался. Снаружи — как будто безмолвие горных высей. На какой-то миг ему показалось, что он висит в пустоте. Но пошевелиться он не мог. Лежал на земле, как забитый баран, со связанными ногами. Руки и ноги отяжелели, словно налитые свинцом, голова гудит. Может, он ранен, и его здесь бросили, сочтя мертвым?

Но нет: снаружи доносились голоса. Значит, судьба его еще не решена. Однако о том, что с ним произошло, он думал уже не как об опасности, которая еще не миновала, от которой надо во что бы то ни стало избавиться. Нет. Он знал, что от беды не уйти, и у него почти не было желания предпринять что-то для избавления от нее. Для него беда уже произошла, она осталась где-то в прошлом, чуть ли не в другой жизни, в той жизни, которую, быть может, и надо было спасти, если б так не отяжелели руки и ноги, если б не разламывалась от боли голова. Теперь все на свете стало ему безразлично. Прежняя жизнь — жалкая и никчемная — осталась внизу, далеко-далеко, там, где его схватили, а здесь — высь, пустота и тишина, от которой он давно отвык.

Если бы его сейчас отпустили, ему не достало бы сил, а может, и желания, спуститься в долину и продолжать свою прежнюю жизнь.

Но нет — какая-то глубокая нежность, жалость к самому себе вдруг шевельнулась в нем, и он содрогнулся от страха, когда увидел, как в пещеру вползает на четвереньках один из тех трех, и лицо его по-прежнему скрыто под красной повязкой с прорезью для глаз. Гуарнотта бросил взгляд на его руки — оружия не было. В одной руке — незаточенный карандаш из самых дешевых. В другой — мятый листок почтовой бумаги и конверт. Гуарнотта вздохнул с облегчением и невольно улыбнулся. В пещеру вползли остальные двое, также с заматанными лицами. Один из них приблизился к Гуарнотте и развязал ему руки, только руки. Вошедший первым сказал:

— Пишите! И не вздумайте валять дурака!

Голос показался Гуарнотте знакомым. Ну конечно, это же Сухорукий, его так прозвали, потому что у него одна рука короче другой. Что ж, тогда... Но он ли это? Гуарнотта взглянул на руки говорившего. Он самый. Старик тотчас узнал бы и остальных двух, не будь они в масках. Он знал всех в округе. И он ответил:

— Сами вы не валяйте дурака, ребята! Кому я напишу? И чем? Этим, что ли?

Он указал на карандаш.

— Ну да! Это же карандаш.

— Карандаш-то карандаш. Да вы же не знаете, как им пользуются.

— А что?

— Его сначала надо очинить.

— Очинить?

— Ну да, перочинным ножиком заточить его конец.

— Перочинным?.. Ха!

И Сухорукий повторил:

— Не валяйте дурака, черт побери!

— И я говорю: не валяй дурака, Сухорукий.

— А-а! — вскричал тот. — Вы меня узнали!

— Посуди сам: ты прячешь лицо, а руку оставляешь на виду! Сними платок и погляди мне в глаза. Это со мной ты так обходишься?

— Хватит болтать! — заорал Сухорукий, яростно рванув с лица повязку. — Я вам сказал, не валяйте дурака! Пишите, не то я вас пристукну!

— Да ладно, я согласен, — сдался Гуарнотта. — Только очините карандаш. И дайте мне сказать... Вам нужны деньги, ребята, верно? Сколько же?

— Три тысячи унций!

— Три тысячи? Ничего себе!

— У вас они есть! Не прибедняйтесь!

— Три тысячи унций?

— Да еще и побольше.

— Может, и побольше. Но не в сундуке, не наличными. Мне придется продать земли, дома. И вы думаете, это можно сделать за день-другой, да еще в мое отсутствие?

— Тогда пусть вам их кто-нибудь одолжит!

— Кто?

— Ну, ваша жена, внуки!

Гуарнотта горько улыбнулся и чуть приподнялся на локте.

— Вот что я вам скажу, — продолжал он. — Вы дали маху, ребята. Рассчитываете на мою жену да на ее внуков? Если хотите убить меня, это одно дело: я здесь — убивайте, тут говорить не о чем. Но коли вам нужны деньги, это дело другое: их вы можете получить только от меня, если отпустите меня домой.

— Ну, вот еще! Домой! Вас самого! Да что мы, дураки? Смеетесь, что ли?

— Что ж, тогда...

Сухорукий яростным движением выхватил у товарища почтовую бумагу и повторил:

— Хватит болтовни! Сказано вам — пишите! Вот карандаш... Ах да, его очинить нужно. А как это делается?

Гуарнотта объяснил, и трое, переглянувшись, направились к выходу. Увидев, как они пробираются на четвереньках — совсем по-звериному, — Гуарнотта снова улыбнулся. Он подумал, что если они, выйдя из пещеры, примутся втроем очинять карандаш, то как бы они не стали тесать его, как кол, и не срезали бы весь. Думая об этом, Гуарнотта улыбался, а ведь жизнь его, быть может, зависела от этого смешного затруднения, возникшего у тех троих при выполнении непривычной для них операции: обозлившись на то, что карандаш разломался на кусочки в их руках, они могли вернуться и показать ему, что их ножи, не очень пригодные для очинки карандашей, вполне годятся для того, чтобы перерезать ему глотку. Он поступил неправильно, допустил непростительную ошибку, когда сказал Сухорукому, что узнал его. Вот слышно, как они там ворчат, переругиваются, чертыхаются... Видно, передают друг другу этот несчастный грошовый карандаш, а тот становится все короче. Бог знает, что за ножи в их грубых, перепачканных глиной ручищах...

Один за другим все трое вернулись в пещеру — ничего не вышло.

— Никудышное дерево, — сказал Сухорукий. — Дермо! Вы ведь умеете писать, так нет ли у вас часом хорошего, заточенного карандаша?

— Карандаша у меня нет, ребята, — ответил Гуарнотта. — Да и писать-то бесполезно, честное слово. Ну, я напишу, если будет чем, но кому? Жене и внукам? Они же ее внуки, а не мои, понимаете? И никто из них на письмо отвечать не станет, можете не сомневаться; они сделают вид, будто никакого письма и никакого вымогательства не было — и дело с концом. Чтобы получить с них день-

ги, вам не к чему было нападать на меня, наоборот — вы могли пойти к ним и сказать: за столько-то — ну, допустим, за тысячу унций — мы вашего старика прикончим. И то бы вам не заплатили: смерти моей они, конечно, хотят, но только я уже старый, вот они и ждут ее не сегодня-завтра, господь бог пошлет им ее бесплатно, зачем деньги тратить? Так неужели вы всерьез надеетесь получить с них хотя бы медный грош за то, что оставите меня в живых? Тут вы сплеховали. Жизнь моя может быть дорога только мне самому. Но и мне она не дорога, клянусь вам; однако мне, конечно, не хотелось бы умереть вот так, лютой смертью; и только потому, что я такой смерти не хочу, я обещаю вам и клянусь бессмертной душой моего сына, что дня через три-четыре, как только смогу, я сам принесу вам деньги туда, куда укажете.

— Но сначала донесете на нас.

— Клянусь, не донесу! Словом ни с кем не обмолвлюсь! Дело-то идет о моей жизни!

— Это сейчас. А как выйдете на свободу? Домой не заходя, пойдете доносить.

— Нет, клянусь вам. Чего ж вам мне не верить? Ведь я каждый день хожу на поля. А там моя жизнь в ваших руках. И я всегда был с вами как отец. Вы же меня уважали, а теперь, бог ты мой... Ну неужели вы думаете, что я рискну завести кровных врагов? Поверьте мне, отпустите меня домой и будьте уверены, деньги вы получите...

Они ему не ответили. Снова посмотрели друг на друга и на четвереньках поползли наружу.

В течение всего дня он их больше не видел. Сначала слышно было, как они о чем-то говорят недалеко от пещеры, потом все стихло.

Он ждал, перебирая в мыслях все возможные предположения по поводу того, что же они решили. Одно он считал несомненным: он попал в руки глупцов, новичков, совершивших, наверно — лучше сказать, наверняка а, — свое первое преступление.

Они сунулись в это дело как слепые, не подумав об отношении к нему членов семьи, они видели перед собой только деньги. Теперь, когда поняли, что совершили ошибку, они уже не знают, вернее, еще не додумались, как ее исправить. Его клятве, что он на них не донесет,

никто из троих не поверил, а уж Сухорукий, которого он узнал, и по-прежнему. Что же теперь будет?

Теперь ему можно было лишь надеяться, что никого из похитителей не охватит раскаяние в бессмысленном и безрезультатном поступке, ибо за раскаянием придет и желание уничтожить последствия этого опрометчивого шага и вернуться на стезю добродетели; для него, Гуарнотты, лучше, чтобы произошло обратное: пусть все трое предпочтут ступить на путь преступления, жить вне закона, потому что тогда им будет незачем уничтожать следы первого преступления, беря на душу лишний грех. Ведь если эти три обормота признают свою ошибку, но решат остаться в бандитах, они вполне могут его пощадить и отпустить домой, не боясь доноса; если же они раскаются и пожелают вернуться на стезю добродетели, тогда им обязательно надо его убить, ибо они не сомневаются, что он донесет на них.

Получалось, что бог должен помочь ему, внушив похитителям, как невыгодно для них оставаться порядочными людьми. Убедить их в этом не так трудно: они уже проявили добрую волю к тому, чтобы стать на путь зла, — захватили Гуарнотту в плен. Но следовало опасаться, как бы их разочарование не оказалось слишком глубоким и не привело их к раскаянию, к желанию сойти с пути, где они оступились при первом шаге. Чтобы повернуть вспять, чтобы замести следы неудачного начала, им, по логике вещей, надо было свершить злодеяние, это верно; но если они его не свершат, разве не будут они вынуждены, следуя той же логике, пуститься во все тяжкие, искать других злодеяний? Тогда уж лучше обойтись одним, первым и последним, которое останется в тайне и не повлечет наказания, а не разбойничать в открытую, рискуя головой. Если они совершат одно-единственное преступление, у них еще останется надежда на спасение: грех останется на душе, а перед людьми они будут чисты; если же преступления не совершать, они погибнут безвозвратно.

Результатом этих мучительных раздумий явилась уверенность в том, что не сегодня-завтра, а может, и этой самой ночью, во время сна, его прикончат.

День прошел, и в пещере стало совсем темно.

Тут Гуарнотта подумал, что усталость и безмолвие могут оказаться сильнее его страха перед сном, и его

охватил озноб, в нем пробудился животный инстинкт самосохранения и, несмотря на то, что его руки и ноги были связаны, он пополз к выходу, упираясь в землю локтями и извиваясь как червяк; ему нелегко было заставить себя, вопреки обуявшему его животному страху, двигаться по возможности бесшумно. Да к чему все это? Чего он достигнет, высунув, подобно ящерице, голову из норы? Да ничего! Увидит хотя бы небо и ее увидит, свою смерть, встретит ее лицом к лицу, не станет дожидаться, пока его предательски умертвят во время сна. Только и всего.

Ага, вот... Тихо! Луна, что ли? Да, молодая луна и звезды, звезды... Какой вечер! Где же это я? На горе... Тут и воздух другой, и тишина! Это, видно, гора Кальтафарачи или Сан-Бенедетто... А там, значит, равнина Консолида или Клеричи? Так и есть, а вон там, к западу, гора Карапецца. Но тогда огоньки, что мерцают вдали, будто искорки в опаловом море лунного света... Ну конечно, это Джирдженти! Так, значит... Бог ты мой, до деревни рукой подать! А ведь шли, шли, и дороге конца не было...

Старик посмотрел по сторонам: его почти испугала мысль о том, что вдруг все ушли и оставили его одного. На светлом фоне сочащегося лунным светом неба четко вырисовывался темный силуэт одного из троих: страж застыл, сидя на корточках над глинистым обрывом, как огромный сын. Спит, что ли?

Гуарнотта попытался высунуться немного подальше наружу, но замер, услышав голос своего караульщика, который, не меняя позы, произнес:

— Я за вами смотрю, дон Виче! Полезайте обратно, не то буду стрелять.

Старик затаил дыхание, словно надеясь, что тот сказал это наугад и усомнится в правильности своего подзрения, но снова услышал:

— Я за вами смотрю.

Тогда он сказал:

— Дайте мне немного подышать воздухом. Там и задохнуться недолго. Я хочу пить.

Тот повернулся к пленнику и угрожающим тоном предупредил:

— Если хотите тут побыть, так придержите язык. Я сам пить хочу и не ел с утра. Помалкивайте, не то затолкаю обратно.

И снова тишина. И лунный свет над покоем горных

долин... Здесь хоть воздух чистый, легко дышится...
А там, вдали, теплые огоньки родной деревни...

Но куда ушли остальные двое? Может, поручили этому третьему прикончить пленника ночью? А почему не сразу? Чего он ждет? Пока придут товарищи?

Гуарнотту подмывало заговорить, но он сдержался. Если они так и порешили, то к чему...

Он снова глянул на своего стража — тот застыл в прежней позе. Кто же это? По голосу напоминает одного человека из Гротте, большого поселка на серных копях. Неужели это действительно он, Филлико? Парень что надо, самостоятельный, жадный до работы, не болтун... Плохо дело, если это он! Если уж такой молчун и упрямец сошел со стези добродетели — дело плохо.

Гуарнотта не стерпел и каким-то чужим голосом, совсем бесстрастным, ровным, исходившим будто бы не из его уст, произнес:

— Филлико...

Тот не шелохнулся.

Гуарнотта подождал минуту, затем повторил тем же бесстрастным тоном, устремив взор на свой палец, чертивший узоры на песке:

— Филлико...

И тут по спине его пробежал холодок: он подумал, что, упрямо повторяя это имя, как будто даже невольно, он в конце концов схлопочет себе пулю.

Но его страж и на этот раз не шелохнулся. Тогда Гуарнотта, устало вздохнув, выдохнул из себя всю смертную муку своего отчаяния и уронил на песок голову, будто она налилась свинцом, и он уже не в силах был ее держать. Так, уткнувшись лицом в песок, который забивался ему в рот, словно павшей скотине, он говорил, говорил безостановочно, как в бреду, говорил вопреки запрету, рискуя получить пулю. Он говорил о том, как хороша молодая луна, которая вот-вот спрячется за гору; говорил о звездах, которые господь-творец поместил так далеко, чтобы ни одна тварь животная не догадалась, что каждая звездочка — огромный мир, намного больше Земли; говорил и о Земле: только звери не знают, что она крутится, как волчок, — и добавил еще, вроде себе в утешение, что вот сейчас где-то люди ходят вверх ногами и не падают на небо, а почему не падают, это обязан знать или хотя бы стараться узнать любой живой человек, если он не из совсем сырой глины, на которую еще не дохнул господь бог.

В середине этой лихорадочной речи Гуарнотта вдруг сообразил, что говорит об астрономии будто какой-нибудь профессор, что караульщик подошел к нему поближе и сел рядом, у входа в пещеру, что это был-таки Филлико из Гротте, и оказалось, что Филлико давно хотел узнать о таких вещах, хотя не очень-то верил в то, что они на самом деле существуют — зодиак... Млечный Путь... туманности...

Ну да. Все это верно. Но вот почему, когда человеку уж неважно, когда нет сил даже на отчаяние, он способен на всякие нелепые поступки? Почему он может под дулом ружья как ни в чем не бывало выковыривать грязь из-под ногтей былинкой, заботливо и внимательно следя, как бы эта былинка не сломалась и не погнулась, или же сунуть палец в рот и ощупывать последние зубы — три резца... один клык — и в это же время самым серьезным образом размышлять о том, трое или четверо детей у соседа-бочара, овдовевшего две недели тому назад.

— Давай говорить серьезно. Скажи, ты думаешь, я травинка, черт побери? Вот вроде этой, которую сломать — плевое дело? Да ты потрогай меня! Из плоти и крови я, святая мадонна! Бог мне, как и тебе, дал душу, понимаешь, душу! А вы что же, хотите зарезать меня сонного? Да нет... ну, постой... куда ты? Вот оно как: пока я тебе про звезды говорил... Послушай, режь меня тут в открытую, а не во время сна, как предатель... Что? Не хочешь отвечать? А чего ты ждешь? Чего вы ждете, скажи на милость? Денег вам не получить, держать меня здесь вы не сможете, отпустить не хотите... Хотите убить? Так убейте, разрази вас гром, и делу конец!

С кем Гуарнотта говорил? Филлико уже снова сидел над обрывом, нахохлившись, как сыч, и тем самым давал понять, что об этих вещах он ничего и слышать не хочет — что проку?

Гуарнотта подумал, что и сам он хорош: зачем лезть на рожон? Разве не лучше, чтоб они его прикончили во сне, раз уж так решили? Если он еще не уснет, когда они вползут на четвереньках в пещеру, ему надо закрыть глаза и притвориться спящим. Да что там, при чем тут глаза?! В темноте смотри, сколько хочешь. Лишь бы ты не двигался, когда будут на ощупь искать у тебя глотку, как у барана.

Старик сказал: — Доброй ночи.

И пополз обратно в пещеру.

Однако они его не убили.

Поняв свою ошибку, похитители не захотели ни отпустить его, ни убить. Они решили оставить его в пещере.

Это как же? На веки вечные?

Как будет угодно богу. На Него они уповают: Он сам назначит им срок наказания за ошибку, которую они совершили, похитив Гуарнотту.

Но чего же они, собственно говоря, хотят? Чтобы он умер своей смертью тут, на горе? Так, что ли?

Именно так.

— Тогда при чем же тут бог? Не бог меня убьет, скоты вы эдакие, а вы сами — я умру от голода, жажды и холода, умру, оттого что валяюсь в этой пещере священный, как баран, сплю на земле и тут же справляю нужду, как свинья!

Да что толку было в его речах — все трое препоручили себя господу богу, и теперь старик взывал к камням.

К тому же неправдой было, что он умирает от голода и спит на земле. Они притащили три снопа соломы и сделали ему ложе, и еще принесли чье-то старое пальто, чтоб ему было чем укрыться от холода. Ну и, конечно, хлеб и еще какую-нибудь еду каждый день. Отрывали от себя, от своих жен и детей, но его кормили. И это был хлеб, действительно добытый в поте лица, потому что каждый день кто-то из них сторожил пленника, так что двое работали за троих. В глиняном кувшине всегда была питьевая вода, а добывать воду в горах — дело не легкое. Нужду справлять можно снаружи, когда стемнеет.

— Это как же? У тебя на глазах?

— Я на вас не смотрю.

Перед лицом такого глупого твердокаменного упрямства Гуарнотте хотелось затопать ногами и зареветь, как младенцу. Да что они — истуканы? Да?

— Признаете вы или нет, что свалили дурака?

Они признавали.

— Признаете, что вам за это и расплачиваться?

Да, они будут расплачиваться тем, что не убьют его, подождут, пока он не умрет своей смертью, по воле божьей, а меж тем постараются, как могут, облегчить его страдания.

— Вот спасибо-то! Но это же из-за вас, чурбаны вы неотесанные, это все из-за того зла, что вы сотворили, вы сами это признаете! А я? Я-то при чем? Что дурное я сделал? Я или не я — жертва вашей глупости? Так что

же вы заставляете и меня расплачиваться за зло, содеянное вами? Вы согрешили, а я — страдай? Хорошо же вы рассуждаете!

Нет, они не рассуждали. Слушали его безучастно, устремив на него ничего не выражающий взгляд, их каменные лица оставались неподвижны. Тут вам и солома... и пальто... и кувшин с водой... и хлеб, добытый в поте лица... а до ветру выходите наружу.

Разве они не несли тягот, разве один из них не оставался здесь, чтобы караулить его и составлять ему компанию? И они просили его рассказывать о звездах и о всяких вещах из жизни города и деревни, о добрых старых временах, когда в людях больше было настоящей веры, и о разных болезнях растений, о которых прежде, когда веры было больше, никто и не слышал. Они даже разыскали бог знает где и принесли ему старый выпуск «Барбанеры», чтобы он мог коротать время за чтением, раз уж он такой счастливчик — знает грамоту.

— Ну, что там? О чем рассказывает эта книжица, где нарисовано столько всякой всячины: целая куча лун, весы, рыбы, скорпион?

Они слушали его жадно, открыв рот, и время от времени выражали свое восхищение изумленными возгласами. Ему по душе был их ребячий восторг... как нечто живое, порожденное им самим, порожденное всем, что он в своих рассказах открывал заново и для себя, как нечто, порожденное его душой, которая пробудилась от многолетней спячки под гнетом его прежнего жалкого бытия.

И он понял, что втягивается в эту жизнь, к которой был вынужден приспособиться, когда утихла его ярость пред лицом необоримой силы, и теперь он уже не считал эту жизнь временной, хотя она и оставалась для него неопределенной, странной и как будто взвешенной в пустоте.

Для всех, кто был там, на дальнем поле, выходящем к морю, и в селении, огни которого он видел вечерами, — для всех он давно уже умер. Наверно, никто не взял на себя труд пуститься на его розыски, когда он так загадочно исчез; если и искали, то без особого старания, ибо никто не жаждал его найти.

Сердце его усохло и отвердело, как глина на склоне горы; что ему было делать теперь в той, прежней жизни?

Стоило ли оплакивать все то, чего он здесь был лишен, если возместить эту утрату можно было лишь ценой возвращения к горькой тоске прежней жизни? Разве прежде не влачился он по той тошнотворной жизни с тяжким гнетом на плечах? Здесь по крайней мере он распростерт на земле и влачиться уже не надо.

Здесь, в тиши горных высей, дни его текли как бы независимо от общего потока времени, без всякой цели, без всякого смысла. Он ощущал себя висящим в пустоте, и даже внутренняя жизнь замерла в нем: его спина и глиняная стена у входа, на которую он откидывался, были вещами, действительно существовавшими для него, а вот его рука, если он задерживал на ней взгляд, представлялась ему существовавшей как бы сама по себе, вне его, подобно вот этому камню или вон тому кусту.

Кроме того, стал он замечать, что уже не считает случившееся с ним таким большим несчастьем, как ему казалось поначалу из-за возмущения несправедливостью; он стал признавать, что, оставив его в живых, те трое наложили на себя действительно тяжелое, суровое наказание.

Для всех он был мертв и только для этих троих оставался живым, для них он по-прежнему влачил груз его прежней бесполезной жизни, от которого он в душе ощущал себя освобожденным. Им ничего не стоило уничтожить этот груз, который потерял уже всякую ценность и никому не был нужен; но они этого не сделали, нет, они оставили пленника в пещере, поддерживали, смирившись с епитимьей, наложенной ими на себя, и не только не роптали, но и делали, по сути дела, все, чтобы усугубить свое наказание заботами о нем. А как вы думаете, почему? Да потому, что они к нему привязались, все трое, ведь он принадлежал им, только им и больше никому, и тяготы, связанные с его содержанием, непонятно почему приносили им удовлетворение, отсутствие которого они сразу ощутили бы, хотя потребность в таком удовлетворении и не осознавали.

Однажды Филлико привел к пещере свою жену, державшую на руках грудного младенца, и дочь, которая цеплялась за юбку матери. Девочка вручила «дедушке» аппетитный крендель.

Оторопело смотрели на Гуарнотту мать и дочь. Уже прошел, как видно, не один месяц после похищения,

и бог знает, на кого он стал похож: грязный, обрванный, обросший клочковатой бородой... Но он улыбался, желая оказать им радушный прием, потому что был им благодарен за посещение и за чудесный крендель. Может быть, как раз улыбка на лице призрака вызвала оторопь у доброй женщины и девочки.

— Ну что ты, малышка, поди сюда... подожди... Держи, на, съешь и ты кусочек, ешь... Это мама испекла?

— Мама...

— Молодец! А братишки у тебя есть? Трое? О, бедняга Филлико, четверо детей... Ты как-нибудь приведи мальчишек, хочу с ними познакомиться. Ладно, пусть на будущей неделе. Но, даст бог, до будущей-то недели и не дотянем...

Дотянули. И не только до следующей недели. Долгим, ох каким долгим сделал господь их наказание: растянул его еще на два месяца!

Умер Гуарнотта в воскресенье, погожим вечером, когда на горе было еще совсем светло. В тот день Филлико и Сухорукий привели своих сыновей навестить дедушку. В кругу детей он и умер, до последней минуты шутил с ними, спрятав седые космы под красным платком, будто снова стал мальчишкой.

Трое мужчин подошли и подняли его, когда среди смеха и общего веселья он вдруг рухнул на землю.

Неужели умер?

Мальчики боязливо отступили. Их отправили вместе с женщинами по домам. А трое мужчин преклонили колени и стали оплакивать усопшего, молиться за него, а кстати и за себя. Потом похоронили его в пещере.

До конца своих дней каждый из них, когда при нем вспоминали Гуарнотту и его загадочное исчезновение, говорил:

— Это был святой! Он наверняка отправился прямо-хонько в рай, тут и говорить нечего!

Конечно, ведь они знали, что сами устроили ему чистилище там, на горе.

1918 (1928)

ГЕОГРАФИЯ — ВОТ ЛЕКАРСТВО

Компас, штурвал... Ах да! Если хочешь выйти в море... Но вы еще должны доказать мне, что все это необходимо, иначе говоря, доказать, так ли уж важно принять решение, каким путем плыть, тем или другим, войти в этот порт, а не в тот...

— Как! — скажете вы. — А работа? Без правил, без ведущего критерия? А семья? Воспитание детей? Хорошая репутация в обществе? Повиновение государственным законам? Выполнение возложенных на нас обязанностей?

Но эта лазурь, ее впиваешь сегодня, как напиток... О господи! Да разве я не работаю как положено? Семья... Смею вас уверить, жена меня ненавидит. Как полагается, не больше и не меньше, чем ваши жены — вас. А детишек, думаете, я не воспитываю как полагается, в точности так, как вы своих? И уж поверьте, результат этого воспитания вряд ли отличается от вашего, при всем вашем благоразумии. Я повинуюсь всем государственным законам и тщательно выполняю возложенные на меня обязанности.

Только, видите ли, я подхожу — как бы сказать? — ко всем этим занятиям с известной духовной гибкостью, и пользуюсь притом всеми позитивными, научными сведениями, усвоенными в детстве и юности, сведениями, которые вы усвоили точно так же, как и я, но не умеете или нарочито отказываетесь ими пользоваться.

А это, поверьте, изрядно вредит вашему здоровью.

Разумеется, не так-то легко в нужный момент применять эти сведения, идущие нередко вразрез с обманывающими нас чувствами. Тот факт, что земля вращается, может служить пьяному вполне уместным и изящным оправданием. А на самом-то деле мы с вами вовсе не чувствуем, чтобы она двигалась, разве только учинит где-нибудь скромное землетрясение... А горы, например, учитывая наш с вами рост, кажутся такими высокими, что, понятно, нелегко представить их себе в виде незначительных складок земной коры. Но скажите, бога ради, спрашиваю и повторяю я постоянно, зачем же тогда нас учили в детстве всякой всячине? Почаще бы мы вспоминали, чему учит астрономия — какое ничтожное, неизмеримо малое место занимает наша планета во вселенной...

Я знаю: есть такие философы-меланхолики, признающие, что земля действительно мала, но зато как велик

дух наш, если он способен познать беспредельное величие вселенной.

Ладно. Кто это сказал? Блез Паскаль.

Из этого, очевидно, вытекает, что человек велик — если уж зашла речь о его величии — только в том случае, когда сознает свое ничтожество перед беспредельным величием вселенной, иначе говоря, он велик только тогда, когда чувствует, до чего он мал и особенно мал, когда воображает себя великим.

А теперь я опять спрошу вас, какую отраду, какое утешение приносит нам это обманчивое величие, если в итоге мы с глубоким отчаянием приходим к выводу, что нам всегда будут казаться великими наши ничтожные дела здесь, на земле, а все истинно великое — ничтожно малым, как звезды в небе. И тогда не лучше ли будет, если вы, случись какое-то горе с вами или общее бедствие, углубитесь мыслью в себя и подумаете, синьоры, что оттуда, то есть со звезд, земли-то не видать, она как бы не существует, а следовательно, в конце концов, всего, что случилось, будто и вовсе не было.

Вы скажете:

— Отлично. А что, если здесь, на земле, у меня, к примеру, умрет сын?

— Э, знаю. Это дело тяжелое. И станет еще тяжелее, можете мне поверить, когда со временем горе утратит свою остроту и ваши глаза, не желавшие ничего видеть, внезапно заметят, скажем, робкую прелесть этих голубых и белых цветочков, что распускаются в поле под первыми лучами мартовского солнца; и едва вас коснется, вопреки вашей воле, сладость жизни, пьянящее тепло новой весны, вас охватит еще более мучительная скорбь при мысли о том, кому уже не суждено этим насладиться.

Итак? Скажите, ради бога, что же может вас утешить после смерти сына? Лучший ответ — ничто. Да, да, ничто, поверьте мне. Наше земное ничто, одинаково пригодное и для горестей и для радостей жизни, радости она ведь тоже нет-нет да и подарит нам. В общем, полнейшее ничто всего земного, приходящее нам на ум, когда мы видим в небе Сириус или Альфу Центавра.

— Не так-то это легко.

Премного благодарен. Да разве я сказал, что это легко? Таковую науку, как астрономия, чрезвычайно трудно не только изучить, но еще вдобавок применять к разным житейским событиям.

Впрочем, должен вам сказать, вы непоследовательны. Вам хочется держаться того мнения, что планета наша все-таки заслуживает известного уважения и не так уж мала по сравнению с волнующими нас страстями и дарит нам в изобилии прекрасные пейзажи и разнообразие обычаев и климатических условий; а потом вдруг забираетесь в свою раковину и знать не хотите о жизни, бегущей мимо вас, пока вы тут сидите, погружившись в горестное раздумье или томительную печаль.

Знаю: сейчас вы ответите, что человек не может унести куда-то мыслями и отвлечь воображение картинами иной жизни, иных стран, если его гнетут реальные заботы или страсть помрачает рассудок. А я вовсе и не советую вам уноситься куда-то воображением или представлять себе иную жизнь, отличную от той, что приносит вам столько хлопот. Этим вы сами как раз постоянно занимаетесь, когда вздыхаете: «Ах, если бы все было не так! Ах, если бы у меня было то-то или то-то! Ах, если бы я мог вдруг оказаться там, а не тут!» И все это напрасные вздохи. Ведь если ваша жизнь и впрямь станет другой, кто знает, какие чувства, какие желания возникнут у вас тогда и чем они будут отличаться от теперешних, возникших только потому, что вы живете так, а не иначе. Ведь если сказать правду, то люди, наделенные всеми качествами, которые желанны вам, обладающие всем, что хотите иметь вы, и живущие там, где хотели бы жить вы, вызывают у вас досаду, потому что они, по вашему мнению, не ценят этого так, как ценили бы вы. Скажу вам прямо, не обижайтесь, эта досада свидетельствует о вашей глупости. Вы завидуете той жизни, потому что она не ваша, но, будь она вашей, вы были бы уже не вы, а кто-то другой, и вас опять обуревали бы желания стать совсем иными, не такими, как сейчас. Нет, нет, друзья мои. У меня есть другое лекарство. С ним тоже не так-то легко иметь дело, хотя оно вполне доступно. Настолько доступно, что я сумел испытать его на себе.

Догадался я об этом однажды ночью, в одну из самых грустных ночей, которые я проводил у постели моей бедной матери, давно уже неподвижной, как труп, но все еще живой и мучительно умиравшей в течение бесконечно долгих месяцев.

Для моей жены она была свекровью; для моих детей умирала та, кому я приходился сыном. Я говорю так, потому что, когда придет мой черед умирать, возле меня, надеюсь, посидит кто-нибудь из них. Вы поняли? На этот раз умирала моя мать; значит, сидеть возле нее должен был я, а не они.

— Как же так? — скажете вы. — Бабушка!

Правильно. Бабуся. Дорогая бабуся... Но ведь я тоже, смею сказать, заслуживаю хоть чуточку внимания, чтобы не проводить одному всю ночь без сна, да еще в такой холод, когда я и без того падаю от усталости после целого дня утомительной работы. Но вы ведь знаете, как оно бывает? То время, когда она была бабусей, милой бабусей, безвозвратно кануло в прошлое. Любимая игрушка внуков, бабуся, внезапно сломалась, когда предстала перед ними после операции катаракты и на них глянули разные глаза, один огромный и словно пустой под выпуклым стеклом очков, а другой совсем маленький. Показывать кому-либо такую бабушку было не так уж приятно. Потом, мало-помалу, она стала глухой, как пень, бедная бабуся; в свои восемьдесят лет она уже ничего не понимала; эта бесформенная туша с трудом передвигалась, пыхтя и еле держась на ногах. За ней требовался уход, а для этого нужна была такая горячая любовь, как моя, способная преодолеть и горе, и отращение.

Я глядел на нее и думал, как несправедлива страшная кара, постигшая мою бедную мать, уж я-то лучше, чем кто-либо, знал, что она ее не заслужила; она лишилась всего, чем обладала, даже памяти; осталась плоть, распадающаяся плоть и ее страдания, бесконечные страдания, кто знает, зачем...

Но сон, синьоры... Никакая любовь не выдержит, если суровые обстоятельства помешают удовлетворить самую насущную потребность. Попробуйте-ка не спать подряд ночь за ночью, после того как работаешь весь день. Я прыгал от злости, как медведь, представляя себе, до чего же сладко спят в теплых постелях мои дети, болтавшиеся днем без всякого дела, в то время как я весь дрожу и замираю от холода в комнате, отвратительно пропахшей лекарствами; я вот-вот готов был поддаться искушению побежать и сдернуть одеяла с них и с моей жены и посмотреть, как они вскочат полусонные и будут в этом холоде дрожать в одних рубашонках. Но потом, вообразив, как они дрожат и ясно понимая, что хочу по-

меняться с ними местами, чтоб они дрожали здесь вместо меня, я возмущался уже не ими, а жестокостью судьбы, по чьей вине здесь все еще лежит и хрипит тело моей матери, только тело, бесчувственное ко всему, вдобавок изменившееся до неузнаваемости; и я думал, да, да, я думал — боже мой, когда же она наконец перестанет хрипеть, пора уже, пора!

И вот однажды, когда этот хрип прервался и в комнате настала страшная тишина, я, случайно повернув голову, увидел свое отражение в зеркале платяного шкафа, увидел, как нагнулся я над постелью матери, будто высматривая, умерла она в самом деле или нет.

Лицо, мелькнувшее передо мной в зеркале, испугало меня. Оно еще сохранило, словно для того чтобы я разглядел его и запомнил, то самое выражение радостного ужаса, появившееся, когда я исподтишка подсматривал, не пришло ли наконец избавление.

Хрип раздался снова, и в этот миг я стал так противен самому себе, что спрятал в руках лицо, будто совершил преступление. А потом заплакал, как ребенок, как тот ребенок, каким я был когда-то для святой моей мамы; я ведь и сейчас, да, да, и сейчас еще ждал, что она меня пожалеет за то, что мне холодно, за то, что я устал, пожалеет, хотя я ждал ее смерти, бедной, святой моей мамы, столько ночей проводившей без сна, когда я был маленьким и больным. Ах! Задыхаясь от тоски и тревоги, я расхаживал по комнате.

Но больше я уже ни на что смотреть не мог, потому что все в этой комнате казалось мне теперь живым и лишь на мгновение застывшим в неподвижности: там поблескивал угол платяного шкафа, здесь — медный шарик на спинке кровати, который я только что трогал. В отчаянии я упал на стул перед письменным столиком моей младшей дочки, которая по-прежнему готовила уроки в бабушкиной комнате. Не знаю, долго ли я просидел так. Видимо, я провел много времени в забытьи, не чувствуя больше ни усталости, ни холода, ни отчаяния, потому что было уже совсем светло, когда я открыл глаза, и первое, что увидел, был учебник географии моей дочки, открытый на семьдесят пятой странице, с исчерканными полями и великолепной ярко-синей чернильной кляксой на букве «м» в слове «Ямайка».

Все это время я пробыл на острове Ямайка, где тянется хребет Синих Гор, где побережье с северной сто-

роны мало-помалу становится все выше, пока не сливается наконец с пологими склонами прелестных холмов, отделенных друг от друга широкими солнечными долинами, и по каждой долине струится свой ручей, и с каждого холма сбегает свой водопад. Под прозрачными морскими водами виделись мне стены домов Порто-Реале, города, снесенного в море страшным землетрясением; я видел обширные плантации сахарного тростника и кофе, засеянные зерном индийских и гвинейских сортов, и горы, поросшие лесом; от больших конюшен несло теплым, жирным запахом навоза, я чувствовал и вдыхал его с неизъяснимым наслаждением; да, именно чувствовал и вдыхал, именно видел все это: солнце, сияющее над бескрайними полями, мужчин, женщин и детей, живущих там; я видел, как они несут в корзинах собранный ими урожай кофе и как выкладывают зерна для просушки на залитые солнцем поляны: я видел, чувствовал, осязал все это с такой четкостью, будто сам находился в тех далеких краях; это была живая действительность, такая же настоящая, как и та, противоположная ей, что окружала меня здесь, в комнате моей умирающей матери.

Вот это и ничто иное! Увериться в реальности иной жизни, далекой и непохожей на нашу, и противопоставлять ее всякий раз той реальности, что угнетает вас; но делать это именно так, вне каких-либо связей, или контрастов, или намерений, просто принимать это как явление, которое существует, потому что существует, хотите вы этого или нет. Это и есть лекарство, рекомендуемое мною, друзья мои, лекарство, неожиданно обретенное мной в ту ночь.

А чтобы не слишком разбрасываться, чтобы держать в узде воображение, не давая ему чрезмерной нагрузки, поступайте, как я: жене моей и каждому из четырех детей я уделил по стране, и как только они меня чем-то раздражают или огорчают, я тотчас же переношусь мыслями в ту страну.

Моя жена, например, это Лапландия. Вот ей вздумалось потребовать от меня чего-то невозможного — стоит ей начать, я уже нахожусь, друзья мои, в Ботническом заливе и говорю ей с самым серьезным видом, как ни в чем не бывало:

— Умео, Лулео, Питео, Шеллефтео.

— Что ты говоришь?

— Ничего, дорогая. Это реки Лапландии.

— А при чем тут реки Лапландии?

— Ни при чем, дорогая. Нет, право, ни при чем. Но они существуют, и ни ты, ни я не можем отрицать того, что в эту самую минуту они впадают вон туда, в Ботнический залив. И видела бы ты, дорогая, видела бы ты, какие там унылые ивы и унылые березы... Да, согласен, ивы и березы здесь тоже ни при чем, но ведь они тоже существуют, дорогая, стоят, бесконечно унылые, на равнинах, вокруг замерзших озер. Лап или Лоп — знаешь, это ведь бранное слово. Жители Лапландии называют себя саами. Такие грязные карлики, дорогая моя! Тебе следует знать — да, понимаю, все это, конечно, ни при чем, — но тебе все же следует знать, что если я, к примеру, так дорожу тобой, они, напротив, не придают никакого значения супружеской верности и предлагают жену и дочерей первому встречному иностранцу. Что касается меня, можешь быть спокойна: меня это не соблазняет и я вовсе не собираюсь воспользоваться таким предложением.

— Что за чушь ты несешь? С ума сошел? Я требую, чтобы ты...

— Да, дорогая. Ты требуешь, не отрицаю. Но что за унылая страна эта Лапландия.

1920 (1922)

УНИЧТОЖИТЬ ЧЕЛОВЕКА

Я бы только одно хотел знать, неужели господин судья¹ и впрямь искренне думает, что ему удалось отыскать мотив, единственный, который только и может хоть как-то объяснить это, как он его называет, *преднамеренное убийство* (причем даже не одного, а как бы сразу двух людей, поскольку жертва находилась на последнем месяце благополучно протекавшей беременности, от которой должна была вот-вот разрешиться).

Известно, что Никола Петикс отгородился непробиваемой стеной молчания сначала от комиссара полиции — после того как был арестован, — затем от него, я имею в виду господина судью, который неоднократно

¹ Мы говорим о деле Петикса. — *Примеч. авт.*

и всеми возможными способами тщетно пытался вырвать у него хоть какое-нибудь признание, и, наконец, даже от молодого, только начинающего практику адвоката, который был назначен ему в официальном порядке ввиду того, что вплоть до последней минуты он так и не позаботился поручить свою защиту собственному, пользующемуся его доверием адвокату.

Такое упорное молчание, по-моему, следовало бы все-таки хоть как-то объяснить.

Говорят, что, находясь в тюрьме, Петикс ведет себя с полным безразличием — так кот, сожрав мышью или цыпленка, блаженно сворачивается клубочком под лучами солнца.

Ну, естественно, слух этот, наталкивающий на мысль, что Петикс совершил преступление с бессознательностью животного, оставлен судьей без внимания, коль скоро он счел целесообразным выдвинуть и всячески в дальнейшем поддерживать версию о преднамеренном характере убийства. Животные ничего не делают преднамеренно. Выходя за добычей, они устраивают засаду, которая является инстинктивной и вполне естественной частью наинатурнейшего для них дела — охоты; от этого они не становятся ни ворами, ни убийцами. Лисица — воровка лишь в глазах владельца курицы; сама по себе она ничуть не воровка — ей хочется есть, а коль ей хочется есть, она ловит курицу и съедает ее. Насытилась, и — прости-прощай — больше она об этом не думает.

Да, но ведь Петикс не животное. Тут первым делом следует выяснить, так ли искренне его безразличие. Ибо, если оно искренне, то и его следует принять во внимание, равно как и его настойчивое нежелание говорить, ибо, лично на мой взгляд, молчание и есть самое что ни на есть естественное следствие его безразличия. А что это именно так, что и то и другое верно, подтверждается и его откровенным нежеланием прибегнуть к услугам адвоката.

Но не буду до поры предвирать суждений, и свое собственное мнение оставлю пока что при себе.

Я просто продолжу разговор с господином судьей; нам есть еще о чем потолковать.

Если господин судья считает, что Петикс должен быть наказан по всей строгости закона, ибо для него он не просто озверевший кретин, которого впору сравнить

разве только с животным, и не буйно помешанный, который ни за что ни про что убивает женщину за считанные недели до родов, — если он так считает, то каким же должен был быть мотив преступления, мотив этого *преднамеренного убийства*?

Тайная страсть к этой женщине? Не-ет! Чтобы это стало ясно, достаточно было молодому, только начинающему свою адвокатскую карьеру защитнику вынуть и всего на минуточку поднести к глазам господ присяжных портрет несчастной погубленной женщины. Синьоре Поррелле было сорок семь лет, и все, что угодно, но только за женщину ее принять уже было невозможно.

Помню, я как-то видел ее незадолго до убийства, в самом конце октября, под руку с ее пятидесятилетним мужем, синьором Порреллой, маленьким, чуть меньше, чем она, и тоже — с животиком, собственным, его, синьора Порреллы, животиком, небольшим, но весьма и весьма завидным; они шли по бульвару на улице Номентана, окрашенному лучами закатного солнца, шли прогуливаясь, невзирая на обжигающие порывы ветра, который поднимался, налетал и, поднимая ворохи опавших листьев, с шумом гнал их по бульвару.

Клянусь честью, было что-то прямо вызывающее в том зрелище, которое являли собой двое этих людей, выбравшихся на улицу в такой день, прогуливающих при таком ветре, среди этих облетевших листьев, которые воронками закручивались вокруг них, таких маленьких под могучими, стройными платанами, раскачивавшимися высоко в грозовом небе густым переплетением остроконечных голых веток, задиравшихся, сталкивавшихся друг с другом, обмениваясь короткими, сильными ударами.

Они шли, ступая нога в ногу, печатая шаг, смуро, словно отбывали повинность.

Им, верно, казалось, что не выйти на прогулку никак нельзя, особенно теперь, когда она должна была вот-вот родить. Врач назначил, приятельницы-соседки советовали.

Да, конечно, должно быть, и для них невелико было удовольствие гулять по такой погоде; даже наверняка, что так; да, но ведь им-то казалось, что все так и должно быть, что все это в высшей степени естественно: естественно и то, что этот ветер поднимается раз от разу и носится как шальной, разгоняя по сторонам пожухлые,

свернувшиеся в трубочку листья, так и не в силах вымести их окончательно, раз и навсегда; естественно и то, что и эти платаны стоят теперь голые, ведь в свое время, когда подошел им срок, они покрылись листвою, а теперь вот, когда положено, сбросили ее и стоят как мертвые до будущей весны; естественно, что и этот бродячий пес обречен всякий раз, едва приняв себя, останавливаться возле каждого платана и уже через силу, изнемогая, задирать ногу для того только, чтобы выдавить из себя всего несколько каких-то жалких капель, предварительно покрутившись в беспокойстве вокруг своей оси, выискивая нужный угол прицела, в надежде попасть в точку.

Клянусь вам, не у меня одного, у всех, кто проходил в тот день по Номентанскому бульвару, в голове не укладывалось, как мог такой плюгавенький мужичонка, ведя с собой такую жену и в таком, как она, положении, еще и бахвалиться этим, напускать на себя такой самодовольный вид; но еще более непонятным было то, как могла эта женщина позволить себе прогуливаться, да еще с таким упорством; это казалось тем большей жестокостью по отношению к ней, чем старательнее она делала вид, что безропотно переносит те нечеловеческие усилия, которых, должно быть, прогулка ей все-таки стоила. Ее шатало, она дышала тяжело, с трудом, а глаза словно остановились, словно остекленели от внезапного прилива боли, вызванной, однако, не этими нечеловеческими усилиями, а страхом, что ей не удастся доносить до конца тот омерзительный груз, под тяжестью которого отвисал ее живот. Правда, она прикрывала изредка глаза полукружиями синих век. Но не от стыда, а от злости прикрывала, от злости, что вынуждена читать свой стыд во взглядах тех, кто проходил мимо и смотрел на нее, и видел ее в этом состоянии, в ее-то возрасте, старая калоша, а ее все еще пользуют, хотя, казалось бы, пора бы когда-нибудь и меру знать. А ведь правда, что могла бы она, держа под руку мужа, ущипнуть его легонько, незаметно, как бы невзначай, чтобы согнать с него этот самодовольный вид, который он частенько и даже чересчур уж нарочито напускал на себя, что вот ведь, мол, каков я, хоть и ростом не выдался, и лысина, и пятьдесят уже стукнуло, а ведь тоже еще кое на что горазд, вон какой грех содеял. Но она этого не делала, напротив, ей даже это было на руку, что он взялся демонстрировать довольство, потому что она при

этом могла со спокойной совестью изображать неловкость.

Мне кажется, я как сейчас ее вижу: как, широко расставив короткие ноги, останавливается она при особенно сильном порыве ветра и как платье ее спереди надувается пузырьем, а сзади до неприличия облепляет ее ноги. Она не знала, за что раньше хвататься свободной рукой: то ли приклепнуть пузырь на платье, грозившем совсем задраться вверх и обнажить всю ее снизу, то ли придерживать за поля старую шляпку лилового бархата, на которой понуро обвисшие перья с порывом ветра вдруг обнаруживали отчаянное желание упорхнуть.

Но вернемся к делу.

Прошу вас, если у вас есть свободная минута, сходите и посмотрите на тот старый большой дом на Александрийской улице, в котором проживала супружеская чета Поррелла и где в двух комнатных этажом ниже ютился Никола Петикс.

Это один из тех многочисленных, одинаково безобразных на вид домов, на которых лежит общая печать пошлости того времени, когда эти дома строились, — строились поспешно, в расчете (впоследствии оказавшемся просчетом), что в Рим, вслед за провозглашением его в третий по счету раз столицей королевства, тотчас же хлынет и поглотит все что ни есть на свете нескончаемый бурный поток преданных слуг его величества.

Не одно состояние, причем не одних только новоявленных толстосумов, но и состояния, принадлежавшие древним, именитым семействам, а также ссуды, выданные кредитными банками всем тем горе-строителям, которые в течение ряда лет бесновались, обуянные прямо-таки каким-то фанатическим исступлением и, казалось, что это у них надолго, — все это с треском вылетело в трубу в результате неслыханного, баснословного краха, отголоски которого раздаются еще и поныне.

И вот тогда стало видно, как на месте патрицианских парков и великолепных вилл, а по другую сторону реки — на месте огородов и лугов выстроились дома: дома, дома, бесчисленные дома, целые массивы домов, — выстроились в какие-то нелепые, сумасбродные, едва намеченные улицы, и что — новенькие, с иголочки руины — вдруг остановились, дойдя до пятого этажа, чтобы гнить дальше без крыш, без рам в оконных проемах, с укрепленными наверху, в отверстиях, пробитых в недоштукатуренных стенах, остатками лесов, почерневших

и заплесневевших от дождя; а в других местах, где все уже было доведено до конца, целыми кварталами тянулись пустынные улицы, по которым не ступала нога человека; трава за месяцы затишья снова пробилась по краям тротуаров, из-под стен вдоль домов, а потом — такая тоненькая, нежная, зеленая, вздрагивающая от малейшего дуновения ветра, заглушила и всю проезжую, хорошо утрामбованную часть дорог.

Изрядное число таких домов, построенных со всевозможными удобствами в расчете на состоятельных жильцов, впоследствии, чтобы хоть что-то выкачать из них, распахнули свои двери перед нашествием простого люда. И, как вы с легкостью можете себе представить, за короткое время эти дома были доведены до такого состояния, что когда в Риме, в конечном счете, действительно стало туго с жильем — тем самым жильем, о котором беспокоились сперва не ко времени рано, а потом, не желая браться за строительство из страха обжечься на этом деле еще раз, не ко времени поздно, — теперешние владельцы домов, за бесценок скупившие их у банков, которые ранее выдали ссуды пошедшим затем по миру зачинщикам строительства, прикинули, во что обойдется ремонт и благоустройство, после чего можно будет сдавать их тем, кто охотно готов был платить подороже, и сочли, что выгоднее вообще ничего не делать, оставить все как есть: стертые ступеньки, исписанные ругательствами стены, висящие на одной петле ставни, разбитые окна, в которых на протянутых веревках победоносно развеивается грязное, штопаное-перештопаное тряпье, вывешенное на просушку.

И вот, значит, теперь в эти большие и до безумия жалкие дома, в это гнездилище простонародья, довершавшего славное дело по уничтожению стен, дверей и полов, потянулись и обедневшие семьи из благородных, и люди средней руки — чиновники, учителя, — то ли потому, что в других местах не удалось найти ничего получше, или потому, что на лучшее средств не хватало, а то и потому, что просто скупость не позволяла; как бы там ни было, они потянулись в эти дома в надежде найти здесь приют и, находя его, поселились; поселились, подавляя отвращение ко всей этой грязи вокруг, но еще больше к тому, с кем приходилось жить бок о бок, к тому, кто — господи! ну, конечно, есть наш ближний, бесспорно ближний, от которого, однако же, всякому, чуть кто привык к чистоте и порядочному обхождению, хочет-

ся держаться подальше. Впрочем, нельзя сказать, что это желание не было обоюдным; и впрямь, неспроста же на новоявленных соседей поначалу смотрели волком, а потом — потом, коль скоро им со временем захотелось, чтобы на них переменяли взгляд, смотрели не так злобно, и от соседей, от соседской привязчивости и от силы, которую мало-помалу принимала над ними эта привязчивость, не желавшая знать, насколько это согласуется с желанием противной стороны, — стало некуда деться, оставалось лишь свыкнуться и жить так, как было угодно соседству.

Так вот, точно в таком же доме, на Александрийской улице, к тому времени, когда было совершено убийство, супруги Поррелла проживали уже около пятнадцати лет; Никола Петикс лет десять. Но в то время как супруги уже давным-давно заслужили благосклонность всех без исключения старожилов дома, Петикс, напротив, умудрился завоевать лишь всеобщую, растущую день ото дня неприязнь, вызванную презрением, с которым он смотрел поголовно на всех, начиная с бездельника дворника; ни разу не удостоил он никого не то что словом, даже легким кивком; никого, никогда.

Я давеча сказал — приступим к делу. Но ведь что такое дело? Оно как мешок: когда он пустой, он валится.

Господин судья сможет в этом самолично убедиться, когда попробует — а, похоже, так оно и будет — этот мешок поставить, не наполнив его предварительно теми фактами и мотивами, которые и предопределили дело и которых он даже отдаленно себе не представляет.

Отец Петикса был инженером; он давным-давно переехал в Америку, там и умер; все свое состояние, сколоченное за долгие годы в этой стране благодаря дельному применению профессии, он оставил другому сыну, старше Петикса на два года, как и он — инженеру, обязав его ежемесячно выплачивать младшему брату, пожизненно разумеется, грошовое пособие в несколько сотен лир — и все это почти что в качестве милостыни, потому что по праву ему даже этого не полагалось, ибо, как было сказано в завещании, младший Петикс «прототал свою законную долю, ведя постыдно праздный образ жизни».

Но судить, что такое праздность Петикса, следовало бы, взглянув на нее не только глазами отца, но и его собственными глазами, потому как действительно Петикс

долгие годы провел в университетских аудиториях, переходя от одних занятий к другим, от медицины к праву, от права к математике, от нее к филологии и философии; верно, он не сдал за все это время ни одного экзамена, но так ведь он и не собирался становиться врачом, адвокатом, математиком, или литератором, или, опять же, философом — сказать по правде, Петикс вообще не хотел что-либо делать, однако это еще не значит, что он бездельничал и что это его безделье постыдно. Изучая науки на свой лад, он постоянно размышлял о человеческой жизни и ее обычаях.

Плодом этих бесконечных размышлений стала тоска, беспредельная нестерпимая тоска, тоска и скука, внушаемая ему и жизнью, и людьми.

Делать что-нибудь ради того только, чтобы что-нибудь делать? Но тогда следует полностью уйти в то, что делаешь, ничего не видеть вокруг, превратиться, иными словами, в слепца и не надеяться взглянуть когда-либо на свое дело со стороны, а не то придать тому, что делаешь, какую-то цель. Цель. Но какую? Делать что-то, лишь бы что-то делать? Ну разумеется, бог ты мой! Так оно обычно и бывает. Сегодня делаешь одно, завтра — другое. А то и вовсе одно и то же каждый день. В зависимости от наклонностей и способностей, смотря по намерениям, согласно чувствам и инстинктам. Так ведь оно и бывает.

Беда наступает, когда, следуя всем этим склонностям, способностям и намерениям, всем этим чувствам и инстинктам — коль скоро они есть и приходится к ним прислушиваться, — хочется увидеть со стороны, какова же все-таки цель; но тут-то — как раз потому, что ищешь ее вовне, — ее-то и не оказывается, как, впрочем, не оказывается вообще ничего.

Никола Петикс рано пришел к этому *ничему*, которое должно бы составлять суть всех философий.

Видеть каждый день сотню с лишком жильцов этого загаженного, мрачного дома, людей, которые жили лишь бы жить, уже не умевших жить иначе, как той только ничтожной малостью, которой они, казалось, обречены были каждодневно заниматься — вечно одним и тем же, одним и тем же... все это вскоре стало нагонять на него тоску, приводить в тревожное, нетерпеливое состояние духа; он раздражался день ото дня все больше.

Особенно нестерпимы были ему дети, их вид и тот шум, который они производили, — ими кишели двор

и лестница. Он не мог выглянуть в окно, выходившее во двор, чтобы не увидеть как минимум четверых или пятерых, выстроившихся в шеренгу и, согнувшись, справляющих нужду, при этом обязательно жующих какое-нибудь гнилое яблоко или кусок хлеба; или на мостовую посмотреть, на разбитую бульжную мостовую, где стояли лужи с протухшей водой (если б это только была вода), — тут трое мальцов, встав на четвереньки, высматривают, как и из какого места писает трехлетняя девчушка, которая сидит себе, не обращая на них никакого внимания, полностью занятая своим делом, с тупой сосредоточенностью глядя перед собой, один глаз у нее забинтован. А уж как они плевались, как тузили друг друга, как царапались, дергали за волосы, а потом вопили, и к их воплям добавлялись еще и крики мамаш из окон всех пяти этажей; а тут еще синьорина учительница с испитым личиком и распущенными волосами как нельзя более кстати появляется во дворе с огромным букетом — жениховским подарком, да и сам тут же рядом топает, тает в улыбочке.

Петикса так и подмывало броситься к ящику комода и всадить пару пуль в эту учительницу — такую ярость вызывали в нем и эти цветы, и эта улыбочка ее кавалера, и все их любовное воркование в месте как нельзя более удачно для этого найденном: прямо здесь, среди детворы, от беззастенчивости, от бесстыдства которой выворачивало наружу; среди этих малолетних пачкунов, приумножать которых вскоре начнет и эта учительница.

А теперь представьте, что в течение десяти лет жизни в этом доме Никола Петикс ежедневно наблюдал, как протекает каждая новая беременность той самой синьоры Порреллы: одолеваемая тошнотой, тревогой, муками, она кое-как дотягивала до седьмого-восьмого месяца и каждый раз, рискуя отправиться на тот свет, выкидывала. За девятнадцать лет супружества у этой руины, оставшейся от женщины, было пятнадцать выкидышей.

Самым ужасным для Петикса было вот что: он никак не мог понять, что движет этими людьми, какова причина, по которой они с упорством — таким слепым и таким жестоким по отношению к самим себе — хотят иметь ребенка.

Не потому ли, что восемнадцать лет назад, в пору первой своей беременности, эта женщина заранее, до последней мелочи, приготовила все, что только нужно для приданого младенца: пеленки, чепчики, распашонки,

слюнявчики, длинненькие с бантиками платица, шерстяные носочки, которые давно успели слежаться, зажелтелись и истлели, словно маленькие детские трупики, но все еще ждали, что понадобятся.

Вот уже десять лет, как между женщинами этого дома-муравейника, которые плодились, как только могли, и Николой Петиксом, который, как только мог, ненавидел их грязных выродков, длилось как бы пари: те словно утверждали, что на сей раз синьора Поррелла обязательно родит, а он — нет, и на этот раз она не родит. И чем бережнее они, с бесконечными заботами, советами, осторожностью, пестовали живот этой женщины, увеличивавшийся из месяца в месяц, тем сильнее он, видя, что живот увеличивается из месяца в месяц, чувствовал, как в нем растет раздражение, тревога, бешенство. В последние дни каждой новой ее беременности его воспаленному до крайности воображению весь дом начинал казаться одним огромным животом, отчаянно сотрясавшимся от толчков человека, готового появиться на свет. Для него уже дело было не в том, что, как только синьора Поррелла родит, он проиграет пари; дело было в человеке — в человеке, которого все эти женщины не чаяли дожидаться от нее, из ее живота, в человеке, который способен родиться на свет от животного совокупления двух полов.

Так вот, это человека захотел уничтожить Петикс, когда убедился, что эта, шестнадцатая по счету, беременность завершится наконец благополучно. Человека. Не одного из всех, но всех в одном; на нем одном выместить ту ярость, которую вызывали в нем эти маленькие твари, люди, уже не умевшие жить иначе как той только ничтожной малостью, которой они, казалось, обречены были каждодневно заниматься, вечно одним и тем же.

Это случилось несколько дней спустя после того, когда я видел, как супруги Поррелла гуляли по бульвару на улице Номентана и ветер закручивал вокруг них воронками груды опавших листьев, как шли они, ступая нога в ногу, печатая шаг, серьезно, деловито, словно добросовестно обрабатывали задание.

Конечным пунктом их ежедневных прогулок был большой камень, лежавший за городской заставой, в том месте, где бульвар, свернув еще раз сразу после церкви Святой Агнессы и немного сузившись, спускается вниз к долине реки Аньене. Каждый день, усевшись на этот камень, они с полчаса отдыхали после долгой ходьбы

медленным шагом: синьор Поррелла смотрел на темневший неподалеку мост и, наверное, думал о том, что вот-де по этому мосту еще древние римляне проходили; синьора Поррелла следила глазами за какой-нибудь старушкой, искавшей салат в траве на косогоре у реки, треугольник которого был виден ей сквозь арку моста, или изучала собственные руки, вертя кольца на своих коротких пальцах.

В тот день они тоже дошли до обычного своего места, хотя река из-за недавних сильных дождей разлилась и вода, затопив склоны, угрожающе поднялась чуть ли не до самого их камня и хотя еще издали они заметили на нем своего соседа по дому Николу Петикса, который словно подкарауливал их: он сидел втянув голову в плечи, нахохлившись и издали был похож на крупного филина.

Завидя его, они остановились в беспокойстве, на секунду растерявшись: посидеть где-нибудь в другом месте, а может, вернуться назад? Но это же самое чувство растерянности и недоверия и заставило их подойти к камню, поскольку им показалось безрассудным предполагать, что присутствие этого человека, пусть неприятное для них, как и сам его вид, явно говоривший о том, что явился он сюда нарочно, могут представлять собою *ничто* столь страшное, что им следует отказать от привычного отдыха в заветном месте, отдыха, в котором особенно она, беременная, нуждалась.

Петикс не сказал ни слова, и все произошло в какой-то миг, почти без шума. Едва только женщина приблизилась к камню и собиралась уже присесть, он схватил ее за руку и, рванув, отбросил к кромке вздувшейся воды, а там, пинком, толкнул в реку.

1921 (1923)

НИЧТО

Ф иакр, прогрохотав по пустынной темной площади, остановился у матово белевшей в ночи застекленной двери аптеки на углу улицы Сан-Лоренцо. Какой-то господин в шубе подошел к двери и взялся за ручку. Крутнул туда, сюда — что за черт? Закрыто!

— Попробуйте позвонить, — посоветовал извозчик.

— Как? Где тут звонок?

— А вон там какой-то шарик, потяните за него. Господин яростно дернул рукоять звонка.

— Ничего себе круглосуточное дежурство!

Слова вылетают у него изо рта в ночную стужу облачками пара, которые в красноватом свете фонаря кажутся клубами дыма.

С вокзала, расположенного неподалеку, доносится гудок паровоза: отходит поезд.

Извозчик глядит на часы, подавшись к одному из фонарей, и сообщает:

— О, без малого три...

Наконец дверь открывает взъерошенный со сна ученик аптекаря, поеживаясь в пиджаке, воротник которого поднят до ушей.

Господин тотчас спрашивает:

— Здесь есть врач?

Но парнишка, заметив по лицу и рукам посетителя, какая на дворе стужа, отступает в глубь помещения и начинает тереть кулаками глаза:

— В такой-то час?

Потом, чтобы прервать поток возмущенных возгласов, бормочет: «Ну, есть врач, есть... бог ты мой, столько шума... да, конечно, вы правы... кто говорит «нет»... только надо же понять, что в этот час люди спать хотят, ничего удивительного... ну, вот и все...» — перестает тереть глаза, идет за прилавок и делает знак посетителю, приглашая его в лабораторию.

Меж тем извозчик, оставшийся на улице, слезает с козел и, стоя лицом к пустынной площади, рассеченной двумя сверкающими полосками трамвайных рельсов, позволяет себе удовольствие расстегнуть штаны и проделать то, что при свете дня надо делать в укромном месте.

Конечно, это удовольствие: кто-то суетится из-за какой-то неприятности, ищет поддержки и помощи, а ты вот так спокойненько справляешь себе малую нужду и видишь, что все вокруг на своих местах — черная вереница дубов, окаймляющих площадь, высокие чугунные столбы, на которых натянута трамвайные провода, нимбы над фонарями, каждый из которых — маленькая полная луна, а там, дальше, — здание таможни у вокзала.

Лаборатория представляла собой комнату с низким потолком, стены которой почти сплошь были уставлены шкафами; в помещении царил полумрак и сильно пахло лекарствами. Масляная лампадка, горевшая перед образом на шкафу, что стоял напротив входа, казалось, не освещала даже самое себя. На столе посреди комнаты громоздились колбы, пробирки, весы, ступки, воронки, так что из-за стола не видно было, что на потертом кожаном диване возле шкафа с лампадкой спит дежурный врач.

— Вот он, врач, — заявил ученик аптекаря, указывая на дородного мужчину, который спал тяжелым сном, скрючившись и вдавив лицо в диванный валик.

— Так разбудите его, черт побери!

— Э-э, не так-то это просто! Можно и пинок схлопотать.

— Но это врач?

— Врач, врач. Доктор Мангони.

— И пинается?

— Ну, видите ли, когда будят в такой час...

— Я сам его разбужу.

Господин склоняется к дивану и начинает трясти спящего.

— Доктор... доктор...

Доктор Мангони бормочет что-то себе в пышную всклокоченную бороду, которая покрывает его щеки до самых глаз; прижав кулаки к груди, подымает локти — потягивается; наконец садится сгорбившись, но пока еще не открывает глаз, на которые нависают густые брови. Одна штанина у него задралась на толстой икре, и видны полотняные кальсоны со старомодными завязками, обмотанными вокруг грубого черного носка.

— Ну вот, доктор... Скорее, прошу вас! — торопит его господин. — Отравление газом...

— Угарным? — спрашивает доктор, поворачивая голову к посетителю, но все еще не открывая глаз.

Патетическим жестом поднимает руку и прочищает горло, пробуя пропеть кусочек арии из «Джиоконды»: «Покончить с собой в такое мгнове-е-ень...»

Господин смотрит на него с изумлением и негодованием. Но доктор Мангони тут же откидывает голову назад и приоткрывает один глаз.

— О, простите, это ваш родственник?

— Нет, не родственник. Но прошу вас, пожалуйста,

поскорее. Я все объясню вам по дороге. Нас ждет фиакр. Вам, наверное, нужно что-нибудь взять с собой?

— Да, дай-ка мне... дай-ка мне... — говорит доктор ученику аптекаря, пробуя подняться.

— Сейчас сделаем, сию минуту, — отвечает тот, щелкая выключателем, и начинает суесться так деловито, что производит на ночного гостя приятное впечатление.

Доктор Мангони крутит головой, как бык, норовящий боднуть, — прячет заспанные глаза от мгновенно вспыхнувшего яркого света.

— Правильно. Молодчина, — хвалит он мальчика. — Но ты меня ослепил... А шлем? Где мой шлем?

Шлем — это его шляпа. Она у него была. Она у него с собой, она здесь, это точно. Он помнит, что, перед тем как лечь, положил ее на скамеечку для ног, что стояла у дивана. Куда же она подевалась?

Доктор принимается искать шляпу. Ему помогает посетитель, а потом и извозчик, который зашел в аптеку согреться. Тем временем будущий фармацевт успевает собрать солидный сверток лекарств и предметов, потребных для оказания неотложной помощи.

— Доктор, а шприц с иглой у вас есть?

— У меня? — оборачивается доктор, глядя на мальчика с таким изумлением, что тот прыскает.

— Ладно, кладу. Теперь, значит, горчичники. Штук восемь хватит? Кофеин... Стрихнин... А кислород, доктор? Надо, наверно, кислородную подушку, как я понимаю...

— Шляпу мне надо, шляпу! В первую очередь — шляпу! — кричит доктор, отдуваясь. И поясняет, что, кроме всего прочего, он дорожит этой шляпой еще и потому, что шляпа эта — историческая: он купил ее одиннадцать лет тому назад на торжественные похороны сестры Марии, учредительницы ночного приюта для обездоленных, что в переулке Фалько, в Трастевере¹, он сам туда навевывается, там подают отличный дешевый суп в огромных мисках, там можно и переночевать, когда свободен от ночного дежурства.

Наконец шляпа нашлась. Не в лаборатории, а в аптеке, под прилавком. С ней играл котенок.

Посетитель дрожит от нетерпения. Но следует еще довольно долгий разговор, ибо доктор Мангони, вертя

¹ Трастевере — район Рима, расположенный на правом берегу Тибра.

в руках свою скомканную шляпу, хочет доказать, что котенок-то котенком, но и сам ученик аптекаря с ней поразвлекся, поддав ее как следует ногой, отчего она и залетела под прилавок. Ладно. Доктор Мангони с маху бьет кулаком внутрь шляпы, та, как ни странно, выдерживает удар, распрямляется, и доктор лихо надевает ее чуть-чуть набекрень.

— К вашим услугам, любезнейший синьор.

— Это бедный молодой человек, — сразу начинает господин, как только они уселись и он покрыл ноги доктора, как и свои, полостью.

— О, прекрасно. Благодарю вас.

— Бедный молодой человек, которого рекомендовал мне мой брат и просил, чтобы я приискал для него работу. Представляете себе? Как будто нет ничего проще: раз-два и готово! Обычная история: они там, в провинции, думают, что достаточно приехать в Рим — и получи работу, раз-два и готово! Вот и брат мой преподнес мне такой подарочек. И молодой человек приехал в Рим. А чем он намерен заниматься? Ничем. Он сказал, что он журналист. Показал мне свои верительные грамоты: аттестат об окончании лица и папку стихов. И заявил: «Хорошо бы, вы нашли для меня место в редакции какого-нибудь журнала». Это я-то! Ну не безумец ли! Я, разумеется, тотчас стал выправлять ему в полиции бумагу для бесплатного проезда обратно на родину. А пока что не мог же я оставить его ночевать на улице! Он был почти гол: замерзал в своем полотняном костюмишке, который болтался у него на плечах, как на вешалке, а в кармане у него было две-три лиры. Я и поместил его в один из моих домов в Сан-Лоренцо, который у меня снимает одна семья... Да бог с ними! В общем, они сдают в поднаем две меблированные комнаты. Задолжали мне за четыре месяца. Раз так, я его туда и поместил. И все было прекрасно! Прошло пять дней. Никак не получить в полиции бумагу на обратный проезд! Эти дошлые чиновники — что твои птицы небесные: им на всех с высоты на..., извините за выражение. Чтобы выдать такую бумагу, им, видите ли, нужно выполнить какие-то там формальности у него на родине, потом здесь... Словом, сегодня вечером я пошел в театр, в Национальный. И вот в четверть первого ночи прибегает ко мне перепуганный парнишка, сын моей постоялицы,

и сообщает, что этот несчастный растопил жаровню, закрылся в своей комнате часов в семь и не появлялся до полуночи. Вы понимаете — с семи до двенадцати!..

Тут господин поворачивается, чтобы взглянуть на доктора, откинувшегося на сиденье, — тот во время рассказа не подавал никаких признаков жизни. Опасаясь, что доктор снова заснул, повторяет, повысив голос:

— С семи часов вечера!

— Как славно бежит эта лошадка, — произносит тогда доктор, с наслаждением потягиваясь.

Господина точно обухом хватили по голове.

— Но, простите, доктор, вы слушали меня?

— Да, конечно.

— С семи вечера. С семи до полуночи — целых пять часов!

— Совершенно верно.

— Однако, он еще дышит. Еле-еле. И скрючился весь и...

— Какое наслажденье! Ведь, пожалуй, уже три... Нет, постойте, что это я? Пять! Пять лет я не ездил в экипаже! А как это приятно!

— Но, доктор, я ведь вам говорю о...

— Ну да, я слышу. Только, простите, что мне за дело до истории этого несчастного?

— Но ведь я говорю, что он пять часов...

— И отлично! На месте увидим. Вы, должно быть, думаете, что оказываете ему великую услугу!

— Как?

— Да-да, я именно это имею в виду. Ну, там, ранение в драке, кирпич на голову упал, еще какой-нибудь несчастный случай... Тут дело ясное: оказать первую помощь, вызвать врача. Но вот когда какой-нибудь бедолага тихо-мирно забивается в конуру, желая свести счеты с жизнью...

— Как?! — снова воскликнул господин, еще больше поражаясь.

— А вот послушайте. Этот несчастный сделал все, что мог. Вместо хлеба купил угля. Дверь запер на засов, не так ли? Позатыкал все отдушины, может быть, принял снотворное, проходит пять часов — и тут вы беспоконите его в самый интересный момент!

— Вы шутите! — поражается господин.

— Ничуть, уверяю вас, я говорю серьезно.

— Черт побери! — горячится тот. — Если уж кого-то побеспокоили, так это меня! За мной прислали...

— Да, помню, как же! В театр.

— Что ж мне было делать? Дать ему умереть? Но тогда возникли бы другие осложнения, неприятности, не так ли? Как будто мне мало прежних. Такие вещи в чужом доме не делаются, если уж на то пошло!

— О, разумеется, в этом вы правы, — со вздохом признал доктор Мангони. — Он мог, конечно, отправиться на тот свет на своих двоих, это верно. Но постель так влечет к себе, так соблазняет, если б вы знали! Именно соблазняет... А сдохнуть в пыли, как собаке... Это вам говорит тот, у кого ее нет!

— Чего нет?

— Постели.

— У вас?

Доктор Мангони медлит с ответом. Потом усталым голосом, словно повторяя сказанное уже тысячу раз, поясняет:

— Я сплю где придется. Ем когда придется. Одеваюсь как придется.

И поспешно добавляет:

— Только не подумайте, что я этим огорчен. Напротив. Я, видите ли, великий человек. Но в отставке.

Господина начинает занимать такая редкостная разновидность врача, с которой ему впервые довелось столкнуться, и он, смеясь, спрашивает:

— В отставке? В каком смысле в отставке?

— Я вовремя понял, любезный синьор, что игра не стоит свеч. Даже наоборот: чем больше ты стараешься стать великим, тем скорее впадешь в ничтожество. Это неизбежно. Простите, вы женаты?

— Я? Да, сударь.

— Вы, кажется, вздохнули, когда сказали «да»?

— Да нет, не вздыхал.

— Тогда извините. Раз не вздыхали, оставим этот разговор.

И доктор Мангони снова откидывается на подушки сиденья, давая понять, что говорить больше не о чем. Господину это не нравится.

— Но, простите меня, при чем тут моя жена?

В этот момент извозчик оборачивается на козлах и спрашивает:

— А куда, синьор, мы едем? Уже Камповерано!

— О господи! — восклицает господин. — Поворачивайтесь обратно! Обратно! Мы давно уже проехали...

— Хуже нет поворачивать обратно, — замечает доктор Мангони, — когда ты уже почти у цели.
Извозчик, чертыхаясь, разворачивает экипаж.

Темная лестничная клетка, похожая на пещеру с отвесными стенами, пахнет сыростью и плесенью.

— А, проклятье! Ой-ой-ой!

— Что такое? Вы ушиблись?

— Нога ... подвернулась... Не могли бы вы зажечь хотя бы спичку?

— Вот черт! Ведь была вроде коробка... Нет, нет ее!

Наконец показался слабый свет, падавший на известковую стену лестничной площадки из открытой двери.

Когда в дом приходит беда, она не закрывает за собой двери, так что любой может зайти любопытствовать.

Доктор Мангони, прихрамывая, идет за господином в жалкую прихожую, где у входа стоит на полу горящая бледным светом керосиновая лампа; затем, не постучавшись, открывает дверь в темный коридор, куда выходят еще три двери; две из них закрыты, а третья, в глубине, открыта и слабо освещена. Доктор морщится от боли в ступне, его одолевает желание помякнуть идущего перед ним господина кислородной подушкой, которую он несет в руке; но он сдерживается, кладет подушку на пол, опирается одной рукой о стену, а другой берет поврежденную ступню и энергично крутит ее в разные стороны, преодолевая боль.

Тем временем в дальней комнате начинается, судя по всему, ссора между тем самым господином и его жильцами. Доктор Мангони опускает ногу на пол и хочет пойти на шум, узнать, в чем дело, но тут из комнаты пулей выскакивает владелец дома, истуупленно крича:

— Да-да, глупцы, глупцы и еще раз глупцы!

Доктор едва успевает посторониться, как тот бросается к выходу и спотыкается о кислородную подушку.

— Ох, потише, ради бога, осторожней!

Какое там потише! Господин поддает подушку ногой, та взлетает, опускается снова ему под ноги, он чуть не падает и, чертыхаясь, убегает прочь, а из той же комнаты выходит низенький нескладный старик в шлепанцах и ермолке; на шее у него повязан длинный шерстяной шарф зеленого цвета, а из него выглядывает одутловатое

багровое лицо, освещенное стеариновой свечой, которую старик держит в руке.

— Прошу прощения, но неужели лучше было оставить его умирать здесь в ожидании врача?

Доктор Мангони, полагая, что старик говорит с ним, откликается:

— Да я здесь, это я.

Тот вытягивает руку со свечой, всматривается и оторопело спрашивает:

— Вы? А кто вы?

— Разве вы не говорили о враче!

— Какой еще врач! Какой врач! — доносится из комнаты визгливый женский голос.

И в коридор выскакивает жена этого почтенного старика; она вся как-то дергается, тряся копной завитых волос, у нее мутные от слез глаза в темных орбитах, кривой рот; ее вульгарно накрашенные губы дрожат. Она разглядывает доктора, наклонив голову набок, и повелевает:

— Можете уходить! Можете уходить отсюда! Вы тут больше не нужны! Мы его отправили в больницу, потому что он умирал!

Тут она боднула мужа в плечо:

— Да скажи ты ему, чтоб он ушел!

Муж вскрикивает: от толчка ему на руку капнул горячий стеарин.

— Ох, тише ты, ради бога!

Доктор Мангони протестует, но без особого гнева — он не вор и не бандит, чтобы его выставляли таким способом, он здесь лишь потому, что за ним приехали в аптеку, и заработал он пока что лишь растяжение ступни, из-за чего и просит разрешения на минуту присесть.

— Ну разумеется, синьор доктор, пожалуйста, проходите, садитесь, — заторопился старик, приглашая доктора пройти по коридору в дальнюю комнату.

Жена старика, по-прежнему склонив голову набок, как встревоженная курица, продолжала смотреть на доктора: очень уж свирепым показалось ей его лицо, заросшее бородой до самых глаз.

— О, вы только подумайте, — сказала она наконец вместо извинения, — сделаешь добро — и тебя же обругают!

— Вот именно: обругают, — подхватил старик, засовывая свечу обратно в подсвечник, стоявший на ночном столике возле пустой необустроенной кровати, на подушке которой еще сохранилась вмятина от головы

несчастливого молодого самоубийцы. Старик спокойно очистил руку от налипшего на нее стеарина и продолжал: — Он заявил, что ни в каком случае не надо было отправлять его в больницу...

— Да он уже весь почернел! — снова взвилась жена старика. — Ох, этот жилец... Такой был худой... Одни только глаза!.. И губы у него почернели, из-под них чуть-чуть выглядывали зубы... И не дышал...

Она закрыла лицо руками.

— Могли ли мы оставить его умирать без помощи? — снова вопрошал старик. — А знаете, почему хозяин дома так разъярился? Он подозревает, что этот бедный юноша — незаконный сын его брата, он сам нам об этом говорил...

— И сунул его к нам сюда, — добавила жена, снова вскакивая на ноги то ли от возмущения, то ли от сострадания. — К нам, чтобы у меня в доме случилась эта трагедия, которая на этом еще и не закончится, потому что моя дочь... старшая моя дочь... в него влюбилась, как-во? Увидев, что он умирает, она чуть не обезумела — ах, какое было зрелище! — подняла его на руки — откуда сила взялась? — и с помощью брата снесла его вниз по лестнице, а потом они искали извозчика... Как видно, нашли... А вы еще посмотрите на мою младшую дочь, вы только взгляните, как она плачет...

Доктор Мангони, еще когда входил в комнату, заметил в смежной комнате, видимо столовой, простоволосую блондинку — та что-то читала, положив локти на стол и подперев голову руками. Она читала и действительно плакала, но еще он заметил, что лиф ее платья растягнут и желтый свет висячей лампы падает на розовые соски полубнаженных грудей.

Старик отец, к которому доктор Мангони теперь повернулся с вопросительным видом, воздел руки, выражая свое восхищение. Чем? Дочкиными грудями? Нет, конечно, — тем, что она читала и над чем проливалась слезы. Стихами юноши.

— Поэт! — воскликнул он. — Поэт! Вы бы только читали... Такие вещи!.. Такие вещи!.. Я в стихах разбираюсь, я ведь учитель словесности, сейчас на пенсии... Сильные вещи, сильные.

И старик подошел к столу, чтобы взять несколько листков со стихами, но дочь стала яростно их защищать, видимо из страха, что старшая сестра, вернувшись с братом из больницы, не даст ей больше их читать, а будет

оберегать это сокровище, считая себя единственной его наследницей.

— Ну, дай какое-нибудь из тех, что ты уже прочла, — робко настаивал отец.

Однако девушка, грудью накрыв листки, топнула ногой и крикнула: «Нет!» Потом собрала их со стола, прижала обеими руками к полуобнаженной груди и понесла в другую комнату.

Доктор Мангони снова смотрит на опустевшую кровать — зримое подтверждение бесполезности его визита, потом переводит взгляд на окно, которое, несмотря на зимний холод, оставлено открытым, чтобы из этой несчастной комнаты выветрился угарный дух.

В окно льется лунный свет. Глухая ночь и луна. Доктор Мангони представляет себе луну, плывущую дальними путями, он не раз наблюдал ее в тот час, когда все люди спят и ее не видят, а она как будто утонула, затерялась в небесных высях.

Как убога эта комната, каким убогим кажется доктору весь дом, а ведь это один из многих человеческих домов, где во имя продолжения непостижимого безобразия этой жизни соблазнительно торчат соски женских грудей вроде тех, что он видел при свете висячей лампы в соседней комнате, — и все это убожество вызывает у доктора такой холод в душе и вместе с тем такую острую злость, что он не может усидеть на стуле.

Встает, вздохнув: надо идти. В конце концов, не в первый раз попадается ему такой случай за время его ночных дежурств в аптеках. Может, этот чуточку печальней других лишь тем, что несчастный юноша — как знать! — и на самом деле был большим поэтом... Но если так, ему как раз лучше было умереть.

— Послушайте, — говорит доктор старику, который тоже поднялся, чтобы посветить ему. — Этот господин, который вас обругал, а меня поднял с дивана в аптеке, должно быть, действительно порядочный болван. Минуточку, позвольте, я закончу. Он не потому болван, что обругал вас, а потому, что на мой вопрос, есть ли у него жена, он ответил, что да, есть, и не вздохнул при этом. Вы меня понимаете?

Старик от изумления открывает рот. Явно не понимает. Зато понимает жена, которая вскакивает с места и спрашивает:

— А почему это вы думаете, что человек должен вздыхать, когда говорит, что у него есть жена?

Доктор Мангони тотчас отвечает:

— По той же причине, по которой, как мне кажется, вы, синьора, вздыхаете, когда говорите, что у вас есть муж.

И кивает на старика. Потом еще спрашивает:

— Простите, синьора, если бы этот молодой человек не покончил с собой, вы отдали бы ему дочь в жены?

Та глядит на него искоса, потом, как будто с вызовом, отвечает:

— А почему бы и нет?

— И вы взяли бы его к себе, в этот дом? — продолжает спрашивать доктор Мангони.

Женщина отвечает по-прежнему:

— А почему бы и нет?

— А вы, — оборачивается доктор к старику, — вы, как человек, разбирающийся в литературе, работавший учителем словесности, вы бы ему посоветовали напечатать его стихи?

Чтобы не отстать от жены, старик отвечает такими же словами:

— А почему бы и нет?

— В таком случае, — заключает доктор Мангони, — мне очень жаль, но я должен вам сказать, что вы оба по крайней мере вдвое глупее того господина.

И поворачивается к выходу.

— А можно все-таки узнать, почему? — кричит ему в спину взбешенная матрона.

Доктор Мангони останавливается и преспокойно отвечает:

— Судите сами. Вы не станете отрицать, что несчастный молодой человек мечтал о славе, раз уж он сочинял стихи. Теперь представьте себе, чем обернулась бы для него эта слава, если бы ему удалось напечатать эти свои творения? Тощей книжицей бесполезных стихов. А любовь? Любовь — самое живое и святое на земле. Чем обернулась бы для него любовь? Она обернулась бы женщиной. Хуже того — женой, женой в лице вашей дочери.

— Эй, послушайте! — грозно восклицает жена старика, тряся кулаками у самого носа доктора. — Как вы позволяете себе говорить о моей дочери!

— О ней я ничего не говорю, — спешит пояснить доктор Мангони. — Я допускаю, что она прекрасна собой и блистает всеми добродетелями. Но ведь женщина, дорогая синьора, с годами... Бог ты мой, кому это не-

известно! Нужда... дети... Во что она превратится? Ну, а весь мир, синьора, тот мир, которого теперь я буду лишен из-за больной ноги, чем обернулся бы мир для этого молодого человека? Домом. Вот этим самым домом... Понимаете?

И, выбросив руки в забавном жесте, выражавшем отвращение и негодование, он ушел, хромя и бормоча себе под нос:

— Какие там книги! Женщины! Дом! Все это ничто... ничто... ничто... В отставку! В отставку!.. Ничто!

1922 (1923)

БЕГСТВО

Как раздражал этот туман синьора Бареджи! Сгустился, точно назло ему, чтобы легонько покалывать лицо его и затылок, будто тончайшими ледяными иголочками, и это еще не самое худшее:

— А завтра вот что тебе предстоит, — проговорил синьор Бареджи вслух, — ломота во всех суставах, голова как свинцовая, мешки под глазами набрякнут, глаз не открыть — красота. Честное слово, дело кончится тем, что я совершу это безумство.

Ему было пятьдесят два года, но нефрит превратил его в развалину: постоянная боль в пояснице, ноги так отекают, что, если ткнуть пальцем, останется ямка; и все равно он плетется в своих парусиновых башмаках по длинному проспекту, уже влажному, словно после дождя.

В этих парусиновых башмаках синьор Бареджи каждый день тащился из дому на службу и со службы домой. И, медленно переставляя обмякшие наболевшие ступни, он, чтобы отвлечься, давал волю мечтам: в один прекрасный день он уйдет, скроется, исчезнет, уйдет навсегда и никогда больше не вернется домой.

Потому что сама мысль о доме приводила его в неистовую ярость. Только подумать: дважды в день возвращаться туда, в дальний переулок в самом конце длинного-длинного проспекта, по которому он сейчас брел.

И дело не в расстоянии, хоть оно тоже вещь немаловажная (с такими-то ногами!), и даже не в том, что переулок пустынен — это ему как раз нравилось: совсем

недавно проложен, ни фонарей, ни издержек цивилизации, слева три домика, почти крестьянские, а справа изгородь, тоже как в деревне, и торчит на шесте табличка, выцветшая от времени и дождей: «Участок продается».

Он жил в третьем домике. Четыре комнаты в нижнем этаже, полутемные, со ржавыми решетками на окнах и, кроме решеток, еще проволочные сетки, чтобы уберечь стекла от метких камней окрестных сорванцов; а на верхнем этаже три спальни и терраска — любимейшее его место в сухую погоду — с видом на сады.

Нет, в неистовую ярость приводило его другое — тревожные заботы, которыми сразу по возвращении домой начинали донимать его жена и дочери — бестолковая курица и два пискливых цыпленка, следовавшие за ней по пятам: мечутся туда, сюда, за домашними туфлями, за стаканом молока с яичным желтком; одна уже присела на корточки, чтобы расшнуровать ему башмаки, другая вопрошает жалобным голосом, не попал ли он под дождь, не вспотел ли (в зависимости от времени года), словно сами не видят, что он пришел домой без зонтика и вымок — хоть выжимай, или что в августовский полдень у него рубашка прилипла к телу, а лицо бледнее воска — так он вспотел.

Его выводили из себя все эти заботы, да, выводили из себя; жена и дочери усердствовали словно для того только, чтобы лишить его возможности отвести душу.

Как мог он жаловаться, когда перед ним были эти три пары глаз, затуманенных состраданием, эти три пары рук, готовых оказать ему помощь?

А ведь ему было на что пожаловаться, поводов хоть отбавляй! Стоило только поглядеть по сторонам, и у него появлялся повод, о котором они и не подозревали. Вот хоть кухонный стол, например, — старый, громоздкий, за ним обедала вся семья, но сам-то синьор Бареджи сидел на хлебе и молоке, ему от этого стола мало было радости, а как пахло от дерева сырым мясом и луком — красивыми сухими луковицами в золотистой шелухе! И мог ли синьор Бареджи упрекать дочерей за то, что им-то можно есть мясо с луком, которое так вкусно готовит мать? Или упрекать их за то, что они, экономии ради стирая дома, по окончании стирки выплескивают за окно мыльную воду и едкий сырой запах, по их милости, не дает ему в вечерние часы наслаждаться свежестью, которой веет из окрестных садов?

Каким несправедливым, наверное, показался бы этот

упрек обеим его дочерям, ведь они надрывались с утра до вечера, ни с кем не видясь, словно в ссылке на краю света, и даже не думали, кажется, о том, что при других обстоятельствах могли бы жить совсем другой жизнью, для самих себя.

К счастью, обе были недалекого ума, в матушку. Он сочувствовал дочерям, но видел, что обе смирились с участью прислуги за все, и от этого сочувствие переходило в злобное раздражение.

Потому что он не был добрым, отнюдь нет. Не был он добрым, каким казался своим бедным женщинам, да, впрочем, и всем, кто его знал. Он был злым. И по глазам его тоже, наверное, иногда бывало видно, что ему не чужда злость, хотя и запрятанная глубоко внутри. Злость проступала наружу, когда он оставался один у себя в служебном кабинете и, сам того не замечая, поигрывал перочинным ножиком, сидя за конторкой; его охватывали искушения, которые можно было бы приписать и приступу безумия: искромсать лезвием этого ножика волшебную бумагу, прикрывавшую откидную доску конторки, или исполосовать кожаную обивку кресла; но вместо того он клал на эту самую доску руку, казавшуюся такой маленькой и пухлой — руки у него тоже отекали, — он глядел на нее, и крупные слезы катились у него по щекам, а другая рука между тем старательно выщипывала рыжеватые волоски на тыльной стороне пальцев.

Да, он был злой. И к тому же сознавал безнадежность своего положения, ибо в скором времени должен был умереть — в кресле, отчаявшись и впад в беспомощность, окруженный этими тремя женщинами, которые выводили его из себя и вызывали в нем неодолимое стремление — бежать прочь, пока есть время, бежать, как в безумии.

И в тот вечер — да, так и было — безумие проникло внезапно — не в мозг его, нет, — а в мышцы рук и ног, и по его велению синьор Бареджи поставил ногу на подножку, одной рукой ухватился за козлы, а другой — за оглоблю повозки торговца с молоком, которую синьор Бареджи случайно заметил в самом начале своего переулка.

Но как же так? Он, синьор Бареджи, человек серьезный, солидный, почтенный, — и сел в повозку торговца молоком?

Да, сел в повозку торговца молоком, повиновался причуде сразу, как только завидел повозку в конце проспекта на повороте к переулку, как только в ноздрях у него защекотало от свежего хмельного запаха отменно-го сена в торбе и от козлиного духа, которым разила на-кидка торговца, валявшаяся на сиденье: деревенские за-пахи далекой равнины, которая представилась ему вдруг в воображении — она лежала там, внизу, за Номентан-ским виадуком, за виллой Пацци, обещая простор, забве-ние и свободу.

Лошадь, вытянув шею, пощипывала травку, беспре-пятственно росшую по обочинам; должно быть, она по-тихоньку отошла самовольно от трех домиков, невидимых в тумане, заполнившем переулок, в то время как торговец, как всегда, подолгу болтал с женщинами в каждом доме, уверенный, что скотина по привычке смиренно дожидается на улице, когда он выйдет с поро-жными бутылками; не застав на месте ни лошади, ни повоз-ки, он сразу бросится на поиски и поднимет крик — меш-кать было некогда; и синьор Бареджи в порыве внезапного безумия, от которого зажглись блеском его глаза, задыхаясь и весь трепеща от удовольствия и стра-ха, не задумываясь о том, что станется с ним самим, с его женщинами, с торговцем, в сумбуре всех представ-лений, уже закружившихся вихрем в его помраченном сознании, с силой хлестнул лошадь, и повозка понеслась!

Он не ожидал, что эта тварь рванется с места таким отчаянным скачком: лошадь, оказывается, была вовсе не старая; он не ожидал, что от сотрясения загремят все би-доны и кувшины; когда лошадь понесла, он схватился за козлы, чтобы не выпасть из повозки, и выронил вожжи, ноги его подбросило оглоблями, хлыст рассекал воздух, и он чуть было не опрокинулся назад, на все эти бидоны и кувшины; и не успел он прийти в себя после первой опасности, как тут же ему пришли на ум новые и неми-нуемые, при мысли о них у него перехватило дыхание и он замер, а эта проклятая тварь мчалась без удержу бешеным аллюром в тумане, становившемся все гуще, по мере того как спускался вечер.

И никто его не выручит? Не позовет других ему на выручку? А ведь эта летящая вперед повозка со всеми своими кувшинами и бидонами, которые от тряски би-лись друг о друга, должно быть, гремела на ходу так, словно разразилась гроза. Но, видимо, на проспекте ни-кого не было, либо синьор Бареджи за грохотом не слы-

шал криков, а из-за тумана он не видел даже электрических фонарей, которые, должно быть, уже зажглись.

Он и хлыст отбросил, в отчаянии вцепившись в козлы обеими руками. Видно, безумие овладело не только им, но и лошадей: то ли из-за удара хлыстом — возможно, она к этому не привыкла, — то ли от радости, что в этот вечер так быстро покончено было с привычным маршрутом, то ли оттого, что ее больше не сдерживали вожжи. Она ржала, ржала. И синьор Бареджи в ужасе глядел, как в неистовом галопе взлетают копыта мчащейся лошади, и, казалось, с каждым скачком она неслась все быстрее.

В какой-то миг у синьора Бареджи мелькнула мысль, что за поворотом повозке грозит опасность на что-нибудь налететь, и он протянул было руку, пытаясь снова ухватить вожжи, но, потеряв равновесие, ударился обо что-то носом: рот, подбородок и ладонь стали влажными от крови; однако у него не было ни времени, ни возможности ощупать себе лицо — нужно было снова как можно крепче уцепиться за козлы обеими руками. Лицо все в крови, спина вся в молоке! О господи, молоко булькало в бидонах и кувшинах и выплескивалось прямо ему на спину! И синьор Бареджи смеялся — хоть и в страхе, от которого у него холодело внутри, — смеялся над этим страхом; и мысль о неминуемой и близкой катастрофе — а мысль эта была вполне определенной — он инстинктивно отгонял мыслью о том, что, в сущности, все это шутка, просто шутка, которую он захотел сыграть и которую завтра будет всем рассказывать со смехом. И он смеялся. Смеялся, в отчаянии пытаясь представить себе безмятежную картину, которую видел каждый вечер со своей терраски: садовник поливает сад по ту сторону изгороди; и думал он о смешном: о том, как потешно одеваются крестьяне — они на старье нашивают заплаты как будто напоказ, как будто возглашая свою нищету, но нищету веселую — заплаты на заду, на локтях, на коленях, словно вызов; а за этими мирными и забавными видениями мелькало с не меньшей живостью совсем другое, грозное: как с минуты на минуту он опрокинется при очередном толчке, от которого все полетит в тартарары.

Повозка миновала Номентанский мост, пронеслась мимо виллы Пацци и — вперед, вперед, вперед, в простор полей, уже угадывавшийся в тумане.

Когда — поздно вечером — лошадь остановилась перед деревенским домом, повозка была разбита, бидонов и кувшинов не было и в помине.

Жена торговца молоком, услышав, что повозка подъехала к дому в такое необычное время, окликнула мужа из окна. Никто не ответил. С фонарем она вышла к двери, увидела разбитую повозку, снова окликнула мужа: да где же он? Что случилось?

Вопросы, на которые лошадь, еще тяжело дышащая и счастливая после лихой скачки, не могла, разумеется, дать ответа.

Глаза у нее налились кровью, она фыркала и, тряся головой, била копытом.

1923 (1925)

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Когда через много-много лет Паоло Марра вернулся в свой родной город, уныло пристроившийся на холме, он понял, что для отца крушение началось, по сути, в тот момент, когда он начал строить дом для себя самого, после того как построил столько домов для других.

И понял это Паоло Марра, как только снова увидел отцовский дом, где недолго прожил ребенком; дом этот, уже давно ставший для него чужим, стоял в верхней части города на одной из старых улиц, спускавшихся по склону и напоминавших пересохшие реки, от которых остались лишь высланные булыжником русла.

Зримым образом отцовского крушения была арка ворот — самих ворот так и не навесили, — которая полукругом возвышалась с обеих сторон над стенами, отгораживавшими от улицы просторный двор перед домом; стены эти, выложенные из красного камня, так и остались недостроенными и теперь казались старыми.

Посреди двора, тоже поднимавшегося вверх по склону и вымощенного, как и улица, булыжником, был большой колодец. Красноватый лак на железной ручке ворота был теперь почти весь съеден ржавчиной. И какой печалью веяло от этой облупившейся ручки, которая казалась больной. Может быть, больной она казалась из-за того, что ворот тоскливо скрипел, когда по ночам верев-

ку шевелил ветер; а небо, ясное и звездное, но подернутое тончайшей дымкой, словно пылью, припорошившей его прозрачность, как будто замерло над безлюдным двором навсегда.

Отец хотел, чтобы дом стоял подальше от улицы, потому-то и задумал этот двор. Но затем — в предчувствии, быть может, что пользы от его стараний все равно не будет, — прекратил работы, оставив арку недостроенной и доведя стены лишь до половины высоты.

Вначале никто из прохожих не решался зайти во двор, потому что там еще лежало множество нетесанных камней, и по этой причине казалось, что работы просто приостановлены и скоро возобновятся. Но как только между бульжниками и вдоль стен начала прорастать трава, ненужные уже камни стали казаться старыми и отслужившими свое. Часть их со двора унесли после смерти отца, когда дом был продан трем разным покупателям, а прав на двор никто не предъявил; часть же заменила скамейки окрестным кумушкам, которые с тех пор как бы присвоили себе двор и заодно колодец: здесь они стирали белье и здесь же развешивали его на просушку; а затем, покуда солнце пронизывало веселым светом спящую белизну простынь и сорочек, развевающихся на веревках, женщины распускали по плечам блестящие от масла волосы и начинали искаться, как это делают обезьяны.

Словом, улица снова завладела двором, оставшимся без ворот, которые могли бы преградить ей доступ.

И сейчас, когда Паоло Марра видел впервые и вторжение улицы во двор, и разбитый каменный въезд под арку, и облупившиеся по углам пилястры, и бульжники, изъезженные колесами повозок и экипажей, которые находили пристанище в предназначавшихся для служб строениях по правую руку от дома, когда-то чистых и светлых, но давным-давно превращенных в грязные сараи, сдававшиеся под наемные экипажи; сейчас, когда его мучило от зловония навоза и сгнившей соломы, когда под ногами у него извивались бурые ручейки — вода, которую выплеснули после стирки, — и, обтекая бульжники, тоненькой струйкой сбегали вниз, к улице, — он почувствовал лишь огорчение и досаду, но не испытал того тайного трепета, которым пронизано было далекое детское воспоминание: пустынный двор, над ним усыпанное звездами небо, мертвенная белизна всех этих бульжни-

ков, широко раскинувшаяся, наклонная, а посередине колодец, который начинал вдруг бормотать таинственно и звонко.

Женщины и дети между тем разглядывали его с головы до ног, удивляясь старому длинному сюртуку, который сам он, возможно, считал вполне уместной одеждой для преподавателя, но который, вместо того, придавал ему вид протестантского пастора из других широт и другого племени, и это впечатление усиливалось очками и взлохмаченной гривой, ниспадавшей на сутулые узкие плечи; увидев, что он с тем же выражением досады на бледном лице пошел к воротам, они проводили его взрывом хохота.

Разозлившись, он хотел было тут же вернуться во двор, все еще принадлежащий ему, согнать всех этих женщин с камней, на которых они расселись, и выставить пинками на улицу. Но он уже давно привык взвешивать свои поступки и рассудил, что даже если женщины еще, может быть, помнят о его существовании, им не узнать под этим чужеземным и смешноватым обликом мальчика, которым был он когда-то, потому что он преждевременно постарел и подурнел, ведя жизнь, наполненную нелегким умственным трудом и безрадостную; и, стало быть, ему не следует пускать в ход право собственности, доказать которое ему не дают разочарование и досада — оттого что слишком тягостны старые воспоминания.

Да, впрочем, достаточно было лишь одного из этих воспоминаний, чтобы у него пропала всякая охота ополчаться на сидевших во дворе женщин, — оно все еще жгло его, — то было воспоминание о том, как мать навсегда уходит из этого дома, ведя его за руку, отвернув лицо и придерживая свободной рукой кончик накинутаго на голову черного платка, чтобы скрыть слезы и следы жестоких побоев мужа.

И он, мальчик, был причиной этих побоев, причиной непоправимого разрыва между супругами и последовавшей за тем смерти матери — она умерла от горя всего лишь год спустя; причиной был он, глупец, захотевший в четырнадцать лет рыцарски вступить за мать, отомстить изменившему ей отцу; и он не понимал тогда, как понимал теперь, став взрослым человеком, что мать,

лицо которой было чудовищно обезображено, потому что девочкой она выпала из окна, была вынуждена сносить измену, если хотела жить по-прежнему в доме мужа.

Для него, сына, матерью была именно она. Он не мог себе представить своей матерью другую женщину. Он жил под покровом и защитой бесконечной нежности, светившейся у нее в глазах, которые могли бы быть красивыми — такие черные, — если бы не отставали нижние веки, открывавшие блекло-розовые соединительные оболочки, ибо и веки, и глазницы, и щеки провалились в чудовищно глубокую вмятину, откуда выступал только кончик носа. И в голосе ее он тоже ощущал всю святую и кровную материнскую любовь, не замечая, что голос этот, почти беззвучный, доносится не столько из огромного жалкого рта ее, сколько из ноздрей.

Он знал, что отец, вышедший из низов, стал синьором благодаря жене, и злился, видя, что мать не только не притязает хоть на малейшую благодарность с его стороны, но чуть ли не стелется перед ним во прах лицом вниз — своим несчастным изуродованным лицом! — злился, видя, что она прислуживает ему, как рабыня, выказывая ежеминутно и каждым своим движением благодарность приниженного животного; и вечно ее мучила боязнь не успеть вовремя предупредить желание или погрешность мужа, а всякий небрежный знак его благосклонности она торопилась принять как незаслуженную милость.

Ему еще не было шести, а он уже бунтовал, возмущаясь, и в ярости выбегал из комнаты всякий раз, когда мать, слыша от кого-нибудь упреки в том, что она слишком унижается перед мужем, показывала в ответ на него, на сына; и он затыкал себе уши, чтобы не слышать доносившихся из соседней комнаты слов, которыми она обыкновенно сопровождала этот жест, повисавший в воздухе из-за его бегства: она говорила, что у нее есть ребенок, и, если вспомнить о ее несчастии, это воистину неожиданная награда, посланная ей господом.

В том возрасте он еще не мог понять, что она заслуживала этим оправданием — им, сыном, — чтобы скрыть, может быть, даже от себя самой, то, в чем никому не могла признаться, — жалкую слабость своей несчастной плоти, так приниженно вымаливавшей любовь у этого человека; а ведь она знала, что он душой и телом предан другой женщине, ведь она наверняка замечала, с каким

отвращением он удостаивает ее этой страшной милостью. И вот сын решил, что обязан вознаградить мать за унижение, ибо считал, что она терпит это унижение на глазах у всех ради него.

Было известно, что отец состоит в связи с одной вдовой, простолудинкой, своей двоюродной сестрой, некоей Нуццей Ла Диа; когда-то он был с ней помолвлен, но оставил ее, чтобы жениться на другой, из более высоких кругов и с богатым приданым: уродлива — что ж, потерпим, зато дочь инженера, который помог ему выбиться в люди и, получая столько заказов, сделает его своим компаньоном во всех подрядах.

Паоло знал, что по воскресеньям отец и Нуцца Ла Диа встречаются утром в монастыре святого Викентия, в личной приемной настоятельницы, доводившейся теткой им обоим. Они делали вид, что приходят навестить ее, и старуха настоятельница, возможно, оправдывавшая родством нежную интимность этих встреч, радовалась, глядя на племянников из-за двойной решетки: они сидели за столиком друг против друга — он, самый настоящий синьор в своем синем воскресном костюме — ткань, казалось, вот-вот расползется на могучих плечах, — в твердом воротничке, врезавшемся в темно-багровую шею, и при пунцовом галстуке; она, привлекательная чисто плотской привлекательностью, но безмятежная в своей удовлетворенности, вся в черном атласе, поблескивающая золотом украшений в полутьме приемной, тесной и по-церковному строгой.

Они поклевывали — кусочек ты, кусочек я — невинные монастырские лакомства и попивали из рюмок светлый ликер с коричневым букетом — глоточек ты, глоточек я. И смеялись. И даже старуха тетка, настоятельница, кулем сидевшая за двойной решеткой, откидывалась назад от смеха.

И вот в одно из воскресений он явился туда, чтобы застичь их врасплох.

Отец успел спрятаться за зеленой портьерой, прикрывавшей дверцу, которая была справа; но портьера была коротковата, и из-под бахромы, еще шевелившейся, виднелась пара больших лакированных башмаков, гладких и блестящих; а Нуцца Ла Диа так и осталась сидеть за столиком с поднесенной к губам рюмкой.

Паоло остановился прямо против нее и, немного откинувшись назад, изо всей силы плюнул ей в лицо. Отец за занавеской не пошевелился. И потом, дома, пальцем

его не тронул, слова ему не сказал. Гнев он выместил на матери: избил ее в кровь и выгнал из дому; а потом на глазах у всех переселил любовницу к себе в дом и слышать больше не хотел ни о жене, ни о сыне.

Мать умерла через год, а его поместили в учебное заведение в другом городе, и он никогда больше не видел отца.

И вот теперь, когда он через столько лет вернулся в родные места, никто его не узнал.

Один только человек подошел к нему, но он даже представить себе не мог, кто же это такой: малорослый, закутанный в плащ, нелепый почти до смешного, настолько сам он был маленький, а плащ большой.

Человечек сначала таинственно поманил его в сторону, а потом еле слышным голосом повел речь про дом и про то, что он, Паоло Марра, мог бы предъявить право собственности на двор — либо для себя самого, либо, если для себя не хочет, в пользу одной несчастной женщины, ибо было бы поистине благим деянием вознаградить ее за любовь к его отцу и за преданность, и за то, что она заботилась об отце его до самого конца, когда тот, парализованный и утративший дар речи, был обречен на голодную смерть; то была некая Нуцца Ла Диа, да, она самая; под конец она стала побираться ради его отца и теперь, не имея крова, каждую ночь пристраивается на ночлег в этом доме под лестницей.

Паоло Марра повернулся к человечку и поглядел на него так, словно перед ним был сам дьявол.

И вот в ответ на его взгляд человечек подмигнул ему одним глазом, прижмурив другой с выражением поистине дьявольского коварства. Так, словно это он сам вытолкнул мать в детские ее годы из окна, чтобы обезобразить ее; словно он сделал такой красавицей Нуццу Ла Диа во искушение отцу; и он же надумил мальчика плюнуть в лицо этой красавице им всем на погибель.

И, подмигнув таким манером, дьявол этот запахнулся в свой нелепый плащ, подняв сильнейший ветер, и исчез.

Паоло Марра отлично знал, что все это — лишь игра воображения, порожденная тайными угрызениями совести, уже давно мучившими его за то, что он не захотел позаботиться об отце и допустил, чтобы тот умер в нищете.

И сейчас тоже он ощутил эти угрызения, но заглушил их мгновенно вспыхнувшей ненавистью, хотя и знал, что

слово «ненависть» здесь не годится. Действительно, эту вспышку вызвало другое чувство, которому он так и не пожелал дать точное определение, чтобы не оскорбить воспоминание, мучившее его сильнее всех остальных: воспоминание о матери. А воспоминание это смешивалось теперь с переносимым чувством стыда и унижения, тем более острым, что каждый раз рядом с изуродованным лицом матери в его воображении возникало прекрасное лицо той, другой; и он не мог забыть, как она на него посмотрела, не отерев еще плевка со щеки: неуверенная улыбка изумления, почти радостная, раздвинула алые губы, между которыми блеснула белизна зубов, а в глазах, наоборот, столько боли, столько боли в глазах.

1923 (1924)

НЕМНОГО ВИНА

Я вина не пью и зашел в этот «Погребок» ради заезжего приятеля, который нипочем не может лечь спать, пока не приложится, как к святыне, к добору стаканчику вина.

Два зала с аркой между ними; один зал внизу, другой на три ступеньки выше, оба мрачные, из-за стен, до половины облицованных деревянной панелью. В первом — исцарапанный, грязный, пыльный буфет с напитками, перед ним облезлая стойка; во втором, где мы и уселись, — приземистые столики, покрытые желтым лаком, расставленные по стенам, а с потолка свисают на шнурах четыре голые лампочки.

В начале вечера там было почти что пусто. В углу за столиком, перед выпитой бутылкой, сидели двое, понурив головы, в угрюмом молчании. Неожиданно один из них разинул рот и испустил громкий, протяжный звук, повторяя его еще и еще раз, без конца. Второй почти-точно на него воззрился: «Ну и реवेशь ты, милый мой! — Потом обернулся к нам и добавил: — Смотрите-ка, вот здорово зевает!»

Эта животная скука, нахально выставленная напоказ, еще подхлестнула раздражение, охватившее меня, едва мы пришли; я вскочил и крикнул приятелю:

— Да скорее же, прошу тебя!

Но приятель мой отставил стакан, не выпив еще и половины своего алейтико, черного и густого, как наливка,

полузакрыв глаза и с таким нескрываемым, ребячьим наслаждением пропустил наконец задержанный глоток, что я расхохотался, позабыв досаду. И снова уселся, со стыдом понимая, что потворствую ему в этом наслаждении.

Зал наш понемногу наполнялся. В соседнем играли в карты; оттуда временами доносились вопли, брань, потом все стихало. Выкатив белый глаз и будто посмеиваясь другим, вошел старик с гитарой на шее в сопровождении тощей, жалкой девчонки, с челкой жестких волос на лбу; ни с того ни с сего она запела дурным голосом, таким пронзительным, что все подняли шум и прогнали ее прочь.

Спустя какое-то время к соседнему с нами столику подошла странная пара: старый господин, весьма благородной наружности, шел, выпятив грудь, прямой и застывший, как труп, и вел его за руку молодой слуга с крупной, кудлатой головой, посаженной, казалось, прямо на плечи, с болезненным одутловатым лицом и увядшими кроткими глазами, тусклыми, как больная бирюза. С почтительным вниманием, не выпуская руки хозяина, едва стоявшего на ногах, слуга помог ему протиснуться между столиками, отодвинул стул и бережно усадил его, как куклу; потом вышел в другой зал и тотчас же вернулся с поллитровой бутылкой белого вина и бокалом, поставил их на столик и удалился.

Старик сидел неподвижно, положив руки на сдвинутые колени. У него было прекрасное, хоть и изможденное лицо полковника в отставке, на щеках густая сеть багровых прожилок, а глаза, широко расставленные, немного раскосые, были совершенно рыбы. Одет он был хорошо, опрятно и просто. Но как страшно, как грустно бывает, когда вдруг поймешь, по фасону, или по цвету, или по сорту ткани, что костюм-то шит три-четыре года назад, а сидит на таком старике, как новехонкий, без единой складки, без единого пятнышка! Глядя на него, ясно представляешь себе, что в новом костюме четырехлетней давности щеголяет покойник и, должно быть, сам чувствует себя в нем покойником.

Доказательством послужила муха. Она назойливо привязалась к старику, как только он уселся. Но он ни разу не пошевелил рукой, чтобы отмахнуться. Мне сразу подумалось, что он просто не может этого сделать, и я не мог совладать со своим волнением, глядя, как муха жадно всасывает капельки пота, выступившие у него на лбу. Я уже собрался было прогнать ее, когда он вдруг

потихоньку повернул ко мне голову и сказал с лукавой и грустной улыбкой:

— Вот, бывают такие мухи, не успел человек умереть — она уже об этом знает, а кто ей сообщил — неизвестно! А едва узнает, сразу пристанет, не терпится ей выпиться смертным потом.

С этими словами он вернулся в прежнюю позу и снова застыл в неподвижности.

Конечно, не было случая, чтобы мертвец, лежа на кровати меж четырех горящих свечей, поднял руку и прогнал муху со лба или с носа. Но ведь этот старик, черт побери, как бы ни напоминал он труп всем своим видом, сидел в распивочной и только что разговаривал, повернув ко мне голову. Видимо, он только руками не мог пошевелить. Поэтому бутылка вина и стояла перед ним на столике нетронутой, рядом с пустым бокалом. Я поискал глазами в соседнем зале слугу, полагая, что он, должно быть, разговорился с кем-то и забыл прийти и обслужить хозяина, но не увидел его; тогда, не в силах больше выносить неподвижность этого бедняги, я протянул руку к бутылке, чтобы налить ему вина и помочь выпить. Но, к моему изумлению, тот внезапно поднял руку, лежавшую на колене, и удержал мою. Затем улыбнулся, еле заметно наклонив голову, опять положил руку на колени и сказал мне:

— Спасибо, не беспокойтесь: я не пью.

Я с удивлением посмотрел на него, посмотрел на бутылку, как бы спрашивая его, зачем же слуга ее тут поставил; старик прочитал немой вопрос у меня в глазах и отвечал:

— Это одна видимость. Не вино.

— Не вино? А что же?

— Да ничего. Водичка. А вино-то я пью, пусть самое крепкое, мало пью, но не разбавляю. Попробуйте налейте мне немножко того, что пьет ваш друг, и увидите, что будет!

Меня разобрало любопытство; я взял у моего приятеля бутылку алейки и уже собрался было налить немного в бокал старика, как вдруг из соседнего зала прибежал слуга, видимо прятанный там, накрыл ладонью бокал и в негодовании простонал:

— Синьор маркиз! — Затем обернулся к нам: — Синьоры, бога ради! Винить-то будут потом меня!

И ушел, захватив с собой бокал.

Старик опять усмехнулся своей лукавой, грустной

улыбкой, слегка покачивая головой, потом прикрыл глаза и глубоко вздохнул:

— Бедный Костантино!

Я решил, что все это не стоит больше принимать всерьез, и спросил:

— Что, запрещает вам пить?

Он ответил:

— Запрещает-то не он, а мой сын; и вовсе не потому, что заботится о моем здоровье, а потому, что боится, как бы честь семьи не пострадала, если я немного разве-селюсь от капли неразбавленного вина. Костантино тоже не отказался бы выпить. Да не может, под страхом смерти. Тяжело болен, бедняга. Тяжелая болезнь и большая семья. И я из сочувствия к нему воздерживаюсь, не пью. Его в два счета выгонят, если я приду домой не то что навеселе, а так, чуть-чуть оживленным. Поверьте — оживленным, не более; я ведь всегда, без исключения, держусь хорошего правила: пью ровно сколько надо, ни капли больше, ни капли меньше. Каплей больше — веселье разгорается чересчур; каплей меньше — не загорается вовсе; а если веселье не загорается, грусть начинает чадить. Приведу вам пример: днем, на похоронах, дорогой сеньор, горят факелы. Пламени вы на свету не видите. А что вы видите вместо него? Один только дым. Вы меня поняли?

Пальцем он начертил в воздухе, как вьется дым, и замолчал.

По правде говоря, теперь, вспоминая наш разговор, я не нахожу в этом примере той четкости сопоставления, какая требуется по правилам риторики, чтобы пример был убедительным. Но тогда его слова, произнесенные слабым голосом с изысканной вежливостью и погребальной чинностью, показали мне чрезвычайно убедительными, более того — исключительно уместными и точными. Старик опять заинтересовал меня, и я с новым, живейшим любопытством спросил, зачем он ходит со слугой в распивочную, если ему нельзя пить.

— Эх, зачем! — вздохнул он. — Затем, чтобы посмотреть, как моя печаль (а она велика!) стоит под дверью, словно бедная нищенка, а приоткройся чуть-чуть эта дверь — и черная моя печаль тотчас заалеет, как ягодка-клубничка. Вы молоды; вы любите, надеетесь, желаете; весь мир предстает перед вами, как ваша любовь, ваша надежда, ваше желание; а что, если, на свою беду, вы их утратите? Мир ваш сразу станет другим. Но станет ли

он тогда более истинным, чем нынешний, когда вы любите, надеетесь, желаете? Все эти чувства — невоплощенное вино. А мне, старику, если я хочу, чтобы мир казался мне еще сносным, надо влить в себя немного — чуть-чуть — вина воплощенного. Моему сыну это неудобно, он бережет честь семьи. И к тому же бедный Костантино... Вот я и нахожу утешение здесь, где мне дано понять, что великая моя печаль, несомненно, истинна, но стоит мне выпить глоток вина, как ее не станет. Вы можете возразить, что тогда и веселье мое не будет истинным, если причиной ему послужит выпитый глоток. И я не отрицаю этого. Но начнем сначала: что на свете истинно, дорогой синьор? Разве не все зависит от того, что мы влили в себя, чтобы создать ту или иную истину? Вот, извольте послушать...

Оба зала распивочной, поначалу казавшиеся мне такими мрачными, теперь были наполнены веселым гулом. Я осмотрелся кругом и увидел, что все лица стали другими, одни сияли улыбками, другие горели румянцем. Четверо, сидевшие за одним из столиков, расправили плечи во всю ширь, потянулись друг к другу, тесно сдвинули головы и с восторгом затаили какую-то песню, мыча закрытыми ртами. Кто-то горланил, кто-то хохотал. Тогда я перевел взгляд на старика, который снова погрузился в ужасную неподвижность трупa, сидящего на стуле в аккуратном костюме, и, вспомнив слова, только что им сказанные, почувствовал глубочайшую к нему жалость. Муха опять сидела у него на покрытом испариной лбу. Я наклонился к нему и тихо сказал:

— Простите, не могли бы вы по крайней мере прогнать со лба эту муху?

1923 (1924)

ПРАХ

Сущее наказание для своих племянников, которые, однако же, должны были сильно его любить, раз уж терпели даже после того, как сняли с него последнюю рубашку, синьор Федерико Бьёбин, или, как его называли, дядя Фифо, — маленький человечек с лысой грушевидной головкой и острой мышинной мордочкой, на которой топорщились десятка два — по десятку с каждой стороны — жестких крашенных волосков, подымался обыч-

но затемно и сразу же начинал тихонько шастать по дому, сопя, отхаркиваясь, гримасничая, словно желая доставить постоянное упражнение своему востренькому носику и губам, оснащенным теми самыми двумя десятками волосков, и шастал до тех пор, пока все вдруг не просыпалось от грохота мисок, валившихся в кухне с сушилки, или ящиков, один за другим рушившихся в кладовке.

Сбегались все — кто в рубашке, кто в пижаме, кто в нижней юбке.

— Дядя, что ты делаешь? Что случилось?

Отвечал он обычно самым неожиданным образом:

— Ничего. Вы чувствуете, какая все-таки идет вонь от этой старой мебели?

Словно весь этот шум произвел не он, и словно он его вообще даже не слышал: спокойно и как бы утомленно он еще замечал, как было здесь тихо до их прихода.

Не проходило дня без чего-нибудь вроде этого. И самое интересное, что все эти его дурацкие выходки, раздражавшие племянников и служанок до того, что их буквально трясло, он рассматривал как свои им услуги. Он способен был целый день проторчать на кухне, нареза бумагу полосками и пытаться склеить ими разбитое стекло в дверях, выходявших на какое-то подобие террасы, где была расположена ужасно воняющая уборная. Кухарка была вне себя.

— Если вы чувствуете, как воняет старая мебель, как вы не чувствуете вони из этой уборной?

Но вот этого он как раз не чувствовал и продолжал, сопя, отхаркиваясь и гримасничая, наклеивать на стекло полоски бумаги.

Или вот он в саду яростно сражается со створкой калитки, которая, увязнув в земле, не желает открываться ни внутрь, ни наружу. Посинев от прилива крови, со вздувшимися на черепе венами, он так тряс калитку, что прутья ее прогибались, а руки у него, казалось, вот-вот оторвутся от тела. Племянники кричали из окон:

— Брось, дядя! Ты что, не видишь — она не открывается?

— Чтобы я да бросил? Или открою, или сдохну!

Но и калитка не открывалась, и он не издыхал: он возвращался в дом еле живой, мокрый от пота и протягивал свои доведенные до отчаянного состояния крохотные ручки, чтобы ему смазали их маслом и забинтовали.

Когда ему надоедало связываться со своими, он выходил из дому и досаждал людям на улице: если, к примеру, дождь начинал лить как из ведра, он становился на тротуаре таким образом, чтобы на его зонт хлестала вода из водостока, и было так очевидно, что он делал это нарочно, что у прохожих являлось искушение схватить его за руку и оттащить от стены, к которой он прислонялся. Испытываемое им при этом злорадство кривило уголки его рта вместе с двадцатью дыбом стоявшими над ним волосками в том едва заметном оскале, какой бывает у злых собачонок.

Последнее, что он выкинул, это была покупка серого плаща из альпака, который он принял за халат; племянники, посмеявшись, объяснили ему, что это дорожный плащ.

— Дорожный? В таком случае я собираюсь в дорогу.

— В какую дорогу? Куда?

— Поеду в Бергамо, к Эрнесто, попрощаюсь с ним, перед тем как он уедет в Геную, а оттуда в Америку.

И невозможно было отговорить его от этой блажи — вот так вот вдруг сорваться и поехать! Хотя для бедняги Эрнесто этот визит посреди предотъездной суеты, накануне отплытия в Америку должен был быть скорее досадной помехой, чем радостью, но раз так, то — тем более! А то, что врач велел ему соблюдать покой и не переутомляться, так как он страдал склерозом сердца, что же, и это — тем более! Он желал умереть. Что? Умереть в Бергамо, в то время как Эрнесто уедет из дому? Да, господа, умереть в Бергамо, в покинутом доме.

И он уехал в этом своем сером плаще, и, к сожалению, опасения насчет риска, которым грозило это путешествие, опасения, которые римские племянники хотели посеять в нем нарочно, сами в них не веря, — эти опасения полностью оправдались. Неожиданное известие о смерти дяди Фифо в тот самый день, когда он приехал в Бергамо, повергло римских племянников в полуобморочное состояние: и из-за того, что они предсказали эту смерть, сами в нее не веря, и из-за того, что, предвидя ее, но в нее не веря, они позволили ему уехать.

Причинив, таким образом, племянникам, находившимся далеко, эту последнюю неприятность, а тому, что был рядом с ним, в Бергамо, не только последнюю, но и чрезвычайно серьезную, дядя Фифо, покоившийся на железной кровати посреди поставленного вверх дном дома, такой худенький, в том самом аккуратном сером

плашике, из-под которого выглядывали две маленькие сомкнутые ступни, казался не просто довольным — он прямо-таки блаженствовал.

Среди всей этой мебели, сдвинутой со своих мест и жавшейся к стенам, только его железная кровать и оставалась нетронутой, и он лежал в ней так покойно и так удобно, в окружении четырех свечей — две в головах и две в ногах, сложив крохотные ручки на чуть вздувшемся животе.

И в самом деле: свою задачу приехать в Бергамо, чтобы там умереть — на радость племяннику Эрнесто, и без того захлопотавшемуся с отъездом, — он выполнил; теперь уж это было дело других — вывезти его отсюда и либо похоронить на кладбище в Бергамо, либо, если решат положить его в семейном склепе, отослать тело в Рим.

Племянник Эрнесто решил, что проще будет отослать его в Рим и предоставить тамошним кузенам остальные хлопоты и траты по похоронам; у него и так оставались считанные минуты, по прибытии в Геную он едва успевал подняться на пароход.

Однако, к несчастью, когда он приступил к пересылке, он решил, что слово «прах» будет в данном случае звучать лучше, чем грубое слово «труп» — как-то в нем было больше скорби и благородства; а может быть, он прибегнул к нему еще и потому, что хотел как-то компенсировать проклятия, которые он обрушил на бедного дядю, когда увидел, что в его предотъездной хаос затесался еще и покойник.

И вот когда — с целой горой венков и великолепным катафалком, запряженным четверкой коней, и в сопровождении доброй сотни друзей, знакомых и представителей разных братств с хоругвями и стягами, и со священником, который должен был благословить прах, и тянувшимися следом двумя вереницами монахов и монахинь — римские племянники прибыли на вокзал встречать гроб, за это самое слово, в котором было столько скорби и благородства, таможенный чиновник предъявил им штраф в несколько тысяч лир.

— Штраф? За что?

— За подлог в документе!

— Какой подлог?

— Уж не думаете ли вы, господа, что гроб можно безнаказанно именовать прахом? Прах — это одна статья, прах — это горсточка пепла и костей в жестяной

банке, и оплачивается он по определенному тарифу. Гроб — это совсем другая статья. Каким бы он ни был маленьким, платить за него надо как за гроб! Совсем другой тариф!

Племянники заявили, что кузен Эрнесто не мог сознательно совершить подобного обмана. Но так это или иначе, все равно: если штраф требуется платить, то платить его должен отсылавший, а не тот, кто явился за получением. Что касается их, то они-то даже готовы оплатить разницу в тарифе, поскольку речь действительно идет о гробе, а не о прахе (хотя на первый взгляд в подобной дифференциации было что-то софистическое!), но — штраф? Нет, нет и нет! Они ни в чем не виноваты, кузен Эрнесто уже отплыл в Америку, и, следовательно, отвечать за ошибку (ради бога, не будем употреблять слово «подлог»!) должна экспедиция бергамской таможни, которая, не заметив, пропустила в качестве праха целый гроб. Чтобы успокоить начальника вокзала, вызванного в поддержку офицеру таможни, племянники дали ему понять, что готовы даже извинить экспедицию бергамской таможни; они объяснили, что кузен Эрнесто за эти дни должен был переслать через нее бог знает сколько багажа, а так как всему городу было известно, что он вот-вот покинет Италию навсегда, таможенник, занимавшийся пересылкой, вполне мог подумать, что он отправляет также и прах какого-нибудь родственника, давно похороненного на бергамском кладбище, не желая оставлять его здесь. Так что вина его только в том, что он не проверил все собственными глазами. И вот за это платить штраф? Так вот, если штраф действительно нужно платить, то пусть его и платит тот таможенник, а не они, которые здесь ни сном ни духом не виноваты.

А пока в таможне шел этот спор, прибывшие на похороны, все в черном, все в цилиндрах, отхлынули от центра площади и выстроились в ряд у самой стены, ища защиты от палящего августовского солнца, близкого к полудню. Вдоль стены была полоска тени, но такая узенькая, что не покрывала даже кончиков ног; вокруг же все было раскалено и слепило от солнца. Вытянувшись в струнку под самой стеной, все стояли и как зачарованные разглядывали застывший посреди площади огромный катафалк; он, с его мрачной чернотой и позолотой, казался каким-то чудовищным, привидевшимся всем кошмаром, так же как и эти бесстрастные, с опущенными глазами монахини в черных остроконечных ка-

пошонах, в рясах из грубой коричневой ткани, в накрахмаленных белых нагрудниках, скромных, но позволявших угадать скрываемые ими формы тела, с зажженными свечами в руках. Да, боже мой, какие там свечи! Пламени не было даже видно в слепящем солнечном свете, один только едва заметный дрожащий дымок. Но что случилось? Почему не выносят гроб? Чего ждут? Сначала пошли узнавать, в чем дело, самые нетерпеливые, а потом, один за другим, и все остальные — кроме возницы катафалка, монахов с монахинями и хоругвеносцев — перебрались в восхитительную прохладу таможни, которая представляла собою высокий просторный склад, где по стенам громоздились друг на друге ящики, тюки и пакеты.

Там эхом отдавались крики спора между племянниками умершего, с одной стороны, и таможенниками во главе с начальником вокзала — с другой. Начальник вокзала был непоколебим: или штраф, или никакого вам гроба! Старший из племянников в ярости пригрозил, что в таком случае оставит гроб здесь. Покойник — это не тот товар, который можно продать с аукциона. Хотел бы он поглядеть, что начальник вокзала будет с ним делать! А начальник с насмешливой улыбкой отвечивал, что, получив разрешение — уж он знает у кого! — он пошлет двух могильщиков похоронить труп, а заняться штрафом, тарифами и похоронными расходами потом спокойно смогут и судебные исполнители. Этот ответ был встречен негодующим гулом, и тогда второй племянник, ободренный всеобщей поддержкой, призвал начальника поостеречься выполнять свою угрозу: в этом случае администрации придется ответить за причиненный ею моральный и материальный ущерб, потому что дядя их — это не собака какая-нибудь, чтобы хоронить его подобным образом. Вон — сотни людей со стягами и хоругвями пришли воздать ему заслуженные траурные почести, и священник тут, и монахи, и монахини с сорока свечами, и катафалк первого класса!

Но тут багровые, как индюки, в белых рубахах, которые в горячке спора вылезли у них из рукавов и на животе, из-под жилета, оба племянника были выведены вон и ушли, дрожа от негодования и плача от ярости.

Но когда, подпрыгивая на мостовой, так и отправившись обратно пустым этот словно в кошмаре привидевшийся всем катафалк и монахини стали переворачивать свечи, туша их об землю, все, даже едва владевшие собою

племянники, почувствовали вдруг облегчение: как будто, раз похороны откладывались, дядя Фифо вроде бы и не умирал!

Да и как можно было считать его умершим, если он и сейчас с таким упорством продолжал делать то, что делал в течение всей своей жизни: доставлял людям хлопоты и неприятности.

Я знаю, не было случая, чтобы покойник оторвал от груди руки и согнал с носа муху, но я вполне могу себе представить, что, лежа в своем двойном, орехово-цинковом гробу, дядя Фифо, оставшись наедине с почесывавшим себе голову начальником вокзала, — дядя Фифо оторвал-таки от груди свои крохотные ручки и потер их одна об другую с самым искренним удовольствием.

1924 (1925)

СКАМЬЯ ПОД СТАРЫМ КИПАРИСОМ

Даже в лучшую свою пору (а о ней еще многие помнили) он был из тех людей, чье поведение всегда остается непонятным: то они смотрят на тебя как-то по-особенному; то смеются ни с того ни с сего, прямо тебе в лицо, безо всякого повода; то вдруг поворачиваются к тебе спиной, и ты сразу чувствуешь себя дураком. Сколько ни имеешь с ними дела, ты никогда до конца не узнаешь, что там у них кроется в глубине души; вечно они рассеянны, вечно где-то витают; однако в какой-то миг, когда ты вовсе этого не ждешь, они приходят в ярость из-за такой ерунды, которую и замечать-то не стоило, или, того хуже, ты с чувством какого-то унижения неожиданно узнаешь, что они давным-давно, по неизвестной причине, затаили против тебя глубокую и коварную злобу и в то же время не отказывают в дружбе и уважении людям, весьма дурно поступившим с ними не далее как месяц тому назад.

Странной и несколько смешной были и наружность его, и манера держаться. Ноги, без того достаточно толстые, казались палками в узких, как у циркового наездника, брючонках; пиджак, неизменно двубортный, был ему всегда настолько тесен, что туловище походило на торс манекена, привинченного к трехногой подставке и выставленного в магазине готового платья. А над этим туловищем — маленькая головка, торчком сидящая на непо-

мерно длинной шее, нафабранные усики и живые, пронзительные птичьи глазки, моргавшие беспрестанно.

Каждому, кто знал, что это один из лучших адвокатов в наших краях, невольно при виде его хотелось разделить его другой внешностью. Но адвокат Лино Чимино в ответ на их разочарование хохотал им в лицо, как всегда.

Кое-кто из приятелей, искренне к нему расположенных, не раз пытался внушить ему, что такому человеку, как он, надо бы воздержаться от иных разговоров, иных поступков и не давать то и дело пищу сплетникам, вынося на люди тайные горести семейной жизни.

Да куда там! Он словно испытывал бесстыдное наслаждение, делаясь предметом всеобщего злословия. Так, например, размахивая что было сил руками, он в самых безобразных выражениях громко зывал к небу о мщении за то, что жена четыре раза подряд приносила ему девочек; будто она проделала это нарочно, чтобы показать всем, что он — да, черт возьми, он, именно он! — не способен произвести на свет ребенка мужского пола! Нелепые вспышки ярости привели наконец к тому, что друзья, чтобы его не расстраивать, мало-помалу прекратили свои уговоры.

Трудно было поверить, что такой талантливый человек может с головой погружаться в убогие, ничтожные мелочи жизни и в то же время волновать и потрясать слушателей, когда его внезапно осенит вдохновение или когда, разбирая какой-то сложный, запутанный случай, он приводил доводы, в свете которых все становилось ясным и понятным.

В доме у него, однако, царил сущий ад из-за постоянных ссор с женой, то и дело грозивших семье полным развалом. То один, то другой из его друзей вынужден был откликаться на его зов и приходить, чтобы восстановить там мир; особенно часто выпадало это на долю одного из них, кому Чимино, по своей привычке неожиданно дарить кому-то свою дружбу, внезапно стал полностью доверять; на этот раз, впрочем, по общему мнению, выбор его оказался разумным: то был молодой адвокат Карло Папия.

Чимино пригласил его в свою адвокатскую контору, как только тот получил университетский диплом. Все четыре девочки, тогда еще маленькие, едва завидев, как он торопливо направляется к их дому, бежали ему навстречу, зная, что с его приходом на лицо матери и даже

отца вернется улыбка; как только в доме восстанавливался мир, девочки звали его гулять и наперебой хватались за него, каждая хотела, чтобы он шел с ней за руку, а он с шутивным отчаянием объяснял, что у него только две руки и поэтому он никак не может угодить всем четверем. Друзья, видя, как он идет по городу с этими ласковыми, щебечущими девчушками, радушно приветствовали его и предсказывали, что теперь, когда Чимино ему покровительствует и он стал любимцем семьи, окупятся наконец все жертвы, принесенные за годы его учения несчастными, давно обедневшими родителями.

Но можно ли безнаказанно брать в посредники между собой и молодой женой человека еще моложе, чем она, с приятной наружностью, приветливого в обхождении да еще старающегося установить в доме любовь и согласие? Как только измена была обнаружена, Лино Чимино повел себя так странно, как умел вести себя только он. Нелепость следовала за нелепостью, одна глупее другой. Всем известно, что иные происшествия нипочем не скроешь, не сохранишь в тайне от людей; как ни старайся, новость просочится то тут, то там, пока не станет общим достоянием, и только из жалости все делают вид, будто ничего не знают. Но куда хуже самому поднять шум, а потом, поняв, как далеко зашло дело, вдруг остановиться, застыть среди позора, собственными руками выставленного напоказ, и странным бездействием обмануть ожидания окружающих.

Сперва Чимино выгнал из дому жену, но даже не подумал отомстить любовнику, а, напротив, заявлял всем и каждому, что благодарен ему за услугу; потом, из жалости к дочкам, разрешил жене вернуться при условии, что она никогда больше не увидится с любовником; но стоило ему в первый раз встретить Папия на улице, как он выхватил из кармана револьвер и — пиф-паф — давай палить, себя не помня; прохожие разбежались кто куда; Папия отделался легкой раной в руку, а его противника схватили двое полицейских. Когда суд его оправдал, он построил себе двухэтажный особнячок, видом смахивающий на тюрьму, поселил жену с дочками в верхнем этаже, а сам жил внизу и водил к себе на ночь девок, всех одного пошиба, — словом, вел себя так глупо и постыдно, что растерял бы вместе с уважением друзей еще и всех клиентов, если бы страх, что он может оказаться на противной стороне, не удержал их от желания обратиться к другим адвокатам.

Знаете, как бывает, когда вдруг схватит страшная резь в животе, такая, что дыхания не переведешь, не поймешь, как и куда повернуться, цепляешься за кровать, готов на стену лезть, рад бы кричать, да не хватает сил; все окружающее, на что ни посмотришь, вызывает нестерпимое отвращение, в особенности лекарства, которые наперебой предлагают те, что стоят рядом, смотрят на тебя и мало-помалу раздражаются, глядя на твои муки; и тебе становится легче от их раздражения, будто это единственная отдушина, найденная тобой, никем не предложенная.

По счастью, такие приступы быстро проходят. Но адвокату Лино Чимино боль свела внутренности и не отпустила, а грызла его год за годом.

Жена снова находилась у него в доме, любовник спокойно уехал из города, после того как Чимино был оправдан, и все находили дальнейшую месть ненужной и дальнейшую шумиху бессмысленной.

Однако ему было мало того, что жена его жила, словно в заточении, и даже в окно не могла посмотреть, так как ставни были всегда закрыты. Ему было мало этого, потому что при ней оставались девочки (но ведь и это, если угодно, заслуживало осуждения, ибо не может хорошо воспитать детей женщина, позабывшая, что она мать, и ставшая плохой женой); к тому же, лишившись свободы и общения с людьми, она была зато избавлена от его присутствия и в то же время сама по-прежнему была ему в тягость. Живя внизу, он слышал, как она ходит у него над головой, не раз слышал также, как она поет и смеется. Он довел до полного разорения родителей Папия, и без того живших в нужде, и продолжал втайне преследовать их сына; но и этого ему было мало, так как он знал, что уехал Папия не из-за его преследований, а из-за сыпавшихся на него отовсюду попреков в том, что он-де, как последний дурак, поддался соблазну любовной интрижки и причинил такое зло своему благодетелю, а также самому себе и своим родным. А если так (и Чимино понимал, что так оно и есть), то он, Чимино, продолжает втаптывать его в грязь скорее на радость другим, нежели себе. И ему, пожалуй, хотелось, чтобы кто-нибудь, наперекор всем, уговорил этого дурака пренебречь всеобщим осуждением, вернуться сюда и вызвать в нем куда более неистовый гнев, возродить в нем ярость куда более страшную.

Но никто и пальцем не пошевелил; и мало-помалу

вовсе испарились и гнев, и ярость. О Папия ничего не было слышно. Шли годы; и когда девочки выросли, вышли замуж за клиентов отца и те развезли их, униженных и расстроенных, без свадебных торжеств по разным провинциальным городкам, никто не задумался, как теперь сложится жизнь Чимино в опустелом доме, где жена, в одиночестве, жила наверху, а он, в одиночестве, внизу.

Бурные чувства, кипевшие в нем в ту далекую пору, остыли в унылой повседневности жизни, и само воспоминание о них, быть может, было погребено и забыто.

Но воспоминание это пробудилось, неожиданно-негаданно, ожило на глазах у всех, подобно ужасному призраку, и всем почудилось, будто неведомое правосудие годами втайне готовило страшную кару; на улицах города неизвестно откуда появился, с одной стороны, Папия, просивший милостыню, оборванный, истощенный, неузнаваемый, с растрепанной уже седой бородой, полуслепой, а с другой — Чимино, превратившийся в собственную тень после нескольких месяцев, что он просидел взаперти у себя дома, скрывая какую-то тяжелую болезнь. А затылок-то у него, боже мой, раздулся над воротничком чуть ли не на ладонь, весь лоснился и так затвердел, что головы не поднять, будто под ярмом; подбородок уткнулся в шейную ямку, а глаза застыли в мучительной, пугающей неподвижности на бледном, исхудавшем и в то же время отечном лице, осыпанном черными точками вроде тех, какими бывают испещрены камни старых домов. Коварная болезнь, много лет таившаяся в нем после бурной жизни и постоянных безумств, которым он предавался в отместку за измену жены, теперь захватила его врасплох и беспощадно впилась в затылок, до непристойности обнаженный и затвердевший.

Но глаза его, застывшие в нестерпимой муке, все еще горели таким ярким огнем, что никому не могло прийти голову, будто рассудок его помрачился. Однако глаза эти внушали ужас. И клиенты, один за другим, покидали навсегда кабинет, где он с прежней точностью ждал их по утрам, сидя за письменным столом, уже не заваленным, как раньше, бумагами, не сводя глаз с пожелтевшей, некогда зеленой портьеры, которую никто уже не отдернет. В привычный час он запирал кабинет и шел прогуляться по пустой аллее за городскими воротами, откуда открывался прекрасный вид на холмы и долины.

На повороте аллеи, там, где она поднималась по довольно крутому склону соседнего холма, стояла, под ки-

парисом, скамья. Деревья, образующие аллею, были молодыми и свежими. Один только кипарис казался здесь чужим и одиноким. Хвоя давно с него осыпалась, и на старости лет он стал похож на огромный шест, мертвый и гладкий, увенчанный реденьким султаном, похожим на щетку для чистки ламповых стекол. Никто не приходил посидеть на скамейке под сенью этого старого, зловещего кипариса. А Чимино как раз там-то и сидел долгими часами, неподвижный и мрачный, как пугало, кем-то посаженное тут смеха ради.

Был еще ранний вечер, но уже почти что стемнело. Сидя на скамье, Чимино увидел, что по пустой аллее идет Папия, протянутой рукой как бы отгоняя темноту, а другой рукой, с палкой, нащупывая дорогу.

Чимино окликнул его.

Скамья стояла на виду и в то же время словно пряталась в полумраке, как все, что смутно видишь в сумерках.

Полуслепой Папия услышал голос и вытянул шею, чтобы разглядеть, кто его зовет; узнав Чимино, он сперва вздрогнул, а потом разразился рыданиями, булькавшими где-то в животе и сотрясавшими все его тело; он упал на скамью; громко плакать он не мог и только жалобно и непрерывно скулил и хлюпал носом.

Оба молчали.

Услышав, как плачет Папия, Чимино, все так же не поворачивая головы, протянул руку и тихонько похлопал его по колену.

Так они и сидели, внезапно сближенные острой горечью всего, что пережили по обоюдной вине; и горечь эта порожидала в них, быть может всего на мгновение, безысходную жалость, не приносящую утешения ни тому, ни другому.

1924 (1925)

ДУНОВЕНИЕ

I

Бывает так, что какая-то новость застанет нас врасплох и до того ошеломит, что мы поневоле находим выход в самом избитом восклицании, в самой пошлой фразе. Вот, например, когда молодой Кальветти, секретарь моего друга Бернабо, сообщил мне, что

у Массари скоростижно умер отец, у которого мы с Бернабо совсем недавно завтракали, я воскликнул: «Вот что такое жизнь! Дунешь — и нет ее!» И, приставив указательный палец к большому, будто держал ими перышко, дунул на них.

Но не успел я это сделать, как молодой Кальветти переменялся в лице, согнулся пополам и схватился рукой за грудь, будто почувствовал острую боль где-то внутри. Я не придал этому особого значения, ведь было бы абсурдом предположить, что Кальветти стало дурно из-за моего дурацкого замечания и нелепого жеста, которым я его вдобавок пояснил. Я просто подумал, что его, должно быть, кольнуло то ли в печень, то ли в почки, то ли в сердце, но, что бы это ни было, все скоро пройдет, ничего серьезного тут нет. Да только в тот же день, поближе к вечеру, ко мне влетел совершенно потрясенный Бернабо:

— Знаешь, мой Кальветти умер.

— Умер?

— Сегодня, скоростижно.

— Да ведь он сегодня был у меня. Постой, в котором же часу? Пожалуй, в три.

— А в половине четвертого умер!

— Через полчаса?

— Через полчаса.

Я сердито посмотрел на него, будто он, подтвердив мои слова, установил какую-то связь (но какую?) между приходом ко мне несчастного юноши и его внезапной смертью. Что-то побуждало меня поскорей отделаться от этой связи, пусть даже случайной, — может быть, я опасался укоров совести. Мне захотелось объяснить его смерть любой причиной, лишь бы она не имела отношения к его приходу; и я рассказал Бернабо о внезапном недомогании молодого человека, когда он был у меня.

— Ах, вот как? Недомогание?

— Вот что такое жизнь! Дунешь — и нет ее.

Да, я машинально повторил эту фразу, потому что пальцы моей правой руки, указательный и большой, украдкой, сами по себе, соединились, а рука, сама по себе, незаметно для меня, поднялась к губам. Клянусь, я не хотел, сознательно, никакой проверки, скорее мне просто вздумалось подшутить над собой, а сделать это я мог только тайком, чтобы не показаться смешным, и, когда пальцы мои оказались возле губ, я потихоньку дунул на них.

По лицу Бернабо видно было, как он расстроен смертью своего молодого секретаря, к которому был очень привязан; мне и раньше случалось видеть, что стоило ему, человеку тучному, полнокровному, с короткой шеей, пробежаться или даже просто ускорить шаг, как его уже мучила одышка и он хватался рукой за сердце, чтобы успокоиться и перевести дух; и сейчас, когда он сделал этот жест и сказал, что задыхается, а в голове у него мутится и в глазах темнеет, разве мог я что-то заподозрить, боже правый?

Несмотря на всю мою растерянность и смятение, я сразу бросился на помощь моему бедному другу, который рухнул навзничь в кресло, хватая ртом воздух. Но он с яростью оттолкнул меня; тут уж я вовсе перестал что-либо понимать, застыл в каком-то бесчувственном оцепенении и все стоял и смотрел, как он бьется в этом ярко-красном плюшевом кресле, будто сплошь залитом кровью, бьется уже не как человек, а как раненый зверь, и дышит все тяжелее, и лицо его из багрового становится чуть ли не черным. Одной ногой он уперся в ковер, для того, быть может, чтобы приподняться без чужой помощи, но на этом силы его окончательно иссякли; я увидел, будто в дурном сне, как выскользнул из-под его ноги край ковра и свернулся в трубку. На другой ноге, переброшенной через ручку кресла, задралась штанина и показалась шелковая подвязка, зеленоватая, в розовую полоску.

Прошу не судить меня слишком строго: вся моя тревога как бы раздробилась, рассеялась; я даже мог как ни в чем не бывало вовсе позабыть о ней, стоило мне с привычной неприязнью взглянуть на уродливые картины, висевшие у меня на стенах, или упереться взглядом в эту зеленоватую подвязку с полосками. Но вдруг я опомнился, ужаснувшись, как мог я в такую минуту настолько отвлечься от происходящего, и крикнул слуге, чтобы он поскорее привел извозчика и помог мне перевезти умирающего в больницу или к нему домой. Пожалуй, лучше домой, решил я, это ближе. Он жил не один, а со старшей сестрой, не то вдовой, не то старой девицей, управлявшей его жизнью с невыносимой, мелочной педантичностью. Бедная женщина побелела как полотно и схватилась за голову: «О боже, что случилось? Как это случилось?» И пристала ко мне с ножом к горлу — черт ее побери! — чтобы я рассказал ей, что случилось да как оно случилось, именно я, и никто другой и именно сей-

час, когда я вконец обессилел, пока тащился, пятясь, вверх по бесконечной лестнице, изнемогая под страшной тяжестью бесчувственного тела. «На кровать! На кровать!» Похоже было, что она сама не знает, где эта кровать, а мне казалось, что я никогда туда не доберусь. Он все хрипел, пока я его укладывал (да я и сам хрипел), а потом я, смертельно усталый, привалился к стене и, наверно, грохнулся бы на пол, если бы меня не успели подхватить и усадить в кресло. Беспомощно тряся головой, я все же сумел сказать слуге: «Врача, врача!» — и тут же у меня опустились руки при мысли, что я останусь наедине с этой женщиной и она накинется на меня с расспросами. Выручила меня тишина, внезапно наставшая в комнате: хрип прекратился. На мгновение мне почудилось, будто все в мире смолкло, — да так оно и было для несчастного Бернабо, лежавшего на кровати, уже ничего не слыша, ничего не чувствуя. Затем раздались истошные вопли его сестры... Я обомлел. Как вообразить, а тем более поверить, что возможен такой чудовищный случай? Мысли мои разбредались во все стороны. Но как ни был я потрясен, мне невольно показалось забавным, что бедная женщина, всегда называвшая брата Джулио, теперь без конца повторяла: «Джульетто! Джульетто!», хотя никакие уменьшительные не подходили сейчас к этому тучному, неподвижному телу. Потом настала минута, когда я в ужасе вскочил с кресла. Покойника словно разозлил крик «Джульетто! Джульетто!» — и он возразил страшным урчанием в животе. На этот раз я в свою очередь поддержал сестру его, не то она со страху грохнулась бы на пол; она потеряла сознание, едва я подхватил ее, и вот, когда она без чувств лежала у меня на руках, а тот, мертвый, лежал на кровати и я не знал, что делать и о чем думать, меня завертел какой-то вихрь безумия, и я принялся нещадно трясти бедняжку, чтобы вернуть ей сознание, — все-таки обморок это уж чересчур. А она, едва придя в себя, отказалась верить, что брат ее умер: «Вы же слышали? Он жив! Не может быть, чтобы он умер!» Наконец пришел врач, засвидетельствовал смерть и объяснил, что урчание в животе — пустяк, просто газы или что-то там еще, и такое случается почти со всеми покойниками. Тогда она, женщина опрятная и сдержанная, очень смутилась и закрыла глаза рукой, как будто врач сказал ей, что с ней после смерти случится то же самое.

Врач этот был плешивый молодой человек, из тех,

что свысока поглядывают на других, словно гордясь своей ранней лысиной, разредившей густые заросли черных кудрей, которые исчезли на макушке, но зато буйно разрослись вокруг нее. Близорукие глаза его блестели, как эмаль, из-под сильных стекол очков; был он высоким, довольно толстым, но крепким, под коротеньким носом темнели аккуратно подстриженные пучочки усов, а пухлые, ярко-красные губы очерчены были так резко, что казались накрашенными; он насмешливо и снисходительно держался с бедной, непонятливой женщиной и говорил о смерти с такой нахальной фамильярностью, как будто от постоянного общения с ней ему ни один случай не казался сомнительным или неясным; поэтому в конце концов у меня невольно вырвался ехидный смешок. Пока он говорил, я случайно увидел себя в зеркале платяного шкафа и удивился холодному, недоброжелательному взгляду моего отражения, взгляду, скользнувшему обратно мне в глаза, как змея. А пальцы мои, большой с указательным, все прижимались да прижимались друг к другу с такой силой, будто их свело судорогой до онемения. Как только врач, услышав мой смех, обернулся, я подошел к нему вплотную и, кривя губы в усмешке, чувствуя, что бледнею, прошептал:

— Смотрите, — и показал пальцы, — вот так! Вы ведь здорово разбираетесь в жизни и смерти: дуньте на них и увидите, удастся ли вам прикончить меня. — Он отшатнулся и окинул меня взглядом, думая, не рехнулся ли я. Но я опять придвинулся к нему вплотную: — Всего и надо, что разок дунуть, поверьте! Только дунуть!

Потом я отошел от него и схватил за руку сестру Бернабо:

— Сделайте это вы! Вот так! — Я взял ее руку и поднес к ее губам: — Соедините два пальца и дуньте на них! — Бедная женщина в испуге вытаращила глаза и задрожала; а врач, позабыв, что тут лежит покойник, развеселился и засмеялся. — Я-то больше этого делать не стану, с вами не стану, с меня на сегодня хватит, вот этого одного, а вместе с Кальветти — двоих! Но тогда мне надо бежать отсюда, бежать поскорее, бежать!

И я впрямь убежал как сумасшедший.

На улице безумие мое сорвалось с цепи. Вечер уже настал, повсюду толпился народ. Дома выступали из темноты один за другим, по мере того как в окнах зажи-

гался свет, а люди бежали, пряча лица от преследующего их пестрого потока фонарей, витрин, световых реклам, бежали, точно скрываясь в этой испуганной толчее от чьих-то неведомых подозрений. Впрочем, не все: вот здесь, в отличие от других, женское лицо озарилось радостью в отблесках красного света; а вон там ребенок смеется на руках у старика, перед зеркальной витриной магазина, где отражаются бесчисленные изумрудные струи. Я рассекал толпу и, держа два пальца возле губ, дул, дул на все эти летящие мимо лица, не оглядываясь, чтобы убедиться, происходит ли позади меня то, что уже дважды случилось за этот день из-за моего дуновения. А если и происходит, кто может обвинить в этом меня? Разве не имею я права приставить два пальца к губам и дуть на них ради невинного своего развлечения? Кто может всерьез поверить, что в двух моих пальцах и едва ощутимом дуновении кроется такое неслыханное, страшное могущество? Смешно даже допустить подобную мысль, ее можно считать всего лишь ребячьей шуткой. Вот я и шутил. Язык мой уже одеревенел, так неистово я дул, дыхание едва пробивалось сквозь запекшиеся губы, когда я дошел до конца улицы. Если то, что дважды случилось сегодня, было правдой, значит, черт побори, я, должно быть, прикончил, шутки шутками, более тысячи человек. Не может быть, чтоб на следующий день такой загадочный мор не стал известен, к ужасу всего города. И действительно, все о нем узнали. Газеты на следующее утро только об этом и писали. Город, проснувшись, оказался во власти чудовищного кошмара; разразилась какая-то молниеносная эпидемия, от которой не было спасения. За одну ночь умерло девятьсот шестнадцать человек. На кладбище не знали, как всех похоронить; невозможно даже было вывезти из домов всех умерших. Врачи обнаружили во всех случаях одинаковые симптомы, сперва странное недомогание, потом удушье. При вскрытии не было найдено никаких признаков болезни, вызвавшей столь внезапную смерть.

Я читал эти газеты в смятении, похожем на тяжелое похмелье после буйного пьянства; неясные, смутные образы сплетались и клубились, как туча, увлекая меня за собой в неистовом вихре; и необъяснимая тревога, подобная горячечному ознобу, боролась и билась во мне с чем-то черным и неподвижным, а сознание мое, то поддаваясь ему, то сопротивляясь и вставая на дыбы, то чуть ли не разлетаясь вдребезги, все еще отказывалось

подступать к нему вплотную и, едва коснувшись его, вновь жаждало отпрянуть. Сам не знаю толком, что я хотел выразить, когда повторял, судорожно сжимая лоб рукой: «Это только так кажется! Это только так кажется!» Знаю одно, что слова эти, пусть бессмысленные, выручили меня, прорезав как молния окружавшую тучу, и я на мгновение почувствовал себя легким и свободным. «Все это, должно быть, безумие, — думалось мне. — Это запало мне в голову, потому что я сделал вчера такой смешной, ребяческий жест как раз перед тем, как в городе разразилось такое бедствие, эпидемия. Как часто из подобных совпадений рождаются глупейшие суеверия, нелепейшие навязчивые идеи. Впрочем, чтобы от них избавиться, мне надо только подождать несколько дней и не повторять больше моей шутки. Если это эпидемия, а оно, несомненно, так и есть, этот ужасный мор будет продолжаться, а не прекратится внезапно, как начался».

Ладно; я ждал три дня, пять дней, неделю, две; газеты больше не сообщали ни об одном новом случае заболевания; эпидемия разом кончилась.

Э, нет, я не спятил, прошу прощения; нельзя так жить дальше — вечно сомневаться, помешался я или нет; да еще такое помешательство, что каждый расхохочется, если ему рассказать, нет уж, увольте! От такого наваждения надо освободиться возможно скорее. Но как? Опять дуть на пальцы? Ведь речь идет о человеческих жизнях. Я должен был убедиться, что мой поступок сам по себе совершенно невинен, детская игра, и если люди умирают, я здесь ни при чем. Я, конечно, готов был поверить в новую вспышку эпидемии после двухнедельного перерыва, потому что, в конце концов, все же не мог допустить мысли, будто смерть зависит от меня. Но в то же время явилось дьявольское искушение обрести уверенность куда более страшную, нежели боязнь помешательства, уверенность, что я обладаю небывалым могуществом, — и разве мог я устоять перед таким искушением?

II

Я должен был позволить себе еще одно испытание, пусть даже робко и осторожно, испытание возможно более «справедливое». Смерть, как известно, несправедлива. Та, что зависела от меня (если она от меня зависела), должна быть справедливой.

Я знал одну милую девочку, которая все играла да играла в куклы, а сонные грезы ее сменяли одна другую, непохожие друг на друга, потому что одна уносила ее в горную деревушку, другая на морской берег, а оттуда в далекую-предалекую страну, где жили незнакомые люди и говорили на незнакомом языке; однажды сонным грезам пришел конец, и она очнулась, все еще девочкой, только двадцатилетней, но совсем, совсем девочкой, а рядом с ней оказался тот, кто явился ей в последней грезе и внезапно наяву обратился в огромного чужого мужлана, двухметрового верзилу, тупого, ленивого и порочного; а на руках у нее, вместо куклы, лежало несчастное создание, которое и уродцем-то нельзя было назвать, потому что болезненное личико его было поистине ангельским в те редкие минуты, когда его не искажали до чудовищного безобразия непрерывные судороги, сводившие все его тело. «Болезнь такого-то», не помню имени иностранного врача, не то англичанина, не то американца, как будто Потта, если я правильно пишу (силы небесные, назвать болезнь своим именем!), «болезнь Потта», в самой тяжелой и неизлечимой форме. Этот малыш не мог ни говорить, ни ходить, даже ручки его, исхудавшие и исковерканные страшными судорогами, отказывались служить ему. Но он мог так протянуть еще много лет. Ему было только три года. Он вполне мог дожить и до десяти. И вот, как ни трудно поверить, стоило ему оказаться на руках у человека, умело державшего его, например, у этого верзилы отца, несчастный малыш на мгновение успокаивался и улыбался такой блаженной улыбкой, озарявшей его ангельское личико, что все окружающие забывали о судорогах, только что наводивших на них ужас, и слезы нежного сострадания выступали у них на глазах. Казалось невероятным, что врачи не понимают, какую просьбу выражает улыбка малыша. А может быть, они и понимали, ведь сказал же как-то один из них, что нипочем не стал бы колебаться, будь на то решение закона и согласие родителей. Закон есть закон, он может быть жестоким и нередко бывает им, а на жалость он не имеет права, не то он уже не будет законом.

Итак, я пришел к этой матери.

Комната, где она приняла меня, была полутемной, и только в глубине ее, сквозь занавешенные два окна проступал бледный сумеречный свет. Мать сидела в кресле возле кровати и держала на руках ребенка, бившегося в судорогах. Я наклонился над ним, не говоря ни

слова, держа пальцы возле губ. Когда я дунул, малыш улыбнулся и испустил дух. Мать, привыкшая к напряженности и корчам крохотного тельца, почувствовала, что оно внезапно обмякло и утихло у нее на руках, и, едва сдержав крик, подняла голову, взглянула на меня, потом на него:

— Боже мой, что ты с ним сделал?

— Ничего, ты же видела, только дунул...

— Но он умер!

— Теперь ему хорошо.

Я взял ребенка у нее из рук и положил его, спокойно, тихого, на кровать, ангельская улыбка еще играла на его бледных губках.

— Где твой муж? Там? Я избавлю тебя от него тоже. Больше ему незачем мучить тебя. А ты продолжай по-прежнему грезить, девочка. Видишь, что случается, когда очнешься от грез?

Мужа далеко искать не пришлось. Он уже стоял на пороге, остолбеневший великан. Но я, охваченный ликованием, после того как обрел наконец эту страшную уверенность, чувствовал себя огромным, возвышался над ним.

— Что такое жизнь? Смотри, только дунешь, вот так — и нет ее! — Я дунул ему в лицо и вышел из этого дома, став гигантом за один вечер.

Это я, это я; смерть — это я; вот она здесь, у меня, в двух пальцах и дуновении; теперь я мог покончить со всеми. Разве не должен я теперь убить всех, чтобы быть справедливым к тем, кто первыми умерли из-за меня? Мне ведь ничего не нужно, лишь хватило бы дыхания. Я это сделаю не из ненависти: я ведь никого не знаю. Как не знает смерть. Дуновение — и конец. Сколько их было, унесенных ее дыханием, живших до тех, кто теперь, как тени, идут мимо меня? Но могу ли я уничтожить все человечество? Чтобы обезлюдели все дома? Все улицы всех городов? И поля, и горы, и моря? Чтобы обезлюдела вся земля? Нет, это невозможно. Тогда вообще не надо, никого больше не надо трогать, никого. Может быть, отрубить эти два пальца? Но как знать, вдруг достаточно только дыхания? Попробовать? Нет, нет. Хватит! При одной мысли об этом я задрожал от ужаса с ног до головы. Вдруг достаточно одного дуновения? Как помешать этому? Как побороть соблазн? Зажать рот рукой? Но разве можно всегда ходить, зажав рот рукой?

В таких бредовых размышлениях я оказался у ворот больницы, распахнутых настежь. Дежурные санитары скорой помощи болтали в подворотне с двумя полицейскими и стариком привратником; а на пороге, в длинном медицинском халате, уперев руки в бока, стоял и глядел на улицу тот самый молодой врач, с которым я повстречался у смертного одра бедняги Бернабо. Когда я проходил мимо, он узнал меня и рассмеялся, быть может от того, что я, как в бреду, размахивал руками. Этого я не мог снести! Я остановился, крикнул ему:

— Не смей подстрекать меня сейчас своей дурацкой ухмылкой! Это я, это я; она у меня вот здесь... — и я снова соединил два пальца и показал ему. — А может быть, только дуновение! Хочешь попробовать, вот перед этими господами?

Удивленные, заинтересованные санитары, полицейские и старик привратник подошли поближе. С натянутой улыбкой на красных, будто покрашенных губах и по-прежнему упираясь руками в бока, несчастный не только подумал, нет, он на этот раз посмел сказать мне, пожав плечами:

— Да вы рехнулись!

— Рехнулся? — наступал я на него. — Эпидемия прекратилась две недели назад. Хотите, я ее вызову, и она вспыхнет снова с еще более страшной силой?

— Подув на пальцы?

Общий громогласный хохот, вызванный вопросом врача, поколебал мою решимость. Я ведь дал себе слово не поддаваться раздражению, не обращать внимания на издевки, которые неизбежно сопровождали этот мой жест, стоило кому-нибудь его заметить. Никто, кроме меня, не мог всерьез поверить в его ужасные последствия. И все же раздражение взяло верх, будто открытую рану ожгло огнем, когда я почувствовал, что смерть, наделив меня неслыханным могуществом, навсегда заклеила меня смехом. Как бичом хлестнул меня вдобавок вопрос молодого врача:

— Кто вам сказал, что эпидемия кончилась?

Я обмер:

— Как не кончилась? — Я почувствовал, что лицо мое вспыхнуло от стыда. — Газеты, — сказал я, — не упоминают больше ни об одном случае.

— Газеты, — возразил он, — но не мы, в больнице.

— Были еще случаи?

— Три или четыре в день.

— И вы уверены, что это та самая болезнь?

— Конечно, дорогой синьор, совершенно уверен. Скоро причина ее станет известна. Так что не тратьте дыхание попусту, не надо!

Остальные опять засмеялись.

— Ладно, — сказал я. — Если так, значит, я рехнулся, и вы смело можете позволить мне проделать опыт. Берегите вы на себя ответственность также за этих пятерых синьоров?

Молодой врач в ответ на мой вызов минуту стоял в замешательстве; потом снова засмеялся и повернулся к тем пятерым:

— Вы понимаете? Синьор считает, что ему стоит дунуть себе на пальцы — и все мы умрем, сколько нас есть. Вы согласны? Я лично — да.

Они хором воскликнули, смеясь:

— Да, конечно, дуйте, дуйте, мы все согласны, вот мы стоим перед вами! — И встали в ряд передо мной, глядя мне в лицо.

Это было похоже на сцену из спектакля, здесь, в подворотне больницы, под красной лампочкой скорой помощи. Они были уверены, что имеют дело с сумасшедшим. Отступить я уже не мог.

— Стало быть, в случае чего, это эпидемия, а я ни при чем, так? — И для пущей важности я, как обычно, соединил два пальца возле губ.

Когда я дунул, все шестеро изменились в лице, один за другим; все шестеро согнулись пополам; все шестеро прижали руку к груди, глядя друг на друга помутневшими глазами. Потом один из полицейских бросился вперед и схватил меня за руку; но тут же дыхание его пресеклось, ноги подкосились и он упал, будто молил о помощи; из остальных — кто бормотал что-то, как в бреду, кто размахивал руками, кто стоял неподвижно, разинув рот. Инстинктивно я протянул вперед свободную руку, чтобы поддержать молодого врача, падавшего на меня; но он, как раньше Бернабо, гневно оттолкнул меня и с размаху рухнул на землю. Меж тем перед воротами собрались люди, сперва кучкой, потом уже толпой. Зеваки, что стояли подале, протискивались вперед, в то время как передние, испугавшись, пятились прочь от порога и отталкивали любопытных, хотевших поглазеть на то, что творится в подворотне. Они спрашивали меня, думая, что я-то уж должен знать, очевидно потому, что лицо мое, в отличие от других, не выражало ни любопытст-

ва, ни тревоги, ни страха. Не могу сказать, как я выглядел тогда; я чувствовал себя бродягой, на которого внезапно набросилась свора собак. У меня не было другого выхода, кроме привычного ребяческого жеста. Наверное, в глазах моих все же появился испуг и в то же время жалость к тем шестерым, что упали, да и к остальным, окружавшим меня; может быть, я даже улыбнулся, говоря то одному, то другому, чтобы меня пропустили:

— Надо только дунуть... вот так... вот так...

Молодой врач, упорствуя до конца, лежа на земле и корчась в судорогах, кричал:

— Эпидемия! Эпидемия!

Началось всеобщее бегство; какое-то время я еще видел, как я иду совсем один, медленным шагом, разговаривая сам с собой, как пьяный, тихо, еле слышно; и вот я оказался, не знаю как, перед зеркалом какого-то магазина, все еще держа два пальца возле губ и дуя на них: «Вот так... вот так...» — быть может, чтобы доказать единственно возможным способом, как невинен этот жест, направляя его на себя же. Еще мгновение я видел себя в этом зеркале, хотя сам не понимал, как могут что-то видеть мои глаза, так глубоко они запали на моем мертвелем лице; потом то ли пустота меня поглотила, то ли закружилась голова, только я больше себя не видел: я дотронулся до зеркала, оно было здесь, передо мной, но я в нем не отражался; я ощупал себя, голову, тело, руки; руками я чувствовал свое тело, но не видел его и не видел рук, которыми ощупывал себя; однако слепым я не был — я видел все: улицу, людей, дома, зеркало; и вот я снова дотронулся до него, прижался к нему вплотную, силясь найти себя в нем, но меня там не было, хотя я ощупал пальцами холодное стекло. Меня охватило неистовое желание помчаться вдогонку за моим отражением, сгинувшим, изгнанным из зеркала моим же дыханием; так я стоял, прижавшись к стеклу, пока кто-то, выйдя из магазина, не столкнулся со мной и тотчас в ужасе отпрянул, раскрыв рот в немом крике, не вырвавшимся из горла; ведь он столкнулся с кем-то, значит, кто-то должен здесь стоять, но никого не было; тогда я почувствовал непреодолимое желание уверить его, что я здесь; словно воздух говорил моим голосом, я выдохнул ему в лицо: «Эпидемия!» — и одним толчком в грудь свалил его на землю. Поднялась суматоха, улицу заполнили люди; те, кто в страхе убежали, теперь повернули обратно и возбужденно, с безумными лицами толклись

вокруг меня, как одержимые, они появлялись отовсюду и не было им числа, улица пестрела и клубилась, как густой дым, душивший меня, носилась передо мной в чаду страшного, бредового сна; но как ни стискивала меня толпа, я пробивался вперед, я расчищал себе путь, дуя на невидимые пальцы. «Эпидемия! Эпидемия!» Меня больше не было; теперь наконец я понял: я — эпидемия, а человеческие жизни — тени, уносимые прочь одним моим дуновением. Сколько времени длился этот кошмар? Всю ночь и следующее утро я боролся, силясь выбраться из толпы, и наконец-то покинул тесные улицы страшного города и почувствовал себя воздухом среди воздуха полей. Все золотилось в солнечных лучах; у меня не было тела, не было тени; зелень казалась такой свежей и юной, будто ее только что породила моя безмерная жажда прохлады; и я слился с ней настолько, что чувствовал, как вздрагивает каждая травинка под тяжестью какой-нибудь букашки. Мне вздумалось оторваться от земли, и я взлетел клочком бумаги, подражая любовному полету двух белых бабочек; теперь я и впрямь шутил; ведь только дунь — и нет их, и вот оборванные крылья бабочек уже носятся в воздухе и падают, легкие, как клочки бумаги. А там, подальше, на скамье под олеандрами сидела молоденькая девушка, в небесно-голубом, воздушном платье и большой соломенной шляпе, украшенной цветами шиповника; ресницы ее трепетали; она мечтала и улыбалась такой улыбкой, что казалась мне далекой, как образ моей юности. А может быть, она и была образом всего, что некогда жило здесь, и отныне останется она на земле одна-одинешенька. Но только дунь — и нет ее! И я, до отчаяния растроганный ее беспредельной нежностью, смотрел на нее издали, оставаясь невидимым, крепко держа себя за руки, затаив дыхание; а взгляд мой был воздухом, что ласкал ее, но она даже не почувствовала его прикосновения.

1931 (1934)

ЧИНЧИ

Собака притулилась у запертой двери и терпеливо ждет, когда откроют; самое большее, на что она осмеливается, — это время от времени поднять лапу, поскрестись в дверь и жалобно поскулить.

Она знает, что ей, собаке, только Это и позволено. Чинчи возвращается домой с послеобеденных уроков, держа под мышкой кипу книг и тетрадей, перевязанных ремешком, видит собаку возле двери и, разозленный ее смиренным ожиданием, дает ей пинка; двери тоже достаются пинки, хотя он и знает, что она заперта на ключ и дома никого нет; наконец он с яростью швыряет об дверь самое ненавистное, эту связку книг, будто надеется, что она пробьет ее насквозь и окажется дома. Но отброшенная дверью связка ударяет его прямо в грудь. Чинчи удивлен, будто дверь затеяла с ним игру, и снова швыряет связку. Теперь, когда играют уже трое: Чинчи, связка книг и дверь, — в игру включается собака; она подпрыгивает, когда Чинчи швыряет книги, и лает, когда дверь их отбрасывает. Прохожие останавливаются, глазают; кто-то кисло улыбается, дивясь дурацкой игре, затаенной на радость собаке; кто-то возмущается, жалеет бедные книжки: они ведь денег стоили; разве можно их так попусту трепать? Чинчи кончает представление; связка брошена на землю, а он елозит спиной по стенке, прицеливаясь, как бы сесть точно на книжки, но связка изпод него выскальзывает, и Чинчи с размаху плюхается на землю, неловко улыбается и оглядывается по сторонам, а собака делает прыжок назад и смотрит на него.

Обо всех диких выходках, что приходят ему в голову, можно, пожалуй, догадаться, стоит взглянуть на его встрепанные светлые вихры и озорные зеленые глаза. Он неуклюжий, как все подростки, угловатый, бледный. Собираясь после обеда в школу, он забыл дома платок и теперь, сидя на земле, то и дело шмыгает носом. Сидит он, подтянув чуть ли не к подбородку костлявые колени, ноги у него грязные и голые, оттого что он носит короткие, не по возрасту, штанишки. При ходьбе он косолапо загребает ногами; а обувь на нем прямо горит; вот и сейчас башмаки у него рваные. Изнемогая от скуки, он обхватывает руками колени, потом отдувается и нехотя встает, опираясь о стенку. Собака тоже встает и вопросительно смотрит на него — куда теперь? За город, поживиться крадеными фигами или яблоками; эта мысль только что мелькнула, он еще не уверен, пойдет ли.

Мощная улица кончается тут же, за домом; дальше идет грунтовая дорога предместья, она тянется далеко в поле. Это, должно быть, здорово, когда едешь в повозке и вдруг перестук колес и лошадиных копыт по мостовой сменяется мягкой тишиной земли. Так бывает, если

учитель сперва наорет на тебя, потеряв терпение, а потом неожиданно заговорит с тобой по-хорошему, ласково, даже с каким-то грустным смирением, и это тем более приятно, что оттягивается срок неминуемого наказания. Да, уйти за город, выбраться из тесного ряда домов на краю вонючего предместья, туда, где дорога, расширяясь, образует маленькую площадь у самого выхода из города. Там теперь построили новую больницу, и свежая штукатурка стен так сияет белизной на солнце, что хоть глаза зажмурь, не то ослепнешь. На днях туда перевезли всех больных из старой больницы в санитарных фурах и каретах; впереди фуры с развевающимися занавесками на окошках, а за ними, мягко покачиваясь на высоких рессорах, как пауки, шикарные кареты с тяжелобольными. Но сейчас время позднее, скоро закат, и выздоравливающие уже не будут высовываться из окон в своих серых рубашках и белых шапочках, с грустью поглядывая на старую церковь, что возвышается там, напротив, среди других старых домов и деревьев. После этой площади дорога, уж совсем деревенская, поднимается по склону холма.

Чинчи останавливается и снова отдувается. Идти дальше или нет? Ему и лень, и тошно, все нутро его кипит злостью на многое, чему не найдешь объяснения: его мать, как она живет, на что живет, дома она совсем не бывает, но все еще упорно гоняет его в школу; проклятая школа, так далеко от дома; каждый день несешься туда почти три четверти часа, а в полдень столько же обратно; едва успеваешь кусок перехватить наспех и опять беги в школу; да как успеть туда вовремя? А мать только и твердит, что он попусту тратит время на игры с собакой и что он бездельник — словом, вечно шпыняет его все тем же: он-де не учится, он неряха, а пошлешь его за покупками — ему непременно всучат какую-нибудь дрянь.

Где же Фокс?

Да вот он, трусит позади, бедняга. Ну, он-то знает, что ему делать: бежать за хозяином. Что-то надо делать — вот это и беспокоит Чинчи: он не знает, что ему делать. Оставляла бы мать ему хотя бы ключи, когда идет, по ее словам, шить на дому у разных синьор. Так ведь нет, она говорит, что не доверяет ему, а если он и не застанет ее дома, пусть подождет, она скоро явится, не запоздает. А где ждать-то? Стоять под дверью? Бывает, приходится ждать чуть ли не два часа на холоде,

а иной раз под дождем. Тогда он нарочно, вместо того чтобы укрыться от дождя, идет на угол, чтобы на него натекло из водосточного желоба, — будет к ее приходу мокрым, хоть выжимай. Наконец она прибегает, запыхавшись, с чужим зонтом, лицо ее так и пылает, она прячет от Чинчи блестящие глаза и так волнуется, что не может сразу найти ключи в сумке.

— Промок? Не сердись, пришлось задержаться.

Чинчи хмурится. Кое о чем ему не хочется думать. Отца своего он не знает; ему сказали, что отец умер до его рождения; но кто такой он был, не сказали; а теперь он и сам не спрашивает, да и знать не хочет. А вдруг это вон тот калека, что опять тащится в трактир — вот молодец-то! — хоть у него половина тела уже отнялась. Фокс останавливается, завидя его, и лает. Может быть, на него так костью действует? А тут еще женщины собрались кружком; животы у них огромные, хоть они и не беременны, разве что только одна, вон та, у которой юбка спереди задралась на ладонь от земли, а сзади метет мостовую; а эта, с малышом на руках, сейчас вытащит из-за корсета... фу, гадость какая! У него-то мама красивая, еще совсем молодая, но, возможно, она тоже вот так кормила его грудью где-нибудь в деревенском домике или на гумне, сидя на солнце. Ему, Чинчи, смутно помнится деревенский домик, где он жил в детстве, но, может статься, ему это приснилось или он его видел бог знает где. Иногда, поглядывая издали на деревенские домики, он чувствует, какая печаль охватывает их, должно быть, в тот час, когда вечером зажигаются керосиновые лампы; их переносят из комнаты в комнату, и видно, как свет исчезает из одного окна и появляется в другом.

Он дошел до маленькой площади. Небо, как морская бухта, раскинулось над ним, закат угас, а над почерневшим холмом оно нежно голубеет. На землю пали вечерние тени, и белая стена больницы стала совсем синей. Какая-то запоздалая старушка спешит в церковь к вечерне. Внезапно Чинчи решает тоже зайти в церковь, а Фокс останавливается и смотрит — он-то хорошо знает, что туда ему нельзя. Запоздавшая старушка волнуется и охает у входа, ей никак не справиться с тяжелой кожаной занавеской; Чинчи помогает ей откинуть занавеску, но старушка вместо благодарности бросает на него недовольный взгляд, понимая, что его привело сюда отнюдь не благочестие. В церквушке холодно, как в погребе; на

главном алтаре чуть теплятся две свечи; там и здесь, затерявшись во тьме, мерцают лампадки. Сколько в ней к старости накопилось пыли, в этой бедной церквушке; от жестокой сырости пыль эта слежалась толстым слоем. Угрюмая тишина словно подстерегает малейший звук, чтобы пробудиться бесчисленными откликами. Чинчи одолевает искушение заорать так, чтобы все вздрогнуло. Богомолки, одна за другой, проскользнули на скамьи, каждая на свое место. Ну, не заорать, так хоть бросить на пол эту ненавистную связку книг, будто она нечаянно выпала из рук. Он бросает связку, и в тот же миг эхо с яростью набрасывается на прогремевший удар и злобно подавляет его. Чинчи уже не впервые с удовольствием проделывает этот опыт — вызывает эхо, чтобы оно набросилось на неожиданный звук и разорвало его на куски, как внезапно разбухенная и обозленная собака. Больше незачем испытывать терпение бедных возмущенных богомолков. Чинчи выходит из церкви, его встречает Фокс, готовый опять следовать за ним, и они направляются по дороге, ведущей вверх по склону. Хорошо бы сейчас найти какие-нибудь фрукты и впиться в них зубами; Чинчи лезет на невысокую каменную ограду и шарит в ветвях. Ему отчаянно хочется найти что-нибудь, хотя он сам толком не знает, что тому причиной — голод или беспоконное, зудящее желание что-то сделать.

Безлюдная проселочная дорога, ползущая вверх; мелкие камешки, что попадают иногда под копыта осликов и стремглав летят вниз, а потом лежат себе неподвижно там, куда упали; вот один такой камешек; поддать его носком башмака — лети на здоровье! На обочине и под оградями — длинные стебли овса с пышными метелками; их так приятно обрывать: вся метелка одним пучком остается в пальцах; бросишь сзади на кого-нибудь такой пучок, и сколько зернышек пристанет, столько у женщины будет мужей или у мужчины жен. Чинчи хочет испытать это на Фоксе. Семь жен, ни больше ни меньше! Но это еще ничего не значит, они все просто запутались в черной шерсти Фокса. А Фокс-то, старый дурень, закрыл глаза и стоит со своими семью женами на спине, шуток не понимает!

Дальше Чинчи идти не хочет. Он устал и раздражен. Он садится на низкую ограду по левую сторону дороги и смотрит оттуда, как на небо выползает нарождающаяся луна и едва-едва светится бледным золотом в расплывчатой прозелени умирающих сумерек. Чинчи видит ее

и не видит, разные разности бродят у него в голове, сменяя друг друга и уводя его все дальше от неподвижно сидящего тела, так далеко, что Чинчи его уже и не чувствует; даже собственная рука, лежащая на колене, или нога в рваном башмаке, свисающая с ограды, показались бы чужими, погляди он на них сейчас; он уже вне своего тела; он стал всем тем, что видит и не видит: угасанием неба, сиянием луны, угрюмой тьмой купы деревьев, выступивших неровными зубцами в прозрачном воздухе, рассыпчатой черной землей, тут, рядом, недавно вскопанной, еще сохранившей влажный и душный запах перегноя, запах последних дней октября, когда солнце еще жарко греет.

Чинчи, поглощенный этими ощущениями, внезапно вздрагивает неизвестно отчего и хватается рукой за ухо. За оградой кто-то хихикает. Там спрятался мальчишка из деревенских, его сверстник. Он тоже выдернул и ободрал длинный колосок овса, завязал кончик петлей и потихоньку, вытянув руку, норовит зацепить этой петлей Чинчи за ухо. Чинчи, обозясь, поворачивается к нему, но тот машет ему, чтобы он молчал и тихонько ведет стеблем по ограде, туда, где между двумя камнями торчит мордочка ящерицы, за которой он охотится вот уже битый час. Чинчи с беспокойством вытягивает шею, смотрит. Зверек, не замечая ловушки, сам сунул голову в подстерегающую его петлю; но этого еще мало: надо подождать, пока он засунет ее поглубже, а ведь может случиться, что он успеет выдернуть ее, если дрогнет рука со стеблем и ящерица почует опасность. Вот-вот сорвется и улизнет из этого ненадежного и опасного приюта. Ясно! Поэтому надо быть начеку, чтобы вовремя дернуть стебель и затянуть петлю. Минутку! Готово! И ящерица бьется, как рыбешка, на конце стебля. Чинчи стремительно прыгает вниз с ограды; но мальчишка, испугавшись, должно быть, что тот вздумал присвоить добычу, несколько раз крутит рукой в воздухе, а потом что есть силы ударяет концом стебля по камню, что валяется посреди сухих веток.

— Не смей! — кричит Чинчи.

Поздно! Ящерица неподвижно лежит на камне, подставив луне белое брюшко. Чинчи взбешен. Да, он тоже хотел, чтобы бедный зверек попался, его тоже на миг обуял охотничий азарт, который сидит в каждом из нас; но убить вот так, даже не поглядев вблизи, как судорожно бегают пронзительные глазки, как трепещет брюшко,

как вздрагивает все это зеленое тельце; нет, это глупо и подло. Чинчи с размаху бьет мальчишку кулаком в грудь. Тот сперва пытается удержаться на ногах и поэтому отлетает далеко в сторону и кубарем катится по земле. Потом сразу вскакивает и, схватив пригоршню земли, с силой швыряет ее в лицо Чинчи; влажная земля залепила Чинчи глаза и рот, он вне себя от стыда и злости. Он тоже бросает в мальчишку комья земли. Поединок разгорается всерьез. Но у соперника Чинчи больше ловкости и умения, он попадает без промаха, подходит все ближе, швыряет комки один за другим, они не ранят до крови, но бьют больно, с глухим стуком, и тут же рассыпаются градом по груди и лицу, забиваясь в волосы, в уши, в башмаки. Задыхаясь, не зная, как укрыться, как защищаться, Чинчи в остервенении поворачивается, подпрыгивает и, протянув руку к ограде, вырывает из нее камень. Кто-то убегает из-под ограды — должно быть, Фокс. Чинчи бросает камень и вдруг — как же это случилось? — все, что тревожило его, все, что металось перед глазами: купы деревьев, светящаяся полоска луны в небе — все перестало двигаться, будто само время и все кругом застыло, остолбенело в изумлении при виде мальчишки, рухнувшего наземь. Чинчи еще тяжело дышит, сердце колотится где-то в горле, он с ужасом смотрит, прислонясь к ограде, на эту немыслимую молчаливую неподвижность полей в лунном свете, на мальчишку, припавшего лицом к земле, и в нем грозно вздымается предчувствие вечного одиночества, от которого надо немедленно бежать. Это сделал не он; он не хотел этого; он ничего об этом не знает. И тогда, будто он и впрямь ни при чем, будто его толкает праздное любопытство, Чинчи делает шаг, другой, наклоняется, глядит. У мальчишки пробита голова, окровавленный рот прижался к черной земле, между задравшейся штаниной и грубым носком видна голая нога. Лежит, мертвый, будто век тут лежал. Все здесь недвижимо, как во сне. Но Чинчи надо проснуться, чтобы вовремя уйти. Здесь, как во сне, ящерица валяется брюшком вверх на каменной плите, и стебель еще свисает с ее шейки. А Чинчи уходит, сунув опять под мышку связку книг, и Фокс идет за ним и тоже ничего не знает.

По мере того как он уходит все дальше вниз по холму, он странным образом обретает все больше уверенности и даже не ускоряет шага. Вот он на безлюдной маленькой площади; тут тоже светит луна, но тут она

другая, ведь сейчас она, ничего не зная, освещает белый фасад больницы. А вот и улица предместья, как и раньше. Он приходит домой; мать еще не вернулась. Значит, ему не придется объяснять, где он был. Он стоял здесь и ждал ее. Для матери это будет правдой, и внезапно это становится правдой для него тоже; и впрямь, вот он тут стоит у двери, подпирает спиной стенку.

Надобно только, чтобы она так его и застала.

1932 (1934)

БОСИКОМ ПО ЗЕЛЕННОЙ ТРАВЕ

Он заснул в другой комнате прямо в кресле, и теперь его будили — пора, если он хочет посмотреть на нее в последний раз, пока не опустилась крышка гроба. — Но ведь темно еще?! Зачем так рано?

— Нет, уже половина десятого. Просто день такой выдался — почти ничего не видно. А вынос — в десять.

Он смотрит по сторонам как невменяемый. Не верится, что можно было столько спать, целую ночь, и так крепко. Он совсем отупел от сна, и боль отчаяния, мучившая его последние дни, тоже притупилась; непривычные лица соседей, обступивших его кресло, в сумраке утра; хочется поднять руки, заслониться от них, но сон растекся по всему телу, будто налитому свинцом; только в пальцах ног почему-то возникает желание встать, которое тут же пропадает. Неужели опять надо выказывать свое горе? «И всегда...» — вырывается у него, но говорит он с видом человека, который поудобнее сворачивается под одеялом, чтобы снова заснуть. Так что все переглядываются в недоумении. Что, всегда?

Что сегодня выдался такой день — это ему хотелось бы сказать, но нет смысла. День смерти, день похорон — они всегда такие в памяти, сумрачные — почти ничего не видно. Он спал, а между тем в комнате покойницы, там окна...

— Окна?

Да, ставни закрыты. А может, их и не открывали. Там, наверное, теплый ровный свет от больших оплывающих свечей, кровать вынесена, гроб стоит прямо на полу; жесткое бледное лицо в оборках из кремового атласа.

Нет, хватит; он уже видел ее.

И он закрывает глаза, опускает веки, распухшие от пролитых за последние дни слез. Хватит. Теперь он выспался, и все кончено, перегорело, все погребено этим сном. Хорошо бы так и остаться с этим ощущением расслабленности и блаженной щемящей пустоты. Надо закрыть гроб; закрыть, и с ним вынести все свое прошлое.

Но гроб еще тут и...

Он вскакивает на ноги, пошатывается; его поддерживают и, как слепого, подводят к гробу; остановившись, он открывает глаза и, увидев, выкрикивает имя покойной, живое имя, точно ему одному могла открыться в этом имени она вся, живая, какой была для него всегда, во всех действиях и проявлениях жизни. С горькой досадой смотрит он на окружающих — где им понять такое, стоят и видят только мертвое тело, хотя бы задумались, что значит для него эта потеря. Хотелось бы крикнуть это им; но тут сын успевает оттащить его от гроба с такой яростью, что он сразу догадывается, в чем дело. От этой догадки он холодеет, как от разоблачения. Стыдно, опять ему не справиться со своими порывами, даже в такой момент и после целой ночи сна. Теперь нужно торопиться, нельзя уже больше задерживать друзей, собравшихся, чтобы проводить гроб в церковь.

— Отойди, отойди. Возьми себя в руки, папа.

Его глаза становятся жесткими и жалостными, как у нищего, и он покорно возвращается на свое место.

Взять себя в руки. Разумеется. Бесполезно выкрикивать то, что поднимается из нутра и все равно не обретает смысла не только в словах, которые выкрикиваешь, но даже в поступках. Разве может сравниться участь мужа, осиротевшего в том возрасте, когда он не может обойтись без жены, с судьбою сына, обреченного пережить своих родителей волею провидения. Провидение! А на что оно обрекает его? Провидеть скорую женитьбу, сразу же после трех месяцев глубокого траура, под тем предлогом, что и тому и другому нужна женщина, которая заправляла бы хозяйством в доме.

— Парди! Парди! — громко зовут из прихожей.

И он еще больше холодеет, когда до него впервые доходит, что этим именем, его именем, зовут уже не его, а его сына и что это имя будет теперь живым для сына, а не для него. А он-то, дурак, там, будто живое, выкрикивал имя жены, какое кошунство, стыдно. Да, да, бесполезный порыв, он и сам это признает, после того как сон, великий сон освободил его от всего. Теперь,

в самом деле, живо в нем только любопытство: посмотреть, каким станет дом после переделки, что изменится, куда его положат спать. Большую двуспальную кровать уже вынесли. Может, для него поставят другую, поменьше? Например, кровать его сына. Ну конечно, он будет теперь спать в кровати своего сына. А сын завтра проснется в его большой двуспальной кровати рядом с женой и обнимет ее. Он же на своем узком ложе будет обнимать пустоту.

Он совсем ослаб, в голове страшная путаница и ощущение все той же пустоты, внутри и снаружи. Слабость в теле, наверное, оттого, что он долго сидел без движения; но стоит только пересилить себя и встать, как — он уверен — его понесет в этой пустоте как пушинку, ведь у него внутри ничего нет, его жизнь обратилась в ничто. Он не видит особой разницы между собой и этим вот стулом. Стул, наверное, очень даже доволен собой на своих четырех ножках, тогда как он не знает, что делать со своими ногами и куда девать руки. Кому теперь интересна его жизнь? А впрочем, и ему ни до чьей жизни нет дела. Но свою жизнь, коль скоро она у него есть, надо ведь как-то доживать. Начать сызнова. Жизнь, о которой он пока еще не может думать, о которой он никогда бы и не стал думать, если бы все оставалось так, как перед тем, когда все кончилось. Теперь, когда он выбит из колеи, выброшен, разом, внезапно, еще не старый и уже не молодой...

Он улыбается и пожимает плечами. Для сына он сразу и внезапно стал почти что ребенком. Известное дело, так и выходит обычно, что отцы превращаются в детей своих собственных детей, которые выросли, встали на ноги и пошли дальше отца, заняв положение, позволяющее отправить отца на покой и возместить то, что получили от него в детстве, теперь, когда он сам стал опять как маленький.

Узкая кроватка...

Даже детскую, где прежде спал его сын, ему не отдали, а отвели другую комнату, почти потайную, с выходом во двор, под тем предлогом, что там ему будет гораздо свободнее и удобнее жить по-своему среди самого лучшего, что отобрали из его мебели и расставили так искусно, что никому бы и в голову не пришло, что это бывшая каморка его прислуги. В передних комнатах поселилась новая и претенциозная мебель, и все в них было новое, вплоть до такой роскоши, как ковры. В этом за-

ново отделанном доме не осталось и следа от его прежних привычек, даже старые вещи, его вещи, распаханные по полутемным комнатам и расставленные так, как теперь, не знают, как им себя держать друг с другом. Но — странное дело! — пренебрежение к нему и к его вещам не вызывает в нем никакой обиды, и не только из-за того, что, любуясь заново отделанными комнатами, он радуется за сына, но, в глубине души, из-за иного чувства, еще ему самому неясного ощущения другой жизни, которая с ее лоском и глянцем, с преобладанием новых сторон вытеснила даже воспоминание о старой. Что-то новое может незаметно возродиться и в нем. Сам того не замечая, он как бы улавливает это новое в полоске света, который проникает из двери, распахнувшейся у него за спиной, через которую можно выскользнуть, пользуясь удобным случаем, нередким теперь, когда никто не обращает на него внимания, предоставив ему право «жить по-своему», как на каникулах, в полумраке заброшенных комнат. Он чувствует в себе небывалую легкость. А в глаза ему брызнул яркий свет, который, перекрасив все вокруг, заставляет его без конца удивляться, будто он и вправду стал ребенком. С глазами, какие были у него в детстве. Острыми. Широко раскрытыми на мир, где все кажется новым.

Он взял себе за правило выходить по утрам из дому, чтобы хоть как-то провести свои каникулы, которые уже начались, но, видимо, не кончатся, пока не кончится его жизнь. Он избавился от всех хлопот, договорившись с сыном, сколько из своей пенсии будет отдавать каждый месяц на свое содержание; мало, он предпочел бы отдавать все, чтобы быть свободнее и не иметь никаких соблазнов, ведь ему ничего не нужно; но сын говорит, а вдруг тебе чего захочется, какое-нибудь желание. Какое? Теперь ему довольно лишь наблюдать жизнь со стороны.

Сбросив с себя груз всего прежнего опыта, он не знает, о чем говорить со стариками, и избегает их, а с молодыми не может: они его считают старым; и он идет в парк, где играют дети.

Начинать новую жизнь надо вместе с детьми на луговой траве. Там, где она выше всего и так густа, что одуряет запахом свежести, там дети играют в прятки и скрываются с головой. Бесперывное журчание ручья, укрытого в траве, заглушает шорох задетых листьев. Но дети быстро забывают игру и начинают разуваться, вот уже босая ножка розовеет среди зелени. Какое, должно

быть, счастье — погрузить ноги в свежесть молодой травы! Он тоже пробует украдкой высвободить ногу, и уже расшнуровывает второй ботинок, как вдруг перед ним возникает девичье лицо с горящими щеками и сверкающими глазами, она кричит ему: «Старый кобель!» — торопливо прикрывая колени подолом, потому что он смотрит снизу вверх, а подол у нее слегка задрался, зацепившись за ветку.

Он застывает как в шоке. Что она подумала? Убежала! У него было такое невинное желание. Он прикрывает обеими руками босую заскорузлую ногу. Что в этом плохого? Что, если он старый, то нельзя доставить себе удовольствие и, как дети, побегать босиком по зеленой траве? Сразу думают о чем-то дурном — только потому, что он старый? Конечно, он может в мгновение ока превратиться из ребенка в мужчину, он еще мужчина, мужчина, только к чему об этом думать, да он и не думал, он-то был как ребенок и просто хотел снять ботинки. Ах, как это низко, несправедливо! Бессовестная! И он зарывается лицом в траву. Его скорбь, его утрата, и то, что у него больше никого нет, и потому он довольствуется малым, и что даже в этом ему отказано, будто он собирался сделать что-то непристойное, — все сразу подступает ему к горлу горькой обидой. Дура. Если бы он захотел, сын ведь тоже допускает «какое-нибудь желание», у него нашлись бы на это деньги.

Он поднимается с перекошенным от возмущения лицом. Трясущимися руками стыдливо натягивает носок, надевает ботинок. Кровь прилила ему к голове, и он сердито моргает глазами. Он знает, куда надо пойти для этого, знает.

Но по дороге он успокаивается и возвращается домой. Среди этого нагромождения вещей, будто нарочно устроенного, чтобы свести его с ума, он пробирается к своей кровати и валится на нее лицом к стене.

1934 (1934)

ОДНАЖДЫ ВЕЧЕРОМ, ЦВЕТОК ГЕРАНИ...

В о сне он обрел свободу, сам не зная, как это случилось; такое ощущение, пожалуй, бывает, когда тонешь и ждешь, что тело твое вот-вот поднимется на поверхность, а на самом деле поднимается одно

лишь твое ощущение, всплывшая тень простертого на дне тела.

Прежде он спал, а теперь расстался со своим телом; он не уверен, что проснулся и не знает в точности, где его прибежище; он словно парит в своей запертой комнате.

Он уже не чувствует, а только хранит память о чувствах — они еще недалеко, но уже оторвались от него: слух там, где раздается невнятный шорох в ночи; зрение — то, что различает слабые проблески; и стены, и потолок (каким пыльным кажется он отсюда), а внизу пол и на нем ковер, и эта дверь, и беспамятный ужас постели с зеленой периной и желтоватым одеялом, под которым угадываются очертания недвижимого тела; лысая голова, утонувшая в скомканных подушках, закрытые глаза и открытый рот в рыжеватой щетине усов и бороды, жесткой, почти металлической щетине, — сухое, черное отверстие; и один волосок свисает с брови на глаза, такой длинный, что никак не лежит на месте.

И это он! Тот, кого более нет. Тот, кому тело давно уже было в тягость. Дышать — как это утомительно! Вся жизнь загнана в эту комнату; чувствуешь, как мало-помалу уходит все, и поддерживаешь в себе жизнь, пристально вглядываясь то в один предмет, то в другой, и боишься уснуть. И ведь действительно, потом, во сне...

Как странно ему слышать в этой комнате последние слова жизни:

— Вы находите, что в его теперешнем состоянии можно пойти на риск такой серьезной операции?

— Ну, дело зашло так далеко, что риск, право же...

— Нет, я не о риске. Я хочу знать, есть ли какая-то надежда...

— Да маловато...

— Что ж, тогда...

Розовая лампа, подвешенная на середине потолка, горит понапрасну.

Но теперь он наконец обрел свободу, и это тело внушает ему не только неприязнь, а злобу. Право, невозможно понять, отчего все окружающие полагают, будто этот внешний облик столь неотъемлемо присущ ему.

Они ошибались. Они ошибаются. Не был он этим телом; оно так мало значило; а он был жизнью, мыслями, волновавшими его, всем, что он видел вокруг, не видя себя.

Дома... улицы... небо. Весь мир.

Все это так, но теперь, когда нет тела, остается мука, остается смятение перед распадом, перед растворением в окружающих предметах; он льнет к ним, чтобы удержаться здесь, а прильнув, опять страшится, не уснуть, нет, а испариться из предмета, который останется тут уже без него — только предмет: часы на комодe, розовая лампа, подвешенная к середине потолка.

Теперь он стал этими вещами; но они уже не те, какими были, когда он видел в них какой-то смысл; сами по себе смысла они не имеют, и, стало быть, теперь они для него ничто.

Это и значит — умереть.

Стены виллы. Как, он уже вне дома? Здесь все залито лунным светом; а внизу сад.

Плотную к садовой ограде бассейн, выложенный грубым камнем; и вся ограда увита зеленью вьющихся розочек.

Вода льется в бассейн, капля за каплей. Вот они вскипают пузырьками. Вот тянутся стеклянной нитью, прозрачной, хрупкой, неподвижной.

Как чиста эта вода на лету! Но в бассейне она тотчас же становится зеленой. А нить так тонка, а капли падают иной раз так редко, что смотришь на толщу воды, заполнившей бассейн, и она кажется вечной, как океан.

Бесчисленные лепестки, белые и зеленые, чуть пожелтевшие, плывут по глади воды. Над самой ее поверхностью раскрыла зев железная сточная труба, она молчаливо заглотала бы излишек воды, если бы не эти лепестки, притянутые ею и тесно сбившиеся вокруг. Хриплое урчание захлебнувшегося стока будто упрекает их, зачем они, глупенькие, так спешат, почему им не терпится исчезнуть, всосаться вглубь, ведь так чудесно плавать, легкими, белыми, по темно-зеленому стеклу воды. Но что делать, если они упали! Если они такие легкие! И если ты, зев смерти, отмеряешь им время!

Исчезнуть.

Удивление мало-помалу растет, растет до бесконечности. Обманчивые чувства, уже давно разлетевшиеся в беспорядке, постепенно утрачивают все, что казалось сущим, но чего вовсе не было: звуки, цвета — их не было; все холодно, все немо; не было и его; а смерть — небытие той жизни, что у него была... Эта зелень... Ах, как захотелось ему стать травой однажды на рассвете, когда он шел берегом, глядел на буйно разросшиеся

травы и вдыхал запах всей этой зелени, такой свежей и молодой. Переплетения белых живых корней, крепко вцепившихся в черную землю, чтобы впитать ее влагу. Ах, жизнь, до чего же она принадлежит земле и как ни к чему ей небо, разве только чтобы дышать.

Но сейчас он стал ароматом травы, что растворяется в этом дыхании, стал еле заметным паром, что вот-вот улетучится, исчезнет, но ему не будет конца и ничто больше его не коснется — впрочем, нет, быть может, еще есть боль; но едва он успеет о ней подумать — он уже далеко, вне времени, в беспредельной печали такой пустынной вечности.

Остаться, еще остаться в чем-то, в любом предмете, даже совсем ничтожном, хоть в камне. Или в цветке, пусть недолговечном, — вот в этой герани.

— О, посмотри, там внизу, в саду, — видишь? — красный цветок герани. Как он вдруг вспыхнул! Почему?

Иной раз вечерней порой в каком-нибудь саду неожиданно вспыхивает цветок; и никто не может понять почему.

1934 (1934)

ЗДЕСЬ КТО-ТО СМЕЕТСЯ

Среди собравшегося общества вдруг зазмеился слушок:
— Здесь кто-то смеется.

Всюду, куда добирался этот слушок, возникало ощущение, словно внезапно встала на хвост гадюка, или прыгнул кузнечик, или кто-то, орудуя зеркалом, пустил тебе прямо в глаза слепящий зайчик.

Кто осмеливается смеяться?

И все, резко оборачиваясь, гневным взглядом рыщут вокруг себя.

Огромный зал, изливающий на толпу гостей сияние и блеск четырех больших хрустальных люстр, там, высоко под запыленными древними сводами, остается пустынным и погруженным во мрак. Кажется, что некоей жизнью все же еще живут на всем протяжении этого свода яркие краски росписи семнадцатого века, сделавшей,

впрочем, все возможное, чтобы утопить в черноте вечно-го сумрака бурное неистовство своей живописи; можно подумать, она ждет не дождется, когда внизу тоже за-мрет всякое движение и зал опустеет.

Может быть, хорошо взглядевшись в толпу, и оты-щешь какую-нибудь длинную физиономию, изо всех сил старающуюся изобразить любезную улыбку, но никого, кто бы на самом деле смеялся. Впрочем, любезная улыбка в данном случае вполне допустима, даже, пожалуй, обязательна, если действительно это собрание — вполне деловое и серьезное — стремится также иметь некий оттенок обычных городских увеселений карнавального времени. И впрямь, на небольшом помосте, крытом черным ковром, восседает оркестрик из лысых старичков, бес-прерывно исполняющий танцевальную музыку, и не-сколько пар танцуют, чтобы придать собранию вид бала, на потребу и даже как бы по заказу специально для это-го приглашенных фотографов. И, однако, красный и голу-бой цвет некоторых женских платьев так неприятно ре-зок, худоба некоторых обнаженных плеч и рук внушает такое отвращение, что порою возникает мысль: не извле-чены ли именно для данного случая откуда-то из-под земли эти плясуньи, живые куклы былых времен, сохра-нившиеся и теперь искусственно приведенные в движение для этого праздника? Насмотришься на них, и прямо-таки возникает желание перевести взгляд на что-то проч-ное, грубое: к примеру, на затылок сидящей рядом хму-рой личности, которая, побагровев от жары, источает пот и все время обмахивается белоснежным носовым платком или на идиотскую физиономию той вон старой дамы. Но странное дело: цветы на столе с довольно убо-гим угощением настоящие, и от того еще грустнее пред-ставлять себе сад, где они были нынче утром собраны под пронизанным лучами, мелким и слегка колким дож-диком. И как жалко этой розы, уже увядшей, но еще тая-щей в раскиданных лепестках ускользящий аромат своей слегка припудренной плоти. Там и сям мелькают также гости, одетые в домино и напоминающие монахов, отбившихся от похоронной процессии.

По правде говоря, все эти гости понятия не имеют, за-чем они приглашены. По городу словно прогудел некий призывный набат. И вот, недоумевая, лучше ли будет не обращать на себя внимание или, напротив, выделиться из толпы (что, принимая во внимание ее многочислен-ность, было бы не так уж легко), каждый наблюдает за

другим, и тот, кто замечает, что за его стремлением ступешаваться или выставиться напоказ наблюдают, тотчас же сникает, не зная, что теперь делать, ибо к тому же все они подозрительно относятся друг к другу, и подозрительность эта порождает среди собравшихся тревожное чувство, которое им лишь с трудом удается сдерживать. Косые взгляды в затылок соседу становятся пытливыми, но едва их уловят, мгновенно отводятся в сторону, точно это змеи прячутся в нору.

— О, да ты тоже здесь?

— Похоже, что мы все сюда собрались.

Никто, однако же, не осмеливается спросить за чем, чтобы не оказаться, не ровен час, единственным неосведомленным, что было бы уже виной, если бы оказалось, что все собрались здесь для принятия какого-то важного решения. Кое-кто, стараясь не выдать себя, ищет глазами трех человек, которые, предположительно, должны были бы это знать, но не находит их: они, по-видимому, собрались на совет в каком-то потайном помещении, куда время от времени вызывают кого-нибудь, и тот, бледнея от волнения, торопится на вызов, все же прочие остаются в тревожном недоумении. По положению вызванного, по его месту в обществе, по его связям пытаются угадать предмет секретного обсуждения. Однако ничего из этого не получается, так как вскоре вызывают кого-то другого, занимающего совершенно иное положение и связанного с совершенно противоположными интересами.

Тайна вызывает во всех присутствующих такую смятенность, что всеобщее возбуждение неизменно нарастает. Известно, как быстро распространяется тревога и как любой слух, передающийся из уст в уста, превращается под конец в нечто совершенно иное. И вот с одного на другой конец зала передаются такие чудовищные известия, что можно лишиться чувств. И из всех этих смятенных душ поднимается и распространяется словно некое наваждение, в котором под тревожные судорожные звуки оркестрика, под смутный беспокойный гул толпы, среди яркого света отраженных в зеркалах люстр колеблются перед глазами каждого странные видения, а из сознания всех этих людей словно вырывается густыми клубами дым потаенного огня невысказанных сердечных угрызений, порождающих всевозможные опасения, страхи и подозрения; у многих инстинктивное стремление обрести какую-то защиту от страха дает

самые непредвиденные результаты: один непрерывно моргает, другой смотрит на соседа, не видя его, но в то же время ласково улыбаясь ему, третий без конца расстегивает и застегивает пуговицу жилета. Лучше ни на что не обращать внимания. Думать о совсем посторонних вещах. О том, что в этом году пасха ранняя. О человеке, которого зовут Буонджорно¹. Но какое все же удушье от этой комедии, которая тут с ним происходит.

Мне сдается, то обстоятельство (если оно действительно имело место), что кто-то засмеялся, не должно было произвести такого впечатления на людей, находящихся в подобном положении. Но какое уж там впечатление! Возникло ведь яростное негодование, и именно из-за этого всеобщего настроения, словно все ощутили как личную обиду, что кто-то возымел мужество открыто засмеяться. Наваждение так невыносимо мучительно для всех как раз потому, что все считают смех неподобающим. Если кто-то рассмеется, а другие последуют его примеру, если все это наваждение внезапно разрешится общим хохотом — тогда прощай всё! И вот сама неясность положения, само душевное смятение гостей требуют, чтобы каждый думал и ощущал, что сегодняшнее собрание — дело весьма серьезное.

Но, хотя слухок об этом распознал теперь по всему залу, действительно ли кто-то из собравшихся засмеялся? Кто же это? Где он находится? Надо обнаружить его, вцепиться ему в грудь, прижать его к стене и, грозя кулаками, потребовать ответа, почему он смеется и над кем? Похоже, что он не один. Не один? Говорят, их трое. Но как же сговорились они? Или смеются каждый в отдельности? Похоже, что у них сговор. Ах, вот как? Значит, они явились сюда с предумышленным намерением посмеяться? Как будто так.

Заметили прежде всего некую девицу в белом, румяную, цветущую, несколько грубоватую, которая так и корчилась от хохота в одном из углов этого зала. По существу, никто не придавал этому значения: во-первых — женщина, во-вторых — юный возраст. Неприятно поразило только внезапный взрыв смеха, и кое-кто обернулся, считая такое поведение неприличным, даже дерзким и нахальным, если угодно. Но в конце концов прости-

¹ Добрый день (*ит.*).

тельным: расхохоталась, как девчонка, и сразу же умолкла, заметив, что на нее смотрят. Она выбежала из этого угла, согнувшись и зажимая себе рот обеими руками. Обращено было также внимание на то, что при этом у нее еще вырвался судорожный смех. Может быть, именно потому, что она всеми силами старалась сдержаться. Девочка? Сейчас стало известно, что ей, ни много ни мало, лет шестнадцать и глаза ее так и сверкают. Кажется, она бежала из одного зала в другой, словно ее кто-то преследовал. Да, да, совершенно точно: ее и впрямь преследуют, за ней гонится какой-то очень красивый юноша, блондин, как и она, который тоже хохочет, стараясь ее поймать. Замедляя шаг, он, однако, останавливается, пораженный быстротой и нахальством, с которыми она всех расталкивает; он старается овладеть собой, но ему это плохо удается: он поворачивается то в одну, то в другую сторону, словно слышав чей-то зов, и кусает себе губы, несомненно для того, чтобы подавить взрыв хохота, который вот-вот вырвется наружу, судорогой сведя ему живот. А тут обнаружился уже и третий — какой-то весьма подвижный человечек: идет он, приплясывая и колотя себя по выпяченной крепкой груди короткими ручками, словно барабанными палочками; сквозь шапку рыжих вьющихся волос светится лысина, а на блаженно расплывшейся физиономии нос смеется еще больше, чем рот, глаза больше, чем рот и нос вместе, смеется подбородок, смеется лоб, смеются даже уши. Он во фраке, как и все прочие. Кто его пригласил? Каким образом они трое попали в это собрание? Никто их не знает. Я тоже не знаю. Но мне известно, что человечек этот — отец девушки и молодого человека, пожилой человек, проживающий вместе с дочерью в деревне, а сын его учится здесь, в городе. По-видимому, на этот якобы танцевальный вечер они попали случайно. Кто знает, о чем они сговорились друг с другом, когда пришли, каким забавам и шалостям привыкли предаваться, какие только ими придуманные шутки были у них в ходу — разноцветные порошки фейерверка, готовые вспыхнуть от малейшего движения, от малейшего беглого взгляда. Во всяком случае, разойдясь в разные стороны, они стали издали глазами искать друг друга и, поймав наконец, закрыли лица ладонями, из-под которых вырывается этот смех, совершенно скандальный в таком серьезном собрании.

Наваждение этой самой серьезности до того давит

здесь на всех, до того душит, что для каждого из присутствующих просто невыносимо становится, что эти трое от него свободны, далеки, что у них может быть какой-то внутренний, совсем невинный и пусть даже глупый повод смеяться неизвестно почему. Девушка, например, смеется только потому, что ей шестнадцать лет, что она привыкла жить, как молоденькая кобылка на цветущем лугу, кобылка, которая горячится от малейшего дуновения ветра, прыгает и бежит взад и вперед, счастливая неизвестно отчего. Можно поклясться, что она не отдает себе отчета ни в чем, что даже и не думает о том, какой скандал вызвала здесь она, веселясь с братом и отцом, не замечая окружающих и ничего не подозревая.

И вот они наконец все трое садятся на диване в соседнем зале, сын и дочь по бокам, довольные, размякшие; им хочется расцеловать друг друга за это удовольствие, которое они себе доставили, за свою радость, вспенившуюся в веселом громе их смеха. Но тут — видят они — прямо на них из трех высоких стеклянных дверей, словно черный прилив под внезапно помрачневшим и низко нависшим небом, надвигается вся толпа гостей мелодраматическим шагом каких-то темных заговорщиков. Сперва они ничего не понимают, им не верится, что это шутовское представление рассчитано на них, и, все еще улыбаясь, они подмигивают друг другу. Однако улыбка мало-помалу стирается с их лиц, тревожное изумление все усиливается, и под конец, не имея возможности ни убежать, ни даже отступить куда-то, прижатые к спинке дивана и уже теперь не изумленные, а онемевшие от страха, они инстинктивно поднимают руки, словно обороняясь от толпы, продолжающей грозно наступать на них. Трое главарей, те, кто только из-за них, а не по какой-либо другой причине собрались на совет в отдельном помещении, только из-за слушка об их недопустимом смехе торжественно обсуждали, какому примерному и суровому наказанию подвергнуть их, показались из средней двери и вышли вперед, с опущенными до самого подбородка капюшонами своих домино, с руками, шутовски связанными салфетками, словно преступники, молящие о пощаде. Едва они подходят к дивану, как вся толпа раздражается громовым сардоническим хохотом, ужасающие отзвуки которого несколько раз облетают зал. Бедняга отец, ошалев, дрожит всем телом, суетливо тычется туда и сюда, наконец ему удается подхватить под

руки сына и дочь, и, весь сжавшись, с судорогой в поянице, ничего не понимая, он выбегает наружу, охваченный ужасной мыслью, что все жители города внезапно сошли с ума.

1934 (1917)

ПОСЕЩЕНИЕ

Сотни раз говорил ему — не пускать ко мне никого, с кем я заранее не условился. «Дама пришла» — по-думаешь. Оправданье.

— Ты сказал — Уэйль?

— Так точно, синьор, Вайль.

— Госпожа Уэйль скончалась вчера во Флоренции.

— Она сказала, что ей надо что-то вам напомнить.

(Сейчас я уже не знаю, приснилось мне это или действительно мы с моим слугой обменялись этими репликами. Он пускал ко мне много людей без предварительной договоренности, но то, что сейчас он доложил о покойнице, показалось мне совсем уж невероятным. Тем более, что я ведь только что видел ее, синьору Уэйль, во сне, еще совсем юную и красивую. Помню, что, едва проснувшись, я прочел в газете сообщение о ее смерти во Флоренции, а затем опять заснул и увидел ее во сне, улыбающуюся, смущенную: она была в полной растерянности, куда ей укрыться, ибо ее обволакивало белое весеннее облачко, которое мало-помалу таяло, исчезало, так что сквозь него уже проступала розовая нагота ее тела и притом как раз там, где стыдливость требует, чтобы оно было закрыто. Она старалась удержать этот легкий покров рукой, но разве можно натянуть на себя еле осязаемую кайму тумана?)

Мой рабочий кабинет выходит с двух сторон окнами в обширный густой сад. Это пять больших окон: три на одной стороне, два — на другой. Первые три — побольше, сводчатые; другие два — стеклянные двери, выходящие на великолепную, залитую солнцем террасу на южной стороне. И над всеми пятью — непрерывный трепет голубых шелковых маркиз. Но в комнате воздух кажется зеленоватым из-за отражения высшихся перед окнами деревьев. Спинкой к среднему окну стоит широкий диван с обивкой тоже зеленой, но более светлого оттенка морской волны. И какое, правду сказать, наслаждение отдыхать, точнее говоря — утопать во всей этой зелени и лазури.

Входя в кабинет, я еще держал в руке газету с сообщением о кончине вчера во Флоренции синьоры Уэйль. У меня не было и тени сомнения в том, что я его прочел: газета тут у меня в руках, но тут же сидит на диване, ожидая меня, прекрасная синьора Анна Уэйль, она самая, и никто другой. Впрочем, возможно, она и не настоящая. Да, возможно. Это бы меня, по правде сказать, не удивило: я ведь с некоторых пор привык к подобным явлениям. А если нет — выбор между двумя возможностями не велик: значит, сообщение газеты о ее смерти — неправда.

Вот она здесь, одетая, как три года назад, в белое летнее платье из органди, простое и почти детское, хотя и с большим вырезом на груди. (Понимаю — это и есть облако из моего сна.) На голове у нее большая соломенная шляпа, подвязанная под подбородком широкими черными шелковыми лентами. Глаза слегка сощурены, как бы от яркого света, бьющего в стеклянные двери напротив дивана. Но, странное дело, этому же свету она подставляет, нарочито запрокинув голову, свое несказанно нежное горло, как бы устремленное от упоительной белой груди к чистой линии подбородка.

Эта поза, принятая ею, без сомнения, совершенно сознательно, делает внезапно для меня все вполне ясным. Передо мною то, что прекрасная синьора Уэйль должна была напомнить мне — нежность этого горла, белизну груди, — одно лишь мгновение, но такое, которое становится вечностью и смывает все, даже смерть, как и жизнь, в некоем божественном опьянении, в котором возникает из глубокой тайны, озаряясь и принимая четкие очертания, все самое главное и существенное, раз и навсегда.

Я едва знаю ее (если она умерла, я должен был бы сказать: «едва знал ее», но ведь она здесь, сейчас, как в абсолютности вечно длящегося настоящего времени, поэтому и можно сказать: «едва знаю»). Я встретился с нею только один раз на летнем приеме в саду виллы наших с ней общих друзей, куда она явилась в этом платье из белого органди. В том саду, в то утро женщины покрасивее и помоложе словно искрились той страстностью, которую в любой женщине порождает радость оттого, что она желанна. Они охотно отдавались кружению танца и, чтобы еще распалить мужское желание, улыбаясь, в объятиях кавалера, смотрели прямо на его губы, как бы вызывая на поцелуй. Ранним летом воз-

никают такие упоительные минуты, от еще немного пьянящего тепла первых солнечных лучей, когда в мягком воздухе как бы действует некая закваска от тонких запахов, источаемых свежей зеленью лугов и яркой, сочной, возбуждающей зеленью густых деревьев сада. Она обволакивает тебя нитями светящихся звуков, ошеломляет внезапными вспышками света, беглыми молниями, блаженным головокружением. И сладость жизни становится как бы призрачной, порожденной и всем и ничем, ничто не может быть признано истинным, можно ничему не придавать значения, вспоминая позже, в сумраке, когда солнце это угасает, все сделанное и сказанное. Да, она меня поцеловала. Да, я ей обещал. Но поцелуй едва коснулся моих волос во время танца. Но обещание было дано так, в шутку. Скажу, что я не придавал ему значения. Спрошу у нее, неужели же не чистое безумие притязать на то, чтобы я взаправду сдержал его?

Можно быть полностью уверенным в том, что ничего подобного не происходило с прекрасной синьорой Анной Уэйль, ибо прелестный облик ее казался столь отрешенным от окружающего, столь умиротворенным, что ничье плотское вождление и не могло на нее посягнуть. Я же мог бы поклясться, что именно из-за моего почтения к ней, в глазах ее то и дело вспыхивали искры лукавого, даже предательского смеха, и не потому, чтобы про себя она считала, что отнюдь не заслуживает этого уважения, а потому что из-за него (ей, впрочем, вполне подходящего) никто не решается показать, что желает ее как женщину. Возможно, что этот огонек в ее глазах означал зависть к другим женщинам и ревность, возможно — гнев и печальную иронию, а возможно также — все это вместе взятое.

Наступил момент, когда я смог в этом убедиться. Сперва я некоторое время следил за ней, когда она танцевала и участвовала в общих играх, а под конец стала возиться с детьми и, как безумная, бегать с ними по лужайке — может быть, просто ради того, чтобы как-то отвести душу. Со мною была хозяйка дома, которой захотелось представить меня ей как раз в тот момент, когда она, нагнувшись, приглаживала детям растрепанные волосы и приводила в порядок их одежду. Чтобы поздороваться со мной, синьора Анна Уэйль быстро выпрямилась, но ей не пришлось в голову сразу же поправить широкий вырез своего платья из органди. Так что и я не смог не разглядеть ее грудь гораздо подробнее, чем это,

может быть, следовало. Длилось это лишь мгновение, и она тотчас же привела в порядок свое декольте. Но по тому, как она взглянула на меня, делая это почти незаметное движение, я понял, что моя невольная нескромность не была ей неприятна. И глаза ее заблестели теперь совсем по-иному — они светились какой-то почти испуленной признательностью, ибо в моих глазах она прочла уже не почтительность, а благодарность за то, что я увидел, — благодарность столь чистую, что для какого-либо похотливого чувства в ней не было места, была в ней только ясная очевидность того, как высока в моих глазах цена радости, которую может дать любовь такой женщины, как она, столь непосредственно стыдливым движением прикрывшая свою божественную едва мелькнувшую наготу человеку, который сумел бы эту любовь заслужить.

Вот что сказали ей мои глаза, еще сияющие восхищением, и вот почему я стал для нее единственным настоящим мужчиной среди всех, находившихся в этом саду, так же как и она среди всех других женщин предстала мне подлинной женщиной. И затем, пока продолжался этот прием, мы уже не в состоянии были разлучиться друг с другом. Но, кроме этого молчаливого взаимопонимания, длившегося одно мгновение, между нами ничего не произошло. Ничего не сказали мы друг другу, кроме вполне обычного и общепринятого — о прелести этого сада, о том, как нам здесь весело, о милом гостеприимстве наших общих друзей; но, хотя разговор шел только о посторонних и случайных вещах, в глазах ее все время блистал счастливый смех, точно струйки живой воды, вырвавшейся из глубин этого нашего таинственно-взаимопонимания и блаженно растекавшейся, не обращающей внимания на камни и травы, среди которых она бежит. Таким камнем оказался и ее муж, на которого мы вскоре натолкнулись у поворота дорожки. Она познакомила меня с ним, Я на миг поднял глаза, чтобы они встретились с ее глазами. Еле заметное движение век скрыло их ликующий блеск. И только этим движением прекрасная синьора доверительно сказала мне, что этот ее муж, славный, в общем, человек, никогда и не пытался понять того, что в одно мгновение понял я. И что это отнюдь не смешно, а для нее — великая скорбь, ибо такая женщина, как она, никогда не могла бы принадлежать другому человеку. Но это и не важно. Достаточно было того, что хоть один по-настоящему понял ее.

Нет, нет, теперь, когда мы снова шли и беседовали вдвоем, я не должен был даже нечаянно глянуть на ее обнаженную грудь и заставить ее руку незаметным движением воспрепятствовать моей нескромности. Теперь было бы грехом, с моей стороны, на чем-то настаивать, а с ее — проявить уступчивость. Между нами возникла некая близость. Ее и было достаточно. Речь уже шла не о нас двоих. Не о том, чтобы пытаться узнать или хоть мельком увидеть ее, прекрасную, такой, какой она сама себя знала. В этом случае пришлось бы обдумывать другие вещи, касавшиеся уже меня, и прежде всего то обстоятельство, что мне следовало бы быть, самое меньшее, лет на двадцать моложе. Нет, не надо по этому поводу скорбных и бесполезных сожалений. Достаточно прекрасно уже то, что мы на миг преисполнились столь чистой радостью в солнечном сиянии этого весеннего дня. Нам открылось самое существенно-радостное на земле: в невинной обнаженности своей, среди зелени земного рая женское тело, дарованное богом мужчине как высшая награда за все его труды, тяготы и заботы.

— Если бы я думала только о тебе и обо мне...

Я резко обернулся. Как! Она говорит мне «ты». Но прекрасная синьора Анна Уэйль исчезла.

И все же я вновь обретаю ее, она тут, рядом со мной, в своем белом платье из органди, в зеленоватом свете, наполняющем кабинет.

— А мои груди — если бы ты только знал! Из-за них я и умерла. У меня их вырезали из-за жестокого недуга, резали дважды. Первый раз едва год спустя после того, как ты — помнишь? — случайно увидел их. Теперь я могу обеими руками расширить вырез платья и показать тебе их такими, какими они были. Смотри же, смотри теперь, когда меня нет.

Я посмотрел: на диване лишь одно белое пятно — развернутая газета.

1935 (1937)

Вам покажется странным, что я собираюсь привести в церковь медведя. Прошу вас не препятствовать мне в этом, ибо, в сущности, не я лично это делаю. Каким бы чудным и странным вы меня ни счита-

ли, я знаю, что церковь следует уважать, и подобная мысль никогда не пришла бы мне в голову. Но пришла она в голову двум молодым монахам из Товельской обители — одному родом из Туэнно, другому из Флавона, — которые отправились в горы попрощаться с родителями, прежде чем ехать миссионерами в Китай.

Вы сами понимаете, что медведь не войдет в церковь просто так, я хочу сказать, так, как будто ничего особенного не происходит. Он войдет в нее благодаря самому настоящему чуду, как и вообразили себе два этих молодых монаха. Конечно, для того чтобы поверить в такое чудо, нужно было иметь не более не менее, как их простую веру. Я согласен, что подобные простые вещи — самое трудное дело. И потому, если этой веры у вас нет, вы вполне можете в это чудо не поверить и даже посмеяться по поводу этого медведя, зашедшего в церковь, потому что сам бог возложил на него обязанность подвергнуть испытанию мужество двух юных миссионеров перед их отъездом в Китай.

Между тем медведь уже у самой церкви и лапой приподнимает тяжелую кожаную завесу. Вот он в некоторой растерянности проникает под сумрачные своды храма, пробирается между двумя рядами скамей центрального нефа, наклонив голову, обнюхивает пол, а затем учтиво спрашивает у первой попавшейся ему ханжи:

— Простите, как пройти в ризницу?

Это медведь, которого сам Господь Бог пожелал сделать достойным возложенной на него миссии, и он не хочет совершить какой-либо ошибки. Но ханжа тоже не намерена прерывать свою молитву и досадливо, не поднимая головы и глаз, почти не разжимая губ, одним движением руки указывает направление. Таким образом, она и понятия не имеет, что к ней обратился медведь. А не то можете себе представить, какой бы поднялся крик.

Медведю все это нипочем. Он идет, куда ему указали, и спрашивает у сторожа:

— Простите, а где Господь Бог?

Сторож совершенно ошеломлен:

— Как так, где Господь Бог?

Удивленный медведь разводит лапами:

— Он здесь не проживает?

Тот еще не уразумел, верить ли ему своим глазам, и восклицает вопросительным тоном:

— Да ты никак медведь?

— Медведь, конечно, сам видишь. Ни за кого другого себя и не выдаю.

— Ну и как же так — медведь хочет повидаться с Господом Богом?

Тогда медведю не остается ничего другого, как посмотреть на него с сожалением.

— Тебе бы подобало изумиться тому, что я с тобой говорю. Так вот, к твоему сведению, Господу Богу легче разговаривать с лесным зверем, чем с человеком. Но пока что ответь мне: знаешь ли ты двух молодых монахов, которые завтра отправляются миссионерами в Китай?

— Знаю. Один родом из Туэнно, другой из Флавона.

— Они самые. Известно тебе, что они пошли в горы проститься с родителями и еще до вечера должны вернуться в монастырь?

— Знаю.

— А кому нужно, чтобы ты дал мне эти сведения, если не самому Господу Богу? Так вот, знай, что Господь Бог хочет подвергнуть их испытанию и возложил это дело на меня и на одного моего приятеля, медвежонка (можно было бы сказать — сына, но я так не говорю, ибо мы, звери, не признаем детьми тех, кто от нас рожден, когда они достигают известного возраста). Я не хотел бы, чтобы вышло какое-нибудь недоразумение. И поэтому мне нужно получить более точное описание этих двух монахов, чтобы не перепугать зря других, которых все это не касается.

Эта сцена изображена здесь не без доли лукавства, которого оба монаха, представляя себе ее, сюда отнюдь не вносили. Но что Господь Бог говорит со зверями охотнее, чем с людьми, не подлежит, по-моему, никакому сомнению, если принять во внимание, что звери (когда они не вступают в какие-либо отношения с людьми) всегда вполне уверены в том, что делают, и даже более уверены, чем если бы они это сознавали. Не потому, чтобы так было хорошо, не потому, чтобы так было плохо (подобные заботы бывают только у людей), но потому, что они повинуются своей природе — средству, которым Господь Бог пользуется, чтобы с ними говорить. Люди же, напротив, будучи дерзостными и самонадеянными, хотя слишком много понимают своей головой и под конец вообще ничего не понимают. У них ни в чем никогда нет уверенности, и им совершенно чужды прямые и четкие взаимоотношения между Богом

и зверями, более того, я сказал бы, что они о них даже и не подозревают.

Факт, во всяком случае, тот, что вечером, когда оба молодых монаха возвращались в монастырь и выходили с горной тропы на дорогу, ведущую в долину, они убедились, что выход им закрыт: дорогу преградили медведь и медвежонок.

Была поздняя весна, то есть не то время года, когда изголодавшиеся волки и медведи спускаются с гор. До этого момента оба молодых монаха безмятежно шагали среди колосющихся хлебов, уже довольно высоких и обещающих хороший урожай. Лица их светились радостью из-за всех этих свежих зеленей, позолоченных садящимся солнцем и блаженно изливавшихся в широкую долину.

Оба в испуге остановились. Как и подобает монахам, они были не вооружены. Только у уроженца Туэнно имелась грубая палка, которую он подобрал на тропе, спускаясь с горы. Для схватки с такими двумя зверями она совершенно не годилась.

Инстинктивно они прежде всего обернулись назад в поисках какой-либо помощи или защиты. Но, немного выше, на горе, они увидели только девочку, пасшую с прутом в руке трех поросят.

Они увидели, что она в свою очередь повернулась в их сторону и стала смотреть на долину, но при этом только напевала про себя, лениво помахивая прутом. Ясно было, что она не заметила медведей, а между тем они были совсем у нее на виду. Как же это она могла их не видеть?

Пораженные равнодушием девочки, оба монаха сперва подумали, что либо медведи им померещились, либо она их уже знает в качестве прирученных местными жителями и безвредных. Ибо совершенно немислимо было, чтобы она их не заметила: тот, что был побольше, твердо стоял во весь рост на задних лапах и стерег дорогу. Против света он казался огромным и совсем черным. Медвежонок же медленно приближался к ним, переваливаясь на своих коротких лапах; сейчас он уже стал кружить вокруг монаха из Флафона и, все время сужая круги, обнюхивал его со всех сторон.

Бедняга поднял руки, словно сдаваясь или просто для того, чтобы спасти их, и, не зная, что еще можно предпринять, смотрел на ходившего кругами медвежонок, весь напрягшись от страха. Затем, в некий момент, бросил беглый взгляд на товарища и, увидев на его лице,

как в зеркале, собственную свою бледность, вдруг, кто знает почему, зарозовелся лицом и улыбнулся ему.

И тут произошло чудо.

Товарищ его, сам не зная почему, улыбнулся в ответ. И тотчас же при этом обмене улыбками оба медведя то же словно подали друг другу какой-то знак и спокойно направились в глубь долины.

Для них испытание уже было совершенно и данное им поручение выполнено.

Но оба монаха пока еще ничего не понимали настолько, что, увидев, как мирно удаляются медведи, они некоторое время неуверенно стояли на месте, следя глазами за внезапным, совершенно неожиданным отступлением обоих зверей, которое, из-за природной неповоротливости медведей, не могло не показаться им комичным. Взглянув затем друг на друга, они не могли найти ничего лучшего, чем разрядить владевший ими страх в могучем взрыве громкого раскатистого хохота. Этого они наверняка никогда не сделали бы, если бы вдруг поняли, что медведи были посланы Господом Богом, дабы подвергнуть их мужество испытанию, и что поэтому смеяться над ними — то же самое, что смеяться над самим Господом Богом. Если бы подобное предположение даже и пришло им в голову, они, пережив такой страх, подумали бы, что не Бог, а скорее Дьявол наслал на них этих медведей, чтобы основательно напугать их.

Но когда они увидели, что, в ответ на их смех, оба медведя с горделивым гневом обернулись к ним, они сразу поняли, что наслал их не дьявол, а сам Бог. Без сомнения, в этот миг медведи ожидали, что Господь, негодую на такое непонимание, повелит им вернуться и покарать неразумных, пожрав их.

Честно признаюсь, что, будь я богом, маленьким богом, я так бы и сделал.

Но великий Бог все уже понял и простил. Первая невольная улыбка двух юных монахов вызвала у них чувство стыда перед тем, что они испытали столь сильный страх, они, намеревающиеся стать миссионерами в Китае и тем самым возложившие на себя искушение не ведать никакого страха. И этой первой улыбкой Господу Богу оказалось вполне достаточно именно потому, что она возникла бессознательно, в пароксизме страха, и тогда он повелел медведям удалиться. Что же до их грубого, резкого хохота, то вполне естественно было, что оба юноши имели в виду посмеяться над Дьяволом, стремив-

шимся нагнать на них страх, а не над Богом, пожелавшим подвергнуть испытанию их мужество. И это по той причине, что никто лучше Господа Бога не знает по личному опыту, что многие дела, которые людям из-за их близорукости кажутся дурными, творит именно Он по сокровенному своему промыслу, а люди, по недомыслию, считают их деяньями дьявольскими.

1915 (1937)

ДОМ СМЕРТНОЙ ТРЕВОГИ

Входя в дом, посетитель, без сомнения, назвал свое имя. Но старая кривая негритянка, похожая на обезьяну в фартуке, которая открыла ему дверь, либо не расслышала, либо сразу позабыла о нем, так что в течение трех четвертей часа он оставался в этом молчаливом доме безымянным «господином, который там ожидает».

«Там» — означало в гостиной.

Кроме этой старой негритянки, застрявшей у себя на кухне, в доме никого не было, и царил такое глубокое молчание, что медленное тиканье старинных стенных часов где-то в столовой отчетливо слышалось во всех других комнатах так, словно это билось само сердце дома. И казалось, что различные предметы обстановки в каждой из остальных комнат, даже самых дальних, старые, но содержавшиеся в полном порядке, немного смешные, так как уже совершенно вышли из моды, прислушиваются к этому тиканью и их как-то успокаивает ощущение, что в этом доме никогда ничего не произойдет и поэтому они смогут, по-прежнему бесполезные, спокойно стоять на месте, любоваться друг другом, молчаливо сожалеть о себе, а вернее всего — просто дремать.

И мебель, особенно старая, обладает душой, которую придают ей воспоминания дома, где она так долго стояла. Чтобы в этом убедиться, достаточно появления какой-нибудь новой вещи среди старых.

Новая вещь души еще не имеет, но уже благодаря одному тому, что она выбрана и приобретена, стремится ее получить.

Стоит понаблюдать, как неодобрительно смотрят на нее старые вещи: для них она нахальная втируша, кото-

рая еще ничего не знает, да и не может знать, и потому питает невесть какие иллюзии; они-то, старые вещи, не имеют уже ни малейших иллюзий и потому всегда так печальны; им хорошо известно, что со временем замирают и воспоминания и что вместе с ними мало-помалу замрет и их душа; потому-то обивка у них выцвела, дерево покрылось патиной, и стоят они себе, тоже не разговаривая друг с другом.

Если, на их беду, еще живет какое-то воспоминание, с ними связанное и притом неприятное, им грозит опасность быть просто выброшенными.

Это старое кресло, например, с величайшим сокрушением наблюдает, как мелкий прах от его изведенной молью обивки падает на поверхность стоящего перед ним столика, к которому оно очень привязано. Оно знает, что тяжесть его слишком сильно давит на слабые ножки, особенно на обе задние, и опасается — как знать? — не возьмут ли его вдруг за спинку и не стащат ли с места. Пока этот столик стоит перед ним, оно чувствует себя как-то уверенней, ему кажется, что оно как бы находится под защитой; и ему очень не хотелось бы, чтобы моль придала столику этой пылью из объединенной обивки совсем неказистый вид и его бы вдруг взяли и убрали на чердак.

Все эти наблюдения и соображения принадлежали безымянному посетителю, позабытому в гостиной.

Этот человек, почти полностью растворившийся в тишине дома и уже потерявший в нем свое имя, казалось, утратил там и личность свою, превратившись в одну из тех вещей, с которыми он себя отождествил, внимательно прислушиваясь к медленному тиканью стенных часов, которое так отчетливо доносилось сюда через оставшуюся приоткрытой дверь.

Невысокий и худощавый, он тонул в большом темном кресле, крытом лиловым бархатом, на которое уселся. Тонул он и в своей одежде: его хлипкие ручки и ножки словно терялись в рукавах и штанинах. Он был только лысым черепом с двумя острыми глазами и усами, словно у крысы.

Разумеется, хозяин дома уже позабыл, что сам пригласил этого человека к себе, и тот уже не раз подумывал о том, имеет ли он еще право сидеть здесь и поджидать хозяина теперь, когда любое время, подходящее для посещения, уже истекло.

Но он, впрочем, вовсе и не поджидал хозяина дома.

Если бы тот сейчас и появился, его бы это ничуть не обрадовало.

Слившись с этим креслом, в котором сидел, неподвижно глядя с какой-то судорожной пристальностью перед собой, со все растущей в нем и прерывавшей ему дыхание тревогой, он ждал совсем иного, ужасного. Он ждал крика с улицы, крика, возвещавшего ему о чьей-то смерти, смерти случайного прохожего, который среди стольких других людей, проходящих по улице, — мужчин, женщин, молодых, старых, детей, чьи шаги и голоса пока еще невнятно долетали до него, — должен был сейчас пройти под окном этой гостиной на пятом этаже.

И все потому, что через полуоткрытую дверь вошел, даже не обратив на посетителя ни малейшего внимания, большой серый кот и легким прыжком вскочил на подоконник открытого окна.

Из всех животных меньше всего шума производят кошки, не могло не быть кошки в такой тихой квартире, как эта.

На голубом прямоугольнике окна резко выделялся вазон с розовой геранью. Голубизна эта, сперва яркая, ослепительная, мало-помалу подергивалась лиловатостью, словно легким дыханием сумрака, дошедшего до нее издалека, от еще отдаленного вечернего часа.

Ласточки, стремительно пролетавшие мимо окна туда и обратно и словно опьяненные последними лучами дня, издавали по временам пронзительные крики и стрелой неслись на окно, словно стремясь прорваться в гостиную, но, достигнув подоконника, мгновенно устремлялись назад. Но не все. Каждый раз то одна, то другая прятались под карниз неизвестно как и зачем.

Еще до того, как кот зашел в гостиную, посетителем завладело любопытство, он подошел к окну, немного отодвинул вазон с геранью и высунулся, желая найти этому объяснение. Таким образом он обнаружил, что пара ласточек устроила себе гнездо под карнизом окна.

Но вот что было ужасно: все, проходившие внизу по этой улице, погружены были в мысли о своих заботах и делах, и никому из них и в голову не пришло бы, что под карнизом одного из окон пятого этажа одного из многочисленных домов этой улицы устроили себе гнездо две ласточки, а на подоконнике того же окна стоит вазон с геранью и тут же находится кот, пытающийся поймать этих ласточек. И еще меньше мог думать об идущей по

улице толпе кот, который в данный момент, весь сжавшись, укрылся за этим вазоном и, слегка двигая головой направо и налево, следит будто бы равнодушным взглядом за бешеным лётном оглушительно кричащих, опыленных воздухом и светом, проносящихся за окном стай. И когда мимо него мчится очередная стая, он лишь чуть-чуть пошевеливает кончиком свисающего с подоконника хвоста, готовый вцепиться когтистыми лапами в первую из двух ласточек, которая попыталась бы проникнуть в гнездо.

Но только посетитель, ожидавший в гостиной, только он один знал о том, что едва лишь кот порезче толкнет вазон, он тотчас же полетит вниз на голову кому-нибудь из прохожих; нетерпеливые движения кота уже дважды сдвигали его с места, и сейчас он находился совсем близко к краю карниза. Посетитель уже едва дышал от волнения, на лысом черепе его проступили капли пота. Так непереносимо было для него это судорожное ожидание, что в нем даже возникло дьявольское желание тихохонько, согнувшись и вытянув палец, подойти к окну и самому сбросить вниз этот проклятый вазон, не дожидаясь, пока это сделает кот. Сейчас это неизбежно случилось бы от малейшего толчка.

И ничего нельзя было сделать.

Доведенный глубоким молчанием этого дома до полного изнеможения, он уже был никем. Он стал самым этим молчанием, отмечаемым медленным тиканьем стенных часов. Он стал этими вещами, немymi и бесстрастными свидетелями здесь, наверху, того несчастного случая, который должен был произойти внизу, на улице, и о котором они даже не узнали бы. Он-то знал, но только благодаря выкладкам своего ума. Ему уже некоторое время следовало бы и не находиться здесь. Он мог бы считать, что в гостиной сейчас никого нет и никем не занято кресло, к которому он словно привязан был навязанием злого рока, нависшего здесь, на подоконнике, над головой неизвестного прохожего внизу.

Ему бесполезно было бы вмешиваться в эту судьбу, эту естественным образом возникшую связь между котом, вазоном с геранью и гнездом ласточек.

Вазон находился здесь именно для того, чтобы быть выставленным на подоконнике. Если бы посетитель убрал его, чтобы не случилось беды, это отсрочило бы ее на какой-нибудь один день. Завтра старая негритянка все равно снова водворила бы вазон на подоконник, ибо он,

этот подоконник, был для вазона положенным ему местом. И кот, сегодня отогнанный, завтра вернулся бы на охоту за двумя ласточками.

Все было неизбежно.

Вот вазон еще больше сдвинулся с подоконника — теперь он уже на целый палец выступал на самый карниз.

Посетитель оказался не в силах выносить такое напряжение и пустился наутек. Он стремительно сбежал вниз по лестнице, и в это мгновение его словно молния поразила мысль, что он очутится на улице в тот самый момент, когда вазон с геранью упадет из окна прямо ему на голову.

1935 (1937)

СЧАСТЬЕ БЫТЬ ЛОШАДЬЮ

Конюшня там, за запертой дверью, тотчас же за воротами в деревенский дворик, немного наклонный, мощный уже стершимся камнем, с водоемом в центре.

Дверь ветхая, подгнившая; некогда покрывавшая ее зеленая краска облупилась, желтоватая штукатурка дома осыпается, и оттого он кажется самым старым и жалким в местечке.

Сегодня рано утром дверь конюшни закрыли снаружи на огромный проржавевший засов, а лошадь, находившуюся там, выпустили наружу — кто знает, почему — без уздечки, без седла, без переметной сумки — словом, без ничего.

Лошадь в течение нескольких часов стоит перед дверью, терпеливо, почти неподвижно. Она чует из-за запертой двери запах своего стойла — такого близкого, запаха двора, и кажется, что, вдыхая его раздутыми ноздрями, она по временам вздыхает.

Любопытно, что каждый вздох сопровождается нервным подергиваньем шкуры на спине, где явственно проступает след старого набоя.

Теперь, когда ни на голове, ни на спине у нее ничего не надето, можно видеть, во что превратило ее время: голова, когда она ее поднимает, еще хранит какое-то, хотя и грустное, благородство очертаний, но на туловище просто жалко смотреть — на спине сплошное затвердение узлов, ребра торчат, заострены тазовые кости. Но

грива еще густая, хвост длинный и лишь немного поредел.

Лошадь, которая, по правде сказать, ни на что больше не годится.

Чего она ждет, стоя здесь перед дверью?

Кто, проходя мимо, замечает ее и знает, что хозяин уже убрался отсюда в другие места, вывезя предварительно весь домашний скарб, может подумать, что кто-нибудь по его поручению и явится за ней. Но в таком виде, без ничего она скорее кажется брошенной на произвол судьбы.

Другие останавливаются, смотрят, и кое-кто говорит, что хозяин перед отъездом всеми способами старался избавиться от лошади, сперва пытаясь продать ее за любую цену, потом отдавая даром любому, кто согласился бы ее взять, между прочим и ему, но никто, в том числе и он, не пожелал с ней связываться.

Как-никак, лошади нужен корм. А то, чем эта может еще послужить, такая старая и изможденная, стоит ли оно, по правде говоря, потребного для нее сена и соломы?

Это ведь немалая обуза — иметь лошадь и не знать, что с ней делать.

Многие заговаривают о самом легком и быстром способе избавиться от нее — пристрелить. Ружейная пуля недорого стоит. Но не у всех хватает духу это сделать.

Но, может быть, еще более жестоко предоставить ее своей судьбе. Конечно, очень жалко видеть, как несчастная скотина стоит перед запертой дверью пустого покинутого дома. Прямо-таки хочется подойти поближе и сказать ей на ухо, чтобы она перестала без толку стоять здесь и чего-то ждать. Хоть бы уж оставили у нее на шею веревку, чтобы можно было ее куда-нибудь увести, но и того нет. Упряжь всякая, видимо, нашла покупателя — ее еще можно пустить в дело. Может быть, если бы хозяину и удалось продать ее вместе с упряжью, покупатель все равно снял бы упряжь, а ее бросил на дороге.

А мухи-то, поглядите, мухи! Тут уж не скажешь, что они-то, мухи, ее бросили в беде! И если несчастная лошадь еще делает какие-то движения, то только хвостом, отгоняя мух, когда от их укусов уж слишком больно, а это бывает часто — ведь теперь у нее меньше крови и высасывать ее труднее.

Но она уже устала от многочасового стояния на ногах и теперь, с трудом подгибая колени, ложится на землю отдохнуть, но неизменно головой к двери.

У нее даже не возникает мысли, что она свободна.

Но даже если лошадь действительно обретает свободу, может ли у нее появиться какое-нибудь представление об этом? Может, и она даже радуется свободе, не думая о ней. Когда же ее лишают свободы, она сперва инстинктивно сопротивляется, но затем, приручившись, смиряется и привыкает. Может быть, впрочем, эта лошадь, родившаяся в стойле, никогда и не знала свободы. Хотя нет, пожалуй, знала — юным жеребенком где-нибудь в деревне, где ее пускали свободно пастись на лугах. Но и это была лишь так называемая свобода: луга-то были огорожены. И если она там паслась, то может ли об этом помнить?

Она лежит на земле, пока голод не побуждает ее снова встать с большим трудом на ноги; прождав так долго у этой двери, она теперь уже не надеется, что дверь откроют, поворачивает голову и взгляд ее устремляется в сторону, вдоль улицы поселка. Ржет, скребет землю копытом. Но ничего другого сделать не умеет. К тому же она, видимо, убеждена, что это бесполезно, ибо через некоторое время фыркает и качает головой, а затем делает несколько неуверенных шагов.

Теперь за нею наблюдают уже немало любопытных.

В деревне, где она выросла, не принято, чтобы лошадь бегала на свободе, когда кругом слабые женщины и дети.

Лошадь ведь не то что собака, которая может, оставшись без хозяина, бегать туда-сюда, и никто не обращает на это внимания. Лошадь есть лошадь, и если она сама этого не знает, то знают другие, которые ее видят — животное с телом громоздким, гораздо больше, чем у пса. Оно как-то не внушает полного доверия, перед ним все немного настороже: возьмет, чего доброго, да и сделает неизвестно почему какой-нибудь неожиданный скачок. И глаза у лошади странные, с белком, который временами наливается кровью, и тогда они кажутся свирепыми; в этих глазах отражается все, они мечут какие-то искры, молнии, их никак не понять, в них все время некая тревожная жизнь, которая порою вдруг застилается мраком от любого пустяка.

Предубеждения здесь, впрочем, нет. Но это не собачьи глаза, почти человеческие, просящие о прощении

или о жалости, умеющие даже притворяться и бросать такие взгляды, которые наше людское лицемерие ничему новому не научит.

А глаза лошади — их все видят, а прочесть в них ничего нельзя.

Правда, эта лошадка в таком плохом состоянии никому не представляется опасной. Да и вообще, к чему вся эта тревога?

Пускай себе бродит. Если кто-нибудь испытает из-за нее какое-нибудь неудобство, он пускай и заботится о том, чтобы ее убрать. Либо этим займутся полицейские.

Ребята, не швыряйте камней. Видите, на ней же ничего нет! Она не взнуздана, если понесется — попробуй останови ее.

Давайте лучше спокойно поглядим, куда она направится.

Ну вот, прежде всего она заходит во двор к одному человеку, который фабрикует макароны на продажу: они у него разложены на просушку под открытым небом на сетчатых рамах, а те сами лежат на довольно шатких козлах.

О боже, она натывается на них, некоторые падают.

Но хозяин вовремя подбегает и отгоняет лошадку. Черт бы... да чья же это лошадь?

Мальчишки совсем распоясались, бегут вслед за лошадью, кричат, хохочут.

— Лошадь убежала!

— Да нет же, ее бросили.

— Как так бросили?

— Да вот так. Хозяин выпустил ее на волю.

— Вот что! Значит, эта лошадка будет бегать себе на приволье по всем дорогам?

Будь то человек, можно бы поинтересоваться, не спятил ли он часом. А от лошади что узнаешь? Лошадь знает, когда она голодна, больше ничего. Эта недаром сейчас тянет морду к роскошному пучку салата, выставленному среди прочих овощей перед входом в лавку зеленщика.

И отсюда ее тоже грубо отгоняют.

К ударам она привыкла и приняла бы их совершенно спокойно, если бы при этом ей предоставили возможность поесть.

Но именно этого-то они не хотят. Чем упорнее она сопротивляется, выказывая полнейшее безразличие к их

ударам, тем сильнее они толкают ее в шею, чтобы мордой она уже не могла достать салата. И ее упорство вызывает всеобщее веселье. Неужто так трудно понять, что этот салат выставили тут на продажу тому, кто захотел бы его поесть? Это же так просто. Но лошадь по-прежнему не понимает, и грубый хохот усиливается.

Ну и скотина! Нет у нее и клочка сена пожевать, а подавай ей салат.

Никому не приходит в голову, что животное может смотреть на это дело с иной, куда более простой точки зрения. Но что поделаешь?

Лошадка уходит, а за ней бегут мальчишки, которым теперь, когда она показала, что удары ей нипочем, уже удержу нет. Они поднимают вокруг нее адский галдеж, так что лошадь вдруг останавливается в полном обалдении, словно раздумывая, как бы его прекратить. Тут появляется какой-то старик, пытающийся убедить ребят, что с лошадью не шутят.

Видите, как она сразу остановилась?

И он поднимает руку, чтобы погладить ее по шее, уговорить, успокоить. Но она вдруг резко прыгает в сторону, наострив уши. Старик, не ожидавший ничего подобного, сперва несколько испуган, но тотчас же усматривает в этом подтверждение того, что он только сейчас говорил.

Вот видите!

Пример на мгновение действует. Ребята продолжают следовать за лошадкой, но на некотором расстоянии. Куда же она идет?

Вперед. Не решаясь больше подходить к другим лавкам, она трусит вдоль всей улицы поселка до вершины холма и там, где начинается спуск и по обеим сторонам дороги уже нет жилья, нерешительно останавливается.

Ясно, что она уже не знает, куда идти.

Здесь, на дороге, веет легкий ветерок. Лошадка поднимает голову, словно чтобы вдохнуть этого ветерка, и немного шурит глаза, может быть потому, что ветер донес до нее запах травы с дальних полей.

Она стоит так долго; глаза у нее сощурены, челка на твердом лбу слегка колыхнется от порывов ветерка.

Но не будем уж чрезмерно жалостливы. Не должны мы забывать о счастье, выпавшем на долю этой лошадки, как и всех вообще лошадей, — счастье быть лошадью.

Если те ребята в конце концов устали смотреть на нее и ушли, другие, в еще большем количестве, составили ей теперь веселый кортеж, ибо к вечеру она стала как бы другой, невесть откуда явившаяся, в каком-то странном возбуждении от голода, и стоит здесь, на середине дороги, подняв голову, и нетерпеливо бьет копытом твердый настил, словно желая сказать: тотчас же принесите мне поесть, сюда, сюда, сюда.

В ответ на это повелительное топанье раздаются свист, хлопки, смех, разнообразные крики и возгласы. Пустеют лавки, столики в кафе — все хотят знать, что же с этой лошадьё, которая убежала, да нет — брошена, пока наконец двое стражников не продираются через толпу: один хватается лошадь за гриву и отводит в сторону, другой не дает мальчишкам бежать за ней, оттесняя их назад.

Лошадка отведена теперь за пределы поселка, за последние его дома и мастерские, на ту сторону моста. Она ни в чем не отдает себе отчета, кроме одного: до нее снова доносится запах травы, теперь уже близкий, тут, по обочинам дороги, за мостом, ведущим в поле.

Ибо среди всех бед, которые могут обрушиться на нее из-за людей, лошади в одном отношении повезло: она ни о чем не думает. Даже о свободе. Даже о том, когда и как все для нее кончится. Ни о чем. Прогонят ее совсем? Сбросят с обрыва, чтобы она разбилась насмерть?

Сейчас, в данный момент, она ест траву на обочине. Ночь теплая, небо вызвездилось, завтра — будь что будет.

Она об этом не думает.

1935 (1937)

ВЫЗОВ

Возможно, что Джекоб Шварб вовсе и не думал ни о чем худом. Разве что, может быть, взорвать весь мир с помощью динамита. Подорвать взрывчаткой какого-то определенного человека — это злой умысел. А взорвать динамитом весь мир — тут нет не только умысла, но и смысла. Так или иначе, но он считал, что ему подобает скрывать свой лоб под огромным всклокоченным рыжеватым чубом.

Огромный чуб. Руки, засунутые в карманы брюк. Безработный.

Он решительно запротестовал, когда, попав в Israel Zion Hospital¹ в Бруклине по поводу тяжелой болезни печени, был острижен. Лишившись волос, он почувствовал себя так, словно лишился всей головы. Он ощупал ее руками, ему показалось, что это какая-то чужая голова, и он пришел в ярость.

Он пожелал выяснить, не хотят ли, нанеся ему такое оскорбление, рассматривать его не столько как больного, сколько как заключенного.

По гигиеническим соображениям?

Плевать хотел он на гигиену.

Как вам это понравится!

Хорошо еще. что, потеряв шевелюру, он сохранил хотя бы свои нависшие над глазами густые брови, всегда нахмуренные и словно скрывающие в темных глазах горькую обиду на всех и на саму жизнь.

В течение всего времени, проведенного в больнице, Джекоб Шварб не мог сказать, какого он, собственно, цвета — пожелтее или позеленее, из-за этой больной печени, которая причиняла ему жестокие муки и создавала настроение, которое легко себе представить.

Боли просто жуткие.

Летом, целых два месяца в палате, где больные стояли и вопили днем и ночью — а кто уже не стонал, так это означало, что он помер, — приступы ярости, хрипы, одеяла, сбивавшиеся в какие-то подобия мячей то на одной, то на другой кровати или в бешеном раздражении подбрасывавшиеся вверх. И тогда внезапно прибегали сиделки и ночные дежурные.

Джекоб Шварб знал этих ночных дежурных, всех вместе и каждого в отдельности, и к каждому из них питал особую антипатию. Особенно сильна была у него антипатия к некоему Джо Курцу, раздражавшему его до того, что он даже вызывал у Джекоба смех, такой, впрочем, смех, какой бывает у собак, намеревающихся вцепиться тебе в ногу.

И действительно, этому Джо Курцу свойственна была какая-то совершенно специфическая манера вести себя оскорбительно. Он никогда ничего не говорил, если его

¹ Еврейская больница (англ.).

к этому не вынуждали, ничего худого не делал, только улыбался этакой холодной улыбкой, которая не только раздвигала ему до ушей рот с бесцветными тонкими губами, но и в глазах зажигала какие-то бледные, тусклые огоньки. И всегда-то голова у него клонилась на плечо, голова цвета слоновой кости и без единого волоска, и казались словно свисающими с груди неизменно скрепленные на белом халате, большие, как бы полинявшие от стирки руки.

Может быть, он и не разумел, как и насколько не соответствовала эта его извечная улыбка столь же извечным жалобам несчастных больных, ибо просто невозможно было допустить, чтобы, поняв это, он мог продолжать улыбаться таким образом. Разве что совершенно без ведома больных эти их жалобы казались ему смешными и забавными, ибо звучали они на разные тона, одни потише, другие погромче, для одних больных они стали привычкой, другим давали какое-то облегчение, а все вместе могли создавать для него некую любопытную и развлекательную симфонию.

Любой человек, вынужденный всю ночь бодрствовать, борется со сном, как может.

Но, впрочем, даже Джо Курц мог бы улыбаться просто своим мыслям. Возможно, что он был влюблен, хотя для этого было поздно. А может быть, все эти жалобы и стоны растворялись в некоем блаженном молчании, царившем только в его благородной душе.

И вот однажды ночью, когда в палате было неожиданно тихо и один только Джекоб Шварб страдал от невозможности найти хоть минуту покоя на этом больничном ложе, за два месяца узнавшем все его муки, дежурным оказался как раз Джо Курц.

Все лампы были уже погашены за исключением лампочки дежурного санитаря, заставленной небольшим зеленым экраном, на столике в самом дальнем углу. Яркий лунный свет вливался в высокие окна палаты, особенно же в самое большое, настежь открытое, посередине стены как раз против коек.

Подавляя, насколько это в его силах, одолевающие его приступы болей, Джекоб Шварб наблюдает со своей кровати Джо Курца, сидящего за своим столиком, его лицо цвета слоновой кости, озаренное настольной лампой. И так как Джекоб полон ненависти ко всему роду

человеческому, он все время спрашивает себя, как же это можно все время улыбаться таким образом, как можно оставаться таким равнодушным, когда дежуришь в больничной палате, где больной мучится так, как вот он сейчас, и боль все усиливается и усиливается, так что с ума, с ума, с ума можно сойти. И тут, внезапно, бог весть откуда, возникает у него мысль: проверить, останется ли Джо Курц при своей вечной невозмутимости, если он, Джекоб, сейчас вот сорвется с койки, подбежит к большому, настезь открытому окну и выбросится из него.

Сам он еще не отдает себе ясного отчета в том, что именно вызвало в нем эту внезапную мысль: то ли взрыв отчаянья от этих невыносимых страданий, представляющихся ему какой-то дикой несправедливостью в эту ночь, когда в палате все вообще так спокойно, или же злобное чувство к Джо Курцу.

До момента, когда он встал с койки, Джекоб сам еще не вполне ясно осознавал, какая у него цель — действительно ли выброситься из окна или же испытать, как далеко зайдет безразличие Джо Курца, бросить вызов его невозмутимой улыбке просто из мучительной потребности дать какой-то выход своей неприязни к санитару, который, конечно, обязан по всем правилам, видя, что он без разрешения встал с койки, броситься к нему, чтобы его удержать.

Факт, во всяком случае, тот, что Джекоб Шварб сильным броском скидывает с себя одеяло и вскакивает на ноги с дерзким вызовом, прямо на глазах Джо Курца. Но Джо Курц не только не встает из-за своего столика, но даже вообще не проявляет ни малейшего смущения.

Август месяц, адская жара. Может быть, он думает, что больной решил просто подышать воздухом у открытого окна.

Все знают, что Джо Курц человек снисходительный и смотрит сквозь пальцы, когда больные нарушают некоторые бесполезные предписания врача.

Может быть, при более углубленном наблюдении можно было бы обнаружить в этой его улыбке, что он готов закрыть глаза, даже если бы догадывался, что намерение больного состоит именно в том, чтобы выброситься из окна.

Есть ли у него, Джо Курца, право воспрепятствовать в этом несчастному больному, у которого нет сил переносить страдания? Конечно, это его долг, поскольку больной находится под его наблюдением. Но ведь есть

полная возможность предположить, что больной встал с койки только для того, чтобы глотнуть свежего воздуха. Тем самым совесть Джо Курца спокойна, и он может представить вполне разумное объяснение, почему он не сдвинулся с места. Больной же пускай делает что хочет, и если ему хочется покончить с собой, что ж, пусть кончает. Это его дело.

Между тем Джекоб Шварб ожидает, что его удержат еще до того, как он дойдет до высокого окна в конце палаты. Он уже почти у цели и, дрожа от ярости, оборачивается поглядеть на Джо Курца — тот все еще невозмутимо сидит у своего столика, и Джекоб Шварб вдруг чувствует себя вроде как совершенно обезоруженным: сейчас он просто не знает, что же делать — идти вперед или возвращаться.

Джо Курц продолжает улыбаться ему, и вовсе не пренебрежительно, а желая дать понять, что он отлично понимает, какое сильное желание может быть у больного ненадолго встать со своей кровати, только бы он попросил, хотя бы знаком, разрешения на это. И то, что больной задержался и поглядел на него, он вполне может понять именно как такую просьбу. Он несколько раз кивает головой — ладно, мол — и рукой делает знак: иди себе дальше.

Для Джекоба Шварба это — предел издевательства, самый наглый из наглых ответ на его вызов. С гневным рычанием он поднимает сжатые кулаки, скрежещет зубами, подбегает к окну и выбрасывается наружу.

Насмерть он не разбился. Сломал ногу, руку, два ребра и сильно разбил голову. Его подобрали, принялись лечить, и каким-то чудом, какие бывают при сильном и нервном шоке, у него не только срослись все переломы, но он излечился даже от болезни печени. Ему бы следовало бога благодарить за то, что он, хотя бы ценой всех своих увечий, так стремительно убежал в открытое окно от смерти, которая, может быть, настигла бы его, если бы он ожидал ее, лежа в больнице в таких нечеловеческих муках. Однако ничего подобного. Едва поправившись, он посоветовался с адвокатом и вчинил Israel Zion Hospital иск на двадцать тысяч долларов за увечья, полученные при падении из окна. Это была для него единственная возможность расквитаться с Джо Курцем. Адвокат заверил его, что госпиталь заплатит, а Джо

Курца наверняка уволят. И действительно, если ему удалось выброситься из окна, то лишь из-за халатности и плохого присмотра за больными со стороны персонала больницы.

Судья спросил его:

— Но разве вас кто-нибудь принудил выброситься в окно? Вы это сделали по доброй воле.

Джекоб Шварб поглядел на адвоката и ответил судье:

— Нет, господин судья. Я был уверен, что до этого не допустили бы.

— Кто? Дежурный?

— Так точно. Это входило в его обязанности. А он даже и не двинулся. Я ожидал, что он будет действовать. Предоставил ему для этого вполне достаточно времени: это видно хотя бы из того, что, прежде чем броситься, я обернулся и поглядел на него.

— А он что сделал?

— Он? Ничего. Улыбнулся, как всегда, и рукой сделал мне знак: иди себе, иди.

И впрямь, Джо Курц улыбался и тут, в зале суда. Судью это возмутило, и он спросил его, правда ли все то, что говорит Джекоб Шварб.

— Так точно, ваша честь, — ответил Джо Курц, — но я думал, что он просто хочет подышать воздухом.

Тут судья хватил кулаком по столу.

— Ах, вы так думали?

И приговорил Israel Zion Hospital к уплате Джекобу Шварбу двадцати тысяч долларов за нанесенный ему ущерб.

1936 (1937)

ГВОЗДЬ

Мальчик признался, что гвоздь этот он нашел, переходя улицу в негритянском квартале Гарлема. Это был толстый, покрытый ржавчиной гвоздь — может быть, он упал с грузовой машины, незадолго перед тем проезжавшей по этой улице.

Упал, словно нарочно.

— Как так — нарочно?

Незачем таращить глаза и подпрыгивать на стуле. Кто не хочет считаться со всем, что произошло, и с тем, как мальчик об этом рассказывал — спокойно, уверенно и, однако, с застывшим в остекленелых глазах ужасом

перед непонятной и необъяснимой вещью, которая с ним случилась, — тому незачем расспрашивать его дальше.

Гвоздь лежал там, посередине пустынной улицы, и так бросался в глаза, что неудержимо притягивал к себе не только взгляд, но и руку любого случайного прохожего, который, словно по принуждению какому-то, не мог не нагнуться и не подобрать его, даже не представляя себе, для чего, даже с тем, чтобы через минуту снова бросить его на землю.

И мальчик действительно сказал, что и не представлял себе какую-либо возможность им воспользоваться, не думал об этом даже в тот момент, когда воспользовался. Гвоздь находился у него в руке, потому что он как-то не смог не поднять его, но в тот момент он о нем даже не подумал. Гвоздь «спокойно» находился у него в руке (он так выразился, и при этом всех пробрала дрожь), гвоздю было теперь спокойно, потому что вышло, как он хотел: его подобрали.

И вот, по его словам, в тот миг, когда он собирался свернуть с той улицы, где подобрал гвоздь, две уличные девочки — одна лет четырнадцати, другая восьми — тоже как нарочно, затеяли между собой потасовку. Обгоревшие лучами летнего заката, они, схватившись, представляли собой сплошной комок рук, ног, растрепанных волос, и тут уж он, охваченный внезапным порывом, набросился на них, занес кулак и вонзил гвоздь в голову меньшей. Затем, тут же, — оказалось, прошла целая вечность, — когда он увидел, что она мертвая, словно никогда и не была живой, окровавленная валится ему под ноги, он сам застыл в каком-то беспомоществе среди толпы людей, в ужасе сбежавшихся со всех сторон.

Он не мог объяснить, почему ударил гвоздем меньшую девочку, а не старшую. Не знал ни той, ни другой. У него даже не было времени взглянуть в их лица. Он только видел, как старшая одной рукой вцепилась в волосы на висках меньшей, медно-рыжие волосы, а та, стараясь оттолкнуть старшую, впиалась ей в лицо длинными ногтями, старшая же пальцами другой руки выдавливала ей глаз так неистово, что обнажился уже почти весь белок.

Может быть, его возбудил цвет ее волос, может быть, этот глаз, вылезающий из глазницы. Вскоре выяснилось, что начала драку старшая, которая обижала маленькую, пользуясь ее хрупкостью, а та была болезненная, — об этом свидетельствовали заострившиеся черты ее худень-

кого личика: тут, на земле, в пятнах крови, оно казалось восковым, и жалко было смотреть на этот крошечный носик, этот ее ротик, эти веснушки. Конечно, в такой драке именно ей под конец пришлось бы совсем плохо.

А он убил ее своим гвоздем.

И вот теперь, после допроса, он сидит, согнувшись, на стуле, положив на колени худые руки в царапинах — может быть, он, бессознательно, сам себя исцарапал, — и с глубоким удивлением в глазах слушает — слушает то, что другие выдумывают, пытаясь дать какое-то объяснение его поступку.

Он удивлен тем, что их, этих объяснений, может быть так много, а сам он не в состоянии найти ни одного. Их, оказывается, очень много, и все кажутся правдоподобными, вполне возможными — как те, которые говорят за него, так и те, которые против.

Да, да, они представляются и правдоподобными, и возможными даже ему, если их рассматривать как некое построение из различных предположений и выдумок, не относящихся именно к нему и его поступку. А иначе — нет, иначе он просто посмеялся бы над ними, если бы не эта его ошеломленность и еще одна вещь, которая перед его глазами на столе судьи: гвоздь, чью ржавчину перекрывает теперь другая, более темная краснота. Но есть еще и нечто третье, самое страшное, то, что он таит в самых глубинах сердца и чего он должен был бы стыдиться. Но стыда нет. Есть страх. Он трепещет от одной мысли, что это могут обнаружить. Исступленная жalousь, безутешная любовь, постепенно возникшая в нем, любовь к ней. Только сейчас он узнал, что ее звали Бетти, только сейчас — Бетти. Ибо известно стало только ее имя, а из близких ее никто еще не пришел.

Так пожирает его это затаенное чувство, что теперь ему безразлично, когда люди кругом говорят против него всякий вздор. Он этому даже рад, ибо всякая несправедливость, сказанная про него, порождает в нем все большую уверенность, что правда на самом деле другая, та, которой никто не желает верить: гвоздь упал, как нарочно, и, как нарочно, Бетти и та, другая девочка затеяли драку, как раз когда он сворачивал в их сторону, нарочно, для того чтобы он вмешался и, вооруженный этим гвоздем, ни о чем не думая, совершил зверскую несправедливость — убил ни в чем не повинное существо. И неправда, Бетти, то, что говорят про твои рыжие волосы, будто они некрасивые. Они были красивые, кра-

сивые, и они тебя красили. И какая важность, подумаешь, что твое худенькое личико усыпано было веснушками. Ах, если бы ты только открыла глаза, которых я даже не видел! Ах, если бы только случилось чудо и ты, лежащая на земле, в крови, пронзая ужасом всех присутствующих, внезапно открыла свои лукавые глазки. Но чуда этого не случилось. Глазки твои я увидел только закрытыми навсегда. Пусть даже теперь, когда тебе так плохо, они бы уже не были такими живыми, не важно, не важно, открой их, Бетти, и улыбнись. Если даже у тебя не хватает какого-нибудь зубика — они ведь у тебя еще не все выросли заново — не важно, улыбнись, улыбнись. Но у тебя такие бледные, такие бледные губы, надо сейчас же смыть с тебя кровь.

Приступ эпилепсии? Кто сказал, приступ эпилепсии? Это говорят ради него и тут же объясняют симптомы болезни. Но он-то сам уверен, что никогда не испытывал ничего подобного. Конечно, может быть, он, сам того не зная, был эпилептиком, и болезнь сидела в нем в латентном состоянии до момента преступления, когда она внезапно проявилась.

Если они будут все время говорить такие вещи, у него сердце разорвется или он сойдет с ума.

Но вот они заговорили о таящемся в нем инстинкте зла. Он предпочитает, чтоб они говорили именно так, ибо это заведомая неправда. Инстинкт зла, у него? У него, который всегда гневно возмущался, если его товарищи на переменах между звонками издевались над каким-либо беспомощным животным или насекомым? Он никогда не проявлял никаких злобных инстинктов. А если они воображают, что доказательством является этот гвоздь, подобранный им на дороге, то это же просто смешно. Они его не знают. Они говорят не о нем. Никакой инстинкт не пробуждался в нем, когда он поднимал гвоздь. Он поднял его, даже не думая, что он в данный момент делает. И он был настолько далек от чего бы то ни было подобного, что, идя по этой улице к повороту, думал только о машине, с которой, возможно, упал этот гвоздь, о машине, которая, может быть, ехала далеко, в поля. Дело в том, что он только недавно вернулся из деревни, где летом отдыхал со всей своей семьей, и ему часто приходилось видеть, как эти длинные машины проезжают по проселочной дороге между высокими полевыми травами.

Но, впрочем, пускай говорят, что им вздумается,

сочиняют, делают самые нелепые предположения. Ему все равно, он уже далеко, в сельской местности Олд-Лайм, где провел лето. В его памяти встает вилла и все ее прелестные окрестности, прозрачный воздух, парусная лодка отца, пришвартованная к берегу реки Коннектикут, более лазурной, чем море, от всей растущей по ее берегам зелени. На этой лодке он ходил с отцом до самого океана — дальше мама им не разрешала: лодочка со всеми своими парусами была уж очень мала. Зато вилла была большая, с целым рядом декоративных колонн вдоль фасада, окружали ее со всех сторон высокие-высокие пышные деревья: дедушка уверял, что это эвкалипты, а папа говорил — платаны и буки. Но во всяком случае они давали такую тень, что в доме царил полумрак и лучше было проводить весь день на воздухе, к тому же в деревню для того и ездят. «Стой, — кричала ему вслед мать, — не уходи далеко». И они с отцом сидели у крыльца и рассказывали приходившим в гости друзьям, что вилла эта — самая старая в Олд-Лайме и одна из самых старых во всей Америке. А он убежал в поля, скрываясь в высокой густой траве, которая пахла всеми соками земли до удушья, до опьянения. Но теперь он уже не может быть один. Сейчас, в этом море травы, он вместе с Бетти и хочет играть с ней, но Бетти сперва откажется, потом все же подает ему ручку, еще холодную, как лед, и от прикосновения этой руки его охватывает дрожь. Не надо больше об этом думать — он наклоняется поглядеть на нее, и теперь она идет за ним, опустив голову и прижав палец другой руки к углу рта. Так они идут и идут. Но ведь все это ни к чему, если нет никакой игры. Ты больше не хочешь играть? Не можешь? Так что же делать? Хочешь опять упасть на землю? Нет, нет. Бетти уже теперь поправилась, она снова должна шалить и смеяться, да, смеяться. Но Бетти останавливается и ручкой делает ему знак, чтоб он подождал. В чем дело? Ей нужно на мгновение удалиться, только на мгновение. По нужде. Он остается, немного смущенный и раздраженный: не нравится ему, что девчужки признаются в подобных вещах. Но вот из того места, куда она удалилась, является другая девочка. Нет, нет, не та, что подралась с Бетти. Это одна его кузина, толстененькая, неуклюжая, почти ровесница ему, приехавшая с матерью из Гарлема на весь день. А он ее терпеть не может. Куда же девалась Бетти? Она там, далеко, далеко, убегает куда-то, она просто нашла предлог, чтобы от него изба-

виться, она его боится. Нет, нет, Бетти, он тебе не причинит никакого зла. Он жизнь отдаст за то, чтобы ты ожила, и уступит тебе свое место в доме. Теперь ты у нас. Мама тебя хорошо помает, выбросит все надетые на тебя тряпки, и ты будешь ходить в новом платье такого цвета, который отлично подойдет к твоим рыжим кудряшкам, — голубовато-сиреневого. Как ты в нем мила! Жалко, что он тебя не увидит — ведь его нет, он отдал за тебя свою жизнь, а ты навсегда останешься маленькой девочкой, здесь, в деревне, и никогда ни для кого не вырастешь: в деревне, Бетти, как в раю.

Его не осудили.

Когда мальчику сказали, что он свободен, он даже не подал знака, что слышит. Только вздохнул. Он уверен, что умрет от горя по Бетти.

А может быть, и не умрет. Пройдут годы. И может быть, уже взрослым человеком, он порою подумает о Бетти. И увидит ее маленькой девочкой, ожидающей его в деревне, в Олд-Лайме, в платье голубовато-сиреневого цвета — оно всегда новое и очень подходит к ее рыжим кудряшкам.

1936 (1937)

ЧЕРЕПАХА

Как ни странно, но даже в Америке имеются люди, верящие, что черепахи приносят счастье. Однако можно с полной уверенностью сказать, что сами черепахи этого даже не подозревают.

У мистера Мишкоу есть приятель, который совершенно в этом убежден. Он играет на бирже и каждое утро, перед тем как туда идти, ставит свою черепаху перед маленькой лесенкой. Если черепаха делает попытки подняться по лесенке, он проникается уверенностью, что ценные бумаги, на которых он намеревается играть, поднимутся в цене. Если черепаха вбирает голову и лапы под щиток, бумаги будут иметь прежний твердый курс; если она отворачивается и уходит, он решительно играет на понижение. И это дело безошибочное.

Высказавшись как-то раз в таком духе, он зашел в магазин, где продавались черепахи, купил одну и вложил ее в руку мистеру Мишкоу:

— Попробуй, сам увидишь.

Мистер Мишкоу — особа впечатлительная. Неся до- мой черепаху (тьфу!), этот подвижной кругленький чело- вечек весь охвачен дрожью — может быть, удовольствия, но, возможно, также и легкого отвращения. Ему вполне безразлично, что встречные прохожие удивленно обра- чиваются, замечая у него в руке черепаху. Он дрожит при мысли, что эта вещь вроде неподвижного, холодного камня на самом деле нисколько не камень, а, напротив, под этим щитком живет таинственный зверек, который в любой момент может выпустить тут, у него на ладони, четыре кривые шершавые лапки и головку старой мор- щинистой монашки. Будем надеяться, что черепаха этого не сделает. Мистер Мишкоу швырнул бы ее на землю, содрогаясь с головы до ног.

Нельзя сказать, чтобы дома его дочь Элен и сын Джон пришли в особый восторг от черепахи, когда он положил ее, как подобранный булыжник, на ковер в гостиной.

Просто невероятно, насколько старыми кажутся глаза обоих детей мистера Мишкоу по сравнению с удиви- тельными глазами отца.

Дети роняют на черепаху, лежащую, словно булыж- ник, на ковре, тяжелый-тяжелый взгляд этих своих свинцовых глаз. Затем они смотрят на отца с абсолютно твердой уверенностью в том, что он не сможет дать им разумного объяснения неслыханной вещи, которую сде- лал, положив на ковер в гостиной черепаху, и бедный мистер Мишкоу весь как-то тускнеет, разводит руками, на губах его блуждает растерянная улыбка, и он выда- вливает из себя, что, в конце концов, это всего-навсего совершенно безвредная черепаха, с которой можно бы даже поиграть.

Словно в доказательство того, что он всегда был славным парнем, по натуре немного ребячливым, он ста- новится на четвереньки на ковер и осторожноенько, дели- катно принимается подталкивать черепаху сзади, побу- ждая ее таким образом выпустить из-под щитка лапки и голову и поползти. Но, бог ты мой, поистине этого было бы достаточно, чтобы убедиться, каким веселым был этот красивый дом, весь стеклянный и зеркальный, куда он ее принес. Неожиданно сын его Джон находит гораздо менее деликатный, но зато более действенный способ вывести черепаху из состояния окаменелости, в котором она упорно пребывает. Кончиком ботинка он опрокидывает ее на щиток, и тогда зверюшка начинает

двигать лапками и с трудом вытягивать шейку, пытаясь вернуться в естественное свое положение.

Элен при виде этого, не меняя выражения своих старческих глаз, разражается громким смехом, похожим на скрип заржавленного колодезного блока при внезапном резком падении какого-нибудь спятившего ведра.

Легко видеть, что на детей не произведит никакого впечатления то обстоятельство, что черепахи приносят счастье. Напротив, все их поведение с яркой очевидностью свидетельствует о том, что терпеть в доме черепахе они станут, лишь поскольку смогут обращаться с ней, как с самой жалкой игрушкой, которую подбрасывают кончиком ботинка. А это весьма и весьма не нравится мистеру Мишкоу. Он смотрит на черепаху, которую сразу же перевернул спинкой вверх и которая вновь возвратилась к своей окаменелости; смотрит на глаза своих детей и внезапно обнаруживает таинственное сходство между старческим выражением этих глаз и извечной каменной инертностью зверька на ковре. Он охвачен каким-то ужасом перед своей детской непосредственностью в мире, который, обнаруживая столь неожиданные и странные сходства вещей и явлений, как бы расписывается в собственном одряхлении; ужасом перед тем, что он, сам того не зная, может быть, ожидал чего-то, чего уже не может произойти, так как дети на земле рождаются теперь столетними, как черепахи.

Он снова пытается изобразить на лице растерянную улыбку, еще более поблекший, чем когда-либо, и у него не хватает мужества признаться, по какой причине приятель подарил ему черепаху.

Мистер Мишкоу на редкость не знает жизни. Жизнь для него не есть нечто вполне четкое, и общеизвестность тех или иных вещей не имеет для него значения. С ним вполне может случиться, что в одно прекрасное утро, залезая голышом в ванну и уже занеся одну ногу над ее краем, он вдруг с удивлением поглядит на свое собственное тело, как будто за сорок два года жизни он его ни разу не видел, и сейчас оно открывается ему впервые. Тело человеческое, прости господи, не такая вещь, которую можно без стыда показывать в голом виде даже самому себе. Предпочтительнее его игнорировать. Но все же для мистера Мишкоу остается полным значения тот факт, что ему никогда не приходила в голову такая мысль:

с этим своим телом и всеми его частями, обычно никем не видимыми, ибо они всегда скрыты под одеждой, он бродит по жизни уже в течение сорока двух лет. Ему представляется невероятным, чтобы всю свою жизнь он мог прожить только в этом своем теле. Нет, нет. Неизвестно где, неизвестно как и, может быть, даже вполне безотчетно. Может быть, он всегда незаметно перелетал от одной вещи к другой — а мало ли их попадалось ему на пути с детских лет, когда уж наверняка тело у него было совсем другое, и кто его знает, какое именно. И правда, ведь довольно-таки мучительно и даже немного страшно, что нет возможности объяснить себе, почему тело твое неизбежно должно быть таким, какое оно есть, а не каким-нибудь иным, совершенно отличным. Лучше об этом не думать. И вот сейчас, в ванной комнате, он снова улыбается своей растерянной улыбкой, даже не соображая, что уже некоторое время сидит в ванне. Ах, как лучезарны эти накрахмаленные кисейные занавески большого окна и как легко, как изящно шевелятся они на своих латунных карнизах от нежного весеннего дуновения, словно летающего с высоких деревьев парка! Вот он уже вытирает полотенцем это свое действительно весьма неприглядное тело, но все же должен согласиться с тем, что жизнь прекрасна и ею вполне можно наслаждаться даже и в этом теле, для которого каким-то странным образом оказалась возможной самая сокровенная близость с такой непроницаемой женщиной, как миссис Мишкоу.

Женатый уже девять лет, он до сих пор не может разгадать тайну, как оказался возможным этот его немислимый брак с миссис Мишкоу.

Никогда не осмеливался он двигаться в каком-либо направлении без чувства неуверенности после каждого сделанного шага — можно ли делать следующий. И по конец у него по телу словно мурашки ползли, а в душе возникало испуганное изумление, когда оказывалось, что, несмотря на столь медленные и осмотрительные шаги, он уже весьма продвинулся вперед. Надо было так или иначе обдумать, что это для него означало бы?

И вот в один прекрасный день, даже как-то сам в это не веря, он оказался супругом миссис Мишкоу.

Она и теперь, после девяти лет брака, красивая фарфоровая статуэтка, так отрешена и изолирована от всех, так замкнута и словно глазурию покрыта в своей непро-

нищаемой манере существовать, что кажется просто невероятным, как могла она сочетаться браком с таким человеком из плоти и крови, как он. Зато вполне понятно, как от их союза могли произойти такие высохшие на корню детки. Может быть, если бы выносить их во чреве мог вместо жены сам мистер Мишкоу, они родились бы иными. Но выносить их должна была она, по девять месяцев каждого; и вот, зачатые, по всей видимости, такими, какими проявили себя с самого начала, и к тому же принужденные столько времени провести во чреве из майолики, словно конфеты в коробке, они состарились так ужасно еще до своего появления на свет.

В течение всех девяти лет брака он, естественно, жил в постоянном страхе, что в каком-нибудь его необдуманном слове или неловком жесте миссис Мишкоу может найти повод для развода. Первый день брака был для него самым ужасным, ибо, как можно себе представить, не было полной уверенности в том, что миссис Мишкоу знает, что именно он должен сделать, чтобы окончательно счесть себя ее супругом. К счастью, она это знала. Но затем она никогда не давала ему понять, что помнит о том, что в тот раз он вполне мог быть в этом уверен. Все было так, словно она, со своей стороны, ничего в это не внесла и, таким образом, хотя он ею и овладел, ей не к чему было об этом помнить. Однако же родилась сперва девочка, Элен, а затем второй ребенок, мальчик, Джон. Но никаких разговоров не было. Не сказав ему ни слова, она оба раза отправлялась в клинику и через полтора месяца возвращалась домой: в первый раз с девочкой, во второй — с мальчиком, и оба ребенка выглядели старичками, один старше другого. Просто руки опускались. И оба раза ему самым решительным образом запрещалось навещать ее в клинике. Так что ни в первый, ни во второй раз он даже не мог дать себе отчета в ее беременности, ничего не знал о том, как протекали роды, как она разрешилась, а между тем в доме оказалось двое ребят, словно две приобретенные в путешествии собачки, и у него не могло быть даже никакой твердой уверенности, что их родила она и это его дети.

Тем не менее мистер Мишкоу несколько в этом не сомневается и даже уверен в том, что в лице этих двух детей ему представлено извечное и в данном случае дважды подтвержденное доказательство, что миссис

Мишкоу обретаёт в сожительстве с ним некую компенсацию за те страдания, которые должна была испытать, родив на свет двоих ребят.

И поэтому он никак не мог прийти в себя от изумления, когда жена его, вернувшись от своей матери, жившей в гостинице и уже собиравшейся возвращаться в Англию, и найдя его стоящим на четвереньках на ковре перед черепахой под холодно-издевательскими взглядами детей, не сказала ему ни слова, но, незамедлительно вернувшись к матери в гостиницу, через час прислала ему записку с самым ультимативным требованием: либо в доме не будет черепахи, либо через три дня она вместе с матерью уедет в Англию.

Как только к мистеру Мишкоу вернулась способность разумно мыслить, он сразу же понял, что черепаха могла быть в данном случае только предлогом. И каким несерьезным, каким легко уязвимым! Но, может быть, именно поэтому гораздо более трудно устранимым, чем если бы жена потребовала, чтобы он полностью изменил свою внешность или хотя бы убрал с лица свой нос и заменил его другим, который был бы ей более по вкусу.

Однако он не хотел потерять ее. Он ответил жене, чтобы она спокойно возвращалась домой, а он уж найдёт для черепахи другое, более подходящее место. Он взял ее, так как ему сказали, будто она приносит счастье. Но, принимая во внимание, что сам он уже не первой молодости, и у него такая супруга, как она, и двое таких ребят, как их дети, какого ему еще нужно счастья?

И вот он выходит из дому, снова с черепахой в руке и с намерением оставить ее в каком-нибудь месте, которое несчастной, неприкаянной зверюшке подойдет больше, чем их дом. Между тем наступил вечер, и он только сейчас с удивлением в этом убедился. Хотя он и привык к зрелищу своего огромного фантасмагорического города, но тем не менее сохранил способность всегда по-новому изумляться ему, притом с некоторой даже грустью, ибо все эти грандиозные сооружения как-то не способны утвердить себя в нашем сознании как долговечные архитектурные памятники, и они высятся со всех сторон, словно колоссальная, но временная декорация некой огромной ярмарки с этим неподвижным, пестроцветным, ярким светом бесчисленных ламп и фонарей, нагоняющим нечто вроде тоски, когда долго идешь под ним, и со

множеством других вещей, столь же суетных и непрочных.

Идя по улице, он даже забыл, что держит в руке черепаху, но вдруг вспоминает о ней, и ему приходит в голову, что лучше бы он оставил ее в парке неподалеку от своего дома, вместо того чтобы идти по направлению к магазину, где она была куплена, кажется на 49-й улице, где-то подальше.

Так он и идет себе, будучи вполне уверенным, что в такой час магазин уже наверняка закрыт. Но одолевающие его грусть и усталость словно требуют, чтоб он уперся-таки лицом в запертую дверь.

Вот он подходит к этой двери и глядит на нее: магазин действительно закрыт, — потом на черепаху у себя в руке. Что с ней делать? Мимо проезжает такси, он садится в машину. Где-нибудь в подходящем месте он из нее выйдет, а черепаху оставит внутри.

Жалко, что у этой зверюшки, все еще съезжившейся под своим щитком, по-видимому, так мало воображения. Интересно представить себе, как черепаха ночью разъезжает по всему Нью-Йорку.

Нет, нет. Мистер Мишкоу охвачен раскаянием: это было бы жестоко. Он выходит из такси. Уже недалеко до Парк-авеню с бесконечной линией цветочных клумб посредине, окаймленных низеньким плетеным бордюром. Он собирается оставить черепаху на одной из этих клумб, но едва успевает положить ее наземь, как рядом вырастает фигура полицейского, наблюдающего за порядком движения на углу 50-й улицы под одной из гигантских башен Уолдорф Астории. Полицейский желает знать, что такое он положил на клумбу. Бомбу? Да нет же, не бомбу. И мистер Мишкоу улыбается ему, чтобы тот понял, что он на это никак не способен. Просто-напросто черепаху. Но полицейский велит ему немедленно ее убрать: пускать животных на клумбы запрещено. Да ведь какое же это животное? Это вроде камня, пытается объяснить мистер Мишкоу, она здесь не помешает, кроме того, ему, по некоторым семейным соображениям, необходимо избавиться от нее. Но теперь полицейскому кажется, что мистер Мишкоу над ним насмехается, и он заговаривает грубым тоном, а мистер Мишкоу тотчас же убирает с клумбы черепаху, которая по-прежнему неподвижна.

— Говорят, они приносят счастье, — произносит он с улыбкой, — не хотите ли взять ее? В подарок?

Тот яростно передергивает плечами и велит ему убраться.

И вот черепаха опять в руке мистера Мишкоу, а он до крайности растерян. Бог ты мой, да ведь ее можно оставить здесь же, на середине улицы, как только он выйдет из поля зрения этого полицейского, который был так груб явно потому, что не поверил в важные причины семейного характера. И тут мистера Мишкоу внезапно озаряет мысль. Конечно, для жены его черепаха только предлог, а устранишь этот предлог, она тотчас же найдет другой, но трудно ей будет найти более нелепый, более способный повредить ей в глазах судьи и всех прочих. Глупо, с его стороны, было бы не воспользоваться этим. И в конце концов он решает вернуться домой с черепахой.

Жену он находит в гостиной. Ни слова не говоря, наклоняется и кладет черепаху, словно камень, на ковер прямо перед ней. Жена вскакивает с места, устремляется в свою комнату и возвращается оттуда в шляпе.

— Скажу судье, что обществу своей жены вы предпочитаете общество черепахи.

И исчезает.

Словно услышав ее с ковра, зверюшка внезапно выпустила из-под щитка свои четыре лапки, хвост, голову и, слегка раскачиваясь, почти приплясывая, поползла по гостиной.

Мистеру Мишкоу не остается ничего другого, как радоваться этому, пока еще робко. Он слегка похлопывает ладошками, и, глядя на черепаху, думает, что он должен признать, хотя и без твердого убеждения:

— А счастье-то вот оно, счастье!

1936 (1937)

ОДИН ДЕНЬ

Меня внезапно разбудили, может быть по ошибке, и высадили из поезда на какой-то небольшой станции. Кругом ночь. И при мне никакого багажа.

Я не могу прийти в себя от ошеломления. Но больше всего изумляет меня, что я не ощущаю на себе никаких признаков какого бы то ни было насилия. Мало того, во мне не возникает ни малейшего представления о нем, ни даже тени воспоминания.

Я стою один, в полумраке безлюдной станции. И не знаю, к кому обратиться для выяснения, что же со мной приключилось и где я нахожусь.

Я заметил только темную фигуру человека с фонарем, подбежавшего захлопнуть дверцу вагона, из которого я был высажен. Поезд тотчас же отошел. А человек этот сразу исчез в здании станции со своим фонариком, бросавшим туда-сюда блуждающий свет. Я был до того растерян, что мне даже не пришло в голову побежать за ним, расспросить, пожаловаться.

Но на что, собственно, пожаловаться?

С беспредельным недоумением соображаю, что не могу припомнить, как это я куда-то поехал поездом. Да, не помню ни откуда уехал, ни куда направлялся. А если и впрямь уехал, то были ли со мной какие-нибудь вещи? Похоже, что ничего не было.

В устрашающей пустоте этой неуверенности я вдруг ощущаю некий ужас перед этим призрачным человеком со слепым фонарем, который внезапно исчез, не обратив ни малейшего внимания на то, что меня высадили из поезда. А может быть, это даже вполне обычная вещь, что на этой станции из поезда высаживаются именно таким образом?

В темноте не могу разобрать ее названия. И, во всяком случае, город, к которому она относится, мне совершенно незнаком. При первых мутных проблесках зари он кажется совсем безлюдным. На широкой бледно-серой площади перед вокзалом еще горит большой фонарь. Я подхожу к нему, останавливаюсь и, не смея поднять на него глаз — так напугал меня звук моих собственных шагов в этой тишине, — разглядываю свои руки, и ладони, и тыльную часть, сжимаю и разжимаю пальцы, ощущаю себя всего, обыскиваю, хотя бы для того, чтобы знать, что же я собой представляю, ибо сейчас не имею никакой уверенности даже в том, что существую и что все это есть на самом деле.

Вскоре, добравшись до центра города, я понимаю, что все окружающее заставило бы меня застыть на месте, если бы не овладело мной еще большее изумление, оттого что все встречные, в общем, такие же, как я, ходят туда-сюда, ни на что не обращая внимания, словно для них все это совершенно естественно и обычно. Меня точно что-то влечет вперед, но опять же я не ощущаю никакого насилия. Разве только то, что внутри себя я, ничего ни о чем не ведая, все время на что-то наты-

каюсь. Однако тут мне приходит в голову, что, ежели я не знаю ни каким образом, ни откуда, ни зачем явился сюда, я, следовательно, во всем не прав, а правы все прочие, которые, видимо, знают не только это, но и то, что сами они делают, уверенные, что ни в чем не ошибаются, без малейших сомнений, в полной убежденности, что все так и надо. И я, несомненно, вызвал бы удивление, порицание, возможно, даже негодование, если бы их вид, их поступки, их выражения вызвали у меня смех или хотя бы удивление. Охваченный острейшим желанием узнать наконец что-нибудь, я понимаю, что должен всячески подавлять выражение подозрительности в своем взгляде, то выражение, которое то и дело появляется в глазах у собак. Я виноват, и только я, если до сих пор ничего не понимаю и не в состоянии разобраться в окружающем. Я должен заставить себя принять такой вид, будто и для меня все естественно и обычно, сумею вести себя так же, как все другие, хотя я не имею для этого никаких критериев и практически никакого понятия даже о вещах, которые здесь всем представляются сами собой разумеющимися.

Не знаю, с чего же мне начинать, куда направляться, что делать.

Возможно ли, что, будучи уже совсем взрослым, я остался вроде как ребенком и ничего в жизни не делал? Может быть, я как-то действовал во сне, сам уж не знаю как. Но у меня наверняка была какая-то деятельность, постоянная и очень активная. Впрочем, все, по-видимому, это знают, ибо многие оборачиваются поглядеть на меня и не один здоровается со мной, хотя я-то его не знаю. Сперва я сомневался, действительно ли эти приветствия относятся ко мне. Смотрю по сторонам, смотрю назад. Не приветствуют ли меня по ошибке? Нет, здороваются со мной. Смущенный, я борюсь с какими-то тщеславными представлениями, которыми хотел бы, но тщетно, ввести себя самого в заблуждение, и иду себе да иду, словно по воздуху, и не могу освободиться от одной нелепой заботы и совершенно — я это признаю — мелкой: я не уверен в том, что одет должным образом. Странно мне как-то, что одежда эта моя. И тут у меня возникает сомнение: приветствуют не меня, а мою одежду. А между тем, кроме этой, у меня никакой другой нет!

Снова принимаю себя обыскивать. Вот сюрприз!

В грудном кармане пиджака нащупываю что-то вроде

кожаного бумажника. Извлекаю его, теперь уже почти уверенный, что принадлежит он не мне, а этой — отнюдь не моей — одежде. Действительно, это старый кожаный бумажник, желтый, но какой-то линялый, потертый, точно он попал в воду ручья или глубокой лужи, откуда его потом подняли. Открываю его или, вернее, разлепляю и гляжу, что там внутри. Кроме нескольких сложенных документов, в которых ничего нельзя разобрать, настолько расплылись от воды чернила, обнаруживаю пожелтевшую картонную иконку из тех, что дети покупают себе в церкви, и сцепленную с нею, точно такого же формата и точно так же выцветшую, фотокарточку. Отделяю ее от иконки и рассматриваю. О, да это фото какой-то юной красавицы, она в купальном костюме, почти совсем обнаженная, волосы развеваются ветром, руки высоко подняты, словно для приветствия. Я люблюсь ею, хотя почему-то с легкой грустью, и у меня возникает при этом впечатление, если даже не просто уверенность, что приветственное движение этих рук, обвеваемых ветром и так высоко вздетых, относится ко мне. Но, как ни стараюсь, узнать ее мне не удастся. Возможно ли, что такая красавица могла ускользнуть из моей памяти, словно унесенная ветром, треплющим ей волосы? Ясно, что это изображение вместе с иконкой занимает в кожаном бумажнике, как-то и когда-то побывавшем в воде, место, подобающее невесте.

Продолжаю рыться в бумажнике и скорее со смущением, чем с радостью, ибо полон сомнения насчет того, что он принадлежит мне, нахожу в потаенном отделении банковый билет на большую сумму. Кто знает, как долго он лежал здесь, позабытый, сложенный вчетверо и местами уже протертый на сгибах?

Сейчас, когда я всего лишился, может быть, этот банковый билет окажет мне помощь? Изображение девушки на маленьком фото почему-то с необычайной силой убеждает меня в том, что эти деньги — мои. Но можно ли довериться такой маленькой да еще и такой растрепанной головке? Миновал уже полдень, я просто валюсь от усталости. Мне надо подкрепиться, и я захожу в ближайший ресторанчик.

С удивлением убеждаюсь, что и здесь ко мне относятся со вниманием, как к посетителю всем известному и уважаемому. Меня ведут к накрытому столику, отодвигают стул, приглашая сесть. Но некое сомнение удерживает меня. Делаю знак хозяину и, отведя в сторону, по-

казываю ему истрепанный банковый билет. Он разглядывает его с удивлением и разворачивает очень осторожно, принимая во внимание его изношенность, затем говорит, что сумма тут значительная, но таких билетов уже давно нет в обращении. Впрочем, опасаться нечего: предъявленный в банк таким человеком, как я, он, несомненно, будет принят и разменен на денежные знаки, находящиеся сейчас в обращении.

С этими словами хозяин ресторанички выходит со мной на улицу и указывает на высящееся неподалеку здание банка.

Захожу в банк, и там тоже все проявляют полную готовность оказать мне услугу. Этот мой билет, говорят мне, один из немногих, еще не обмененных, но с некоторых пор банк в этих местах более или менее крупных купюр не выдает, а может производить лишь обмен на мелкие купюры. И они дают мне такое количество бумажек, что я совершенно теряюсь и даже несколько подавлен. Сейчас у меня для них нет никакого вместилища, кроме этого извлеченного из воды кожаного бумажника. Но меня начинают уговаривать, чтобы я успокоился. Дело поправимое. Эти мои деньги я могу оставить на своем текущем счету. Я делаю вид, что понял, сую в карман несколько кредиток и документ, выданный мне вместо оставленных в банке, и возвращаюсь в рестораничку. Там нет ничего по моему вкусу, боюсь даже, что их еды мне не переварить. Но, видимо, уже распространился слух, что я если и не богач, то, во всяком случае, уже не нищий. И действительно, выйдя из ресторанички, обнаруживаю поджидающую меня машину с шофером, который одной рукой снимает фуражку, а другой открывает мне дверцу машины. Понятия не имею, куда он меня везет. Но раз у меня есть машина, значит, есть и совершенно неизвестный мне дом. Да, есть, прекрасный дом, старинный, в котором и до меня жило, и после меня будет жить немало людей. Неужели все эти вещи, которыми дом обставлен, принадлежат мне? Но я не чувствую себя здесь чужим, вторгшимся безо всякого права на это. Как сегодня утром весь город, так и этот дом кажется мне безлюдным. Я снова начинаю бояться отзвука своих собственных шагов, который услышу в этой глубокой тишине. Зимой вечер наступает рано, мне холодно, я устал. Стараюсь приободриться, иду вперед, открываю первую попавшуюся дверь. С изумлением вижу, что комната освещена, что это спальня, а на кровати лежит она,

девушка с фотокарточки, она живая, руки ее страстно протянуты ко мне, но на этот раз они призывают устремиться в них и готовы, ликуя, принять меня.

Сон?

Да, как во сне: она лежала здесь, а утром, на рассвете, ее уже нет. Никаких следов. И кровать, такая жаркая этой ночью, сейчас, на ощупь, ледяная, как могила. И во всем доме царит запах, свойственный помещениям, где все давно заплыло, жизнь давно увяла, и мной овладевает угрюмая усталость, которую можно переносить только ведя регулярный образ жизни и усвоив соответственные благоразумные привычки. Но у меня к такому существованию всегда было величайшее отвращение. Мне хочется бежать отсюда. Невозможно, чтоб это был мой дом. У меня кошмар. Мне, конечно, приснился ужасный, бессмысленный сон. Словно для того, чтобы доказать это самому себе, иду посмотреть в зеркало, висящее на стене против кровати, и тут меня охватывает ощущение, будто я тону, и я стою без движения во власти какой-то странной оторопи. Из какого бесконечного далека мои глаза, эти глаза, которые, как я полагал, у меня с детских лет, вглядываются теперь, вытаращенные от ужаса, не веря себе, в мое лицо — лицо старика? Я — старик? Я так внезапно постарел? Да возможно ли это?

В дверь стучат. Я резко вздрагиваю. Мне докладывают, что приехали мои дети.

Мои дети?

Меня приводит в ужас мысль, что у меня могли родиться дети. Когда же? Они могли появиться вчера. Вчера я был еще молод. И впрямь, теперь, когда я старик, пора мне с ними познакомиться.

Они входят, ведя за руки ребят, детей, родившихся от них. Они подбегают поддержать меня, заботливо укоряют меня за то, что я встал с кровати, заботливо усаживают, чтобы прекратилась одышка. У меня одышка? Ну да, им же отлично известно, что я не могу уже стоять на ногах, что мне очень, очень худо.

Сажусь, гляжу на них, слушаю, что они говорят. РИ мне представляется, что во сне со мной разыгрывают какую-то шутку.

Значит, жизнь моя уже кончена?

Все они склонились надо мной, я разглядываю их и с каким-то злорадством вижу то, чего не должен был бы замечать, вижу, как на их головах, тут, у меня на глазах,

появляются и растут, растут седые волосы, которых не так уж и мало.

— Посмотрите-ка, разве это не шутка? У вас самих уже седина.

А поглядите на тех, что вошли сюда малыми ребятами? Им достаточно было прислониться к моему креслу, и они выросли. Одна уже превратилась в девицу, которая хочет, чтобы ее замечали, любовались ею. Если бы отец ее не удержал, она бы расположилась у меня на коленях, обняла бы меня за шею, положила бы головку мне на плечо.

Мне хочется вскочить с места, стать на ноги, но я принужден осознать, что и впрямь не в состоянии этого сделать. И теми же самыми глазами, что недавно были у этих ребят, сейчас уже настолько повзрослевших, продолжаю глядеть и глядеть, пока могу, с безграничным состраданием на стоящих теперь за этой молодежью моих старых детей.

КТО-ТО, НИКТО, СТО ТЫСЯЧ

РОМАН



КНИГА ПЕРВАЯ

1. МОЯ ЖЕНА И МОЙ НОС

Что ты делаешь? — спросила жена, увидев, что я, против обыкновения, задержался у зеркала. — Ничего, — ответил я. — Просто смотрю, что у меня тут такое, в этой ноздре. Если вот здесь нажать — немножко больно.

Жена улыбнулась.

— А я думала, ты нос разглядываешь — на какую сторону он у тебя свернут.

Я обернулся, как собака, которой наступили на хвост.

— Свернут нос? У меня?

А жена в ответ с полной безмятежностью:

— Ну разумеется, милый. Посмотри хорошенько. Он свернут вправо.

Мне было двадцать восемь лет, и до той поры я считал свой нос если не красивым, то по крайней мере вполне сносным, как, впрочем, и все остальные части своего тела. Именно поэтому мне было совсем нетрудно занять позицию, на которой обычно стоят те из нас, кому не выпала злая участь родиться уродом: я полагал, что кичаться своей внешностью только дураки. Вот почему открытие этого небольшого телесного изъяна, свалившееся мне на голову с такой жестокой внезапностью, раздосадовало меня как незаслуженное наказание.

Должно быть, жена уловила, что стоит за этой досадой, так как поспешила добавить, что если до сих пор я пребывал в уверенности, будто я вовсе без изъянов, то мне следует с этой мыслью расстаться, так как кроме кривого носа у меня еще...

— Что еще?

Что, что! Брови у меня были домиком, уши неплотно прилегали к голове, причем одно оттопыривалось больше, чем другое, да и все прочее...

— Ах, еще и прочее?

Да, и прочее: взгляни хотя бы на свои руки, на мизинец. А ноги? Нет, никто не говорит, что они кривые, но правая выгнута в колене немного больше, чем левая, совсем немного. Внимательно рассмотрев себя в зеркало, я вынужден был признать: жена права. И только тут, по-видимому приняв изумление, которое пришло у меня на смену досаде, за чувство горечи и унижения, жена решила меня утешить и сказала, что огорчаться мне все же не следует, так как при всех своих недостатках я все равно был красивым мужчиной.

Уверяю вас, что я не рассердился, получив уже не по праву, а в виде снисходительной уступки титул, в котором незадолго до этого мне было отказано. Я выдал из себя весьма ядовитое «спасибо», и, так как и без жены знал, что для горечи и самоуничижения причин у меня нет, самым своим недостаткам я не придал никакого значения, но зато огромное, даже чрезмерное значение приобрел в моих глазах тот факт, что я столько лет прожил с этим самым носом, этими самыми бровями, руками и ногами, и, чтобы увидеть все их изъяны, мне надо было жениться!

Вот так открытие! Кто же не знает, что такое жены! Да они для того и созданы, чтобы выискивать недостатки у собственных мужей!

Что касается жен, это совершенно верно. Но я и сам, позвольте заметить, был устроен в те времена таким образом, что достаточно было случайно брошенного слова или пролетевшей мимо моего носа мухи, чтобы я тут же погрузился в размышления и рассуждения, которые вгрызались мне в душу и превращали ее в какое-то подобие кротовой норы: внутри все изрыто, хотя снаружи ничего не заметно.

Ну что ж, скажете вы, значит, у вас было много свободного времени. А вот и нет! Тут все дело в душевном складе. Хотя, впрочем, и безделье тоже сыграло свою роль, не отрицаю: еще бы, богатый, к тому же с двумя такими друзьями, как Себастьяно Кванторцо и Стефано Фирбо, которые стали заниматься моими делами после смерти отца; отец же в свое время, как ни старался, ни лаской, ни строгостью не мог меня заставить довести что бы то ни было до конца, если, правда, не считать того, что я женился, и вдобавок очень молодым. Может быть, отец хотел, чтобы я пораньше обзавелся сыном, и надеялся, что он будет совсем не такой, как я, но даже этого он, бедный, так от меня и не дождался.

Причем заметьте, что я никогда не спорил с отцом относительно дорог, которые он для меня избирал. Я соглашался на любую, только вот идти по этой дороге — я не шел. Я запинался на каждом шагу. Еще издали завидев на своем пути какой-нибудь камешек, я начинал описывать вокруг него круг за кругом, изумляясь тому, что другие обогнали меня, не обратив на этот камешек никакого внимания, между тем как в моих глазах он вырастал в неприступную гору или даже целый мир, в котором я бы охотно обосновался.

Вот так вот я и останавливался в самом начале каждой дороги, с душой, захваченной видом разных миров или камешков, что, в сущности, одно и то же. Но при этом я вовсе не считал, что те, которые меня обогнали и прошли дорогу до конца, узнали ее лучше, чем я. Да, они меня обогнали, это верно, да еще и горячились при этом, словно беговые лошадки, но зато в самом конце пути каждый из них находил телегу — свою телегу, — впрягался в нее и терпеливо тащил. А я не тащил никакой телеги, и потому у меня не было ни узды, ни шор: видел я, несомненно, лучше, чем они, только вот куда идти, я не знал.

Итак, обнаружив эти свои небольшие телесные изъяны, я тут же погрузился в размышления о том, что, стало быть — неужели такое возможно? — стало быть, я не знал хорошенько даже собственного тела, то есть того, что принадлежит мне неотъемлемо: не знал, как выглядит мой собственный нос, уши, руки, ноги.

Я еще раз взглянул в зеркало, чтобы хорошенько все рассмотреть.

Так началась моя болезнь. Та самая болезнь, которой суждено было довести мой дух и мое тело до состояния такого жалкого и такого отчаянного, что я, наверное, умер бы или сошел с ума, если бы в самой болезни не нашел (и потом я расскажу как именно) лекарства, которое меня излечило.

2. А ВАШ НОС?

Так вот, после того как жена открыла мне глаза, я стал думать, что все только и видят, что мои телесные недостатки, а ничего другого во мне просто не замечают.

— Ты смотришь на мой нос? — спросил я внезапно в тот же самый день одного моего приятеля, который

подошел ко мне, наверное просто для того, чтобы обсудить какое-то свое дело.

— На твой нос? С чего ты взял? — ответил он.

Ну, а я ему, нервно улыбаясь:

— Ведь он у меня свернут на сторону, разве ты не видишь?

И я заставил его внимательно рассмотреть мой нос, так, словно этот его дефект являл собою непоправимый ущерб, нанесенный всему мирозданию.

Приятель посмотрел на меня сначала в некотором ошеломлении. Потом, по-видимому, заподозрил, что нос мой возник так неожиданно и не к месту просто оттого, что его дело ко мне я счел не заслуживающим ни внимания, ни разговора, похлопал меня по плечу и пошел дальше, оставив меня без ответа. Я удержал его за рукав.

— Да нет же! — сказал я. — Мы обязательно поговорим о твоём деле. Но сейчас ты уж меня прости!

— Сейчас ты не можешь думать ни о чем, кроме своего носа?

— Я просто никогда не замечал, что он у меня свернут вправо. Сегодня утром жена сказала.

— Да что ты говоришь? — воскликнул приятель, и в глазах у него сверкнули недоверие и насмешка.

Я посмотрел на него так, как смотрел уже сегодня утром на жену, то есть со смешанным чувством унижения, досады, удивления. Так, значит, он тоже давно заметил, какой у меня нос, и, кто знает, кто еще, кроме него, и только я, один только я ничего не видел и, не видя, считал, что в глазах всех я — Москарда с прямым носом, а оказывается-то вон что — для всех я был Москардой с кривым носом, а ведь сколько раз, ни о чем не подозревая, я обсуждал кривой нос какого-нибудь Петра или Павла и сколько раз, следовательно, надо мною смеялись и говорили:

— Нет, ты только посмотри на этого бедолагу — он еще считает себя вправе судить о чужих носах!

Разумеется, я мог бы утешить себя мыслью, что, в конце концов, мой случай был самым распространенным и банальным случаем, только липший раз подтвердившим ту общеизвестную истину, что мы с легкостью замечаем недостатки в других, а своих никогда не видим. Но первый росток болезни уже пустил корни в моей душе, и потому это рассуждение меня не утешило.

Напротив, я весь сосредоточился на мысли, что для окружающих я совсем не такой, каким до сих пор считал себя сам.

Но тогда я имел в виду еще только свой внешний облик, и так как мой приятель продолжал стоять передо мной все с тем же выражением насмешливого недоверия, я в отместку его спросил: а знает ли, в свою очередь, он, что ямочка у него на подбородке делит его на неодинаковые части — одна более выпуклая, другая более плоская?

— Что? Глупости! — воскликнул приятель. — Я знаю, что у меня на подбородке ямочка, но все совсем не так, как ты говоришь!

— Ну так давай прямо сейчас пойдем в парикмахерскую, и ты сам посмотришь! — предложил я.

Но когда, зайдя в парикмахерскую, приятель с изумлением увидел этот свой изъян и признал, что я был прав, он пожелал скрыть от меня свою досаду. Он сказал, что в конце концов это такая мелочь!

И разумеется, это была мелочь. Но тем не менее, следуя за ним в некотором отдалении, я увидел, как он остановился перед витриной какой-то лавки, потом дальше — перед другой, потом в третий раз, и надолго, перед какой-то зеркальной дверью и все время разглядывал свой подбородок. И я уверен, что, вернувшись домой, он тут же бросился к платяному шкафу, чтобы заново освоиться с этим своим изъяном. И я несколько не сомневаюсь, что в отместку или просто чтобы продолжить игру, заслуживающую, конечно, самого широкого распространения, он в свою очередь (подобно мне) осведомился у какого-нибудь приятеля, заметил ли тот, что подбородок у него с небольшим изъяном, и сразу же после этого открыл приятелю глаза на какой-нибудь дефект в его собственной внешности, выискав что-нибудь у того на лбу или, там, на губах. Ну, а этот приятель в свою очередь... и так далее, и так далее... Ну да, ну да, я готов поклясться, что несколько дней подряд в благородном городе Рикьери я наблюдал (если, конечно, это не был плод моего воображения) множество моих сограждан, переходивших от витрины к витрине и внимательно изучавших кто скулу, кто краешек глаза, кто мочку уха, кто ноздрю. А еще неделю спустя один из них подошел ко мне и, несколько смущаясь, спросил, правда ли, что, когда он говорит, у него дергается левое веко?

— Ну разумеется, дорогой, — поспешно ответил я. — Зато у меня — видишь? — нос свернут на сторону. Но я это знаю сам, мне не нужно, чтобы ты мне об этом говорил. А брови у меня — видишь? — домиком! А уши — нет, ты посмотри! — одно оттопыривается больше, чем другое. А пальцы? Сплющены! А взгляни на мизинец — видишь, как он искривлен? А ноги? Вот эта, эта, думаешь, она такая же, как та, другая? О нет! Но я сам, сам все это знаю и не нуждаюсь в том, чтобы ты сообщал мне об этом. Будь здоров!

И я так и оставил его стоять с открытым ртом. И только когда уже отошел на несколько шагов, услышал, как он меня окликает: — Эй!

И эдак спокойно-спокойно, маня меня пальцем, чтобы я подошел поближе:

— Прости, а после тебя у твоей матери были еще дети?

— Нет, ни после, ни до, — я единственный ребенок. А что?

— А то, — сказал он, — что если бы твоя мать родила бы еще, то это снова был бы мальчик!

— Да? А откуда ты знаешь?

— А вот откуда. В народе говорят, что если у ребенка волосы на шее кончаются мысыком, то следующим у его матери тоже родится мальчик.

Я поднес руку к затылку, потом, холодно усмехаясь, спросил:

— Ах вот как, значит, здесь у меня — как это ты называешь?

А он:

— Мысик, мой милый, мысик! Во всяком случае, в Рикьери это называется так!

— О, ну это-то пустяки! — воскликнул я. — Ведь этот мысик я могу попросту сбрить!

Он отрицательно поводит пальцем перед моим носом, потом сказал:

— След-то всегда остается, мой милый, даже если ты обрешься наголо!

И на этот раз уже я не нашелся что ответить.

3. И ЭТО ВЫ НАЗЫВАЕТЕ «ПОБЫТЬ ОДНОМУ»!

С той поры я стал страстно желать остаться один, — ну хотя бы на час в день. Это было даже больше чем желание, это была прямо-таки необходимость, необходи-

мость острая, безумная, не терпящая отлагательства, отчего присутствие или близкое соседство жены могли довести меня буквально до иступления.

— Джендже¹, ты слышал, что сказала вчера Микелина? Кванторцо нужно срочно с тобой поговорить!

— Посмотри, Джендже, правда в этом платье у меня слишком видны ноги?

— Часы остановились, Джендже.

— Джендже, что же ты не выведешь собачку? Потом она напачкает на ковер и ты сам будешь ее бранить! Но ведь нужно же ей где-то... то есть я хочу сказать, не хочешь же ты, чтобы... Ведь ее, бедняжку, со вчерашнего вечера не выводили!

— А ты не боишься, Джендже, что Анна Роза заболела? Ее уже три дня не видно, а в последний раз у нее белело горло.

— Приходил синьор Фирбо, Джендже. Сказал, что придет попозже. А ты мог бы встретиться с ним не дома? Боже мой, он такой скучный!

Или же я слышал, как она поет:

А если скажешь «нет»,
Я просто не приду!
Да-да, я не приду!
Нет-нет, я не приду!

Но почему, скажете вы, не закрыться у себя в комнате, заткнув оба уха?

Ну так вот, господа, это значит, вы не понимаете, какой смысл я вкладываю в слова — «побыть одному».

Закрыться я мог только в своем кабинете, но и там — не запираясь на задвижку, чтобы не вызвать у жены подозрений. Жена моя женщина не злая, но ужасно подозрительная. И что, если бы, открыв внезапно дверь, она застала бы меня врасплох?

Нет, нет! И потом, это все равно было бы бесполезно. У меня в кабинете нет зеркал, а мне было нужно зеркало. Кроме того, одной только мысли о том, что жена дома, было достаточно, чтобы я стал следить за собой, за тем, как себя веду, а как раз этого-то я и не хотел.

Вот для вас «побыть одному» — что это значит?

Остаться в обществе самого себя и — ни души вокруг.

¹ Моя жена из Витанджело (так, к сожалению, меня зовут) образовала это уменьшительное и так меня и называла. И не без оснований, как это станет ясно из дальнейшего. — *Примеч. авт.*

О да, я признаю, что этот способ — прекрасный способ побыть одному. Вот тут-то в вашей памяти и открывается прелестное окошечко, и в нем между вазой с гвоздиками и другой, с жасмином, показывается улыбающееся личико Титти, милой Титти, которая вяжет крючком красный шерстяной шарф, такой же — о господи, точно такой же! — какой носит на шее этот противный старик, синьор Джакомино, которому вы так и не дали рекомендательного письма к председателю опекунского совета, вашему доброму приятелю, но тоже ужасному зануде, особенно когда он принимается рассказывать о проделках своего секретаря, который вчера... нет, не вчера... Когда же это было? А, позавчера, еще лил дождь, и площадь, вся в сверкании капель, сквозь которые радостно сияло солнце, казалась озером, а на бульваре — боже мой! — какая толча и суeta людей и предметов: и бассейн, и газетный киоск, и трамвай, чудовищно скрежещущий на повороте! Да, и собака еще лаяла... Но довольно, не о том ведь речь; я говорил, что это позавчера вы заглянули в бильярдную, где как раз и был этот секретарь опекунского совета, и как усмехнулся он в усы, предвкушая ваше поражение, когда вы начали партию со своим приятелем Карлино по прозвищу Пятнадцатый. А потом? Что было потом, когда вы вышли из бильярдной? Под тусклым фонарем на пустынной и мокрой улице какой-то пьяный нищий тоскливо выводил старую неаполитанскую песенку, которую столько лет назад вы чуть ли не каждый вечер слышали в той горной деревушке посреди каштановой роши, где вы сняли дачу, чтобы быть поближе к Мими, дорогой Мими, той самой, которая потом вышла за старого коммендаторе де Ла Венеру, а спустя год умерла. Ах, милая Мими! Вот, вот, и она показывается в другом окошке, которое распаивается в нашей памяти...

Да, дорогие мои, что ни говори, а это действительно замечательный способ побыть одному!

4. А ВОТ ЧТО ЗНАЧИЛО ДЛЯ МЕНЯ «ПОБЫТЬ ОДНОМУ»

Я-то хотел побыть один совершенно необычным, новым способом. То есть не так, как вы, а совсем наоборот — так, чтобы не было меня самого, а рядом кто-то был.

Вам это утверждение кажется первым признаком безумия?

Но, может быть, это потому только, что вы не дали себе труда подумать над тем, что я сказал.

Не спорю, может быть, я и безумен, но, поверьте, единственный способ действительно «побыть одному» это тот, о котором я вам только что сказал.

Одиночество никогда не может быть при вас, оно может быть только без вас и в присутствии чего-то вам постороннего — посторонним может быть все что угодно: место или человек, — все дело в том, что для этого постороннего вы не должны существовать, так же как и оно для вас; и вот только тогда-то ваша воля и ваши ощущения как бы отлетают от вас, делаясь мучительно неухватимыми, вы утрачиваете самого себя, и жизнь вашего сознания приостанавливается. Подлинное одиночество возможно лишь в том месте, в котором нет для вас ни следов, ни звуков, то есть в том месте, которому вы чужой.

Вот что значило для меня «побыть одному». Один без себя самого. Я хочу сказать — без того себя самого, который был мне знаком или по крайней мере казался мне знакомым. Один, в обществе незнакомца, которого (я уже тогда это смутно чувствовал) я уже никогда не смогу устранить со своего пути и которым был я сам: то есть в обществе незнакомца, от меня неотделимого.

Тогда я еще считал, что он один, этот незнакомец. Но даже и он, тот один, а точнее, нет, не он сам, а это мое желание остаться с ним наедине, поставить его перед собой, хорошенько рассмотреть, поговорить с ним — это желание волновало меня безумно, вызывая во мне смешанное чувство страха и отвращения.

Если я не был для других тем, чем до сих пор считал себя сам, то кем же я был?

Я просто жил, не думая о форме своего носа, о росте — большой я или маленький, о цвете своих глаз, о том, какой у меня лоб — низкий или высокий — и так далее, и тому подобное. Все это были вещи, от меня неотделимые — мой нос, мои глаза, мой рот — и, занятый своими делами, поглощенный своими ощущениями, я о них и не думал.

И только сейчас задумался: «Да, но что же все это значит для других? Другие-то ведь живут не во мне, они смотрят на меня со стороны, и для них у моих мыслей, у моих чувств есть еще и нос — мой нос. И глаза, мои

глаза, которых я не вижу, а они видят. И какая существует связь между моим носом и моими мыслями? Для меня никакой. Ведь думаю-то я не носом, и, когда думаю, мне до носа и дела нет! Но для других? Для тех, что не могут увидеть мысли, которые внутри меня, а видят только то, что снаружи — мой нос?! Для них мои мысли и мой нос связаны так тесно, что, как бы ни были серьезны мои мысли, они все равно закатятся от смеха только потому, что их смешит форма моего носа.

И вот так, постепенно рассуждая, я набрел на новую беду. Я понял, что, пока я просто живу, не в моей власти захватить себя врасплох; я не могу увидеть себя таким, каким видят меня другие; не могу поставить перед собой свое тело и увидеть его как тело другого человека. Когда я смотрюсь в зеркало, все во мне словно застывает — не может быть и речи о непосредственности, и любой мой жест мне самому кажется искусственным и фальшивым.

Я не мог видеть себя живущим.

То, что дело обстоит именно так, подтвердило одно впечатление, которое меня буквально ошеломило: несколько дней спустя, прогуливаясь и беседуя с моим приятелем Стефано Фирбо, я вдруг неожиданно увидел самого себя в зеркале, которого сперва не заметил. Впечатление длилось всего миг, потому что почти сразу же я, как всегда, застыл, и непосредственность во мне исчезла, уступив место сознательному рассматриванию. Но поначалу я себя не узнал. У меня было полное впечатление, что это какой-то незнакомец мне человек идет по улице и разговаривает. Я остановился. Наверное, я поблбднел. Фирбо спросил:

— Что с тобой?

— Ничего, — сказал я. А сам, весь во власти странного чувства, смешанного из отвращения и страха, думал: «Неужели это был я — этот возникший на миг образ? Неужели именно так я выгляжу со стороны, когда, отдаваясь потоку жизни, перестаю думать о себе? Значит, для других я — вот этот вот незнакомец, которого мне удалось застигнуть в зеркале врасплох? Для других я — во все не тот человек, каким знаю себя я сам, для других я — это он, именно он, которого я с первого взгляда даже не узнал! Я и есть этот незнакомец, и увидеть его я могу только так, безотчетно и бессознательно. Незнакомец, которого могут видеть и знать только другие, и никогда — я сам».

И с той поры я весь сосредоточился на одном страстном желании: выследить незнакомца, который жил во мне, но от меня ускользал, которого я не мог остановить перед зеркалом, потому что он тут же превращался в меня, того меня, каким я себя знал, незнакомца, который существовал только для других, а мне не давался. Я хотел увидеть его и узнать так, как видели его другие.

Повторяю — тогда я еще думал, что он один, этот незнакомец, один для всех, подобно тому как и для самого себя я был один. Но вскоре мучительная моя драма усложнилась: это когда я обнаружил, что я не был для других чем-то одним, как не был я одним и для себя, что было сто тысяч разных Москард, и все сто тысяч носили одно имя Москарда, это до жестокости грубое имя, все жили внутри бедного моего тела, которое было всего одно, — оно было кем-то и в то же время никем, потому что, если я становился перед зеркалом и смотрел ему прямо в глаза, оно теряло способность что-либо хотеть или чувствовать. И когда моя драма усложнилась до такой степени, тогда-то и начались все мои немислимые безрассудства.

5. ВЫСЛЕЖИВАНИЕ НЕЗНАКОМЦА

Пока я расскажу только о самых незначительных из моих безрассудств, о тех, которые начались во времена, когда мое безумие переживало еще пору резвого детства, и когда мои безрассудства принимали форму пантомимы, которую я разыгрывал перед всеми зеркалами нашего дома, оглядываясь, чтобы не быть замеченным женой, и страстно надеясь, что, собравшись за покупками или в гости, она оставит меня наконец одного хотя бы ненадолго.

Я не хотел, подобно комедианту, изучать перед зеркалом свои жесты или заставлять свое лицо выражать разные чувства и душевные движения. Напротив, я хотел застигнуть себя врасплох, увидеть свои жесты во всей их непринужденности, уловить в лице перемены, отражающие движения души, например: перемену, вызванную неожиданным удивлением (представив себе какую-нибудь несообразность, я так подымал брови, что они почти касались волос, а глаза и рот распахивались так, словно их дергали за ниточки, как марионеток), или глубокой скорбью (представив себе смерть жены, я хмурил лоб

и горестно опускал глаза, как бы желая скрыть эту скорбь), или яростью (я скрежетал зубами, воображая, как кто-то дает мне пощечину, задирает нос, злобно оскальвался, сверкал глазами).

Но, во-первых, и это удивление, и эта скорбь, и эта ярость были поддельными, а не настоящими, потому что, если бы они были настоящими, я не мог бы их увидеть: под моим взглядом они тут же исчезли бы. Во-вторых, удивляться я мог множеству разных вещей, и выражаться это удивление тоже могло по-разному, в зависимости от момента и состояния моего духа, и то же самое касается и скорби, и ярости. И даже если, наконец, согласиться с тем, что для какого-то совершенно определенного удивления, для какой-то единственной и определенной скорби, для какой-то единственной и определенной ярости я располагал именно таким выражением лица, все равно оно было таким только для меня, а не для других. Например, моя ярость выглядела бы совершенно иначе для того, кто моей ярости боялся, иначе для того, кто был склонен ее извинить, и опять-таки иначе для того, кому она только смешна, и т. д.

О, у меня было еще достаточно здравого смысла, чтобы все это понять, но — при всей очевидной недоступности цели, которую я в своем безумии себе поставил, — мой здравый смысл все-таки не натолкнул меня на мысль, что от этой отчаянной попытки следует отказаться и удовольствоваться тем, чтобы просто жить, не стараясь увидеть себя со стороны и не заботясь о том, что думают обо мне другие.

Мысль, что другие видели во мне кого-то, кого я не знал и кого могли знать только они, глядевшие на меня со стороны своими, не моими глазами, глазами, которым я представал таким, каким самому мне не суждено было увидеть себя никогда, потому что это был тот я, который принадлежал им, а не мне; мысль, что другие видели жизнь, которую они считали моей, а на самом деле мне она была недоступна, — эта мысль не давала мне покоя.

Как вынести присутствие во мне этого незнакомца? Этого незнакомца, который ведь и был — я? Как это можно, чтобы его нельзя было увидеть? Узнать? Неужели так и остаться приговоренным всегда носить его с собой, в себе, на глазах у других, не будучи в силах увидеть его своими собственными глазами?

6. НАКОНЕЦ-ТО!

— Знаешь, что я тебе скажу, Джендже? Прошло еще четыре дня. Анна Роза наверняка больна. Я должна ее навестить.

— Дида, милая, да ты что? Ты сошла с ума! Ты посмотри, какая погода! Пошли Диего, пошли Нину — пусть они узнают! Ты что, хочешь заболеть? Нет, я против, я решительно против!

Когда вы решительно против, что делает ваша жена?

Моя жена, Дида, надела шляпку. Потом протянула мне шубку, чтобы я ей ее подал.

Я возликовал. И тут Дида заметила в зеркале мою улыбку.

— А, так ты смеешься...

— Но, дорогая, когда видишь, что тебе так послушны!..

И я еще попросил, чтобы она по крайней мере не очень задерживалась у своей подружки, даже если у той действительно болит горло.

— Четверть часа, не больше, я тебя умоляю...

Таким образом, я мог быть теперь уверен, что до вечера она не вернется.

Едва она вышла, я от восторга крутанулся на каблучке, потирая руки. Наконец-то!

7. СКВОЗНЯК

Прежде всего я решил немного успокоиться, подождать, пока с лица у меня сойдут все следы волнения и радости, а внутри приостановится всякое движение мыслей и чувств, так чтобы свое тело я мог подвести к зеркалу, как чужое, и, подведя, поставить его перед собой.

— Ну, — сказал я себе, — идем!

И я пошел с закрытыми глазами, вытянув вперед руки, на ощупь. Коснувшись дверцы шкафа, я еще помедлил с закрытыми глазами, ожидая, чтобы во мне установилось полное внутреннее равновесие, полное ко всему безразличие.

Но какой-то проклятый голос говорил мне, что и он, незнакомец, там, передо мной, в зеркале, и так же, как я, ждет с закрытыми глазами.

Он там был, а я его не видел.

Он тоже меня не видел, потому что у него, как и у меня, были закрыты глаза. Но он-то чего ждал? Хотел увидеть меня? Нет. Я мог его увидеть, он меня — нет. Он был для меня тем, чем я был для других, — меня можно было увидеть, в то время как сам себя я увидеть не мог. Но, открыв глаза, увижу ли я его как другого?

В этом было все дело.

Мне много раз случалось встречаться в зеркале глазами с человеком, который смотрел в то же самое зеркало. То есть себя я в зеркале не видел, но меня видел тот, с кем я встречался взглядом. И он тоже не видел себя, а видел мое лицо и видел, что я на него смотрю. А если бы я захотел увидеть себя в этом зеркале, тот, другой, может быть, и продолжал бы меня видеть, но я его видеть уже не мог бы. Невозможно в одно и то же время видеть себя и видеть, как кто-то другой смотрит на тебя в том же самом зеркале.

Размышляя таким образом, по-прежнему с закрытыми глазами, я спросил себя: «Отличен ли мой случай от того или он тот же самый? Пока у меня закрыты глаза, нас двое: я здесь, а он в зеркале. И нужно помешать тому, чтобы, когда я открою глаза, тот, в зеркале, стал бы мною, а я им. Я должен видеть его, не себя. Возможно ли это? Ведь как только я его увижу, он увидит меня, и мы узнаем друг друга. Но — спасибо! Я не хочу узнавать себя, я хочу узнать, каков он — отдельно от меня. Возможно ли это? Главное, я должен добиться вот чего: не во мне себя увидеть, а увидеть себя со стороны, увидеть себя своими собственными глазами, но так, словно я это не я, а другой человек, тот, кого видят другие и кого я увидеть не могу. Итак, спокойно, не дышать, внимание...»

Я открыл глаза. И что же я увидел?

Да ничего. Я увидел себя. Это был я, хмурый, недвольный, погруженный в собственные мысли.

Я так разозлился, что мне захотелось плюнуть себе в лицо. Но я сдержался. Расправил на лбу морщины, попытался умерить пристальность взгляда; и по мере того как он становился все рассеянее, блекло и мое изображение в зеркале, блекло — и как будто от меня отдалялось; но при этом блекнул и я сам, по эту сторону зеркала, я валился с ног, я чувствовал, что еще немного — и я засну. Я удержал себя там, в зеркале, глазами. Я попытался помешать тому, чтобы и меня, здесь, удержали те глаза, которые смотрели на меня из зеркала, то есть

я попытался помешать им встретиться с моими. Но мне это не удалось. Я чувствовал, что это мои глаза. Я видел их перед собой в зеркале, но чувствовал их здесь, на своем лице. Они не на меня смотрели, а на себя. А если я переставал их чувствовать на себе, то я их и не видел. Увы, так оно и было. Я не глаза эти видел, я видел в них самого себя.

И тогда, словно убедившись в непреоборимости этой истины, сводившей весь мой эксперимент к игре, мое лицо вдруг улыбнулось в зеркале жалкой улыбкой.

— Да не смейся ты, идиот! — заорал я. — Что тут смешного?

И из-за неожиданности этого взрыва, мое лицо в зеркале вдруг так изменилось, а вслед за этим приняло выражение такой глубокой апатии, что я наконец-то увидел, как, торжествуя, мое тело отделило от себя дух — там, передо мной, в этом зеркале.

А, наконец-то, так вот, значит, я какой!

Ну и какой я был?

Да никакой. Никто. Просто бедное, никому не принадлежавшее тело, которое ожидало, чтобы кто-то присвоил его себе.

— Москва! — прошептал я после долгой паузы.

Он не шевельнулся. Продолжал смотреть на меня, оцепеневший.

Его ведь могли звать и иначе!

Там, в зеркале, он был как потерявшийся пес, без хозяина, без клички, его могли звать Флик или Флак — кто как пожелает. А он — он не знал ничего и себя самого не знал; он жил, просто чтобы жить, и не знал, что живет; у него билось сердце, а он и этого не знал, он дышал, и этого не знал тоже, он моргал, и не замечал этого.

Я смотрел на его рыжеватые волосы, на бледный, неподвижный, упрямый лоб, на его брови домиком, на зеленоватые глаза с радужкой, испещренной желтоватыми пятнышками (глаза были застывшие, без взгляда), на его нос, свернутый вправо, но красивый, орлиный, на рыжие усы, за которыми прятался рот, на твердый, выдающийся вперед подбородок.

Вот: такой он был, таким он был создан, такой он был масти, и он уже ничего не мог с этим поделать — как не мог стать, к примеру, другого роста! Конечно, он мог слегка изменить свой облик, сбрить, скажем, усы, но сейчас-то он был такой! А со временем он должен был стать лысым, морщинистым, дряхлым, беззубым, а ка-

кое-нибудь несчастье могло еще и изуродовать его — он мог обзавестись стеклянным глазом или деревянной ногой, — но сейчас-то он был такой!

Кто это был? Был ли это я? Или кто-нибудь другой? Он ведь мог быть кем угодно, тот, что в зеркале. И у другого могли быть такие же рыжеватые волосы, такие же брови домиком, такой же свернутый вправо нос — все это могло быть не только у меня, но и у другого, который был вовсе не я. Почему это должен быть непременно я, вон тот?

Пока я живу, я не вижу, какой я. Так с чего же я взял, что в этом теле живу я, что именно я воплощен в этом образе?

Он стоял передо мною, этот образ — почти нереальный, словно бы мне приснившийся. И я вполне мог и не знать, что это я. Мог же я ни разу в жизни не видеть себя в зеркале? Так что же, из-за этого в голове, которую я никогда не видел, не роились бы те же самые, мне принадлежавшие мысли? Конечно, роились бы, и еще столько всяких других! Так что же общего было у моих мыслей с этими волосами, с их цветом — ведь волосы могли быть другими: седыми, черными, белокурыми? А глаза, эти зеленоватые глаза, разве не могли они быть черными или голубыми, а нос — разве он не мог быть прямым или курносым? И мне вполне могло не нравиться это тело, которое я видел перед собой в зеркале! Да оно мне и не нравилось!

И тем не менее для всех окружающих я и был этими рыжеватыми волосами, этими зеленоватыми глазами, этим носом, то есть я и был этим телом, которое для меня не значило ничего. Решительно ничего! Это тело принадлежало всем, и всякий видел в нем того Москарду, какого ему хотелось видеть, — сегодня такого, завтра другого, в зависимости от случая и настроения. Ведь даже я сам... Вот именно — даже я сам! Разве сам я знал Москарду? Что я мог о нем знать? Я знал, какой он, лишь в ту минуту, когда на него смотрел, и это все. И если я не хотел быть таким, каким я его видел, и не хотел чувствовать себя таким, каким чувствовал, значит тот, кого я видел, был для меня чужой: незнакомец, который выглядел так, но мог выглядеть и иначе. Стоило мне отвести от него глаза, как он тут же становился другим, ведь он уже не был таким, каким был в детстве, и не был еще таким, каким станет в старости, — а я сегодня хотел видеть его таким, каким видел вчера! Я мог

сделать так, чтобы в этой голове, упрямой и неподвижной, вдруг озарились, возникнув из темноты, самые разные картины: темнеющий под звездами лес, спокойный и таинственный; пустынный, подернутый болезненным белесым туманом морской рейд, посреди которого вдруг проступает при свете зари призрачное очертание корабля; кипящая жизнью улица, а над ней — раскаленный диск солнца, бросающий пурпурные отсветы на лица и высекающий разноцветные искры из витрин, зеркал, оконных стекол. Затем я гасил в своей голове эти картины, но голова как была, так и оставалась — упрямой, неподвижной, оцепенелой.

Кто же он был — тот, в зеркале? Да никто. Просто бедное тело, без имени, ожидающее, чтобы кто-нибудь его себе присвоил.

И вдруг, пока я так размышлял, случилась одна вещь, которая больше даже напугала меня, чем удивила! Я увидел, как помимо моей воли это тупое и оцепеневшее лицо, принадлежащее этому, как бы и не живущему, телу, исказилось в жалобной гримасе, сморщило нос, закатило глаза, выпятило губы, нахмурило брови, как будто собираясь заплакать, и, побыв в таком состоянии несколько мгновений, вдруг два раза содрогнулось, чихая.

Оно взволновалось само по себе, без всякого моего участия, это бедное выключенное из жизни тело, содрогнулось просто от сквозняка, неизвестно откуда проникшего в комнату, содрогнулось, ни словом меня не предупредив, независимо от моей воли.

— Будь здоров! — сказал я ему.

И в первый раз увидел в зеркале свой смех — смех безумца.

8. И ЧТО ЖЕ?

Да ничего. Только вот это. Неужели вам мало? Вот вам первый список пагубных размышлений и ужасных выводов, толчком к которым послужило то невинное и мимолетное удовольствие, которое захотела однажды доставить себе Дида, моя жена. То есть я имею в виду то удовольствие, которое она доставила себе, обратив мое внимание на то, что нос у меня свернут вправо.

1. Для других я совсем не то, чем до сих пор считал себя сам.

2. Я не мог увидеть себя живущим.

3. Оттого, что я не мог увидеть себя живущим, я не знал, какой я; это знали и видели другие, каждый на свой лад, а узнать, что именно они видят, было не в моей власти.

4. Я не мог поставить перед собой этого живущего во мне незнакомца, чтобы рассмотреть его и узнать, — я видел только себя, его не видел.

5. Мое тело, если я смотрел на него со стороны, было как образ из сновидения: само по себе оно жить не могло, оно должно было кому-то принадлежать.

6. И так же, как оно принадлежало мне, это тело, и попеременно становилось тем, чем мне хотелось быть и чем я себя чувствовал в данную минуту, так же оно принадлежало и другим, навязывающим ему то, что видели в нем они.

7. И наконец, само по себе это тело было настолько никем и ничем, что простой сквозняк мог заставить его чихнуть сегодня и, может быть, исчезнуть навсегда завтра.

ВЫВОДЫ

Пока только два.

1. Я только сейчас наконец понял, почему жена моя Дида звала меня Дженде.

2. И я решил выяснить, что же я такое для окружающих, для самых близких мне людей, так называемых знакомых, и, выяснив, позабавиться тем, чтобы назло им разрушить их представления.

КНИГА ВТОРАЯ

1. ЕСТЬ Я И ЕСТЬ ВЫ

Мне могут возразить:

— Но почему же, бедный Москарда, тебе не пришло в голову, что и со всеми другими происходит в точности то же, что и с тобой, — они тоже не могут увидеть себя в то время, как просто живут, и если ты кажешься дру-

гим совсем не тем, чем считаешь себя сам, точно так же и другие считают себя совсем не такими, какими кажутся они тебе.

Отвечу.

— Мне пришло это в голову. Но вы уж меня простите: в самом ли деле пришло это в голову вам?

Мне бы хотелось думать, что пришло, но я в это не верю. Больше того, я думаю, что, если бы эта мысль и в самом деле пришла вам в голову и укоренилась бы там так, как укоренилась она во мне, каждый из вас принялся бы совершать те же самые безумства, которые совершал я.

Скажите правду: вам никогда не приходило в голову выяснить, как выглядите вы со стороны. Вы просто живете себе и живете — и правильно делаете! — не задумываясь над тем, что представляете собой для других. И это не потому, что чужое мнение для вас ничего не значит — напротив, еще как значит! — а потому что вы пребываете в приятнейшем заблуждении, будто те, что смотрят на вас со стороны, видят вас такими, какими вы видите себя сами.

А если кто-нибудь и обратит ваше внимание на то, что нос у вас немного свернут вправо... Нет? Не свернут? Или что вчера вечером вы солгали... Нет? Неужели нет? Ну немножко, совсем немножко приврали, без всяких серьезных последствий... Одним словом, если иной раз вы и заметите, что для других вы вовсе не то, чем кажетесь самому себе, что вы тогда делаете? (Только говорите правду!) Да ничего вы не делаете, или почти ничего. Будучи полностью и безоговорочно уверены в себе, вы только еще больше утверждаетесь в мысли, что вас плохо понимают и неверно о вас судят. Если вам это будет неприятно, вы постараетесь исправить впечатление, что-то прояснить, как-то объяснить, а если не будет, то вы оставите все, как есть.

Пожмете просто плечами и скажете: «В конце концов, у меня есть своя голова на плечах и мне этого достаточно».

Разве я не прав?

Но тут, господа, вы уж меня простите! Раз уж вы произнесли такое серьезное слово — голова, то я позволю себе занести в нее одну очень скромную, незначительную такую мыслишку. А именно: что голова ваша тут ни при чем! Я не скажу, что она ничего не стоит — ведь для вас она в с е , — чтобы доставить вам удовольствие, я скажу,

что и моя голова для меня все, и тем не менее она тоже ничего не стоит! И знаете почему? Потому что я знаю, что кроме моей головы есть еще и ваша. Да-да, ваша. И совсем непохожая на мою.

Простите, если я сейчас заговорю языком философов, но, может быть, наше сознание — это нечто столь абсолютное, что оно должно довольствоваться самим собой? Если бы на земле был только я или только вы, тогда, может быть, так оно и было бы, но тогда, дорогие мои, сознание не было бы сознанием. Однако, к сожалению, дело обстоит так, что есть я и есть вы. К сожалению.

А раз так, то что вы имеете в виду, когда говорите, что у вас есть своя голова на плечах и вам ее достаточно? Вы хотите сказать, что другие пусть думают и судят о вас, как хотят, то есть неверно, потому что сами-то вы убеждены — и это полностью вас успокаивает, — что не делаете ничего дурного.

Но скажите мне тогда, бога ради: если бы не существовало других, откуда бы взялась эта ваша уверенность? И успокоение, которое вы из нее извлекаете?

Из вас самих? И каким же это образом?

А, знаю, знаю: вы уверяете себя, что, если бы на вашем месте был другой и с ним случилось то, что случилось с вами, он поступил бы в точности, как и вы.

Браво! Ну, а на чем основывается эта ваша уверенность?

А, знаю, знаю и это: на неких общих отвлеченных принципах, которые так общи и так отвлеченны, что к конкретным и частным случаям из жизни неприменимы, и с которыми поэтому согласны все (но это согласие немногочисленное стоит).

Но как же все-таки при этом получается, что все вдруг вас осуждают, или не одобряют, или даже смеются над вами? По-видимому, они не в состоянии различить эти общие принципы в том частном случае, который произошел с вами, и узнать самих себя в совершенном вами поступке.

А в таком случае для чего вам ваша голова на собственных плечах, которой вам будто бы достаточно? Только для того, чтобы почувствовать себя одиноким?

Нет, нет, бога ради, нет! Одиночество вас пугает.

Ну, а что вы тогда делаете? Вы представляете себе

множество голов — в точности таких же, как ваша. Множество голов, которые, в сущности, все — одна ваша голова. Множество голов, которые вы в нужную минуту вытаскиваете из себя, как бы нанизанными на невидимую веревочку, и они, эти головы, говорят вам «да» или «нет», «нет» или «да», как вы пожелаете. И это вас успокаивает и поселяет в вас уверенность.

Ну и играйте себе дальше в эту замечательную игру, игру в «собственную голову», которой вам совершенно достаточно.

2. ТАК ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

А знаете, на чем все основывается в самом деле? Я вам скажу. На предположении, которое бог будет вечно поддерживать в вашем сознании. На предположении, что реальность, какой видите ее вы, точно такая же и для всех прочих.

Вы живете внутри нее или выглядываете из нее на минутку, вы видите ее, вы осязаете ее, вы удобно располагаетесь посреди нее и закуриваете, например, сигарету (трубку? Ну пускай трубку!) и, закурив, блаженно созерцаете таюющие в воздухе кольца дыма. И даже не подозреваете о том, что реальность, которая вас обступает, для других так же призрачна, как этот дым.

Вы скажете, что это не так? А вот послушайте.

Мы с женой сейчас живем в доме, который отец выстроил после безвременной кончины моей матери, чтобы уехать из старого дома, где они жили вместе и с которым у него было связано слишком много горьких воспоминаний. Я был в ту пору ребенком, и только позже мне стало ясно, что отец мой в последнюю минуту бросил новый дом недостроенным и как бы открытым каждому, кто пожелает в него войти.

И арка ворот — самих ворот так и не навесили, — и полукружье ее свода, которое возвышалось с обеих сторон над стенами, и сама стена, окружающая просторный двор перед домом, тоже недостроенная, и разбитый каменный въезд под арку, и облупившиеся по углам плиты — я думаю, отец оставил все это в запустении, не доведя дело до конца, потому что однажды вдруг понял, что после его смерти дом останется мне, а значит, всем и никому, и что, следовательно, отгораживаться воротами нет никакого смысла.

Пока отец был жив, к нам во двор никто не заходил. На земле еще лежало множество нетесаных камней, при виде которых можно было подумать, что работы просто приостановлены и скоро возобновятся. Но когда между булыжниками и вдоль стен начала прорастать трава, все эти ненужные уже камни сразу стали казаться старыми и отслужившими свое. А когда отец умер, ими стали пользоваться как скамейками соседские кумушки, которые одна за другой, поначалу неуверенно, рискнули проникнуть под арку ворот как бы в поисках укромного уголка — посидеть в теничке и тишине. А потом, увидев, что никто против этого не возражает, они оставили все колебания своим курам и присвоили себе наш двор, а заодно и колодец. Здесь они стирали белье, здесь же развешивали его на просушку, а затем, покуда солнце пронизывало веселым светом спящую белизну развевающихся на веревке простыней и сорочек, распускали по плечам блестящие от масла волосы и начинали искать, как это делают обезьяны.

Я никогда не высказывал по поводу этого вторжения ни удовольствия, ни досады, хотя меня и раздражал вид одной вечно хныкающей старухи, с запавшими глазами и горбом, выпирающим из-под выцветшего зеленого жакета. И еще меня тошнило от одной грязной, обормотанной толстухи, с огромной грудью, всегда вытащенной из кофты, и от младенца у нее на коленях — с огромной, покрытой струпьями, поросшей рыжим пухом головой. Видимо, у моей жены был свой расчет не выгонять их с нашего двора: за какие-нибудь жалкие объедки и обноски они готовы были и поработать.

Наш двор, мощный булыжником, как улица, представлял собою пологий склон. Помню, как мальчиком, вернувшись домой на каникулы, я стоял поздними вечерами на одном из балконов этого дома, тогда еще совсем нового. Помню, какую тоску навевала на меня мертвенная белизна всех этих булыжников, широко раскинувшаяся, наклонная, с колодцем посередине, который по ночам вдруг начинал бормотать — таинственно и звонко. Ржавчина почти сразу же съела красный лак на железной ручке ворота, от которого отходила веревка с ведром на конце, — и какой печалью веяло от этой облупившейся ручки, которая казалась больной! Может быть, она казалась больной еще и из-за того, что так тоскливо скрипел ворот, когда по ночам веревку шевелил ветер, а небо, ясное и звездное, но подернутое тончайшей

дымкой, словно пылью припорошившей его прозрачность, как будто замерло над безлюдным двором навсегда.

После смерти моего отца Кванторцо, ставший во главе дела, выгородил в доме те комнаты, которые отец предназначал для него, и получившуюся квартирку решил отдавать внаем. Моя жена не возражала, и спустя какое-то время в квартирке этой поселился старик, молчаливый пенсионер, всегда тщательно — чисто и просто — одетый, маленький и хрупкий, но с чем-то неуловимо задиристым во всем облике: выпяченная грудь, выражение властности на изможденном лице — этакий полковник в отставке! На щеках густая сеть багровых прожилок, а глаза, широко расставленные, немного раскосые, были совершенно как у рыбы.

Я не обращал на него внимания, не позаботился даже узнать, кто он, чем живет. Несколько раз я встречал его на лестнице и, слыша его неизменно вежливое «добрый день» или «доброе утро», отметил, что он, должно быть, очень воспитанный человек.

Никаких подозрений не вызывали у меня и его жалобы на комаров, досаждавших ему ночами и налетавших — как он считал — со стороны запущенных служб по правую руку от дома, которые Кванторцо после смерти отца пустил под экипажные сараи.

— Да-да, вы правы! — восклицал иной раз я в ответ на его жалобы.

Я хорошо помню, что в этом моем восклицании было неудовольствие, но не в связи с комарами, досаждавшими соседу, а в связи с тем, во что превратились огромные помещения этих чистых и светлых служб, которые строились, когда я был мальчишкой. Когда в ту пору я туда забегал, меня странно возбуждала ослепительная белизна штукатурки и пленял влажный запах стружки, рассыпанной на звонком кирпичном полу, еще забрызганном известкой. А когда в зарешеченные окна било солнце, приходилось закрывать глаза — так слепили эти белые стены.

Эти сараи, где хранились старые прокатные ландо, в которые когда-то впрягались тройки, хотя и пропитались за эти годы вонью сгнившей соломенной подстилки и помоев, черными лужами стоявших у входа, все-таки продолжали наводить меня на мысль о прелести быстрой езды, об экипажах, вывозивших меня в детстве на дачу, когда мы ехали посреди открытых полей, и мне ка-

залось, что для этого они, эти поля, и созданы, чтобы поглощать и рассеивать в воздухе веселый перезвон колокольчиков. Эти воспоминания и помогали мне выносить соседство экипажных сараев, тем более что комаров в Рикьери было полно и без них, и все это знали, и во всех домах от них защищались посредством противокмарных пологов.

Не знаю, что подумал мой сосед при виде улыбки, тронувшей мои губы в ответ на его гордое заявление, что пологов он не выносит, потому что под ними нечем дышать.

Да как это так — не выносить пологов! Да я бы не расстался с пологом, даже если бы все комары вдруг исчезли из Рикьери, я завешивался бы им из одного только удовольствия, которое он мне доставлял — закрепленный высоко-высоко, как я люблю, и расправленный вокруг кровати без единой складочки. Комната, которую видишь сквозь мириады крохотных дырочек в тончайшем тюле; как бы отделенная от всего мира постель; ощущение будто тебя обволокло легкое белое облако.

Я не придал никакого значения тому, что он должен был подумать обо мне после этой нашей встречи. Встречая его на лестнице и слыша, как он первым говорит мне «добрый день» или «добрый вечер», я продолжал думать, что он необыкновенно вежливый человек.

А между тем, уверяю вас, в тот самый миг, когда он сталкивался со мной на лестнице и вежливо произносил свое «добрый день» или «добрый вечер», в глубине души он считал меня законченным идиотом, раз уж я терпел и комаров, и нашествие деревенских кумушек, и резкую вонь прачечной в своем дворе.

Ясно, что я никогда бы не подумал: «Боже мой, как он вежлив, этот мой сосед!», если бы только мог заглянуть внутрь него, видевшего меня таким, как я себя никогда не мог бы увидеть; для меня это был взгляд со стороны, для него — часть его картины мира, картины вещей и людей, на которой я, например, представлял совершеннейшим идиотом. Но я-то этого не знал и продолжал думать: «Боже мой, как он вежлив, этот мой сосед».

3. С ВАШЕГО ПОЗВОЛЕНИЯ

Я стучусь в вашу комнату.

Не вставайте, лежите себе, лежите в своем шезлонге, а я сяду вот здесь. Что? Вы говорите, не надо? Почему?

А, это кресло, в котором много лет назад умерла ваша бедная мама! Простите! Я бы и гроша за него не дал, но вы, конечно, не расстанетесь с ним за все золото мира, я в этом не сомневаюсь. Однако тот, кто ничего об этом не знает и видит это кресло в вашей прекрасно меблированной комнате, тот, конечно, с изумлением себя спрашивает, как вы можете его здесь держать — такое старое, такое выцветшее, такое рваное.

А это ваши стулья. А это ваш столик, и потому, что он ваш, он всем столикам столик. А это окно, которое выходит во двор. А за окном — сосны и кипарисы.

Знаю, знаю. Дивные часы, проведенные в этой комнате, которая кажется вам такой красивой из-за виднеющихся в окне кипарисов. Но именно из-за нее, из-за этой комнаты, вы рассорились со своим приятелем, который когда-то приходил к вам каждый день, а нынче не только не заходит, но всюду распространяет слух, что вы сумасшедший, настоящий сумасшедший, раз можете жить в такой комнате!

— Эти выстроившиеся в ряд кипарисы! — говорит он. — Больше двадцати кипарисов, господа, настоящее кладбище!

И он никак не может успокоиться по этому поводу.

Вы прикрываете глаза, вы пожимаете плечами, вы вздыхаете:

— У каждого свой вкус!

Потому что вам-то кажется, что все это вопрос вкуса, мнения, привычки, и сами вы нисколько не сомневаетесь в реальности всех этих дорогих вам вещей, на которые вы с удовольствием смотрите, до которых с удовольствием дотрагиваетесь.

Но покиньте этот дом, вернитесь в него через три-четыре года в душевном состоянии, не похожем на нынешнее, и вы увидите, что случится с этой вашей драгоценной реальностью.

— Как, это и есть та самая комната? Это и есть тот самый сад?

И будем надеяться, что у вас — слава богу — за это время не умер никто из родных, потому что в этом слу-

чае все эти дорогие вам некогда кипарисы тоже показались бы вам кладбищем.

Вы скажете: кто ж этого не знает — душа человека меняется, и каждый может ошибаться.

Действительно — кто же этого не знает?

Но я и не собираюсь рассказывать вам только про то, чего никто не знает. Я просто еще раз вас спрашиваю: «Но почему же в таком случае, вы ведете себя так, словно этого не знаете? Почему вы продолжаете думать, что единственная реальность — это ваша сегодняшняя реальность, и удивляетесь, сердитесь, кричите, что ошибается он, ваш друг, который, бедняга, как бы ни старался, никогда не сможет взглянуть на вещи теми глазами, которыми смотрите на них вы».

4. И — ПРОСТИТЕ — ЕЩЕ ОДНО СЛОВО

Позвольте мне сказать еще одну вещь, и на этом мы кончим. Я вовсе не хочу вас обидеть. Вот вы говорите: ваше сознание, ваши представления. Вы не хотите, чтобы кто-то подвергал их сомнению. Простите, я об этом забыл. Но я готов признать, признаю, что там, внутри, для самого себя вы вовсе не такой, каким представляетесь мне снаружи. И представляетесь отнюдь не по моей злой воле. Я хотел бы убедить вас по крайней мере в этом. Вы себя познаете, вы себя ощущаете, вы хотите выглядеть на свой лад, а не на мой, и вам снова кажется, что при этом вы правы, а я ошибаюсь. Может быть. Не буду спорить. Но может ли ваш взгляд стать моим и наоборот? Вот мы и вернулись к тому, с чего начали.

Я могу поверить всему, что вы мне говорите. И я верю. Вот вам стул, садитесь, и попробуем договориться. Всего какой-то час разговора, и мы прекрасно поняли друг друга.

Но уже на другой день вы набрасываетесь на меня и кричите:

— Что? Вы поняли это так? А разве не вы мне говорили вот это и вот это?

«Вот это и вот это», — превосходно. Но беда в том, что вы, дорогой мой, никогда не узнаете, и я никогда не смогу вам объяснить, как я перевожу для себя слова, которые вы мне говорите. Вы говорите не по-турецки. Мы оба — и вы, и я — пользуемся одним и тем же языком, одними и теми же словами. Но разве мы виноваты, что

слова сами по себе пусты? Да, дорогой мой, пусты. И вы, обращаясь с ними ко мне, заполняете их своим смыслом, а я, воспринимая их, вынужден заполнять их своим.

Мы думали, что мы поняли друг друга, а на самом деле мы не поняли друг друга совершенно.

А впрочем, все это давно известные вещи. Но я и не претендую на то, чтобы сообщить вам что-то новое. Я только еще раз вас спрашиваю:

— Но почему же, бога ради, вы тогда продолжаете вести себя так, словно вам все это неизвестно? Ведь для того, чтобы вы для меня стали тем же, чем вы являетесь для себя, а я для вас тем же, чем я — для себя, нужно, чтобы внутри себя я видел вас таким, каким видите себя вы, и наоборот, а разве такое возможно?

Увы, дорогой мой, как бы вы ни старались, вы всегда будете видеть меня по-своему, даже если искренне будете верить, что видите меня по-моему, да так оно и будет, я убежден, но это будет такое «по-моему», какого мне никогда не доведется узнать, его будете знать только вы, видящий меня со стороны, то есть это будет ваше «по-моему», а не мое.

Ах, если бы вне вас и вне меня существовали бы одна госпожа реальность для меня и другая госпожа реальность для вас, всегда одинаковые, всегда неизменные! Но их нет! Моя реальность, та, в которой вижу себя я, существует во мне и для меня; другая, в которой видите себя вы, существует внутри вас и для вас. И они все время меняются — и моя, и ваша.

И что из того?

А то, мой друг, что нужно утешаться вот чем: тем, что моя реальность не более истинна, чем ваша, и что обе они длятся лишь миг — и ваша, и моя.

У вас закружилась голова? Ну, что ж... Тогда, пожалуйста, кончим.

5. ЗАСТЫВШИЕ ОБРАЗЫ

К этому-то я и хотел прийти — к тому, чтобы вы никогда больше не говорили (не должны больше говорить!), что у вас своя голова на плечах и вам этого достаточно.

Когда вы поступали таким образом? Вчера, сегодня, минуту назад? А сейчас? А, так теперь вы склонны допу-

стать, что сейчас вы бы поступили иначе? А почему? Боже мой, вы бледнеете? Так, может, теперь вы признаете, что минуту назад вы были другим?

Ну да, ну да, мой дорогой, подумайте хорошенько: минуту назад, до того как с вами приключился этот случай, вы были другим. И в вас был не один «другой» — в вас были сотни этих других, сотни тысяч этих других. И ничего с этим не поделаешь! Поверьте, удивляться тут нечему. Подумайте лучше, уверены ли вы хотя бы в том, что, начиная с этой минуты и до завтра, вы останетесь тем, чем кажетесь себе сегодня?

Дорогой мой, истина именно в этом. А все прочее — лишь на одно мгновение застывшие образы: сегодня вы представляете себя одним, завтра другим.

И я вам скажу потом, как именно это происходит и почему.

6. НЕТ, Я СКАЖУ ВАМ ЭТО ПРЯМО СЕЙЧАС

Вы никогда не видели, как строят дом? Я — много раз, здесь, в Рикьери.

И я думал: «Вы только посмотрите, на что способен человек! Он увечит горы, он добывает камни, он их обтесывает, он кладет их один на другой, и, глядясь, то, что было только что частью горы, стало домом.

— Я гора, — говорит гора, — и я не двигаюсь с места.

Ты не двигаешься с места, дорогая? А взгляни на все эти повозки, которые тащат быки — они нагружены тобой, твоими камнями. Тебя увозят на телегах, моя милая! Ты думаешь, ты еще там? Да половина тебя уже в двух милях отсюда, в долине. Где? Да вот в этих домах, разве ты не видишь? В красном, белом, желтом, в трехэтажном, четырехэтажном, пятиэтажном! А где твои буки, где твои ореховые деревья, где твои ели?

Вот они, в моем доме. Видишь, как прекрасно мы их обработали? Кто бы смог узнать их в этих стульях, в этих шкафах, в этих полках?

Ты, гора, настолько больше человека, и ты, бук, и ты, орех, и ты, ель, но в человеке, в этой крохотной зверюшке, есть то, чего нет в вас.

Человек устал быть всегда на ногах, то есть только на двух задних лапах, а валяться на земле, как валяются другие животные, ему казалось неудобным и нездо-

ровым, тем более что, когда он потерял свою шерсть, кожа у него стала, увы, нежной, И тут он увидел дерево и подумал, что может сделать из него что-нибудь такое, на чем будет удобно сидеть. А потом понял, что сидеть на голом дереве все-таки неудобно, и тогда он его обил. С одних животных содрал кожу, с других остриг шерсть, кожей обил дерево, а между кожей и деревом проложил шерсть. И блаженно развалился.

— Ну до чего же хорошо так сидеть!

В клетке, подвешенной на окне между занавесками, поет канарейка. Может быть, она чувствует приближение весны? Увы, может быть, приближение весны чувствует и орех, из которого сделан мой стул, потому что при пении канарейки он начинает поскрипывать!

Может быть, они переговариваются друг с другом посредством этого пения и этого скрипа — пленная канарейка и ореховое дерево, превращенное в стул?»

7. ПРИ ЧЕМ ТУТ ДОМ?

Вам кажется, что разговор о доме тут совсем ни при чем, потому что вы видите свой дом как он есть посреди других домов, образующих город. Вы видите вокруг себя мебель, которую вы выбрали для своего удобства в соответствии с вашими вкусами и вашими средствами. Она дышит семейным уютом, эта мебель, и, будучи одушевлена вашими воспоминаниями, она уже не вещь, а как бы сокровенная часть вас самих; она, эта мебель, которую вы можете потрогать, как бы свидетельствует о несомненной реальности вашего существования.

Из чего бы она ни была сделана: из бука, ели или ореха, — она, как и все под вашей крышей, пропитана тем особенным запахом, который отличает дом от дома и который есть как бы запах нашей жизни; мы вспоминаем о том, что он есть, только когда он исчезает, то есть, например, войдя в чужой дом, мы чувствуем совсем другой запах. Но, я вижу, вам надоели все эти разговоры о горных елях, орехах и буках.

Я словно заразил вас слегка своим безумием — что бы я вам теперь ни сказал, вы хмуритесь и тут же спрашиваете:

— Ну и что? При чем здесь это?

8. ЗА ГОРОДОМ, НА ВОЗДУХЕ

Нет, нет, не бойтесь, я не попорчу вам мебель, не потревожу покоя вашего дома и вашу к нему любовь.

На воздух! На воздух! Покинем дом, покинем город. Я не говорю, что вы можете положиться на меня во всем, но пойдите же, не бойтесь! До того места, где городская улица, обставленная домами, вольется в поля, вы смело можете следовать за мною.

Да-да, это улица. Вы серьезно боитесь, что я могу сказать, будто это не улица? Улица, улица! И притом вся разбитая — осторожнее, не споткнитесь на выбоинах! А это фонари. Так что смело двигайтесь дальше.

О, эти далекие синие горы! Я говорю «синие», и вы говорите «синие» — правда? Ну вот и хорошо. А вот эта, что к нам всех ближе, с каштановой рощей на склоне — ведь это каштаны, правда? Вот видите, как прекрасно мы понимаем друг друга! Строевой лес, съедобный каштан из семейства буковых. И какая огромная растительность у подножия этой горы! (Зеленая, правда? И для меня зеленая, и для вас зеленая — ну не замечательно ли мы понимаем друг друга!) А на лугу — смотрите! — пылают алые маки! Что вы говорите? Вы говорите, что это красные шапочки на головах детей? Ну какой же я слепец! Действительно, шапочки из красной шерсти, вы совершенно правы! А мне показалось маки. Красные, как ваш галстук!

Какой радостью дышит этот зелено-голубой простор, пронизанный солнечным светом! Что? Вы снимаете свою серую фетровую шляпу? Вы вспотели? Да, благодарение богу, на худобу вы пожаловаться не можете! Эх, если б вы могли видеть эти черно-белые клеточки на задку ваших штанов! Да, да, и пиджак тоже снимите — долой его, долой! Вы слишком тепло оделись!

Деревня! Какой покой — совершенно новый, не правда ли? Чувствуете, как вы в нем растворяетесь? Да, но вот если бы вы могли сказать мне: где он? Я имею в виду покой. Нет, нет, не бойтесь. Ведь вам действительно кажется, что здесь царит покой? Ради бога, пойдем друг друга правильно. Не будем разрушать наше восхитительное согласие. С вашего позволения, единственное, что здесь вижу я, — это безграничную глупость, которой дышит и мое лицо, и ваше — лица двух блаженствующих идиотов!

Но мы эту нашу глупость приписываем земле и рас-

тениям, которые, как нам кажется, живут просто для того, чтобы жить, так, как живет все, что бездумно.

Итак, значит, мы договорились: то, что обычно зовется покоем, заключено в нас самих. Вы согласны? А знаете, почему мы вдруг его ощущаем, этот покой? Да по одной простой причине: потому что мы покинули город, с его домами, улицами, церквями, площадями, то есть искусственный мир, искусственный еще и потому, что в этом мире нельзя жить бездумно, как живут растения, мы живем ради того, чего в нем нет, ради того, что вкладываем в него мы, — ради того, что придало бы смысл нашей жизни — смысл, который здесь мы или перестаем понимать вовсе, или начинаем чувствовать удручающую тщетность нашей за ним погони. И отсюда — наша меланхолическая истома. Понимаю, понимаю! Дать отдых нервам! Грустное желание забыться! Вы чувствуете, как растворяетесь вы в окружающем, как забываетесь?

9. ОБЛАКА И ВЕТЕР

Ах, если б перестать себя сознавать — как камень, как растение! Забыть даже собственное имя! Растянуться на траве и, заложив руки за голову, смотреть, как плывут в синем небе ослепительно белые, пронизанные солнцем облака; слушать ветер, который, как морской прибор, шумит в вершинах каштанов.

Облака и ветер.

Что вы сказали? Увы, увы! Облака? Ветер? А вам не кажется, что увидеть и назвать облаком то, что, сияя, проплывает в бездонной синеве — в этом уже все? Разве облако знает, что оно облако? И знают ли это деревья и камни, которые и себя-то не сознают; они единственны!

А вы, дорогие мои, увидев и назвав облако облаком, чего доброго, еще и задумаетесь над круговоротом воды в природе, о том, как вода превращается в облако, чтобы потом снова стать водой. Замечательно, ничего не скажешь! Объяснить это превращение может самый захудалый учительшка физики! Но кто объяснит причину причин?

10. ПТИЧКА

Слышите, слышите? Там, наверху, в каштановой роще, стук топора. А внизу, в копиях, — стук кирки.

Калечат горы, валят деревья — чтобы строить дома! Там, в старом городе, — новые дома. Сколько усилий, стараний, забот и трудов — и все для чего? Для того, чтобы вывести вверх печную трубу и пустить из нее дым, который тут же рассеется в бесконечности пространства,

И все наши мысли, наши воспоминания — тот же дым.

Мы за городом, тело исходит блаженной истомой, и понятно, что все наши иллюзии и разочарования, страдания и радости, желания и надежды отсюда кажутся такими суетными, такими быстротечными перед лицом чувств, которые вызывает у нас все окружающее — такое бесстрастное, оно вечно и нас переживет. Достаточно взглянуть на эти горы, там, где кончается долина, такие далекие, тающие на горизонте, такие легкие в закатном сиянии, подернутые розовой дымкой.

И вот, растянувшись на траве, вы подбрасываете в воздух свою фетровую шляпу и восклицаете, и выглядите при этом почти трагически:

— О эти человеческие дерзания!

И в самом деле, сколько, например, восторженных кликов по поводу того, что человек, подражая птице, наконец-то начал летать — вот как эта ваша шляпа. А между тем разве так летит настоящая птица — взгляните! Ее полет — сама легкость и свобода, он так же безыскусен, как радостная птичья трель. А теперь представьте себе неуклюжий ревущий самолет, беспокойство, тревогу, смертельный страх человека, которому захотелось летать, как птица. Там только трель и шорох крыл, здесь грохот и бензиновая вонь и угроза смерти: мотор сломается, заглохнет, и — прощай птица!

— Человек! — восклицаете вы, лежа в траве. — Перестань летать! Зачем тебе летать? Разве ты когда-нибудь летал?

Правильно. Но вы говорите это только потому, что вы здесь, в деревне, и лежите, растянувшись, в траве. Но встаньте, вернитесь в город, и вы сразу поймете, зачем человеку понадобилось летать.

Увидев здесь настоящую птицу, которая и в самом деле умеет летать, вы, дорогой мой, забыли о смысле и значении искусственных крыльев и механического поле-

та. Но вы сразу вспомните о них там, где все — искусственное, все — механическое, все — приспособленное, все — сконструированное: еще один мир посреди мира, мир, сделанный руками человека, мир, скомбинированный, мир искусственный, лживый, фальшивый, суетный, мир, имеющий смысл и значение только для человека, который его создал.

Ну пойдёмте, только подождите, я подам вам руку, чтобы подняться. Да, вы не худенький! Погодите, к спине у вас пристала травинка... Ну вот, теперь все, можно идти.

11. ВОЗВРАЩАЯСЬ В ГОРОД

Взгляните-ка теперь на эти деревья, которые окаймляют бульвар Порты Веккиа на всем его протяжении, выстроившись в две шеренги вдоль тротуаров, — какой у них растерянный вид, у этих бедных городских деревьев, подстриженных и причесанных!

Может быть, они не умеют думать, деревья; да и животные, вероятно, тоже не размышляют. Но боже мой, если бы деревья умели думать и говорить, что сказали бы они, эти бедняги, которых мы, заботясь о тени, заставляем расти посреди города! Глядя на свои отражения в витринах лавок, они как будто спрашивают себя, что они здесь делают, посреди этой деловито спешащей толпы, посреди шумной сутолоки городской жизни. Посаженные много лет назад, они так и остались жалкими и хилыми деревцами. Ушей у них как будто нет. Но кто знает, может быть, деревьям, чтобы расти, нужна тишина?

Вы никогда не бывали на площади Оливелла, за городскими стенами? Там, где стоит маленький старинный монастырь белых тринитариев? Какой вид мечтательности и запустения являет собой эта маленькая площадь, и какая странная над нею стоит тишина, когда над черными поросшими мохом черепичными крышами монастыря появляется вдруг младенческая — голубая-голубая! — улыбка утра!

Так вот, каждый год земля в своей глупой материнской наивности пытается и там воспользоваться этой тишиной. Может быть, она думает, что здесь уже не город, что люди уже выжали из этой площади все, что могли, и теперь она, земля, снова может вступить во владение

ею, потихоньку, незаметно выпуская травинку за травинкой. Что может быть свежее и нежнее этих хрупких травяных стеблей, которыми вскоре зазеленеет вся площадь! Но, увы, им не удастся прожить больше месяца! Все-таки тут город, и травинкам не разрешено проклеиваться из-под земли. Каждый год появляются тут четверо или пятеро подметальщиков, которые, присев на корточки, выдирают травинки какими-то железными инструментами.

В прошлом году я видел, как две птички, услышав скрежет железа по шершавым плиткам мостовой, взлетели с изгороди на монастырскую водосточную трубу, а потом с трубы — снова на изгородь и все время встревоженно вертели головками, поглядывая то одним, то другим глазом и как бы спрашивая: что они тут делают, эти люди?

— Разве вы не видите? — сказал я им. — Разве вы не видите, что они делают? Они бреют эту старую мостовую!

И птички в ужасе улетели.

Блаженны те, у кого есть крылья и кто может улететь!

Не все животные это умеют, их ловят, лишают свободы, приручают и в городе, и в деревне. И как печально их вынужденное послушание, поставленное на службу странным нуждам людей. Они и не понимают, что делают. Ташат себе повозку, тянут плуг.

Ведь, может быть, и в их жизни — жизни животных и растений — тоже есть свой смысл и свое значение, смысл и значение для них самих, недоступные человеку, который замкнут в пределах того, что он сам считает значением и смыслом и что природа, со своей стороны, как бы не признает и игнорирует.

Хорошо бы, если бы между природой и человеком было хоть немного понимания! Слишком уж часто природа развлекается тем, что разрушает все его остроумные сооружения. Циклоны, землетрясения. Но человек не сдаётся! Он снова и снова строит, упрямая зверюшка! И всюду умеет находить материал для постройки. Потому что есть в нем что-то такое непонятное, из-за чего он волей-неволей должен строить, должен преобразовывать на свой лад материю, которую ему предлагает равнодушная или (в тех случаях, когда она этого пожелает) терпеливая природа. Но если бы он довольствовался только теми вещами, которые (как он считает,

пока не убедится в противном) не способны чувствовать боль, когда их используют как материал для постройки! Так нет же, в качестве материала для постройки человек пускает в дело даже самого себя и сам себя строит — да, да, господа, он строит себя, как строят дом.

Вы думаете, удалось бы вам узнать, каковы вы, если бы вы себя не строили? Или разве я узнал бы, каковы вы, если бы не строил ваш образ в соответствии со своими представлениями? А вы — меня, если бы не строили мой в соответствии с вашими? Мы можем познать только то, чему нам удастся придать форму. Но чего стоит это знание? Разве вот эта форма и есть сама вещь? Да, по крайней мере для меня и для вас тоже, но только для меня она не такая, как для вас; я так же не узнаю себя в той форме, в которую облакаете меня вы, как вы не узнаете себя в той форме, в которую облакаю вас я; одна и та же вещь для всех выглядит по-разному и, более того, для каждого постоянно меняется, да она и в самом деле постоянно меняется.

И все-таки никакой другой реальности не существует, только вот эта, схваченная в той, на мгновение застывшей форме, в которую мы облакаем себя, других, окружающие нас предметы. Реальность, которой я обладаю для вас, вся в форме, в которую облакаете меня вы, но это реальность для вас, не для меня; реальность, которой обладаете для меня вы, вся в форме, в которую облакаю вас я, но опять-таки это реальность для меня, а не для вас. Что же касается меня самого, то я реален настолько, насколько мне удастся придать себе форму. И как же я это делаю? Да просто я себя строю.

Ах, вот как, вы думали, что строятся только дома? Нет, я сам себя тоже строю, и строю постоянно, и вас строю, и вы делаете то же самое. И строительство продолжается до тех пор, пока не распадается материал наших чувств, пока тверд цемент нашей воли. Почему, вы думаете, принято так настаивать на твердости воли и постоянстве чувств? Стоит этому постоянству чуть-чуть нарушиться, стоит нашим чувствам хоть немного измениться — и прости-прощай созданная нами реальность! Мы сразу же заметим, что она всего лишь иллюзия!

Итак, твердость воли! Постоянство чувств! Держитесь за них, держитесь, чтобы не рухнуть во внезапно разверзшуюся пропасть, чтобы не столкнуться в ней,

в этой пропасти, с разными неприятными неожиданностями.

И какие замечательные постройкі иногда у нас получаются!

12 ЭТОТ МИЛЫЙ ДЖЕНДЖЕ

— Нет, нет, миленький, ты уж помолчи! Ты думаешь, я не знаю, что тебе нравится, а что не нравится? Я прекрасно знаю твои вкусы и вообще все, что ты думаешь!

Сколько раз говорила мне так жена моя Дида, а я, глупец, не придавал этому значения.

И я действительно убежден, что этого своего Джендже она знала лучше, чем я. Еще бы, ведь она сама его создала! И это был вовсе не призрак. Уж скорее призраком был я.

Насилие? Подмена?

Ну что вы!

Чтобы совершить над кем-то насилие, нужно, чтобы этот кто-то по крайней мере существовал, и чтобы подменить кого-то, тоже нужно, чтобы существовал кто-то, кого можно взять за плечи, вытолкнуть, а на его место поставить другого.

Жена моя Дида ни над кем не совершала насилия, никого не подменяла. Наоборот, ей, наверное, показалось бы насилием и подменой, если бы, взбунтовавшись и пожелав утвердить свое право быть таким, каким хочу, я отшвырнул бы в сторону ее Джендже.

Потому что этот ее Джендже существовал несомненно, а я для нее не существовал вовсе, никогда не существовал.

Я и был для нее этим Джендже, которого она вылепила и чьи мысли, чувства и вкусы не имели ничего общего с моими, но изменить их я не мог ни на йоту, так как рисковал сразу же стать другим, которого она бы просто не узнала, которого она не смогла бы ни понять, ни любить.

К сожалению, я никогда не умел придать форму своему бытию, никогда не желал утвердить себя как нечто только мне принадлежащее и особенное — не желал и из-за того, что не сталкивался с препятствиями, которые могли бы пробудить во мне стремление, сопротивляясь, утвердить себя в чужих и собственных глазах, и из-за того, что всегда был склонен думать и чувствовать прямо противоположное тому, что только что думал и чувство-

вал, то есть разлагать, разрушать в себе настойчивыми и часто прямо противоположными утверждениями всякую свою мысль, всякое свое чувство. К тому же я и по природе своей был склонен к уступкам, к тому, чтобы доверить себя другому, предоставить себя на его усмотрение — и это не столько по слабости характера, сколько из-за полного ко всему равнодушия и изначальной готовности к неприятностям, которые могли бы отсюда воспоследовать.

И они воспоследовали. Ведь сам-то я себя не знал, я не облакал себя ни в какой реальный образ и жил в состоянии как бы постоянной расплавленности — льющийся и ковкий. Какой я — знали другие, каждый, разумеется, в соответствии со своими представлениями, то есть каждый видел во мне Москарду, которым в самом деле я не был, не будучи, впрочем, чем-либо определенным и для самого себя. То есть жило во мне множество разных Москард, и каждый из них был реальнее меня, потому что, повторяю, сам себя я не облакал ни в какую реальную форму.

Вот Джендже, тот для жены моей Диды был совершенно реален. Но это никак меня не утешало, потому что, уверяю вас, трудно представить себе существо более глупое, чем этот Джендже, столь милый жене моей Диде.

Но самое интересное вот что: в ее глазах он вовсе не был лишен недостатков, этот ее Джендже. Просто все эти недостатки она ему прощала! Ее не устраивало в нем очень многое, потому что вылепила она его вовсе не таким, каким хотела, то есть, строя его, она отнюдь не следовала своим вкусам или капризам. Нет!

Но в таком случае чьим же вкусам она следовала?

Разумеется, не моим, потому что, повторяю, я никогда не мог признать своими те мысли, чувства и вкусы, которые Дида приписывала Джендже. То, что эти мысли, чувства и пристрастия она мне просто приписывала, очевидно из того, что ее Джендже думал и чувствовал все на свой лад — тут ничего не скажешь, именно на свой, то есть в соответствии со своим собственным образом, который, однако, ничего общего не имел с моим.

Иногда я видел, как она плачет из-за огорчений, которые причинял ей Джендже. Да-да, господа, именно Джендже.

И я спрашивал:

— Но в чем дело, дорогая?

А она отвечала:

— И ты еще спрашиваешь? Тебе мало того, что ты мне только что сказал?

— Кто сказал? Я?

— Да-да, ты!

— Но когда? И что я такое сказал?

Я терялся в догадках.

Все это означало, что смысл, который я вкладывал в свои слова, был ясен только мне самому, а смысл, который приобретали те же слова в устах Джендже, был совсем другим. Те же самые слова, будучи произнесены мною или кем-нибудь другим, не причинили бы ей ни малейшей боли; сказанные же Джендже, они заставляли ее плакать, потому что в его устах они обретали иной, бог знает какой смысл, заставлявший ее плакать, да, да, господи, плакать!

Я, значит, говорил только то, что я говорил, а она говорила со своим Джендже. И он отвечал ей моими устами, но как-то так, что мне оставалось это недоступным и непонятным. И не поверите, как глупо, фальшиво, бессмысленно звучали все сказанные мною слова, когда она их повторяла.

— Что такое? — спрашивал я. — Неужто я так сказал?

— Да, милый Джендже, именно так ты и сказал!

Так вот: все эти глупости были его, Джендже, глупости. Даже нет, не глупости, а нечто совсем другое. Это был просто его способ мыслить.

О, как охотно надавал бы я ему пощечин, этому Джендже, как охотно бы я его прибил! Разорвал бы его в клочья! Но я не смел его тронуть. Потому что, несмотря на огорчения, причиняемые Диде его глупостью, она все-таки очень его любила. Именно такой, каким он был, он и соответствовал ее идеалу замечательного мужа, которому маленькие недостатки прощаются за множество больших достоинств.

И если я не хотел, чтобы жена моя Дида отправилась искать этот идеал где-нибудь в другом месте, я не должен был его трогать, этого Джендже.

Сначала я думал, что это просто мои чувства были для Диды слишком сложны, мысли слишком мудрены, а вкусы слишком необычны, и, не в силах их постигнуть, она неверно их толковала. То есть я считал, что мои мысли и чувства могут быть восприняты ее крохотной головкой, ее маленьким сердечком только вот в таком,

урезанном, уменьшенном виде, а мои вкусы вообще не совместимы с ее безыскусностью.

Но если бы! Если бы! Она вовсе их не искажала, вовсе не урезала мои чувства и мысли. Нет, нет! Такие искаженные, такие урезанные, какими они исходили из уст ее Джендже, они даже ей, жене моей Дида, казались глупыми! Даже ей, вы понимаете, даже ей!

Так кто же в таком случае искажил и урезал их до такой степени? Да сам Джендже, господа! У Джендже, у того Джендже, каким она его себе воображала, и могли быть только такие мысли, такие чувства, такие вкусы. Глупенький, но миленький! О! Такой, такой миленький! Таким она его и любила: глупеньким, но миленьким. И ведь в самом деле любила!

Я мог бы привести тому множество доказательств. Но достаточно будет и одного, самого первого, что мне пришло на ум.

В девушках Дида носила прическу, которая нравилась не только ей, но и мне — ужасно нравилась! Выйдя замуж, она эту прическу переменяла, но, чтобы не мешать ей поступать так, как ей хочется, я не стал говорить, что новая прическа мне совсем не нравится. И вот однажды утром она появилась передо мной в пеньюаре, держа в руке расческу, с горящими щеками и причесанная на старый лад.

— Джендже! — позвала она, отворив дверь, и, показавшись мне, разразилась смехом.

Я смотрел на нее восхищенный, почти ослепленный.

— О, — воскликнула я, — наконец-то!

Но она тут же запустила руки в волосы, вытащила шпильки и в один миг переделала прическу.

— Ладно, хватит, — сказала она, — я пошутила! Мне ведь, сударь, известно, что в этой прическе я вам не нравлюсь.

Я запротестовал:

— Да кто тебе это сказал, Дида! Клянусь, совсем наоборот...

Она зажала мне рот ладонью.

— Ладно, хватит, — повторила она. — Ты говоришь это просто для того, чтобы сделать мне приятное. Но приятно, мой дорогой, должно быть не мне. Уж не хочешь ли ты сказать, что я не знаю, какой я нравлюсь моему милому Джендже?

И убежала.

Вы понимаете? Она была совершенно уверена в том,

что Джендже больше нравилась эта ее прическа и потому причесывалась так, что это не нравилось ни ей, ни мне. Но раз прическа нравилась Джендже, Дида приносила ему эту жертву. Разве это не настоящее самопожертвование для женщины?

Вот как она его любила!

А я — сейчас-то мне уж все стало ясно! — сначала ужасно к нему ревновал. Не к себе ревновал, вы уж мне поверьте, — как вам это ни будет смешно, я ревновал к тому, кто жил внутри меня, к этому идиоту, который встал между мной и моей женой, и встал не как едва заметная тень, о нет, наоборот, тенью он сделал меня, потому что завладел моим телом, чтобы заставить мою жену Диду его любить.

Поразмыслите-ка хорошенько. Разве, целуя в губы меня, моя жена не целовала при этом другого, не меня? Целуя в губы меня! Нет, какое там «меня»! Насколько были моими — именно моими — те губы, которые она целовала? И разве мое тело она обнимала? Насколько оно было моим, это тело, насколько оно действительно принадлежало мне, если сам я не был тем, кого она обнимала и целовала?

Поразмыслите хорошенько! Разве не почувствовали бы вы себя обманутым, причем обманутым с самым утонченным коварством, если б знали, что, сжимая вас в объятиях, ваша жена наслаждается объятиями совсем другого мужчины, который живет в ее уме и сердце?

И тогда чем отличается мой случай от этого? Мой даже хуже! Потому что в вашем случае ваша жена — простите! — отдаваясь вашим объятиям, только воображает себя в объятиях другого, в то время как в моем случае жена сжимала в своих объятиях реально существующего другого — другого, не меня!

И он был так реален, этот другой, что, когда, придя в отчаяние, я в конце концов решил с ним покончить, навязав жене взамен него себя самого, она, которая никогда не была моей женой, а всегда женой вот этого, другого, застыла от ужаса в моих объятиях, словно то были объятия совсем чужого, незнакомого ей человека, и сказала, что ни любить меня, ни жить со мной больше не может. И убежала.

Да, да, господа, как вы увидите позднее, она убежала.

КНИГА ТРЕТЬЯ

1. СУМАСБРОДСТВА ПОНЕВОЛЕ

Но сначала я расскажу вам — хотя бы коротко — о сумасбродных затеях, предпринятых мною ради того, чтобы обнаружить в себе всех этих Москард, которыми я был, в представлении своих близких, и, обнаружив, постепенно, одного за другим, их уничтожить.

Сумасбродства поневоле! Оттого что я не позаботился в свое время обзавестись каким-нибудь Москардой для себя самого, Москардой, который в моих глазах представлял бы мое собственное, мое неповторимое «я», я не мог теперь действовать логично и последовательно: я должен был все время изображать из себя нечто противоположное тому, чем я был или предполагал быть в глазах моих близких, постаравшись представить себе образ, в который они меня облекали, — образ бледный, смутный, переменчивый, неуловимый.

И вот ведь еще в чем дело: представление обо мне, моей сущности, о моих качествах должно было сложиться в глазах окружающих меня людей не только на основе внешнего моего облика, недоступного собственному моему взгляду и пониманию, но и на основе множества других вещей, о которых мне никогда не приходило в голову задуматься.

А когда пришло, я тут же испытал чувство яростного протеста.

2. ОТКРЫТИЯ

Возьмем, скажем, имя: грубое до жестокости — Москарда. В нем и муха¹, и раздражение, которое вызывает в нас ее назойливое пронзительное жужжание.

Разумеется, у духа моего не было имени, и гражданского состояния тоже не было, весь его мир был заключен в нем самом; и, разумеется, я не скреплял ежесекундно этим моим именем все, что было вокруг и внутри меня. Но ведь для других-то я представлял собою не тот мир, который я безо всякого имени носил внутри себя, мир цельный, нерасчленимый, хотя и разнообразный. Для других в их мире я представлял собою некую «от-

¹ Муха по-итальянски «моска».

дельность»; некто по имени Москарда, крохотный, но совершенно определенный кусочек реальности, которая принадлежала не мне; нечто независимо от моей воли включенное в реальность других людей и называющееся «Москарда».

Скажем, говорю я с приятелем: и — ничего странного! Он отвечает, я вижу, как он жестикулирует, слышу его привычный голос, узнаю свойственные ему жесты, и он тоже, слушая меня, узнает мой голос, мои жесты. Ничего странного, да, но ничего странного лишь до тех пор, пока я не думаю о том, что голос моего приятеля у меня в ушах звучит совсем не так, как у него самого, потому что он, наверное, даже и не знает, как звучит его голос: это просто его голос, и все! Что касается его облика, то он таков, каким вижу его я, облекая в образ, который представляется моим глазам, со стороны, а он, говоря со мной, даже и не подозревает о том, как он выглядит, то есть в его воображении не возникает даже того образа, в котором он привык себя видеть, который он узнает, глядясь в зеркало.

Так что же, о господи, в подобных случаях происходило со мной? С моим голосом, с моим обликом? Я переставал быть тем неуловимым, неопределимым «я», которое говорило с другими и смотрело на них, и становился тем, на кого смотрели другие, со стороны, тем, чей вид и голос были мне совершенно неизвестны. Для своего приятеля я был тем, чем он был для меня: непроницаемое для взгляда тело, которое стояло перед ним и которое он узнавал по известным ему определенным чертам, для меня самого не значившим ничего, тем более что, разговаривая, я о них даже и не думал и не мог ни увидеть их, ни представить. В то время как для него эти черты были всё, потому что именно эти черты в его глазах меня и представляли, это и был его Москарда среди множества других Москард. Возможно ли? Москарда — это было то, что этот незнакомый мне человек говорил и делал в своем недоступном мне мире. Моя тень — это тоже был Москарда. Смотрите, он ест — это тоже Москарда! Вот курит — Москарда! Вот прогуливается — Москарда! Вот сморкается — снова Москарда!

Я его не знал, я о нем даже и не думал, но мой облик, то есть тот образ, в который облекали меня другие, каждое слово, которое произносил для них незнакомый мне самому голос, каждый мой поступок, который все они

истолковывали на свой лад, — все это было неразрывно связано с моим именем и моим телом!

Но как бы ни было глупо и неприятно оказаться вот так вот навеки заклеянным одним именем и быть не в силах переменить его на другое или, еще того лучше, на множество других имен, которые согласовывались бы с разнообразием моих чувств и поступков, я уже привык к нему с рождения и научился не придавать ему значения, решив, что, в конце концов, сам-то я вовсе не это имя, что мое имя — это имя для других, просто их способ меня как-то назвать; имя, конечно, некрасивое, но ведь могло быть и хуже! Жил же в Рикьери один сардинец, которого звали Свинья. Да, да — Свинья!

— Эй, господин Свинья...

И представьте, он не хрюкал, он отвечал:

— Да, да, к вашим услугам!

Так он отвечал, и был при этом такой чистенький, такой улыбающийся, что было даже как-то совестно обращаться к нему с этим именем!

Потому оставим в покое имя, и внешний облик оставим тоже, пусть даже этот облик (особенно после моих опытов с зеркалом, со всей жестокостью заставивших меня понять, что невозможно придать себе облик, отличный от того, в котором существуешь!) я ощущал как нечто навязанное мне против воли, досадно противоречащее всякому моему желанию принять другой образ, непохожий на этот, так, чтобы не этот был у меня нос, не этот рот, не эти зеленые глаза. Но, повторяю, оставим в покое внешность, потому что, в конце концов, будь она даже уродлива, все равно мне пришлось бы с нею смириться, если я хотел продолжать жить. Но она не была уродлива, потому, в сущности, я мог быть даже доволен.

Но вот среда моего существования? Я говорю о той среде, которая от меня не зависит. Обстоятельства, которые определили меня независимо от меня, от моей воли. Обстоятельства моего рождения. Мое рождение, моя семья. Я никогда не пытался осмыслить их и оценить так, как могли оценивать их другие, каждый, разумеется, по-своему, взвешивая их на собственных весах, где гири служили зависть, ненависть, презрение, да мало ли что еще!

До сих пор я видел в себе просто человека, который живет. Просто человек. И он живет. Так, словно я сотворил себя сам. Но так же, как мое тело было создано не

мною, и не я дал себе это имя, и в жизнь меня вытолкнули другие, независимо от моей воли, — так же независимо от моей воли чем только не обложили меня со всех сторон другие, чего только они для меня не сделали, чего только мне не навязали, и обо всем этом я, в сущности, никогда не думал, никогда не пытался сложить все это в одну картину, в ту странную и угрожающую картину, которая преследует меня сейчас.

История моей семьи! История моей семьи в нашем городке! Я никогда о ней не думал, но ведь для других-то я и воплощал эту историю, потому что был последним в роду и он отпечатался в моем теле, в моих привычках, моих поступках. Я об этой печати даже не подозревал, а другие ясно распознавали ее во мне — в том, как я хожу, как смеюсь, как здороваюсь. Я считал, что я просто человек, который живет, человек, который проживает в мгновеньи свою жизнь, в сущности праздную, хотя и насыщенную забавными, далеко его уводящими мыслями. Так нет же! Для себя самого я мог быть просто человеком, и все, но для других — нет. Другие давали мне обобщающие определения, которых я бы себе никогда не дал, в которых никогда бы себя не узнал, которые вообще не имели для меня никакого смысла. И тем не менее уже то, что я мог думать, будто я просто человек, и все, то есть эта моя праздность, которую я считал лично своей, в глазах других была не только моей — она досталась мне от отца, она объяснялась тем, что отец мой был богат, это была злая праздность, потому что мой отец...

Ах, какое открытие! Отец! Жизнь моего отца...

3. КОРНИ

Вот он передо мною. Высокий, толстый, лысый, и в блестящих, словно стеклянных, бледно-голубых глазах улыбка, которой всегда сияли эти глаза для меня. Улыбка нежная и странная, наполовину сочувственная, наполовину насмешливая, но ласково-насмешливая, как будто в глубине души отцу нравилось, что я заслуживаю эту насмешку. То была роскошь быть добрым, которую он безбоязненно мог себе позволить только со мной.

Если б не это, то его улыбка в зарослях густой рыжей бороды, такой яркой, что скулы от нее казались бледными, эта улыбка из-под пушистых, посредине чуть выгравших усов была бы, в сущности, затаенной ледяной

безмолвной ухмылкой, значения которой я тогда не понимал. А сейчас, когда я вспоминаю эту затаенную ухмылку, я даже в той нежности, которой сияли его обращенные ко мне глаза, различаю столько злого лукавства, и, вообще, столько мне в ней вдруг всего открывается, что мурашки невольно начинают бегать по коже.

Под взглядом этих стеклянных глаз я чувствовал себя как зачарованный, они мешали мне понять, что скрывается за его нежностью, а скрывались за ней, в сущности, ужасные вещи.

— Ну что делать, если ты как был, так и остался дураком... Бедняга, наивный глупец, у которого мысли так и роятся в голове, стоит только протянуть руку, но протянуть руку и остановиться на какой-нибудь — это выше твоих сил... А если вдруг и родится у тебя какое-нибудь намерение, то ты начинаешь кругами ходить около, и ходишь, и ходишь, и смотришь, и смотришь, пока не заснешь. А на другой день проснешься, вспомнишь и думаешь — да как же это я мог так думать, если и вчера на дворе было такое же солнце, такой же воздух, как сегодня?.. Так что, видишь, волей-неволей я должен был любить тебя таким, каким уж ты уродился... Мои руки? Ты смотришь на мои руки? А, этот рыжий пух у меня на пальцах! И на кольца? Тебе кажется, что их слишком много? Да еще эта массивная булавка в галстук, и цепочка для часов... Ты считаешь, что слишком много золота? Ну, что ты так смотришь?

И, поборов странное тревожное томление, я с трудом отрывался от этих глаз, от всего этого золота и сосредоточивался на голубых жилках, змеившихся по бледному лбу отца, по его блестящему черепу, обрамленному рыжими волосами, рыжими, как у меня. То есть я хотел сказать: у меня, как у него. Хотя из этого все-таки следует, что у него, как у меня, — ведь так очевидно, что волосы я получил от него! А потом блестящий череп вдруг исчезал из моих глаз, словно поглощенный какой-то невидимой бездной.

Мой отец!

Сейчас эта бездна полна только окаменевшим молчанием, чреватым всем тем, что так и не было осуществлено, так и не обрело формы, тем, что продолжает существовать по инерции, невысказанное и непроницаемое для духа.

Но было одно мгновение, которое я ощутил как вечность. Это когда я почувствовал весь ужас слепой необ-

ходимости, всего того, чего уже нельзя изменить: тюрьма времени, рождение именно тогда, а не до и не после, имя и тело, которое нам дается, цепь причин и следствий, семя, посеянное этим человеком, сделавшимся моим отцом помимо своей воли, мое возникновение из этого семени — плод, сотворенный этим человеком невольно, плод, завязавшийся на этой ветке, плод, произросший из этих корней.

4. СЕМЯ

И вот тогда-то я в первый раз увидел отца так, как никогда его не видел: то есть отдельно от меня, внутри его собственной жизни, конечно не таким, как ощущал себя он сам — это мне было недоступно, — но совершенно чужим мне, таким, каким могли его видеть другие.

Я думаю, такое случается со всеми детьми. Я хочу сказать, что каждому из нас случается вдруг заметить в отце, которого мы всегда так уважали, что-то постыдное, от чего вдруг захочется провалиться сквозь землю. Заметить, например, что другие видят твоего отца совсем не таким, каким видишь его ты. Открыть вдруг, что он живет своею собственной жизнью, что он человек, существующий отдельно от нас, живущий для себя самого, вступающий в какие-то свои отношения с другими людьми. А если эти другие, говоря с ним, понуждая его отвечать, смотреть на них, смеяться, на мгновение забудут о нашем присутствии, мы увидим в нем то, что видят они, того человека, каким он живет в их представлении. Другого человека! Но что это? Непонятно как, но движением руки или взглядом отец дал другим понять, что мы рядом. И этот едва заметный, потаенный жест в мгновение ока отверзает у нас в душе зияющую пропасть. Тот, кто был нам всегда так близок, вдруг отодвигается куда-то далеко-далеко и выглядит совсем чужим. И вся наша жизнь как будто порвана в клочья — кроме этого места, где она еще остается скрепленной с этим человеком. И это место — постыдное место. То, что этим жестом отец отделил, отбросил от себя факт нашего рождения так, как отбрасывают от себя ничтожную, несостоящую вещь, нечто, что можно было предвидеть, но что получилось невольно, не вещь, а так, пустяк, след поступка, плод действия, совершенного когда-то вот этим абсолютно чужим нам человеком, — это-то и вызывает

у нас острый стыд, досаду и ярость. И если не ярость, то досаду видим мы и в глазах отца, когда они встречаются с нашими. Мы, стоящие перед ним уже на собственных ногах, мы, глядящие на него настороженным и враждебным взглядом, — разве этого ожидал он, когда утолял свою минутную страсть? И вот оно, его семья, извергнутое он сам не знает как, вот оно стоит перед ним, ощупывает его выпученными, как у улитки, глазами, судит его, мещает ему полностью предаться своим удовольствиям, быть свободным, быть другим по отношению и к нам тоже.

5. ПЕРЕВОД ОДНОГО СЛОВА

Никогда еще не отрывался я так от своего отца. Я всегда думал и вспоминал о нем как об отце, каковым он для меня и был. Правда, недолго, потому что после того, как умерла совсем молодой моя мать, я был определен в лицей далеко от Рикьери, потом в другой, потом в третий, где оставался до восемнадцати лет, а потом поступил в университет и провел там еще шесть лет, переходя от одной дисциплины к другой и не сумев ни из одной извлечь практической пользы. По этой причине я и был в конце концов отозван в Рикьери, где сразу же — уж не знаю в награду или в наказание — получил жену! Два года спустя отец умер, и от него, от его любви ко мне в памяти у меня осталась только эта его нежная улыбка, в которой, как я уже говорил, сочувствие было смешано с насмешкой.

Но вот чем он был для самого себя? Хотя теперь что, теперь он уже умер! И чем он был для других? И для меня — правда, такое недолгое время? А ведь улыбка, которой он улыбался мне, уходила своими корнями в те представления, которые имели о нем окружающие. Сейчас-то я это понимаю, и еще с ужасом понимаю причину этой улыбки.

— А твой отец кто? — столько раз спрашивали меня в лицее приятели.

А я отвечал:

— Банкир.

Потому что для меня он и был банкир.

Вот если б ваш отец был палач, как бы вы у себя дома переводили это слово, чтобы оно не противоречило любви, которую вы испытывали к нему, а он к вам?

Ведь с вами он был всегда таким добрым! О, я знаю, знаю, не надо мне об этом рассказывать. Я прекрасно представляю себе любовь такого отца к своему сыну, трепетную нежность его огромных рук, когда он застегивает на шею сына воротничок его белой рубашки. А потом, завтра, на заре, те же руки — на эшафоте — такие жестокие...

Потому-то я прекрасно могу представить себе, как банкир переходит от десяти процентов к двадцати, а от двадцати к сорока, а тем временем в городке все растет и растет к нему презрение и распространяются слухи о его ростовщичестве — все, что падет потом позором на голову его сына; а он, сын, ни о чем не подозревая, развлекает себя, бедняга, своими странными мыслями, он, единственный человек, с которым банкир мог позволить себе жалкую роскошь быть добрым и который действительно заслуживал (уж я-то знаю) его нежной улыбки, сочувственной и насмешливой одновременно.

6. ЗЛОЙ ДОБРЫЙ МАЛЫЙ

С застывшим в глазах у меня ужасом от этого открытия, слегка смягченным выражением тоски и подавленности, которые я тщетно пытался замаскировать улыбкой, надеясь, что за ней их никто не разглядит, — вот таким я предстал перед женой моей Дидой.

Это было — я хорошо это помню — в комнате, ярко освещенной солнцем, где Дида, вся в белом, вся облитая светом, была занята тем, что развешивала в белом позолоченном шкафу с тремя большими зеркалами свои новые весенние наряды.

Сделав над собой усилие, горькое от тайной обиды, я поискал у себя в горле голос, который показался бы ей не слишком странным, и спросил:

— Послушай, Дида, а ты знаешь, как называется моя профессия?

Держа в руке вешалку, с которой ниспадало бледнопальевое газовое платье, Дида обернулась и посмотрела на меня так, словно не узнавала. Потом тупо повторила:

— Твоя профессия?

И я снова со всей остротой ощутил эту обиду, когда из разорванной своей души, как бы из места разрыва, извлек все тот же вопрос. Но на этот раз он словно рассыпался у меня во рту.

— Да, — сказал я, — чем я занимаюсь?

Некоторое время Дида смотрела на меня молча, потом разразилась звонким смехом:

— Что ты такое говоришь, Джендже?

И от взрыва этого смеха вдребезги разлетелся весь мой ужас, распалась цепь слепых необходимостей, которая, подобно кошмару, опутала мой дух, отправившийся на поиски самого себя.

А, так вот, значит, как! Ростовщик — это для других, а здесь, для жены моей Диды — просто дурачок. Я был Джендже: один Джендже был здесь, перед взором и в представлении моей жены, и еще множество других обитало за пределами моего дома в представлении жителей Рикьери, облекаясь плотью, когда я представлял их взорам. А дух мой, значит, был тут ни при чем; мой дух я ощущал внутри себя свободным и в своей первозданной цельности независимым от обстоятельств, которые были мне навязаны, то есть от всего, что было сделано за меня, что было навязано мне другими, и, главное, от денег и от профессии моего отца.

Да? Значит, дух мой был тут ни при чем? Но даже не узнавая себя в том постыдном образе, в который облекали меня другие, я, увы, вынужден был признать, что тот образ, в который облекал себя я сам, был не более истинен и реален, чем тот, что представлял другим в моем теле — теле, которое, скажем, сейчас, под взглядом жены, переставало быть моим, поскольку принадлежало ее Джендже — тому Джендже, с чьих уст сорвалась глупая фраза, так ее рассмешившая.

«Роскошь быть добрым», — сказал я едва слышно, почти про себя, нарушая своим голосом безмолвие, которое, казалось мне, находилось уже где-то по ту сторону жизни: ведь глазам жены представляла лишь моя тень, а где был настоящий я, откуда доносился к ней мой голос, я уже и сам не знал.

— Что ты такое говоришь? — позвала она меня снова из несомненной, из уверенной и прочной своей жизни, а бледно-пальмовое платье все еще свисало у нее с руки.

А так как я не ответил, подошла, взяла меня за руку и подула в глаза — словно для того, чтобы сдуть даже тень того взгляда, который принадлежал не Джендже, не ее Джендже: ее Джендже — это было для нее несомненно — должен был, как и она, притворяться, будто он не знает, как переводится в нашем городке название профессии его отца.

Так не был ли я в таком случае еще хуже, чем мой отец? Ведь отец по крайней мере работал! А я? Что делал я? Я был просто злой добрый малый. Добрый малый, который любил поговорить о разных разностях (очень забавных порою) — о том, скажем, как он открыл, что нос у него свернут на сторону, или о той стороне луны, — а тем временем так называемый банк его отца продолжал работать и даже процветал благодаря деятельности двух его друзей — Фирбо и Кванторцо. Были у меня компаньоны и помельче, и два этих верных друга имели в нем, что называется, свой интерес, и дело неслось на всех парусах, безо всякого моего участия, и все мои компаньоны меня любили — Кванторцо как сына, Фирбо как брата, — и все знали, что говорить со мной о делах бесполезно; время от времени меня приглашали в банк подписать какую-нибудь бумагу, я подписывал, и это было все. Хотя нет, не все. Порой ко мне приходил кто-нибудь с рекомендательным письмом, прося представить его Кванторцо и Фирбо. И вот тогда-то я открывал на чьем-нибудь подбородке ямочку, делившую его на две не вполне одинаковые части: одна более выпуклая, другая более плоская.

И как они до сих пор меня не уколошили? Да вот, господа, не уколошили же! Дело в том, что тогда я еще не отошел от себя настолько, чтобы суметь себя разглядеть, я жил как слепец среди обстоятельств, в которые меня поместила судьба, не раздумывая о том, каковы они; среди них я родился, среди них вырос, они были для меня естественны. И так же естественно было для других, что я был такой, какой был; таким они меня знали, никаким другим не могли себе представить, и потому все и смотрели на меня без ненависти, и даже улыбались этому злему доброму малому.

Прямо-таки все?

И тут я чувствую, как в душу мне четырьмя отравленными клинками вонзаются две пары глаз: глаза Марко ди Дио и его жены Диаманте; возвращаясь домой, я всегда встречал их на улице.

7. НЕОБХОДИМЫЕ СКОБКИ (ОДНИ НА ВСЁ)

Если я не ошибаюсь, именно Марко ди Дио и его жене Диаманте выпало несчастье стать моими первыми жертвами. Я хочу сказать, что они оказались первыми,

на ком я поставил эксперимент по уничтожению одного из множества Москард.

Но по какому праву я о них говорю? По какому праву облакаю в плоть и заставляю говорить не себя — других? Что я о них знаю, об этих людях? Как я могу о них рассказывать? Я смотрю на них со стороны, и такими, какими вижу их я, в этом облике они бы себя не узнали. Так не совершаю ли я по отношению к другим той же несправедливости, на которую жалуюсь сам?

Да, конечно, но с одной небольшой разницей: я-то понимаю, что такое застывшие образы, о которых я говорил выше. Застывшие образы — это те образы, в которые каждый из нас себя облакает, выстраивая себя таким, каким он себя видит, и искренне считая, что он такой не только для себя, но и для других. И за это-то заблуждение людям и приходится расплачиваться.

Но вы — я знаю! — вы со мной не согласны и восклицаете:

— А как же факты? Боже мой, разве не бывает вполне объективных конкретных фактов?

Бывает, как не бывать!

Родиться — это уже факт. И, как я уже говорил, родиться в определенное время, именно в это, а не в другое. Родиться от того или этого отца, в той или иной среде, родиться мальчиком или девочкой, в Лапландии или Центральной Африке, родиться красивым или уродливым, горбатым или не горбатым — все это факты. И если вы лишитесь глаза, то и это тоже факт. К тому же вы можете лишиться обоих, и если вы художник, то это худший из фактов, который мог с вами приключиться!

Время, пространство, необходимость. Судьба, везение, случай — ловушки, расставленные на протяжении всей нашей жизни. Вы захотели существовать? Так вот, это и значит существовать. Существовать в абстракции нельзя. Нужно, чтобы бытие попало в ловушку формы и через какое-то время в ней кончилось — тут или там, так или эдак. И каждая вещь, покуда она длится, мается своей формой, мается тем, что она всегда только такая и никогда не сможет быть другой. Вон, скажем, тот горбун — ведь это же потеха, шутка, которую можно снести ну разве что в течение минуты, а потом должен же он распрямиться, стать стройным, ловким, высоким! Но нет, где там! Он останется таким на всю жизнь, которая

у каждого одна, и смиренно проживет ее таким, как он есть.

И так же как форма — поступок.

Когда поступок совершен, он — уже навсегда, и переменить его невозможно. Если человек совершил поступок — неважно, что потом он в нем себя не узнает, — то, что он сделал, остается при нем навсегда, это его тюрьма. Женились ли вы, или (если коснуться сферы материальных отношений) вы украли и вас поймали, или вы кого-то убили — последствия ваших поступков обвивают вас и душат, как щупальца, а ответственность, которую вы несете за все эти непредвиденные и невольные действия, давит на вас, как тяжелый и спертый воздух, которым невозможно дышать. И разве можно от нее избавиться?

Так вот. Что я хочу сказать? Что поступок, так же как форма, определяет и мой образ, и ваш. Но как? Почему? Что они наша тюрьма, этого никто не может отрицать. Но если вы согласны хотя бы с этим, то берегитесь, потому что в таком случае вам придется согласиться со всем, что я говорю, ибо я говорю и утверждаю прежде всего следующее: что это тюрьма, самая жесточайшая и несправедливая тюрьма из всех, какие только можно себе представить.

Господи, ведь мне казалось, что все это я вам уже доказал! Скажем так: я знаю Тицию. В соответствии с тем, что я о нем знаю, я создаю для себя его образ. Но и вы знаете Тицию, и то, что знаете о нем вы, не совсем то, что знаю о нем я, потому что каждый из нас знает его по-своему и создает свой собственный его образ. У Тицию столько образов, сколько у него знакомых, потому что со мной он один, с вами совсем другой, с третьим снова другой, и с четвертым, и так далее. И хотя Тицию и в самом деле со мной один, с вами другой, с третьим третий, с четвертым четвертый, самому ему кажется, что он для всех одинаков. И это и есть самое ужасное или самое смешное — как вам больше понравится — в нашей жизни. Мы совершаем поступок. Мы искренне считаем, что мы полностью выказали себя в этом поступке. Но вскоре замечаем, что, к сожалению, это не так, что поступок совершен не нами, а лишь одним из нас, из тех, кто живет или мог бы жить внутри нас, но — несчастная случайность уже подцепила нас на крючок, и нам с него уже не сорваться! То есть я хочу сказать: мы видим, что в этом поступке мы выказали себя не полностью, что,

следовательно, жестоко и несправедливо судить о нас только по нему, не давать нам сорваться с крючка, всю жизнь держать пригвожденным к этому позорному столбу — так, словно поступок этот вобрал ее в себя всю.

«Но ведь я и такой, и другой, и третий!» — восклицаем мы.

О да, нас много, и так много нас не участвовало в поступке, совершенном тем, одним, и вообще не имело с ним ничего общего! Мало того: даже тот один — то есть тот образ, который мы приняли на мгновение, — тот, кто совершил этот поступок, очень часто сразу после этого бесследно исчезает. Характерно, что само воспоминание о поступке живет в нас — если живет, — как сон, смутный и непостижимый. А другое наше «я», вернее, десятки других, все другие подымают голову, чтобы спросить, как могли мы это сделать, — и мы не можем им ничего объяснить.

Потому что все это — реальность, которой уже нет.

В том случае, если поступки наши не имели слишком серьезных последствий, эту реальность мы зовем заблуждениями. И правильно, потому что любая реальность — обман. Обман, обман! Его я и имею в виду, когда говорю, что вы снова обманываетесь.

— Вы заблуждаетесь!

Ах, дорогой мой, слишком мы с вами поверхностны! Мы никак не хотим проникнуть в суть той непостижимой, в основе всего лежащей игры, которая состоит вот в чем. Все живущее по необходимости осуществляет себя через форму, которая представляет собой видимость, а мы придаем этой видимости значение реальности. Значение, которое меняется в зависимости от сущности, предстающей перед нами в той или иной форме, в том или ином поступке. И потому-то нам и кажется, что другие ошибаются и что вот эта форма, этот поступок именно такие и иными не могут быть. Но стоит нам чуть-чуть переменить точку зрения, как мы обязательно заметим, что и мы тоже ошибались, что все не так и все не такое. И в конце концов нам придется признать, что определенного и неизменного «такого» и «так» просто не может быть, что всегда будет то так, то эдак, и в какой-то момент нам покажется, что все ошибаются, а в какой-то — что все правы, что, в сущности, одно и то же, ибо реальности не существует и нам ее не предлагают; мы творим ее сами, и потому она никогда не будет для всех

одинаковой и будет постоянно и бесконечно меняться. Способность поверить в иллюзию, будто сиюминутная реальность и есть единственно подлинная реальность, с одной стороны, помогает нам держаться на ногах, а с другой — толкает нас в бездонную пропасть, ибо то, что сегодня выглядит реальным, завтра покажется иллюзорным. А жизнь не исчерпывает себя никогда. Она не может исчерпаться. Если вдруг завтра она исчерпается, она кончена.

8. ВОЗЬМЕМ ТОНОМ НИЖЕ

Вам кажется, что я взял слишком высокую ноту? Ну что ж, возьмем тоном ниже. Мяч упруг. Но, чтобы подпрыгнуть, ему надо коснуться земли. Ударим же его об землю и поймаем снова.

О каких таких фактах вы говорите? О том, что я родился в таком-то году, в такой-то день такого-то месяца в прекрасном городе Рикьери, в доме под номером таким-то, на улице такой-то, от синьора Такого-то и синьоры Такой-то, был крещен в соборной церкви на шестой день, отдан в школу шести лет, женился — двадцати трех, что ростом я метр шестьдесят восемь, что волосы у меня рыжие и т. д.

Да, это все мои данные. Фактические данные, скажете вы. И из этих-то данных вы хотели бы составить мой образ? Но почему вы думаете, что эти данные, которые сами по себе не значат ничего, почему вы думаете, что для всех они значат одно и то же? И даже если бы они действительно выражали меня точно и полностью — то в чем представлении? Кто облек бы меня в реальный образ? Вы? Но ведь для вас реальность совсем не такая, как для другого, а для другого совсем не та, что для третьего! Уж если даже у каждого из нас их множество, потому что они постоянно меняются! Ну, и что из этого следует?

А вот что! Давайте-ка встанем на твердую почву. Пусть вас будет пятеро. Вот дом, где я родился в таком-то году, в такой-то день такого-то месяца. Так вот, из того факта, что по своему расположению, по ширине и по высоте, по числу окон на фасаде этот дом для всех одинаков, из того факта, что для всех для вас пятерых я родился в этом доме в таком-то году, в такой-то день такого-то месяца, из того факта, что ростом я метр

шестьдесят восемь и волосы у меня рыжие — из всего этого разве следует, что мой образ и образ моего дома у всех пятерых будет один и тот же? Вы, обитающий в лачуге, увидите в моем доме роскошный дворец; вам, обладающему тонким художественным вкусом, он покажется вульгарным; вы, неохотно заглядывающий на мою улицу оттого, что эта улица связана с каким-то печальным эпизодом из вашей жизни, вы будете смотреть на мой дом неприязненно; а вот вы, наоборот, — с нежностью, потому что — я же знаю! — напротив когда-то жила ваша бедная мама, которая была дружна с моей.

Ну, а я, в этом доме родившийся? Боже мой, уж не думаете ли вы, что если вы все пятеро знаете, что в этом доме, вернее, в пяти домах родился в таком-то году, в такой-то день такого-то месяца какой-то дурак, то этот дурак будет для всех один и тот же?

Для кого-то из вас я дурак, потому что позволил Кванторцо стать директором банка, а Фирбо его консультантом по юридическим вопросам, то есть для него я дурак по той самой причине, по которой другой меня, наоборот, уважает, считая, что я проявил тут высшую степень осторожности и предусмотрительности; глупость же моя, с его точки зрения, с очевидностью предстает из того факта, что я каждый день прогуливаю собачку своей жены!

Пять дураков. По одному на каждого. Пять дураков стоят перед вами, пятерых дураков вы видите в одном человеке, который в самом деле не один, а один плюс пять — столько же, сколько домов; и все пятеро носят одно имя, само по себе не значащее ничего, раз уж им обозначено пять разных дураков, но все пятеро обернутся, если вы крикните: «Москарда!», и у каждого из пятерых будет то обличье, которое дадите ему вы, то есть пять разных обличий: так, скажем, если я засмеюсь — пять разных улыбок и т. д., и т. п.

А в каждом поступке, который я совершу, каждый из вас увидит поступок одного из пятерых. Разве может он быть одинаков, этот поступок, если все пятеро Москард — разные? Каждый из вас истолкует его по-своему, придав ему смысл и значение, соответствующие образу, в который вы меня облачаете.

Один скажет:

— Москарда сделал вот что.

Другой скажет:

— Да что ты! Совсем не то!

Третий:

— По-моему, он поступил прекрасно. Так и надо было поступить!

Четвертый:

— Какое там прекрасно! Наоборот, он должен был бы...

А пятый:

— А что он такое сделал? По-моему, он не сделал ничего!

И вы чуть ли не подеретесь, выясняя, что именно Москарда сделал и чего не сделал, что он должен был сделать и чего не должен, и все потому, что вы не хотите понять, что Москарда одного из вас совсем не похож на Москарду другого, и вам кажется, что вы говорите об одном и том же Москарде, который, вот он, стоит перед вами, вы его видите и можете даже потрогать. А на самом-то деле вы говорите о пяти разных Москардах — по одному на каждого! — потому что другие четверо видят сейчас перед собой своего, единственного — вот он стоит перед ними, так что его можно даже потрогать. Пятеро. Или даже шестеро, если считать бедного Москарду, который тоже себя видит и может до себя дотронуться. То есть он кто-то и в то же время — увы! — никто, и не важно, что он себя видит и может себя потрогать, как видят и могут потрогать его пятеро остальных.

9. ЗАКРОЕМ СКОБКИ

И все-таки можете не сомневаться, что уж я-то попытаюсь облечь вас в тот образ, который кажется вам вашим образом, что я буду стараться увидеть вас такими, какими видите себя вы.

Правда, мы как будто выяснили, что это невозможно, потому что, как бы я ни старался увидеть вас таким, каким представляете себя вы, это всегда будет «вы» мой, а не ваш, и ничей другой. Но, простите, если для вас я могу быть воплощен только в том образе, в котором видите меня вы, и я готов признать и принять, что тот образ не менее истинен, чем тот, в какой облакаю себя я сам, и что для вас он вообще единственный реально существующий образ (и бог знает в чем он состоит!), то как вы можете жаловаться и протестовать, когда я тоже облакаю вас в образ, искренне стараясь при этом

представить себе вас таким, каким вы видите себе сами?

Я не претендую на то, что вы именно таковы, какими представляю вас я. Я просто утверждаю, что то, что вы думаете о себе, это еще далеко не все, что вас — множество в одно и то же время, что вас столько, сколько у вас возможностей «стать», столько, сколько в вашей жизни случайностей и обстоятельств и отношений! И, следовательно, что я вам делаю плохого? Но вот вы поступаете плохо, когда думаете, что сам я не могу принять образ другой, нежели тот, в который облакаете меня вы, что мой образ принадлежит только вам, что он — это ваше представление обо мне, дающее мне возможность быть только таким, каким я вам кажусь; а о том, каким я могу быть для самого себя, об этом ничего не знаете не только вы, даже я сам об этом ничего не знаю!

10. ДВА ГОСТЯ

И я очень рад, что как раз сейчас, когда вы (с улыбкой, не сходящей с ваших уст с первых же строчек) читаете мою книгу, именно сейчас к вам пришло двое гостей, и этот визит показал вам, как глупо было с вашей стороны улыбаться!

Вы до сих пор еще сердитесь (я же вижу!), чувствуя себя уязвленными тем идиотским положением, в которое вас поставил ваш старый друг, — вы избавились от него вскоре после того, как появился новый. Вы избавились от него под каким-то дурацким предлогом, потому что не в силах были больше терпеть его присутствие и слышать, как он говорит, как смеется в присутствии того, нового друга. Как это могло получиться? Вот так вот — взять и отослать, а ведь только что, пока не появился этот новый приятель, вам так нравилось разговаривать с ним и смеяться!

И тем не менее — отослан. И кто? Ваш друг? Вы серьезно думаете, что отослали прочь именно его?

Поразмыслите-ка хорошенько!

В вашем старом друге, в нем самом не было ничего, что давало бы основания отослать его, когда явится новый. Они не были знакомы, но вы представили их друг другу, и они вполне могли посидеть полчаса в вашей гостиной, болтая о том, о сем. Ни тот, ни другой не ис-

пытывали при этом никакой неловкости. Неловкость почувствовали вы, и она становилась тем острее и непереносимее, чем больше эти двое привыкали и притирались друг к другу. И вы тут же разрушили их согласие. Но почему? Да потому, что вы (хотя вы этого еще не поняли!) неожиданно для себя, после того как пришел этот ваш новый приятель, вы открыли в себе двух разных людей, причем один был так не похож на другого, что вы поневоле, не в силах этого вынести, отослали одного из них прочь. То есть не приятеля своего старого вы отослали, нет, вы отослали самого себя, отослали того, кем вы были для вашего старого друга, отослали потому, что почувствовали вдруг себя совсем не тем, кем вы были, а тем, кем вам хотелось быть для нового вашего друга.

Несовместимы были не эти двое, незнакомые между собой, но чрезвычайно любезные и, может, даже созданные для того, чтобы идеально понимать друг друга, несовместимыми были те двое, которых вы неожиданно обнаружили в себе самом. Вы не могли вынести зрелище того, как они мешают друг другу, потому что не имеют между собой ничего общего. Ничего, решительно ничего, ибо для старого вашего приятеля вы выступали в одном образе, а для нового — в другом, и образы эти были такие разные, что вы заметили, в каком изумлении, переставая вас узнавать, смотрел на вас один гость, когда вы обращались к другому. Про себя он, наверное, восклицал:

— Как? Он ли это? Разве это он?

И, не в силах вынести этой неловкости, не в силах оставаться двумя людьми сразу, вы и выискали глупейший предлог, чтобы избавиться не от одного из гостей, нет, а от одного из тех двоих, которыми вы — по милости своих гостей! — вынуждены были быть в одно и то же время.

Так что продолжайте, продолжайте читать мою книжку, но делайте это уже без той улыбки, с которой читали вы ее до сих пор.

И знайте, дорогой мой, что неудовольствие, доставленное вам этим опытом, — пустяк, чепуха, потому что на самом-то деле вас не двое, а гораздо больше, бог знает сколько, хотя вы думаете, что вы всегда один.

Но продолжим.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

1. КЕМ БЫЛИ ДЛЯ МЕНЯ МАРКО ДИ ДИО И ЕГО ЖЕНА ДИАМАНТЕ

Я говорю «были», но вполне возможно, что они и сейчас еще живы. Где они? Может быть, и здесь, и я могу их встретить хоть завтра. Но где это — здесь? Ведь мира для меня больше нет, а потому и о них я ничего не могу знать, не знаю, где именно они сейчас притворяются, будто существуют. Я твердо знаю только одно: если я встречу их завтра на улице, значит, они ходят по улицам. И вот тогда я смогу спросить:

— Это ты Марко ди Дио?

А он ответит:

— Да, я Марко ди Дио.

— И ты идешь по этой улице?

— Да, по этой улице.

— А это твоя жена Диаманте?

— Да, это моя жена Диаманте.

— А эта улица называется так-то и так-то?

— Да, так-то и так-то. На этой улице много домов, много перекрестков, много фонарей и т. д.

Как в «Грамматике» Орлендорфа.

В свое время этого мне было достаточно — как вам сейчас, — чтобы уверовать в реальность существования Марко ди Дио, его жены Диаманте и улицы, на которой я и сейчас еще могу их встретить, как встречал когда-то. Когда? О, не так уж много лет назад!

Какое замечательное уточнение времени и пространства: вот эта улица, пять лет назад.

Теперь вечность разверзается для меня не только между пятью этими годами, но и между двумя мгновениями. До того мира, в котором я жил тогда, мне теперь дальше, чем до самой дальней звезды в небе.

В ту пору Марко ди Дио и его жена Диаманте были для меня двумя несчастными, которых нищета, с одной стороны, убедила в бесполезности ежедневно умываться, а, с другой, тем не менее приучила к мысли, что нельзя упускать ни одного случая заработать, причем не на один день заработать, не так, чтоб просто утолить голод, а так, чтобы не сегодня-завтра сделаться миллионером: «мил-ли-о-не-ра-ми», как говорил он, рубя каждый слог и свирепо тараща глаза.

Я тогда смеялся, да и все смеялись, слушая эти речи. Сейчас же я чувствую смятение, понимая, что смеяться мог только потому, что мне еще не случилось усомниться в том ниспосланном нам судьбой утешении, которое зовется «регулярностью опыта», то есть на основании чего я только и мог бы уважать смешную мечту сделаться не сегодня-завтра миллионером. Но если б тоненькая ниточка регулярности, которую я видел то тут, то там, порвалась бы? Или если б, наоборот, осуществившись раза два или три, приобрела бы для меня регулярность, основанную на опыте, и эта смешная мечта? Тогда и я уже не сомневался бы, что вполне можно не сегодня-завтра сделаться миллионером! Те, кто верит в основанную на опыте регулярность явлений, и представить себе не могут, что может быть реальным или вполне вероятным для того, кто живет вне всякой регулярности, как и жил этот человек.

Сам себя он считал изобретателем.

А изобретатель, господа, в один прекрасный день открывает глаза, изобретает что-нибудь, и вот — пожалуй-ста, он миллионер!

Многие и сейчас еще вспоминают о Марко ди Дио как о дикаре, приехавшем в Рикьери из деревни. Все помнят, что его взял к себе в мастерскую один из известных наших художников, ныне покойный, и в его мастерской он научился неплохо работать по мрамору. А в один прекрасный день маэстро избрал его моделью для скульптурной группы, которая, будучи выполнена в гипсе и представлена на какой-то выставке, приобрела известность под именем «Сатир и мальчик».

Художник, тот мог безо всякого для себя урона перевести на язык гипса видение своей фантазии, не вполне целомудренное, но прекрасное, и насладиться им, и получить за это заслуженную хвалу.

Преступление оставалось в гипсе.

Художник не подумал, что у его подмастерья может в свою очередь родиться искушение перевести это видение его фантазии с языка гипса, в котором оно было — и слава богу! — похвально зафиксировано раз и навсегда, на язык минутного и отнюдь не похвального порыва, которому он поддался в тот момент, когда, задыхаясь от полдневного летнего зноя и обливаясь потом, высекал эту группу из мрамора. Но настоящий мальчик не проявил той улыбающейся покорности, которую демонстрировал изваянный в гипсе ненастоящий. Он позвал на по-

мощь, сбежался народ, и Марко ди Дио схватили в момент поступка, который, в сущности, был не его поступок, а поступок зверя, неожиданно в нем проснувшегося в тот знойный летний полдень.

Ну, а теперь будем же справедливы: да, зверь, и отвратительный в этом своем деянии, но, если учесть другие, добросовестно засвидетельствованные его поступки, разве не был тем же Марко ди Дио и тот хороший парень, которого его учитель всегда видел в своем подмастерье?

Я знаю, что оскорблю этим вопросом ваше нравственное чувство. И в самом деле, вы мне скажете, что если у Марко ди Дио могло возникнуть подобное искушение, значит, он не был тем хорошим парнем, каким он казался маэстро. Однако я мог бы привести вам примеры подобных и даже еще более грязных искушений, которыми полна жизнь множества святых. Святые считали их дьявольским наваждением и одолевали с помощью бога. А узда, которой привычно сдерживаете себя вы, не дает проснуться этим искушениям в вас, то есть, я хочу сказать, не дает проснуться в вас вору или насильнику. Гнетущей жары летнего полдня никогда не удавалось растопить кору вашей привычной благопристойности настолько, чтобы разжечь в вас первобытного зверя. Так что у вас есть право выносить приговор.

Ну, а если я расскажу вам о Юлии Цезаре, чья слава императора так вас восхищает?

— Какая пошлость! — воскликнете вы. — В те минуты он просто переставал быть Юлием Цезарем. Мы восхищаемся им там, где Юлий Цезарь был действительно Юлием Цезарем.

Прекрасно! Итак, там, где он действительно был Юлием Цезарем! Но, видите ли, если Юлий Цезарь был действительно Юлием Цезарем только там, где вы им восхищаетесь, куда он девался, когда исчезал? И кто появлялся на его месте? Никто? Или кто-то? И кто был этот кто-то?

Об этом нужно было бы спросить у его жены Кальпурнии или Никомеда, царя Вифинии.

Вот так постепенно в ваше сознание внедрилось и это: то, что Юлия Цезаря, одного-единственного и неизменного Юлия Цезаря не существовало. Действительно, существовал тот Юлий Цезарь, каким он был большую часть своей жизни, и этот Юлий Цезарь, несомнен-

но, значительнее других; но что касается реальности, то прошу поверить, что ничуть не менее реальным, чем император Юлий Цезарь, был тот — назойливый, жеманный, бритый, расхристанный, неверный своей жене Кальпурнии, и тот развратник, который явился Никомеду, царю Вифинии.

И в том-то и беда, господа, что всех их приходится звать одним именем Юлий Цезарь и что в одном теле мужского пола сосуществовало, по-видимому, множество мужчин и одна женщина, которая, желая быть женщиной и не зная, как ею быть в этом мужском теле, была ею где и как могла, ведя себя противостоительно и непристойно. И делая это очень настойчиво

В несчастном Марко ди Дио сатир проснулся, по-видимому, всего один раз, будучи искушен группой, изваянной маэстро. Но, пойманный на этом поступке всего один раз, он оказался осужден навсегда.

Я еще не встречал человека, который пожелал бы принять в нем участие, и, выйдя из тюрьмы, Марко ди Дио, чтобы спастись от бесславной нищеты, занялся рисованием каких-то ужасно странных рисунков, а в один прекрасный день рядом с ним появилась женщина, которая пришла к нему неизвестно как и откуда.

В течение лет эдак десяти он говорил всем, что на будущей неделе уедет в Англию. Но для него-то разве прошли эти десять лет? Они прошли лишь для тех, кто его слушал. А он, он всегда был твердо намерен на будущей неделе отбыть в Англию. И изучал английский. Или, по крайней мере, лет десять носил под мышкой английскую грамматику, открытую и заложенную всегда в одном месте, так что первые страницы от постоянного соприкосновения с его руками и грязным пиджаком стали уже нечитаемы, в то время как остальные были неправдоподобно чистыми. Но загрязненные места он действительно знал. И иногда, идя по улице, он вдруг, нахмурившись, обращался к жене как бы для того, чтобы проверить ее подготовленность и знания:

— Is Jane a happy child? ¹

И жена отвечала с готовностью и серьезно:

— Yes, Jane is a happy child².

¹ Счастливый ли ребенок Джейн? (англ.).

² Да, Джейн счастливый ребенок (англ.).

Потому что и жена тоже собиралась на будущей неделе отбыть с ним в Англию.

То было ужасное и душераздирающее зрелище — эта женщина, которую он сумел привязать к себе так, что она, как преданная собака, жила рядом с ним внутри его смешной мечты стать не сегодня-завтра миллионером посредством изобретения ну хотя бы «уборной без запаха для местностей, где в домах нет воды». Вам смешно? И они были так суровы в своей серьезности именно потому, что смешно было всем. Она была прямо-таки яростна, эта их серьезность. И становилась тем яростнее, чем больше вокруг смеялись.

И постепенно они дошли до того, что если кто-нибудь слушал их проекты без смеха, они не только этому не радовались, но еще и бросали на слушателя косые взгляды, и не то чтобы подозрительные, а прямо-таки ненавидящие. Потому что насмешки окружающих стали для них воздухом, которым только и могла дышать их мечта. Без этих насмешек она рисковала задохнуться.

А сейчас я объясню, почему злейшим врагом сделался в их глазах мой отец.

Дело в том, что роскошь быть добрым, о которой я уже говорил выше, мой отец позволял себе не только по отношению ко мне. Ему нравилось, улыбаясь той своей характерной улыбкой, поощрять с нескудеющей щедростью глупые заблуждения всякого, кто, подобно Марко ди Дио, приходил к нему жаловаться, что для осуществления своих планов, своей мечты о богатстве им не хватает денег.

— Сколько? — спрашивал отец.

— О, совсем немного!

Потому что им всегда не хватало совсем немного, чтобы стать богачами — мил-ли-о-не-ра-ми. И отец давал.

— Как? Ты же говорил в прошлый раз, что не хватает совсем немного!

— Ну да, но я тогда не совсем точно рассчитал. Зато сейчас...

— Так сколько?

— О, совсем немного...

И отец все давал, давал. А потом — раз, и перестал! И, как вы, наверное, догадываетесь, они вовсе не чувствовали к нему благодарности за то, что он не пожелал над ними поиздеваться, проследив до самого конца кру-

шение их иллюзий, и без всякого зазрения совести приписывали крушение этих иллюзий ему. И не было в городке людей, ненавидящих отца яростнее их, в отместку называвших его ростовщиком.

Самым злобным среди них был Марко ди Дио, который после смерти отца перенес свою страстную ненависть на меня. И не без основания, поскольку я невольно продолжал ему благодетельствовать. Я позволял ему жить в принадлежавшем мне маленьком домике, за который ни Кванторцо, ни Фирбо никогда не взимали с него квартирную плату.

И именно этим домиком я и воспользовался, чтобы осуществить свой первый эксперимент.

2. ПЕРВЫЙ, НО ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ

Он был исчерпывающий, потому что стоило мне захотеть, даже не очень серьезно, а просто в шутку, показаться отличным хотя бы от одного из ста тысяч лиц, в которые я преображался в глазах окружающих, чтобы тут же приобрели другое обличье и все остальные мои образы.

Так что хочешь не хочешь, а эта игра должна была привести меня к безумию. Да и не игра то была, а ужас, ибо ужасом было это полное сознание своего безумия, сознание свежее и прозрачное, как апрельское утро, ясное и точное, как зеркало.

Потому что, приступая к этому первому своему эксперименту, я должен был как бы отделить свою волю от себя и, отделив, выпустить ее так же изящно, как выпускают из кармана платочек. Я собирался совершить поступок, который должен был принадлежать не мне, а той моей тени, которая как раз и была мною в глазах окружающих, тени такой плотной, такой непреложной в своей очевидности, что мне впору было снять шляпу и ее приветствовать, раз уж по роковой невозможности мне не суждено было встретить и приветствовать ее вживе, то есть вне своего тела, которое, не будучи никем для самого себя, могло быть и моим, и было моим постольку, поскольку представляло собою меня для меня самого, но могло принадлежать и этой тени, и ста тысячам других теней, которые представляли меня на сто тысяч разных ладов в глазах ста тысяч других людей.

В самом деле, разве не собирался я сыграть с господином Витанджелло Москардой злую шутку? Да, да, господа, злую шутку (простите мне эти подмигивания, но мне необходимо подмигивать, вот так вот подмигивать, потому что я не знаю, каким я кажусь вам в эту минуту, и пытаюсь угадать посредством и этого подмигивания тоже!): ведь я хотел заставить его совершить поступок непоследовательный, противоречащий самой его сущности, поступок, который, разрушив внезапным ударом внутреннюю логику его образа, должен был уничтожить его и в глазах Марко ди Дио, и в глазах всех остальных.

И я, несчастный, не понимал, что следствием этого поступка будет вовсе не то, чего я ждал; а ждал я, что уже тогда, когда все будет кончено, я скажу:

— Ну что, господа, видите теперь, что я не тот, за кого вы меня принимали, что я не ростовщик?

А будет нечто совсем другое, а именно: все начнут испуганно восклицать:

— Слышали? Говорят, ростовщик Москарда сошел с ума!

Потому что ростовщик Москарда мог даже сойти с ума, но не мог разрушить свой образ вот так, за один раз, совершив поступок, противоречащий его сущности. Он был не тень, над которой можно пошутить или посмеяться, этот ростовщик Москарда, о нет, то был господин, с которым следовало обходиться с должным уважением: ростом — метр шестьдесят восемь, рыжий, как его папа, основатель банка, брови — домиком, нос свернут вправо, как у маленького глупенького Джендже, принадлежавшего жене его Диде, — одним словом, господин, который, если он, не дай бог, сойдет с ума, способен утащить вслед за собою в сумасшедший дом и всех прочих Москард — и того, кем он был для других, и — о господи! — того бедного безобидного Джендже, который принадлежал жене моей Диде, да — с вашего позволения — и меня самого, столь легкомысленно с ним шутившего.

То есть — как вы увидите позднее — все мы рисковали попасть в сумасшедший дом, но даже этого оказалось мало. Понадобилось рискнуть еще и жизнью, прежде чем я (кто-то, никто, сто тысяч) снова вернулся на стезю здравомыслия.

Но не будем забегать вперед.

3. НОТАРИАЛЬНЫЙ АКТ

Первым делом я отправился в приемную нотариуса Стампы, улица Крочефиссо, дом 24. Потому что (а что, ведь это конкретнейшие из фактов!) в день такой-то, го-да такого-то, в правление Виктора Эммануила III, божьей милостью и волей народа короля Италии, в благородном городе Рикьери держал по этому адресу нотариальную контору некий синьор Стампа, кавалер Элпидио, лет пятидесяти двух — пятидесяти трех.

— Как, он еще там? В доме 24? Так вы знаете нотариуса Стампу?

О, ну тогда мы можем быть уверены, что не ошиблись! Да, да, тот самый нотариус Стампа, которого все мы знаем. Именно так. Но тогда, входя в его контору, я был в таком душевном состоянии, что вы не можете себе и представить! Да и где вам это представить, если вы утверждаете, что прекрасно знаете нотариуса Стампу, и если вам до сих пор кажется самой простой и естественной вещью зайти в нотариальную контору и составить акт!

Так вот, я говорил, что пошел туда в тот день в связи с моим первым экспериментом. Короче говоря: хотите проделать этот эксперимент вместе со мною, то есть, я хочу сказать, хотите ли вы проникнуть в ту жуткую игру, которая прячется под покровом мирных повседневных отношений, за безмятежной видимостью так называемой реальности? Да, боже мой, да, в ту самую игру, из-за которой вы, сердясь на приятеля, поминутно ему кричите:

— Прости, пожалуйста, но как ты можешь этого не видеть? Ты что, слепой?

А он-таки не видит, не видит, и все, потому что он видит совсем другое, когда вы думаете, что он видит то же, что видите вы. Так вот, это и есть та игра, в которой я-то уже разобрался.

Одолеваемый всеми этими мучительно выношенными мыслями и соображениями, которые кипели и сталкивались внутри меня, хотя мне-то хотелось держать их в четком порядке и ледяной неподвижности, я вошел в контору и с трудом удержался от смеха при виде нотариуса Стампы: он был так серьезен, бедняга, даже отдаленно не подозревая, что для самого себя я совсем не такой, каким видит меня он, и был абсолютно уверен, что уж я-то видел в нем то самое, что каждый день видел он,

когда в окружении всех своих привычных вещей завязывал перед зеркалом узел своего черного галстучка. Понимаете теперь? Мне захотелось ему подмигнуть — да, да, и ему тоже! — подмигнуть, как бы намекая: «Да загляни ты за видимость! Загляни!» И еще — о господи! — мне захотелось вдруг показать ему язык или сморщить нос — лишь бы изменить в его глазах, хотя бы просто так, в шутку, безо всякого злого умысла, тот мой образ, который он считал подлинным моим образом. Но ведь я, кажется, собирался быть серьезным? Да, да, я серьезен, я серьезен, ведь я пришел ставить свой эксперимент.

— Итак, господин нотариус, вот я и здесь. Но, простите, у вас всегда так тихо?

Резко обернувшись, он внимательно на меня посмотрел. Потом сказал:

— Тихо? Вы считаете это тихо?

И в самом деле, на улице Крочефиссо стоял грохот, производимый экипажами и толпой прохожих.

— Ну, не на улице, конечно. А здесь, среди всех этих бумаг за пыльными стеклами шкафов... А это что — слышите?

Растерянный и удивленный, он снова на меня посмотрел, потом прислушался:

— Что я должен слышать?

— Да царапанье какое-то! Ах, простите, это всегонавсего лапки, лапки вашей канарейки... Коготками она царапает по цинковому дну своей клетки...

— Ну допустим, и что из того?

— Да ничего. И вас не раздражает этот цинк, господин нотариус?

— Цинк? Да какое мне дело до цинка! Я его не замечаю...

— И все-таки — цинк, подумайте! В клетке, под хрупкими лапками канарейки, в нотариальной конторе... Бьюсь об заклад, что она не поет, ваша канарейка.

— Да, синьор, она не поет.

Но тут нотариус начал так ко мне присматриваться, что я счел за лучшее оставить канарейку в покое, боясь повредить эксперименту, который, по крайней мере вначале и уж особенно здесь, перед лицом нотариуса, требовал, чтобы ни у кого не возникло ни малейших сомнений насчет состояния моих умственных способностей. И я спросил у господина нотариуса, знает ли он дом под номером таким-то, расположенный на улице такой-то,

принадлежащий некоему синьору Москарде Витанджело, сыну покойного Антонио Москарды...

— А разве это не вы?

— Да, я... видимо, я...

Как это было прекрасно, черт побери! В нотариальной конторе, посреди всех этих пожелтевших папок в старых пыльных шкафах говорить так, будто века отделяют меня от некоего дома, находящегося во владении некоего Москарды Витанджело... И это было тем более прекрасно, что в то же самое время я сам в качестве присутствующей и договаривающейся стороны находился в этой конторе; хотя, кто знает, какой представлялась господину нотариусу эта его контора и какой он в ней, в отличие от меня, чувствовал запах, и кто знает, где и каким в представлении господина нотариуса был дом, о котором говорил я ему таким потусторонним тоном, а уж я сам — я сам, в представлении господина нотариуса, каким я был, наверно, забавным!

Ах, какая прелесть история, господа! Нет ничего более утешительного, чем история. Все в жизни у нас на глазах непрерывно меняется, ни в чем нельзя быть уверенным, и отсюда — наше не знающее покоя тревожное желание узнать, как повернется дело, как утрясутся события, которые держат нас в таком напряжении. Так вот, по крайней мере в истории — там все уже определилось, все установилось; как бы ни были прискорбны события и мрачны обстоятельства — вот они, приведенные в порядок и зафиксированные на тридцати книжных страницах: они — такие, и они здесь, и всегда такими останутся, по крайней мере до тех пор, пока чей-нибудь злой критический дух не пожелает получить злобного удовлетворения, взорвав всю эту идеальную конструкцию, чьи элементы были так прекрасно подогнаны друг к другу, что вы отдыхали душой, восхищаясь тем, как следствие послушно вытекает из причины и каждое событие разворачивается точно и последовательно во всех своих подробностях — как, скажем, это было с герцогом Невером, который в таком-то году, такого-то дня и т. д., и т. п.

Но, чтобы не испортить дела, мне пришлось вернуться к временно существующей унылой реальности в лице озабоченного и растерянного нотариуса Стампы.

— Ну да, это я, — поспешил я ответить, — это я, господин нотариус. — Что же касается дома, то ведь вам не составит никакого труда удостовериться, что он мой, как и все имущество, оставленное мне отцом Антонио Мо-

скардой. Так вот, этот дом, он пустует, господин нотариус. Правда, он маленький. Всего пять или шесть комнат, но с двумя пристройками — так, кажется, это называется? И притом очень красивыми пристройками. Но он пустует, он не сдан, господин нотариус, так что я могу распоряжаться им, как хочу... Так вот, я хочу, чтобы вы...

И тут я наклонился и шепотом, очень серьезно, сообщил синьору нотариусу, что хотел бы совершить нотариальный акт, а какой — пока не могу сказать, потому что... потому что он должен остаться между нами, господин нотариус, пусть это будет ваша профессиональная тайна, пока мне это будет казаться необходимым. Договорились?

Мы договорились. Но господин нотариус сказал, что для того, чтобы совершить такой акт, ему нужны кое-какие данные и документы, за которыми мне придется сходить в банк, к Кванторцо. Я был раздосадован, но тем не менее поднялся. И пока я шел к двери, какая-то злая воля прямо-таки подначивала меня спросить:

— Как я иду? Простите, не могли бы вы мне сказать, как я выгляжу, когда иду?

Я удержался от этого вопроса с большим трудом. Но, когда уже отворял застекленную дверь, не вытерпел, обернулся и сказал с сочувственной улыбкой:

— Как вы говорите? Обычной своей походкой? Ну что ж, спасибо.

— Что вы сказали? — спросил в замешательстве нотариус.

— Да ничего, сказал, что иду обычной своей походкой. А знаете, господин нотариус, я однажды видел, как улыбается лошадь! Да, да, господин нотариус, она шла и улыбалась. Я знаю, сейчас вы пойдете, глянете на лошадиную морду, чтобы увидеть, как она улыбается, а потом скажете, что не видели никакой улыбки. Но при чем тут морда? Лошади улыбаются не мордой! Знаете, чем они улыбаются, господин нотариус? Они улыбаются задом. Уверяю вас, что идущая лошадь улыбается задом — да-да, идет себе и улыбается разным вещам, которые приходят ей в голову. Если вы хотите увидеть улыбку лошади, взгляните на ее зад, и вам все будет ясно.

Я понимаю, что говорить так не следовало. Я все понимаю. Но когда я вспоминаю душевное состояние, в котором я тогда находился — то есть ощущение, что меня

буквально насилуют чужие взгляды, облекая в образ во-все не тот, который был знаком мне, а в совсем мне незнакомый и которому я тем не менее не мог помешать возникнуть, — так вот, когда я вспоминаю то душевное мое состояние, я понимаю, что мне впору тогда было не только говорить глупости, мне впору было их вытворять, вытворять глупости и безумства: кататься по земле, ходить по улицам, приплясывая и подмигивая, показывать язык, корчить рожи. А вместо всего этого я шел по улице такой серьезный, ну совсем, совсем серьезный. И вы тоже — какая прелесть! — тоже идете себе по улице, такие серьезные.

4. ГЛАВНАЯ ДОРОГА

Итак, мне пришлось пойти в банк за бумагами, которые были нужны господину нотариусу.

Разумеется, бумаги эти были мои, потому что дом был мой и я имел право им распоряжаться. Но, если вы хорошенько подумаете, вы поймете, что эти бумаги, хотя и мои, я мог получить только посредством кражи или насилия, вырвав их из рук того, кто в глазах всех и был настоящим их владельцем — я имею в виду господина Витанджело Москарду, ростовщика.

Для меня это было бесспорно, потому что я хорошо видел его со стороны, живущим в других, а не во мне, этого ростовщика, господина Витанджело Москарду. Но в представлении всех прочих, которые никого другого, кроме ростовщика, во мне не видели, в их представлении я шел в банк, чтобы украсть эти бумаги у самого себя, то есть, подобно безумцу, вырвать их из собственных своих рук.

Мог ли я кому-нибудь сказать, что то был не я? Или что я был другой? Нет, не было решительно никакой возможности объяснить поступок, который в глазах всех должен был выглядеть непоследовательным, так как противоречил самой моей сути.

То есть, как видите, я с совершенно ясным сознанием шествовал по главной дороге безумия, которая и распахнулась отныне передо мной, как дорога моей жизни, где рядом со мной шли все остальные мои «я», такие отчетливые, такие живые.

Но я потому и был безумен, что у меня было зеркально точное сознание своего безумия, в то время как

вы, что идете той же дорогой, но этого не замечаете, вы — в здравом уме, тем более здравом, чем громче вы кричите тому, кто идет рядом:

— Что? Я — вот этот? Чтобы я был такой?! Да ты, видно, ослеп! Да ты с ума сошел!

5. НАСИЛИЕ

Между тем кража — по крайней мере в тот момент — была неосуществима. Я не знал, где лежали нужные мне бумаги. Последний из подчиненных Кванторцо и Фирбо был больше хозяином в моем банке, чем я. Когда я приходил туда подписать какую-нибудь бумагу, служащие даже не поднимали глаз от конторских книг, а если кто и взглядывал на меня, то в его взгляде ясно читалось, что он не ставит меня ни в грош.

И тем не менее все они усердно на меня работали, как бы укрепляя тем самым скверную репутацию, которой я и без того пользовался в городе — репутацию Ростовщика. И никому и в голову не приходило, что за это усердие я ему не только не благодарен, не только не склонен воздавать хвалу, а наоборот — могу чувствовать себя им оскорбленным!

Ах, какая привычная, какая застарелая тоска царила в моем банке! Эта перегородка из рифленого стекла, которая шла через все три зала и в каждом была прорезана пятью маленькими, забранными изнутри, круглыми окошечками, такими же желтыми, как карниз и рамы больших стеклянных пластин, ее составлявших, и эти чернильные пятна тут и там, и бумажная полоска, скрепляющая разбитое стекло; и пол из старых глиняных плиток, стершихся во всех трех залах посередине и под каждым из пяти окошечек; и весь этот наводящий тоску коридор, ограниченный с одной стороны стеклянной перегородкой, а с другой такими же пыльными стеклами больших окон, по два в каждом зале; и эти колонки цифр — карандашом и пером — и на стенах, и на испачканных чернилами столах, стоявших у окон; и облупившиеся карнизы, с которых свисали широкие, пыльные, закопченные занавески; и застарелый запах плесени, смешанный с едким запахом конторских книг и сухим запахом печи, проникающим с первого этажа! И отчаянная меланхолия, которой веяло от нескольких старинной формы стульев, стоявших подле столов, стульев, на ко-

торые никто никогда не садился, а все отодвигали и так и оставляли — совсем не на месте, там, где стоять этим бедным стульям было обидой и наказанием.

Всякий раз, когда я туда заходил, мне хотелось спросить:

— Ну зачем здесь эти стулья? Кто приговорил их стоять там, где ими никто никогда не пользуется?

Но я сдерживал себя, и не потому, что вовремя сообразил, что в подобном месте жалость к стульям всех изумила бы и даже могла показаться циничной, — я просто понимал, как всем будут смешны эти чувства: они могли показаться странными у человека, который почти не думает о своих делах.

Когда я в тот день вошел в банк, я увидел, что мои служащие столпились в последнем зале и хохотали, слушая пререкания Стефано Фирбо с неким Туроллой, над которым все потешались за его манеру одеваться.

— В длинном пиджаке, — говорил бедняга Туролла, — я, и так маленький, буду казаться еще меньше.

И он был прав. Но при этом он не понимал, как смешно на нем, таком коренастом, таком серьезном, с большими карабинерскими усами, как смешно выглядит на нем куцый пиджачок, оставляющий полностью на виду его крепкие круглые ягодицы.

И вот сейчас, весь исхлестанный насмешками, красный от испытанного унижения, еле сдерживающий слезы, он только поднимал, заслоняясь, свою маленькую ручку, боясь сказать Фирбо:

— Господи боже мой, что вы такое говорите?

А возвышавшийся над ним Фирбо смеялся ему в лицо и кричал, яростно отталкивая его поднятую руку:

— Да что ты знаешь? Что ты понимаешь? Ты не знаешь даже, как «о» пишется, хотя оно так на тебя похоже!

Когда я понял, что речь шла о каком-то человеке, просившем у банка кредита и приведенном сюда именно Туроллой, который ручался за его честность, в то время как Фирбо утверждал обратное, меня охватил приступ яростного гнева.

А так как никто не знал об испытываемой мною тайной муке, никто и не понял, почему я так разъярился, и все просто остолбенели, когда я, оттолкнув с дороги нескольких человек, налетел на Фирбо:

— А ты, а сам-то ты что знаешь? По какому праву ты навязываешь другим свое мнение?

Фирбо растерянно обернулся и, увидев, в каком я состоянии, едва поверил своим глазам:

— Да ты что, с ума сошел? — заорал он.

И, сам не знаю как, я швырнул ему в лицо оскорбление, от которого все буквально онемели:

— Да, сошел, так же сошел, как твоя жена, которую тебе приходится держать в сумасшедшем доме.

Он вырос прямо передо мной с бледным перекошенным лицом.

— Что ты сказал? Мне приходится ее держать?

Я потрепал его по плечу и, раздосадованный этим охватившим всех ужасом и в то же время как бы внезапно оглохнув от сознания всей неуместности своего поступка, сказал ему совсем тихо, просто для того, чтобы прекратить спор:

— Ну да, и ты сам прекрасно это знаешь!

И уже не услышал — так как после этих моих слов сразу сделался ну словно каменный, что ли — того, что Фирбо проскрежетал мне сквозь зубы, прежде чем в ярости броситься прочь. Помню только, что я улыбался, пока прибежавший на шум Кванторцо тащил меня в кабинет дирекции. Я улыбался, чтобы показать, что в этом принуждении нет никакой необходимости, что все уже прошло; но, хотя чувствовал я себя хорошо и даже улыбался, в ту минуту я был способен убить — так злила меня напряженная суровость Кванторцо. В кабинете дирекции я стал озираться по сторонам, изумленный тем, что странное оцепение, в которое я так внезапно впал, не мешало мне воспринимать окружающее ясно и точно; мне даже стало смешно и захотелось перебить бурную отповедь, которую читал мне Кванторцо, детски наивным вопросом насчет какой-нибудь вещи, находящейся в комнате. И в то же время, сам не знаю как, словно автоматически, я думал о том, что Стефано Фирбо, когда был маленьким, наверное, то и дело получал тычки в спину, потому что, хотя горба у него не было, все строение тела было точно такое, как у горбуна, — взглянуть только на его тонкие птичьи ноги! Но притом, ничего не скажешь, элегантен! Да, да, элегантный, хорошо сложенный скрытый горбун!

И когда я это понял, мне стало ясно, что весь свой незаурядный ум он должен употребить на то, чтобы отомстить тем, кто в детстве не получал, подобно ему, тычков в спину.

Повторяю, что думал я обо всем этом так, словно ду-

мал это внутри меня кто-то другой, ставший вдруг странно холодным и рассеянным, и не для того, чтобы в случае нужды обороняться ото всех этой холодностью и рассеянностью, а для того, чтобы за этой разыгрываемой ролью скрыть ту ужасную правду, которая уже однажды мне приоткрылась, а теперь становилась все яснее и яснее.

— Ну да, ну да, в этом все, — думал я, — все дело в насилии. Каждый хочет навязать другому мир, который он носит внутри себя, так, словно мир этот не внутри него, а снаружи, и все должны видеть его так, как видит его он, и быть такими, какими он их себе представляет.

Тут я вспомнил глупые лица своих служащих и продолжал:

— Ну да, ну да, конечно. Какой может быть картина реальности, которую каждый из нас носит в себе? Смутной, бледной, неопределенной. А насильник, он тут как тут и пользуется этим! Вернее, нет, не так: ему только кажется, будто он пользуется, будто он навязывает окружающим свои представления о ценности и значении его самого, других людей и вообще обо всем вокруг, так что все начинают видеть, слышать, говорить и думать, как он.

Почувствовав огромное облегчение, я встал и подошел к окну. Потом обернулся к Кванторцо, вытаращившему на меня глаза от удивления, что его прервали посреди фразы, и, развивая мучившую меня мысль, сказал:

— Ну конечно, ему это только кажется! Только кажется!

— Кому кажется?

— Да тому, кто хочет насильничать. Господину Фирбо, например. Им всем это только кажется, потому что, в сущности-то, им не удастся навязать другим ничего, кроме слов. Ничего, кроме слов, понимаешь? Слов, которые каждый толкует по-своему. Правда, таким образом формируются так называемые расхожие мнения. И горе тому, кто в один прекрасный день окажется вдруг заклеимен одним из тех слов, которые повторяют все. Например: «Ростовщик!» Например: «Сумасшедший!» Но скажи, можно ли жить спокойно, зная, что есть человек, который старается убедить других, что ты такой, каким ты кажешься ему, и навязывает это мнение всем, никому не давая судить о тебе самостоятельно?

Тут я заметил растерянность на лице Кванторцо, и передо мной вырос Стефано Фирбо. По его глазам я понял, что за эти несколько мгновений он стал моим врагом. В таком случае я тоже стал его врагом, да, да, врагом, раз уж он не понимал, что при всей жестокости моих слов, чувство, их вызвавшее, не было направлено против него лично, тем более что за сами эти слова я готов был попросить у него прощения.

И, словно пьяный, я сделал даже больше.

Когда он приблизился ко мне вплотную и грозно сказал: «Я требую, чтобы ты сейчас же объяснил мне свои слова насчет моей жены», я встал на колени.

— Ну конечно же! — воскликнул я. — Вот так!

И коснулся лбом пола.

Фирбо был в ужасе от этого моего жеста, или, вернее, оттого, что вместе с Кванторцо, конечно, подумал, что это я ему поклонился. Я посмотрел на него, засмеялся и — шлеп, шлеп! — еще два раза стукнулся лбом об пол.

— Это ты, не я, а ты — понимаешь? — ты, ты должен — вот так! — перед женой! И я, и он, и все перед так называемыми сумасшедшими — вот так!

Весь горя, я вскочил на ноги. Они испуганно переглянулись. Потом один спросил другого:

— Что он такое говорит?

— Новые слова! — воскликнул я. — Хотите послушать? Подите, подите туда, где вы держите их взаперти, и послушайте, что они говорят! Вы держите их взаперти, потому что вам так удобно!

Я схватил Фирбо за воротник и, смеясь, встряхнул:

— Понимаешь, Стефано! Я ведь не против тебя лично. А ты обиделся. Да нет же, дорогой, нет. Но что говорила о тебе твоя жена? Что ты развратник, вор, фальшивомонетчик, мошенник, что ты лжешь на каждом шагу. Это неправда!! Этому никто не поверит! Но ведь пока ты не посадил ее под замок, все мы — а, разве не правда? — все мы ужасались, но слушали ее. И вот я тебя спрашиваю: почему?

Едва на меня взглянув, Фирбо повернулся к Кванторцо, с какой-то притворной старательностью ища у него совета:

— Вот так вопрос! Да именно потому, что никто не мог этому поверить!

— О нет, дорогой! — воскликнул я. — Посмотри-ка мне в глаза!

— Что ты хочешь сказать?

— Посмотри мне в глаза! — повторил я. — Я вовсе не хочу сказать, что все это правда! Можешь быть спокоен!

Он побледнел и с трудом заставил себя на меня взглянуть.

— Вот видишь! — воскликнул я. — Видишь! Ведь у тебя у самого в глазах страх!

— Да это просто потому, что ты мне кажешься сумасшедшим! — яростно закричал он мне в лицо.

Я засмеялся, и смеялся долго-долго, не в силах остановиться и замечая, какой страх и смятение вызывает в них обоих этот смех.

Остановился я внезапно, испугавшись, в свою очередь, устремленных на меня глаз. Ведь во всем, что я делал, во всем, что говорил, для этих двоих не было ни причины, ни смысла. Опомнившись, я резко сказал:

— Короче. Я пришел сюда, чтобы взглянуть на счет некоего Марко ди Дио. Я хочу узнать, как это он может столько лет не платить за квартиру и никто ничего не предпринимает для того, чтобы его выселить?

Я не ожидал, что мой вопрос вызовет у них такое изумление. Они смотрели друг на друга так, словно ждали, чтобы каждый из них подтвердил впечатление, которое у другого сложилось обо мне, а точнее, даже не обо мне, а о том неожиданном существе, которое вдруг во мне обнаружилось.

— Да что ты говоришь? Что ты такое несешь? — спросил Кванторцо.

— Вы что, еще не поняли? Я говорю о Марко ди Дио. Платит он за квартиру или нет?

Они продолжали, раскрыв рты, смотреть друг на друга.

Я снова расхохотался, потом внезапно сделался серьезным и сказал, обращаясь к кому-то, кто стоял как бы между мной и ими:

— С каких это пор ты интересуешься подобными вещами?

Пораженные еще больше, прямо-таки в ужасе, они уставились на меня, пытаясь понять, кто произнес фразу, которую они только что собирались мне сказать. Как же так? Это я сам ее сказал, я сам?

— Да-да, — продолжал я серьезно, — ты ведь прекрасно знаешь, что твой отец столько лет позволял ему жить в этом доме, этому Марко ди Дио, и ни разу его не потревожил. Так чего же это тебе вдруг взбрело в голову?

Я положил руку на плечо Кванторцо и уже с другим выражением лица, столь же серьезным, но с оттенком усталого нетерпения, добавил:

— Предупреждаю тебя, дорогой мой, что я тебе не мой отец!

Потом повернулся к Фирбо и положил другую руку на его плечо.

— Я желаю сию минуту получить от тебя все бумаги. И немедленно принудительное выселение. Хозяин здесь я, я здесь распоряжаюсь. Кроме того, мне нужен список всех моих домов с соответствующими бумагами на каждый. Где все это?

Ясные слова. Точные вопросы. Марко ди Дио. Принудительное выселение. Списки домов. Бумаги на каждый дом. И тем не менее они меня не понимали. Они смотрели на меня, как на идиота. Мне пришлось несколько раз повторить им, что именно мне нужно, прежде чем они подвели меня к шкафу, где хранились бумаги, которые я должен был доставить нотариусу Стампе. Очутившись наконец в комнатке, где стоял этот шкаф, я взял под руки Кванторцо и Фирбо, которые ввели меня туда точно два автомата, выставил их за дверь и, едва они перешагнули порог, закрыл дверь. Я уверен, что за дверью они снова некоторое время тупо смотрели друг на друга, а потом один сказал другому:

— Должно быть, он сошел с ума.

6. КРАЖА

Едва я остался один, как этот шкаф, словно кошмар, завладел всеми моими мыслями. Присутствие этого древнего неподкупного стража документов, доверху набитого бумагами, — такого старого, такого массивного, источенного жучком, я ощущал как стесняющее присутствие чего-то живого.

Я взглянул на него и тут же отвел глаза — огляделся. Окно, старый соломенный стул, столик — еще более старый, пустой, черный, запыленный — и все, больше ничего. Мутный свет сочился сквозь стекла, так густо покрытые потеками ржавчины, что за ними едва можно было разглядеть прутья оконной решетки и самые нижние кроваво-красные черепицы крыши, на которую выходило окно.

Черепица крыши, лакированное дерево оконных ставень, эти грязные стекла — спокойная неподвижность неодушевленных предметов.

И я вдруг подумал, что униженные кольцами руки моего отца подымались и доставали папки с полок этого шкафа, — и я тут же их увидел, эти руки, словно из воска, белые, пухлые, все в кольцах и в рыжем пуху на пальцах, и увидел его глаза, голубые, стеклянные, насмешливые, увидел, как они что-то внимательно рассматривают в этих конторских книгах.

Потом, к сожалению, видение этих рук было прочно оттеснено в моем внутреннем зрении видом собственного моего тела: оно было в черном, я слышал его учащенное дыхание — ведь оно пришло сюда красть! — а когда я увидел свои руки, отворяющие дверцы шкафа, мурашки пробежали у меня по спине. Я сжал зубы, передернулся, подумал со злобой:

— Поди-ка еще ее найди среди всех этих папок, эту бумагу!

И, лишь бы скорее начать, стал прямо пачками вытаскивать из шкафа папки и швырять их на столик. Скоро от усталости у меня онемели руки, и мне захотелось не то плакать, не то смеяться. Уж не было ли это шуткой — эта кража у самого себя?

Я еще раз огляделся, потому что снова вдруг почувствовал себя неуверенно. Я собирался совершить определенный поступок. Но был ли это действительно я? Мне вдруг показалось, что вместе со мной в эту комнату вошли все прочие неотделимые от меня незнакомцы и что я совершаю кражу не своими руками.

Я посмотрел на свои руки.

Да, это были они, я их узнавал. Но разве они принадлежали только мне?

Я поспешил спрятать их за спиной, и, словно этого мне было мало, еще и закрыл глаза.

И в наступившей темноте вдруг почувствовал, что воля моя расслаивается, утрачивая свою цельность, и ощутил такой ужас, что чуть не лишился чувств. Я инстинктивно протянул руку, схватился за столик, пошире раскрыл глаза.

— Да, да, именно так, — сказал я себе, — безо всякой логики, безо всякой!

И стал рыться в бумагах.

Сколько я проискал? Не знаю. Знаю только, что мой пыл спустя некоторое время поостыл и меня сморила

еще более отчаянная усталость; потом я осознал, что сижу на стуле перед столиком, заваленным громоздившимися одна на другой папками, и еще одна кипа бумаг лежит у меня на коленях, придавив их своей тяжестью. Я уронил на эту кипу голову и пожелал умереть, умереть — и все, раз уж отчаяние овладело мною настолько, что я не в силах довести до конца начатое дело. И помню, что, когда я вот так, головой, лежал на кипе бумаг и глаза у меня были закрыты, может быть для того, чтобы удержать слезы, я услышал бесконечно далекое, донесенное сюда поднявшимся на улице ветром жалобное квохтанье курицы, снесшей яйцо.

И этому квохтанью, наверное, удалось бы совсем перенести меня в деревню, где я не был с детских лет, если бы меня не отвлекал, раздражая, скрип, раздававшийся совсем рядом: скрип ставни, раскачиваемой ветром. И так было до тех пор, пока в дверь два раза не постучали. Я вскочил и заорал:

— Оставьте меня в покое!

И сразу же снова лихорадочно взялся за поиски.

Когда же в конце концов я нашел папку со всеми документами, касающимися нужного дома, я почувствовал великое облегчение. Я радостно вскочил, но тут же оглянулся на дверь. И таким резким был этот переход от радости к испугу, что я увидел себя со стороны и вздрогнул. Вор! Я украл. Я украл в самом деле. Повернувшись к двери спиной, я расстегнул жилет, потом рубаху и спрятал на груди довольно толстую папку.

В этот момент из-под шкафа появился таракан и, твердо держась на лапках, направился в сторону окна. Но я успел его догнать и раздавил.

Скривившись от омерзения, я как попало свалил все бумаги в шкаф и вышел из комнаты.

К счастью, и Кванторцо и Фирбо, и вообще все уже ушли, оставался только старик сторож, который ничего не мог заподозрить.

Тем не менее я счел необходимым что-то ему сказать.

— Вытрите там пол. Я раздавил таракана.

А сам побежал на улицу Крочефиссо в контору Стампы.

7. ВЗРЫВ

У меня до сих пор стоит в ушах клочкотание воды, хлещущей из водосточной трубы, перед домом Марко ди Дио, подле незажженного еще фонаря, в переулке, где было темно даже днем; и я вижу пришедших поглазеть на выселение, которые жмутся к стенам домов, чтобы не промокнуть, и других, под зонтиками, которые останавливаются из любопытства, привлеченные видом толпы и мокнувшей под дождем кучи жалких пожитков, вышвыриваемых из дома под вопли госпожи Диаманте; время от времени она, вся растрепанная, подбегает к окну и выкрикивает в толпу свои странные ругательства, которые встречают свистом и прочими непристойными звуками босоногие мальчишки, пляшущие, несмотря на дождь, вокруг ее жалкого скарба и окатывающие водой из луж самых любопытных, а те в ответ осыпают их проклятиями.

И комментарии.

— Хуже отца!

— Подумать только — под дождем! даже до утра не мог подождать!

— Привязался к несчастному сумасшедшему!

— Ростовщик! Ростовщик!

А я улыбаюсь. Может быть, правда, немного бледный, но ощущая наслаждение, от которого у меня холодеет в животе и пересыхает во рту, так что хочется сглотнуть слюну. Правда, время от времени я чувствую, что мне необходимо зацепиться за что-нибудь взглядом, и я в беспамятном равнодушии разглядываю карниз над дверями этого жалкого дома, как бы отделяя себя в этом созерцании ото всех; ибо кому же придет в голову в такую минуту поднимать глаза только для того, чтобы убедиться, что это всего-навсего унылый карниз, которому нет никакого дела до того, что творится на улице; серая облупившаяся известка, вся в трещинах, которая не краснеет подобно мне от оскорбленной стыдливости при виде старого ночного горшка, вышвырнутого из дома вместе с другими пожитками и красующегося сейчас на комодe посреди улицы.

Но еще бы немного, и мне бы дорого обошлось это удовольствие — чувствовать себя ото всех отчужденным. Когда с принудительным выселением было покончено, Марко ди Дио, выйдя из дома вместе с женой Диаманте, заметил меня в переулке — как стою я между судебным

исполнителем и двумя полицейскими и разглядываю дверной карниз — и, заметив, не удержался и швырнул в меня свой старый молоток каменотеса. И он, конечно, уложил бы меня на месте, если бы судебный исполнитель резким движением не притянул меня к себе. Под вопли всеобщего возмущения полицейские бросились было, чтобы задержать беднягу, которого мой вид привел в такую ярость, но толпа, сделавшаяся к тому времени уже очень густой, встала на его защиту и неминуемо обрушилась бы на меня, если бы какой-то неряшливо одетый, свирепого вида маленький черный человечек — юноша из числа помощников Стампы — не взобрался бы вдруг на столик, выставленный посреди переулка и, яростно жестикулируя, почти прыгая посреди кучи сваленных там вещей, не принялся бы кричать:

— Стойте! Да стойте же! Послушайте! Я говорю от имени нотариуса Стампы. Послушайте! Марко ди Дио... Где Марко ди Дио? От имени нотариуса Стампы заявляю вам, что на вас оформлен акт дарения... Ростовщик Москарда...

Не знаю, как это выразить, но я был весь трепет в ожидании чуда, то есть преобразования, которое должно было произойти со мной на глазах у всех с минуты на минуту. Но внезапно этот мой трепет превратился просто в дрожь, потому что меня как будто вдруг разметало взрывом пронзительного свиста, неразборчивых выкриков и ругательств, которыми разразилась толпа, видевшая всю жестокую бесцеремонность принудительного выселения и не поверившая, что акт дарения мог совершить тоже я.

— Смерть ему! Долой его! — вопила толпа. — Ростовщик! Ростовщик!

Инстинктивным движением я поднял было руку, как бы делая знак подождать, но мне показалось, что этот жест выглядит как жест мольбы, и я сразу ее опустил; между тем юноша из конторы Стампы, стоя на столике и жестами призывая всех к молчанию, продолжал кричать:

— Да нет же, нет! Вы послушайте меня! Акт дарения тоже оформил он, он, у нотариуса Стампы! Он дарит Марко ди Дио дом!

И только тут вся толпа замерла в изумлении. Но меня здесь уже как бы не было: я был унижен, разочарован. Хотя эта внезапно установившаяся тишина меня и притягивала. А потом было так, как бывает, когда за-

нимается огнем куча сушняка: сначала ничего не видно и не слышно, потом тут загорается сухая ветка, там вспыхивает сухой кукурузный початок — и вот уже пылает вся куча, показывая языки пламени среди клубов дыма.

— Он? Дом? Как? Что? Тише! Что он говорит?

Эти и другие вопросы тут и там пробежали по толпе, порождая слухи все более темные и смутные, покуда юноша из конторы Стампа не прояснил наконец суть дела, сказав:

— Да-да, дом! Дом на улице Санти, 15. И мало того, он еще дарит ему десять тысяч лир на оборудование и приборы для лаборатории.

Что за этим последовало, я не видел. Я лишил себя этого удовольствия, потому что в этот момент хотел уже только одного — куда-нибудь убежать. Но очень скоро я узнал, какого рода удовольствие ждало бы меня тут.

Я отправился на улицу Санти и, спрятавшись в подъезде того самого дома, стал ждать, когда Марко ди Дио придет вступить во владение им. Свет с лестницы сюда едва проникал. Когда, по-прежнему сопровождаемый густой толпой, Марко ди Дио открыл дверь со стороны улицы ключом, присланным ему нотариусом, и заметил, как я, словно привидение, стою у стены, он сначала попятился, потом бросил на меня яростный взгляд, которого я никогда не забуду, а потом с каким-то звериным воплем — не то смехом, не то рыданием — ринулся, весь дрожа, на меня; то ли он хотел выразить мне свой восторг, то ли расколотить меня об стену.

— Сумасшедший! — кричал он. — Сумасшедший! Сумасшедший!

А за дверью — тот же вопль из уст толпы:

— Сумасшедший! Сумасшедший! Сумасшедший!

И все потому, что я захотел доказать, что могу — и в глазах окружающих тоже — стать другим, то есть не тем, за кого они меня принимали.

КНИГА ПЯТАЯ

1. ПОДЖАВ ХВОСТ

К счастью, меня поддержало — по крайней мере в те дни — рассуждение Кванторцо о том, что и отец мой, подобно мне, позволял себе в свое время роскошь быть добрым, правда, привнося в свои добрые поступки отте-

нок некоего злого лукавства, но что ему, Кванторцо, никогда не приходило в голову, что по этой причине моего отца следует запереть в сумасшедший дом или хотя бы учредить над ним опеку — то, чего яростно требовал по отношению ко мне Фирбо, утверждавший, что только так можно вернуть доверие к банку, серьезно подорванное моим безумным поступком.

Господи боже мой, да разве не было всему городу известно, что в дела банка я никогда не вмешиваюсь! Так откуда же могла взяться угроза дискредитации? Какое отношение к банку имел мой поступок?

Да, но в таком случае обесценивалось рассуждение Кванторцо, которое защищало меня, пряча за отцовской спиной. Это верно, что у отца возникали время от времени такие вот прихоти, но его деловые качества были настолько несомненны, что никому в голову не могло прийти посадить его в сумасшедший дом или взять под опеку, в то время как моя очевидная неосведомленность в делах и полное к ним равнодушие свидетельствовали о том, что я безумец, годный лишь на то, чтобы со скандалом разрушить здание, которое с тайным прилежанием воздвигал мой отец.

Да, ничего не скажешь, вся логика была на стороне Фирбо. Но, если хотите, не меньше логики было и у Кванторцо, который (я в этом нисколько не сомневаюсь!) с глазу на глаз должен был дать понять приятелю, что, поскольку я владелец банка, мою неосведомленность и равнодушие к делу нельзя использовать против меня, потому что как раз благодаря этой неосведомленности и равнодушию настоящими хозяевами банка сделались они; так что лучше эту тему было не затрагивать и помалкивать — по крайней мере до тех пор, пока не станет ясно, что я собираюсь совершить какое-нибудь новое безумство.

Да и я, со своей стороны, мог бы кое-что заметить Фирбо, если бы, подавленный результатами своего эксперимента, не сидел бы сейчас с поджатым хвостом, покуда между Кванторцо и Фирбо длилось это разногласие, то есть пока оставалось неясным, что возьмет верх: небескорыстная снисходительность одного или — на мое несчастье — жажда мести другого, оскорбленного мною в присутствии его подчиненных.

2. СМЕХ ДИДЫ

Расстроенный, я укрылся в юбках Диды, спрятавшись за безмятежную ленивую глупость ее Джендже, ибо не только Диде, но и всем было ясно, что если расценивать совершенный мною поступок как безумие, то это было безумие Джендже: так, легкий, минутный каприз безобидного дурачка.

Выговоры, которые делала Дида своему Джендже, заставляли меня буквально корчиться от непереносимого унижения или давиться от едва сдерживаемого хохота, а мне между тем нужно было напускать на себя вид: причем изображать я должен был не грешника, который раскаивается (не дай бог!), а упрянца, который не желает признать себя побежденным, хотя и согласен, что, пожалуй, позволил себе лишнее.

И все-таки, и все-таки страх, который я не умел скрывать, иной раз выглядывал из моих незаметно следивших за нею глаз, а изо рта вырывался вдруг отчаянный стон: то стонала моя тоска — тайная, жестокая, невыразимая. Да, невыразимая, невыразимая, то была тоска духа, и она не могла воплотиться в форму, которую я, притворившись, мог бы признать своей — вроде той, делавшейся во мне убедительной и осозанной, в которой Дида видела своего Джендже; рядом с нею был он, Джендже, и он был — не я, хотя в то же время я не мог сказать, кто же был я и откуда бралась эта мучившая меня жестокая тоска.

И я так сосредоточился на этой своей муке, что полностью потерял самого себя; словно слепой, я подставлял себя каждой протянутой ко мне руке, чтобы из всех неразлучных незнакомцев, которых я носил в себе, она взяла того, кто больше ей подходит, и — делайте со мной, что хотите! Хотите — бейте, хотите — целуйте, хотите — запирайте в сумасшедший дом.

— Поди-ка сюда, Джендже. Сядь. Вот так. Посмотри мне в глаза. Как? Ты не хочешь посмотреть мне в глаза?

Ах, как хотелось мне взять в ладони ее лицо и заставить заглянуть в пропасть моих глаз, вовсе не тех, которые она рассчитывала увидеть.

Она стояла передо мной; она ерошила мне волосы; она садилась ко мне на колени; я чувствовал тяжесть ее тела.

Кто она была?

В ней же — ни малейших сомнений в том, что я знал, кто она была!

А я, я так боялся ее глаз, которые смотрели на меня — смеющиеся, такие уверенные; боялся ее прохладных рук, которые дотрагивались до меня, убежденные в том, что я точно такой, каким видят меня ее глаза; боялся всего ее тела, чью тяжесть я чувствовал на коленях, тела, так доверчиво ко мне льнувшего и даже отдаленно не подозревавшего, что льнет оно вовсе не ко мне и что, держа его в объятиях, я прижимаю к себе не ту, что полностью моя, и не чужую, о которой вообще не знаю, кто она такая, — нет, она была для меня такой, какой я ее видел, такой, какой я ее трогал; вот эта, вот так, с этими вот волосами, с этими вот глазами, этим ртом, который целовал я в жару любви, а она целовала мой — в жару своей любви, столь непохожей на мою, бесконечно от меня далекой, поскольку все в ней — пол, природа, образ, восприятие мира, мысли и чувства, формирующие ее дух, и вкусы, и воспоминания, и даже нежная щека, которой я касался своей, жесткой, — все в ней было другое: двое чужих, тесно обнявшихся, но — о ужас! — чужих; чужих не только один другому, но каждый — самому себе, заключенному в теле, которое обнимал другой.

Я знаю, вы никогда не переживали этого ужаса, потому что в своей жене вы только и обнимали, что свой собственный мир, даже отдаленно не подозревая, что она тем временем обнимает в вас свой, а он, этот мир, совсем другой и непостижимый. А между тем, чтобы почувствовать этот ужас, вам достаточно на минутку задуматься о совершеннейшем пустяке — ну, скажем, о том, что вам нравится, а ей нет: о цвете, о запахе, о каком-то суждении — и чтобы вы поняли, что дело тут не в простой разнице вкусов, мнений и ощущений, а в том, что ее глаза, когда вы на нее смотрите, видят в вас не то, что видите вы, и что мир, и жизнь, и вообще все, что вы видите, все, что осязаете, она видит совсем по-другому и совсем к другой реальности прикасается в тех же самых вещах, и в вас, и в самой себе; а сказать, какая она, эта реальность, она не в силах, потому что она для нее такая — и все, и она и представить себе не может, чтобы для вас она могла быть иной.

Мне нелегко было скрыть разочарование и обиду, все усиливавшиеся во мне при виде Диды, которая, как ни старалась, не могла удержаться от смеха, вспоминая о жестокой забаве, которую позволил себе ее Джендже,

не подумав о том, что не каждый, как она, поймет, что он просто хотел пошутить.

— Ничего себе шуточки! Принудительное выселение, под дождем, да еще и сам при этом присутствовал, всех дразнил! Дурачок! Ведь еще немного — и тебя бы убили!

Так она мне говорила, а сама отворачивалась, чтобы скрыть смех при мысли об испытанной мною обиде, которая у Джендже — такого, каким она видела его сейчас и каким воображала себе в момент выселения среди всеобщего негодования — неизбежно должна была принять вид досады, глупой досады дурачка, который неудачно пошутил и был неправильно понят.

— О чем ты только думал? Ты думал, всем будет смешно смотреть на выходки безумца, который заставляет людей выбрасывать на улицу под дождем свои пожитки? А он-то, он — нет, вы только на него посмотрите! — он тем временем держал за пазухой сюрприз: подарок! Ох, смотри, не оказался бы прав господин Фирбо! Ведь подобные шутки — шутки, за которые платят такой дорогой ценой, это шутки, достойные сумасшедшего дома! Ну ладно, ступай! Возьми-ка выведи Биби!

И я увидел, как в руку мне вложили красный поводок, как наклонилась она с той легкостью, с какой, благодаря своим бедрам, наклоняются только женщины, как застегнула намордник, стараясь не сделать собачке больно, а я все тупо сидел и сидел.

— В чем дело, ты что, не идешь?

— Иду!

Захлопнув за собой дверь, я прислонился к стене, страстно желая усесться на первой же ступеньке и никогда больше не подниматься.

3. Я РАЗГОВАРИВАЮ С БИБИ

И вот я вижу, как, стараясь держаться ближе к стенам домов, я иду по улице, а позади меня — собачонка, которая всем своим видом дает мне понять, что, так же как я не хотел ее выводить, так и она не хотела со мной идти, и теперь заставляет тащить себя волоком, упиравшись лапками, покуда я, рассердившись, не дергаю ее так, что чуть не рвется ее красненький поводок.

Я иду, чтобы спрятаться, тут, неподалеку, за оградой проданного под строительство участка, на котором должен был подняться дом — бог знает какой уродливый, ес-

ли судить по соседним. Участок частично изрыт иод фундаментом, но кучи земли не убраны, и тут и там из поднявшейся на них высокой травы выступают камни, привезенные для строительства, камни, состарившиеся и искрошившиеся еще до того, как были пущены в дело.

Я сажусь на один из этих камней, смотрю на стену прилегающего к участку дома — высокую, белую, врезанную в голубизну неба. Вся на виду, без единого окна, такая белая, такая гладкая, она слепит глаза от бьющего в нее солнца. Я окунаю взгляд в прохладу понапрасну растущей травы, которая пахнет так свежо и мощно, а вокруг — покой, неподвижность, жужжание крохотных насекомых, и, раздраженная моим вторжением, гудя, липнет ко мне большая черная муха; и еще я вижу Биби, которая сидит передо мной, насторожив ушки, удивленная и разочарованная, как будто спрашивая, зачем мы сюда пришли, в такое странное место, где, между прочим... да, да, конечно, где по ночам иной прохожий...

— Да, Биби, — говорю я, — да, да, этот запах... Я и сам чувствую. Но ты знаешь, это самое меньшее из зол, которого можно ждать от людей. Это все-таки — от тела. То, что бывает от душевной нужды, Биби, то хуже, гораздо хуже. И тебе можно только позавидовать, что это ты учуять не способна.

Я притягиваю ее к себе за передние лапки и продолжаю:

— Хочешь знать, почему я здесь спрятался? Ах, Биби, это потому, что на меня смотрят. Есть у людей такая слабость — смотреть, и ничего с этим не поделаешь. Разве что мы сами отучим себя от слабости прогуливать по улицам свое тело, подставляя его чужим взглядам. Ах, Биби, Биби, что же мне делать! Я больше не могу, чтобы на меня смотрели. Даже ты. Вот ты на меня сейчас смотришь, и мне страшно. Никто не сомневается в том, что он видит, и каждый движется среди предметов, будучи уверен, что и другие видят их такими же, как и он; представим же теперь, как кому-то пришло в голову, что существуете на свете еще и вы, звери; вы смотрите на людей и предметы своим безмолвным взглядом, и кто знает, какими вы их видите, что о них думаете. Я навсегда потерял и себя, и все, что вокруг, в чужом взгляде. Стоит мне до себя дотронуться, как я исчезаю. Потому что даже под собственной моей рукой — лишь то, что видят во мне другие, образ, которого я не знаю и никогда не узнаю. Так что, видишь, я даже не знаю,

кто он — тот, что держит тебя сейчас за лапки и с тобой разговаривает.

В эту минуту бедная собачонка неожиданно дернулась, стараясь вырвать у меня свои лапки. Я не понял, оттого ли она дернулась, что испугалась моих речей, но, чтобы не сломать ей лапки, сразу же ее отпустил, и она, громко лая, бросилась на белого кота, прятавшегося в траве в глубине участка; однако красный поводок, который она волокла за собой на бегу, внезапно запутался в кустарнике и так рванул ее назад, что она перевернулась и покатила по траве, словно мячик. Вся кипя от ярости, она поднялась но так и осталась стоять на месте, прикованная на все четыре лапы, не зная, куда девать неизрасходованную злобу; она глянула туда, глянула сюда — кота уже не было. Она чихнула.

Я засмеялся, когда она помчалась, потом — когда перевернулась, и сейчас, когда она вот так вот уселась; покачивая головой, я подозвал ее к себе. Она подошла — такая легонькая, — словно танцует на своих хрупких лапках; очутившись передо мной, она сама оперлась передними лапками о мое колено, как бы желая продолжать разговор, который, к сожалению, был прерван на полуслове, но который ей очень даже понравился. Да, так оно, верно, и было, потому что, разговаривая, я почесывал у нее за ушами.

— Ну ладно, Биби, — сказал я, — давай-ка лучше закроем глаза. И взял в ладони ее головку. Но собачонка вывернулась, стараясь освободиться, и я ее отпустил.

И вскоре после того как она улеглась у моих ног и положила на передние лапы свою длинную мордочку, я услышал, что она вздохнула; вздохнула так тяжело, словно изнемогала от усталости и скуки, омрачавших ее жизнь, жизнь бедной маленькой балованной сучки.

4. ВЗГЛЯД ЧУЖИХ ГЛАЗ

Почему, собираясь покончить с собой, мы видим себя мертвыми не своими, а чужими глазами?

Вся почерневшая, вся распухшая, как труп утопленника, всплыла во мне моя тоска от этого вопроса, которым я задался после того, как больше часу просидел на строительной площадке, размышляя, а не покончить ли мне со всем этим; и не для того покончить, чтобы освободиться от этой тоски, а для того, чтобы сделать при-

ятный сюрприз тем, кто мне завидовал, или представить лишнее доказательство моей глупости тем, кто считал меня дураком.

В поисках ответа на этот свой вопрос я перебрал в уме картины разных насильственных смертей, какими они должны были представиться моей растерянной и потрясенной жене, и Кванторцо, и Фирбо, и всем знакомым, и вдруг почувствовал, что у меня подкосились ноги, потому что оказалось, что собственными своими глазами я себя не видел: то есть я не мог сказать, какой я, не увидев себя глазами другого. Я мог лишь представить себе, каким другие видели мое тело и вообще всё, сам же я без чужих глаз просто переставал понимать, что именно я вижу.

Мурашки пробежали у меня по спине от одного давнего воспоминания: когда я был еще ребенком, я шел однажды по тропинке в поле и вдруг заметил, что заблудился — никаких следов вокруг, одуряющий солнечный жар и полное одиночество; страх, который я тогда испытал, до сих пор я объяснить не мог. Так вот, оказывается, что это было: ужас перед тем, что вдруг может представиться моему взгляду, а рядом никого не будет, никто, кроме меня, этого не увидит.

Ведь когда нам случается набрести на что-то такое, что другие, как нам кажется, никогда не видели, разве не спешим мы кого-нибудь позвать, чтобы и он вместе с нами взглянул на то, что мы нашли?

— Господи боже мой, да что же это такое?

А если чужие глаза не подтверждают нам, что то, что мы видим, существует действительно, мы перестаем верить своим глазам; сознание наше путается, ибо оно, кажущееся нам самой интимной частью нашего «я», на самом-то деле означает присутствие в нас других; оттого-то так непереносимо для нас одиночество.

Я в ужасе вскочил. Я знал, я давно знал, что я одинок, но сейчас я ощущал и осязал один только ужас этого одиночества, ужас, который вставал во мне, на что бы я ни взглянул: даже если я просто поднимал руку и смотрел на нее. Потому что мы не можем сделать чужие глаза своими, не можем видеть чужими глазами: то была иллюзия, и больше я в нее верить не мог. И в полном смятиении, как будто увидев этот свой ужас в глазах собаки, которая вдруг тоже вскочила и уставилась на меня, я, словно для того чтобы избавиться от этого ужаса, дал ей

пинка и, услышав жалобный визг, в отчаянии сжал голову руками.

— Я схожу с ума! Схожу с ума!

Но не знаю как, я вдруг ясно увидел самого себя, и этот свой жест отчаяния, и рыдание, рвавшееся у меня из груди, превратилось в хохот; я подозревал бедняжку Биби, слегка охромевшую, и сам стал шутки ради прихрамывать и, не в силах сопротивляться охватившему меня какому-то злему веселью, сказал ей, что это я с ней играл, просто играл и давай, мол, играть и дальше. Собачонка чихала, словно отвечая:

— Нет, нет, не хочу! Нет, нет, не хочу!

— Ах, вот как, ты не хочешь? Значит, ты не хочешь, Биби?

И дразня ее, я тоже принялся чихать и, чихая, все повторял:

— Нет, нет, не хочу! Нет, нет, не хочу!

5. ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ИГРА

Пинок? Неужели это я дал пинка несчастной собачонке? Да нет же! Разве это был я? Этот пинок дал ей мальчишка, тот самый заблудившийся в поле и оказавшийся во власти какого-то странного страха — страха перед всем и перед ничем, ничем, которое могло внезапно стать чем-то и на это что-то ему пришлось бы смотреть одному.

А вот посреди городской улицы эта опасность никому из нас не грозит. Да и откуда ей взяться, черт побери! О каждом — ну не прелесть ли? — другой имел собственное, пусть иллюзорное, мнение, и, значит, можно было не сомневаться, что ошибались решительно все, то есть что каждый был вовсе не таким, каким казался он другому.

И мне хотелось крикнуть:

— Да посмотрите же! Ведь мы играем! Играем!

Все играли — даже тот, кто просто стоял и смотрел в окно. Да, да, уверяю вас! И даже тот, кто — хе-хе! — распахивал вдруг это окно и бросался вниз.

Дивная игра! И какие, наверное, прелестные сюрпризы для дорогого синьора, для дорогой синьоры, если они, вот так вот бросившись вниз из мира своих иллюзий, вдруг на минутку вернулись бы сюда уже мертвыми и увидели, каков он, этот мир, в иллюзиях других, еще

живущих, тот самый мир, в котором синьор и синьора воображали, что жили! Хе-хе!

Но вся беда была в том, что я-то понимал, что это игра, еще будучи живым, видел, как другие живые в нее играют, а сам в нее включиться не мог. И эта невозможность в нее включиться — хотя я ясно видел эту игру в глазах всех вокруг меня — эта невозможность ожесточала буквально до ярости мое нетерпеливое желание.

Пинком, которым я только что наградил — да простит меня бог! — несчастную собачонку только за то, что она на меня смотрела, — этим пинком я с удовольствием наградил бы всех.

6. СЛОЖЕНИЕ И ВЫЧИТАНИЕ

Вернувшись домой, я застал Кванторцо деловито беседующим с женой моей Дидой.

Как на месте они здесь были, оба такие уверенные в себе, в этом затененном уголке нашей светлой гостиной: он — толстый, черный, утонувший в зеленом диване, она — такая хрупкая, такая белоснежная в этом своем платье — одни оборки; повернувшись в три четверти, она сидела напротив него на самом краешке кресла, и солнечный блик сверкал у нее на затылке. Говорили они, конечно, обо мне, потому что, увидев, как я вхожу, одновременно воскликнули:

— А вот и он!

И так как их было двое, видевших, как я вошел, мне захотелось обернуться и поискать глазами другого, того, кто вошел со мной, ибо я знал, что рядом с «милым Джендже» жены моей Диды жил-был еще и «дорогой Витанджело» отчески заботившегося обо мне Кванторцо; и больше того — для Кванторцо я только и был что его «дорогим Витанджело», так же как для Диды я был только «милым Джендже». Иными словами, двое нас было не для них, а для меня, так как для каждого из них я был один, то есть один плюс один, что для меня означало не плюс, а минус; так как из этого вытекало, что меня — меня как меня — в их глазах просто не существовало.

И разве только в их глазах? А в моих собственных? Разве существовал я для самого себя, для оставшегося наедине с самим собой моего духа, лишенного всякой осязаемой формы, духа, который испытывал ужас, видя

собственное тело существующим само по себе, никому не принадлежащим, раздираемым между двумя разными представлениями, которое имели о нем эти двое.

Увидев, что я обернулся, жена спросила:

— А кто там еще?

Улыбаясь, я поспешил ответить:

— Да никто, дорогая, никого там нет. Ну, вот мы и здесь!

Они, конечно, не поняли, кого я подразумевал под «никем», которого искал рядом с собою, и подумали, что «вот мы и здесь» относится к ним; и вообще они были совершенно уверены, что в гостиной нас трое, хотя нас было девять или, вернее, восемь, так как для самого себя я теперь был никем.

То есть что я имею в виду:

- 1) Диду, какой она была для себя;
- 2) Диду, какой она была для меня;
- 3) Диду, какой она была для Кванторцо;
- 4) Кванторцо, каким он был для самого себя;
- 5) Кванторцо, каким он был для Диды;
- 6) Кванторцо, каким он был для меня;
- 7) «Милого Джендже» Диды;
- 8) «Дорогого Витанджело» Кванторцо.

И завязалась в этой гостиной, между этими восьмерыми, которые думали, что их трое, занимательнейшая беседа.

7. А Я ТЕМ ВРЕМЕНЕМ СЕБЕ ГОВОРИЛ

(Боже мой, и как могут они не растерять своей замечательной уверенности под взглядом моих глаз, которые не знают, что видят! Остановитесь-ка и взгляните на человека, занятого каким-нибудь простым и обычным делом, поглядите на него так, чтобы ему показалось, будто вам не ясно, что именно он делает, и что вам кажется, что это не вполне ясно даже ему самому; этого будет достаточно, чтобы он потерял уверенность. Ничто так не беспокоит и не смущает, как пустые глаза, по которым мы понимаем, что они нас не видят или что видят они не то, что видим мы.

— Почему ты так смотришь?

И никто не понимает, что так мы должны смотреть всегда, так должен смотреть каждый: взглядом, полным ужаса перед безвыходным своим одиночеством.)

8. ЗАДЕТЫЙ ЗА ЖИВОЕ

Кванторцо и в самом деле вскоре забеспокоился: встречаясь со мной глазами, он сбивался с мысли и время от времени невольно поднимал руку, как бы желая сказать: «Погоди-ка!»

Но скоро я понял, что дело было не в этом.

Он сбивался не потому, что мой взгляд лишал его уверенности, а потому, что ему казалось, будто в моих глазах он прочел, что я уже понял тайную цель его визита: совместно с Фирбо связать меня по рукам и ногам, заявив, что, если я и впредь намерен совершать неожиданные и необоснованные поступки, за которые они с Фирбо не могут нести ответственности, он сложит с себя обязанности директора банка. Удостоверившись в этом, я решил сбить его с толку, но не так резко, как делал это раньше, когда говорил и жестикулировал, словно сумасшедший, а совсем иначе; и все это ради удовольствия увидеть, во что превратится он, уходя, после того как пришел сюда такой уверенный в себе; ради удовольствия, которое я должен был испытать, еще раз увидев — хотя в этом уже не было нужды! — что вся его воинственная убежденность рухнет из-за пустяка — из-за слова, которое я ему скажу, из-за тона, каким я скажу это слово; все это собьет его с толку, заставит переменить настроение, а вместе с настроением и ту непоколебимую, казалось бы, реальность, которую он чувствовал внутри себя и которая представлялась его зрению и осязанию.

Едва он сказал мне, что Фирбо все еще не может прийти в себя от того, что я натворил, я спросил у него с дурацкой улыбкой, которая должна была его разозлить:

— Все еще не может?

Он в самом деле разозлился.

— Что значит «все еще»? Ну, знаешь, дорогой мой! Ты так перерыл шкаф, что понадобится не меньше двух месяцев, чтобы навести там порядок!

Тогда я сделался очень серьезным и обратился к Диде:

— Вот видишь, дорогая, а ты считала, что все это шуточки!

Дида взглянула на меня, сразу же растерявшись. Потом на Кванторцо, потом снова на меня и наконец с опаской спросила:

— Да что такое ты, в конце концов, натворил? Жестом я сделал ей знак подождать. Потом с тем же серьезным лицом повернулся в Кванторцо:

— Синьор Фирбо нашел в шкафу страшный беспорядок. А почему ты не спрашиваешь, что нашел там я?

И вот — смотрите, смотрите! — Кванторцо заерзал на диване и раз двадцать моргнул, инстинктивно пытаюсь сосредоточиться и побороть смятение, в которое поверг его не столько даже мой вопрос, сколько тон, каким я его задал.

— И что? Что ты там нашел? — пробормотал он. Я ответил, пояснив свои слова жестом:

— Слой пыли в палец толщиной.

Мы взглянули друг на друга в замешательстве. Мой тон исключал, чтобы я просто по глупости произнес эту фразу, которая сама по себе была глупой, и потому Кванторцо растерянно повторил:

— Слой пыли? Что ты хочешь этим сказать?

— Вот это да — что я хочу сказать! Да то я хочу сказать, что все эти папки спали! Спали годами! Слой пыли толщиной в ладонь, повторяю, с ладонь! Да и в самом деле — один дом пустует, за другой бог знает сколько лет не платили!

Кванторцо — этого я от него не ожидал — сделал вид, что удивлен еще больше, чем раньше:

— А! — сказал он. — Так, значит, это твой способ будить дома? Подарил — разбудил?

— О нет, дорогой, — воскликнул я, взорвавшись, частью притворно, но частью и в самом деле. — Нет, дорогой мой, просто я хочу сказать, что вы сильно заблуждаетесь на мой счет, и ты, и Фирбо, и все, сколько вас там ни на есть. Я болтаю, болтаю, несу всякую чушь, веду себя так, будто я не в себе, но ведь это все неправда, потому что я замечаю все, решительно все.

На этот раз Кванторцо реагировал так, как я и ожидал. Он воскликнул:

— Да ради бога! Что ты замечаешь? Пыль в шкафу, это ты замечаешь?

— И свои руки, — добавил я неожиданно, сам не знаю почему, и показал ему руки; и от тона, которым я произнес эти слова, я вздрогнул снова, так как увидел вдруг себя в той комнатке: как поднимаю я руки, чтобы укрывать папку у самого себя, после того представились мне внутри того шкафа руки отца — белые, пухлые, с унизанными кольцами пальцами в рыжем пуху.

— Я прихожу в банк, — продолжал я, чувствуя усталость и тошноту и ясно видя все растущее замешательство в них обоих, — я прихожу в банк только тогда, когда вы зовете меня что-нибудь подписать, но — будьте осторожнее! Потому что мне не надо туда даже приходиться, чтобы знать, что там делается!

Я искося взглянул на Кванторцо, и мне показалось, что он очень бледен (только не забывайте, что я говорю все время о своем Кванторцо, потому что Кванторцо Диды, может быть, и не был бледен, а если бы он и показался ей бледным, она бы, конечно, подумала, что это от возмущения, а не от страха, как это было — могу в этом поклясться! — с моим). Во всяком случае, он всплеснул руками, и глаза у него прямо-таки полезли из орбит, когда он спросил:

— А, так ты, значит, держишь шпионов? Ты, значит, нам не доверяешь?

— Да доверяю я, доверяю, нет у меня шпионов! — поспешил я его успокоить. — Я просто наблюдаю со стороны за результатами ваших операций, и мне этого достаточно. Скажи-ка: ты и Фирбо, вы ведь продолжаете следовать правилам моего отца?

— Абсолютно точно, ни на йоту не отступая.

— Я и не сомневался. Но, что бы вы ни делали в соответствии с вашими обязанностями, вы защищены должностью, которую исполняете, один — директор банка, другой — юрисконсульт. Отца моего, к сожалению, уже нет. Так вот, я хотел бы знать, кто отвечает за все дела банка перед жителями нашего городка?

— То есть как это — кто отвечает? — воскликнул Кванторцо. — Да мы, мы отвечаем! И именно потому, что мы отвечаем, мы и хотим быть уверены, что ты не будешь вмешиваться в наши дела, совершая поступки, которые можно по меньшей мере назвать легкомысленными.

Я отрицательно поводит пальцем перед его носом, потом спокойно сказал:

— Это неправда. Вы — нет, вы ни за что не отвечаете. Если, конечно, вы действительно не отступаете от правил, заведенных отцом. Самое большее — вы отвечаете передо мной, если вдруг перестанете этим правилам следовать и я потребую от вас отчета и объяснений. А вот перед людьми, спрашиваю я вас, кто отвечает? Перед людьми отвечаю я, то есть тот, кто подписывает все ваши бумаги, — я, и только я! И я вот что хочу понять.

Вот вы требуете моей подписи под всем, что ни делаете, а мне в своей отказываете почему-то, даже в том единственном случае, когда что-то захотелось сделать и мне.

Должно быть, перед этим он действительно сильно испугался, потому что при этих моих словах он трижды весело подпрыгнул на диване, восклицая:

— Ну хорош! Ну хорош! Ну хорош! Ты спрашиваешь почему? Да потому, что наши действия — это нормальные для банка действия. В то время как твой поступок — прости, но ты сам заставляешь меня это сказать! — был поступком сумасшедшего! Настоящего сумасшедшего!

Я вскочил и наставил ему в грудь, как пистолет, указательный палец.

— А, так ты считаешь меня сумасшедшим?

— Да нет же! — ответил он, сразу же сникнув под этим угрожающим пальцем.

— Ага, нет, говоришь? Так, значит, и условимся, что нет — смотри, не забудь!

Кванторцо в растерянности заколебался, не потому, что снова заподозрил во мне сумасшедшего, а потому, что не понимал, почему я так настаивал, чтобы он запомнил, что я не сумасшедший; он боялся ловушки, и, уже почти жалея о том, что сказал нет, попытался отречься от сказанного посредством кривой улыбки:

— Да нет, погоди же!.. Ведь ты сам должен согласиться...

Какая прелесть! Ах, какая прелесть! Теперь уже Дида смотрела попеременно то на него, то на меня, и было ясно, что она не знает, что и думать обо мне и о нем. И этот мой взрыв, и этот неожиданный вопрос, которые для Диды были взрывом и вопросом ее Джендже, были абсолютно необъяснимы в качестве поступка Джендже, если только присутствующий здесь Кванторцо, а вместе с ним и Фирбо не совершили по отношению к нему такой серьезной провинности, что достаточно было минутного замешательства Кванторцо, чтобы милый ее Джендже сделался — боже мой! — неизвестным; то есть я хочу сказать, что этот взрыв и этот вопрос впервые заставили ее усомниться в серьезности и благоразумии столь уважаемого ею Кванторцо. И в ее глазах так ясно читалось это сомнение, что Кванторцо, обернувшийся было к ней, когда, криво улыбаясь, он попытался отказаться от своих слов, смешался еще больше, не найдя

в ней поддержки, на которую, как ему казалось, он мог рассчитывать.

Я расхохотался — ни он, ни она не поняли почему, а мне хотелось трясти их за плечи и кричать: «Ну что, вы видите? Вы видите? Как можете вы до сих пор быть такими самоуверенными, раз достаточно самого ничтожного давления, чтобы заставить вас усомниться и в себе, и в других?»

— Да ладно, — перебил я раздраженно Кванторцо, давая понять, что его мнение обо мне и о моей умственной состоятельности не имеет, по крайней мере сейчас, никакого значения. — Ты лучше вот что скажи. Я видел у вас в банке весы — большие и маленькие. Кажется, ими пользуются для взвешивания закладов, верно? Так скажи мне, скажи по совести, ты никогда не думал, какой вес может иметь для других то, что ты называешь нормальной банковской операцией?

При этом вопросе Кванторцо снова огляделся вокруг так, словно кроме меня на него оказывал давление и пытался сбить с толку кто-то еще.

— То есть как это по совести?

— А ты думаешь, твоя совесть здесь ни при чем? — парировал я. — Ну да, конечно! А может быть, ты думаешь, что и моя ни при чем, раз уж я столько лет держал ее в банке вместе со всем другим наследством, а вы поступали с нею согласно правилам моего отца?

— Но банк... — пытался протестовать Кванторцо.

Я снова взорвался:

— Банк... банк... Ты ничего не видишь, кроме банка. Но слышать брошенное в лицо «Ростовщик!» приходится между тем мне!

При этой неожиданной выходке Кванторцо тоже вскочил на ноги так, словно услышал вдруг грубейшее из ругательств, чудовищнейшую из глупостей; воздев к небу руки и вскричав «О боже милостивый!», он бросился было прочь, но тут же поворотил назад и повторил еще раз «О боже милостивый», сжимая руками голову и глядя на мою жену так, словно хотел сказать: «Нет, вы слышите, вы слышите, что за ребячество! А я-то думал, что услышу что-нибудь серьезное!» И, схватив меня за руки, словно для того чтобы вывести из замешательства, в которое невольно повергла меня его яростная пантомима, воскликнул:

— И ты серьезно об этом думаешь? Да брось ты! Брось!

И, как бы беря реванш, указал в качестве довода на мою жену, которая смеялась — да-да, смеялась, прямо-таки падала от смеха, — смеялась, разумеется, над моими словами, но, может быть, и над эффектом, который мои слова вызвали в поведении Кванторцо, и над замешательством, которое, в свою очередь, вызвало во мне его поведение, над замешательством, которое, конечно, живо воскресило в ее памяти такой ей знакомый, такой милый облик глупого ее Джендже!

И вдруг я почувствовал, что этот смех задел меня за живое, да так, что я даже не ожидал, чтобы меня можно было задеть в такую минуту, в таком душевном состоянии, в котором я вел этот спор; я чувствовал, что задет за живое, но что такое было это «живое» и где оно было, я не знал, тем более что для меня было очевидно, что в присутствии Диды и Кванторцо я сам исчезаю; тут был только ее Джендже и его дорогой Витанджело, а я не мог представить себя живущим ни в том, ни в другом образе.

Все образы, в которых я сам мог представить себя живущим — то есть кем-то, — все образы, в которых могли вообразить меня другие, к этому касательства не имели; я был задет за живое так бесконечно глубоко, что у меня потемнело в глазах.

— Перестань смеяться! — закричал я так, что она, взглянув на меня (и кто знает, что она при этом увидела!) внезапно смолкла, и лицо ее исказилось.

— А ты, ты послушай, что я тебе скажу, — продолжал я, обращаясь к Кванторцо, — я хочу, чтобы банк был закрыт, закрыт сегодня же.

— Закрыт? Что ты такое несешь?

— Да, закрыт, закрыт! — повторил я, наступая на него. — Я желаю, чтобы его закрыли. Хозяин я тут или нет?

— О нет, дорогой, ты не хозяин, — взбунтовался он. — Ведь хозяин не один ты!

— А кто же еще? Может быть, господин Фирбо?

— Да твой же тесть! И мало ли кто еще!

— Однако банк носит мое имя!

— Нет, он носит имя твоего отца, того, кто его основал.

— Ага, так вот, я хочу, чтобы это имя с него сняли!

— Какое там «сняли»! Это невозможно!

— То есть как это невозможно? Я уже не распоряжаюсь собственным именем? Именем своего отца?

— Да, не распоряжаешься, потому что в актах основания банка это имя значится как имя банка, который был таким же созданием твоего отца, как и ты сам. И потому банк носит его по такому же праву, по какому носишь его ты.

— Ах так?

— Да, так!

— А деньги? Те, что отец в него вложил? Он оставил их банку или мне?

— Тебе, но вложенными в банковские операции.

— А если я не желаю их больше, этих операций? Если я хочу изъять деньги и вложить во что-нибудь другое, по своему усмотрению. Разве я им не хозяин?

— Но банк тогда лопнет!

— А ты думаешь, мне это не все равно? Говорю тебе, я знать о нем больше не желаю!

— Зато другим не все равно! Ты идешь не только против собственных интересов, ты идешь против интересов других людей — твоей жены, твоего тестя.

— Ничего подобного. Другие пусть делают что хотят, пусть продолжают держать там деньги, но свои я изымаю.

— То есть ты хочешь ликвидировать банк?

— Плевать мне, как это называется! Я знаю одно: хочу — понимаю, хочу! — хочу взять свои деньги, и кончим с этим раз и навсегда.

Сейчас я ясно вижу, что всякий яростный спор, всякая словесная перепалка — это, в сущности, потасовка между двумя противоположно направленными волями, которые по очереди пытаются умертвить друг друга, нанося удар, отражая, снова нанося, будучи каждый раз уверены, что последний удар должен уложить противника; и так до тех пор, пока и та и другая воля не увидят в упорном сопротивлении врага, в жестокости его ответных ударов все более и более убедительных доказательств того, что настаивать бесполезно, потому что противоположная сторона не уступит. И самое здесь смешное — это настоящие кулаки, аккомпанирующие этим яростным, словесным или, лучше сказать, орущим кулакам, кулаки, инстинктивно поднятые к самой физиономии противника, хотя к ней и не прикасающиеся; а еще — зубовный скрежет, а еще — надменно вздернутые носы, и нахмуренные брови, и дрожь во всем теле! Выпалив свое последнее трехкратное «Хочу!», я, должно быть, основательно под-

мьял под себя Кванторцо. Я увидел, как он молитвенно складывает руки:

— Но можешь ты по крайней мере сказать почему? С чего это ты вдруг?

И когда я увидел этот жест, у меня закружилась голова. Я вдруг понял, что объяснить вот так, прямо сейчас, ему и жене, которые жадно ждали моего слова — он умоляюще, она испуганная и встревоженная, — объяснить причину этого моего непреклонного решения, которое должно было иметь для всех столь серьезные последствия, я просто не могу. Эти причины, беспорядочно теснившиеся у меня в голове, так истончились, так перекрутились от долгих мучительных раздумий, что были не ясны сейчас даже мне самому; к тому же гневное возбуждение вырвало меня из той области немеркнувшего пронзительного света, который мрачно сиял для меня одного с тех пор, как я его открыл, света, которого не видели остальные, такие слепые и такие уверенные в себе благодаря привычной полноте ощущений.

Я сразу понял, что, открой я хотя бы одну причину, я сразу же покажусь непоправимо сумасшедшим — и ему, и ей; ну, скажем, хотя бы ту причину, что вплоть до последнего времени я никогда не видел себя таким, каким видели меня они, то есть я жил себе спокойно и приятно ростовщичеством своего банка, не будучи обязанным признавать это открыто. Когда же я наконец им в этом признался, это показалось им такой невероятной наивностью, что он реагировал на это до смешного яростной пантомимой, а она — непреодолимым приступом смеха. Так как же я мог им сказать, что именно эта наивность, показавшаяся им такой невероятной, и толкнула меня на мое решение? Ведь разве не был я ростовщиком, не обречен был им быть еще до того, как родился? И разве не вышел я на главную дорогу безумия, — отделив свою волю от себя, «выпустив» ее, как выпускают из кармана платочек, — когда совершил поступок, который должен был показаться всем непоследовательным, противоречащим самой моей сущности? И не пришлось ли мне в результате признать, что господин Витанджело Москарда может сойти с ума, но перестать быть ростовщиком он не может?

Именно тут, в этой точке я и был задет за живое, и так больно, что ослеп и ничего не видел; я знал одно, что ростовщиком я больше не буду, нет; я никогда не был им в своих глазах и не хочу им быть в глазах дру-

гих; не хочу и не буду, пусть даже я заплачу за это разорением. Наконец-то во мне проснулось какое-то чувство, вот это самое чувство, и его поддерживала воля, которую только укрепляло во мне упорное противодействие окружающих, немое и непроницаемое, словно камень. И потому как только жена, воспользовавшись моим замечанием, набросилась на меня с требованием, чтобы Джендже оставил несвойственный ему повелительный тон, как только она начала размахивать у меня перед носом руками, в глазах у меня потемнело: я схватил ее за руки, встряхнул и, оттолкнув, швырнул в кресло.

— Да прекрати ты с этим своим Джендже! Я не Джендже, не Джендже, не Джендже! Пора покончить с этой марионеткой. Я хочу того, чего хочу, и как я хочу, так оно и будет!

Я обернулся к Кванторцо:

— Ты понял?

И в ярости вышел из гостиной.

КНИГА ШЕСТАЯ

1. ССОРА

Немного позже, запертый в своей комнате, как зверь в клетке, я стонал и отфыркивался, вспоминая о грубом насилии, которое учинил над женой (впервые в жизни!), и в глазах у меня белым наваждением все стояла ее легкая фигурка, которая, казалось, вся рассыпалась на тысячи частей, когда я тряс ее, отталкивая от себя, а потом, схватив за руки, швырнул в кресло.

Ах, какой она была легкой в этих своих оборочках вокруг белоснежного платья, когда я так грубо ее толкнул!

А теперь, когда я сломал ее, как хрупкую куклу, с яростью швырнув в кресло, теперь ее уже не починить. И вся моя с нею жизнь — игра с куклой — тоже теперь сломана, кончена, и, может быть, навсегда.

Весь ужас этого насилия я еще ощущал в своих дрожащих руках. И я заметил, что ужас вызывало во мне не столько даже само это насилие, сколько слепо восставшие во мне чувство и воля, благодаря которым я в конце концов и обрел какой-то определенный облик: звериный облик, вселявший в окружающих страх и сделавший мои руки руками насильника.

Итак, я стал кем-то.

Вот он я.

Я, который отныне таким и хотел быть.

Я, который отныне таким себя и чувствовал.

Наконец-то!

Уже не ростовщик (с банком покончено) и не Джендже (покончено и с этой марионеткой).

Но сердце продолжало бешено колотиться у меня в груди. Я задыхался. Я сжимал и разжимал руки, впинаясь ногтями в кожу. И сам того не замечая, скреб одной рукой ладонь другой, и кружил по комнате, и непроизвольно ощеривался, как грызущая удила лошадь. Я был словно в бреду.

Но если я стал кем-то, то кто он, этот кто-то?

Ведь теперь я знал, что у меня нет глаз, которыми я мог бы себя увидеть, то есть увидеть человека, который был бы реален и для меня. Меня могли видеть лишь чужие, только чужие глаза, и я опять так и не знал, каким я им кажусь с этой моей новорожденной волей, потому что я и сам не знал, кто я теперь.

Уже не Джендже.

Другой.

Именно этого я и хотел.

Но разве было во мне еще что-нибудь, кроме этой муки ощущать себя кем-то одним и в то же время сотней тысяч других? Эта новая для меня воля, новое для меня чувство слепо восставали в тот момент, когда меня задевали за живое, но тут же сникали, тут же сникали, едва загорался тот самый открытый мною слепящий мертвый свет.

Но все же мне хотелось разобраться и понять: а нельзя ли все-таки что-нибудь выстроить на разболтанном скелете оставшейся во мне толики воли с помощью той капельки крови, которая выступила, когда я был задет за живое; ах, как же он был жалок, этот бедный человечек, страшившийся чужих взглядов и зажавший в кулаке пачку денег, полученных при ликвидации банка!

Да и вправе ли я был оставлять себе эти деньги? Разве я их заработал? Оттого, что я изъял их из банка, чтобы они не служили больше делу ростовщичества, разве от этого они сразу же стали чистыми? И что тогда? Выбросить их? А на что я буду жить? Что я умею делать? А Дида?

И Дида тоже — сейчас, когда ее не было рядом, я чувствовал это особенно ясно, — Дида тоже была тем за-

детым во мне живым местом. Я любил ее, несмотря на муку, которую причиняло мне сознание того, что в моем теле она любит не меня. Но сладость, которую испытывало мое тело от ее любви, эту сладость вкушал я, слепой от страсти, вкушал даже тогда, когда мне хотелось ее задушить, то есть когда я замечал как подобием улыбки или вздоха трепещет на ее влажных, сведенных судорогой губах глупое имя Джендже.

2. В ПУСТОТЕ

Была какая-то настороженность в неподвижности всех вещей в гостиной, куда я вошел привлеченный внезапной тишиной: кресло, где сидела она, диван, в котором утопал Кванторцо, светлый лакированный позолоченный столик, и стулья, и занавески — все это поселило во мне такое ужасное ощущение пустоты, что я тут же обернулся к слугам, Диго и Нине, которые сообщили мне, что хозяйка ушла с синьором Кванторцо и приказала все свои вещи собрать, запаковать и отослать к отцу; они смотрели на меня в смятении, в их открытых ртах и пустых глазах была растерянность.

Их вид привел меня в раздражение. Я воскликнул: — И прекрасно! Исполняйте приказание!

Среди всей этой пустоты даже приказ, требовавший исполнения, — это уже было хоть что-то, по крайней мере для других. Да и для меня тоже — как только уйдут эти двое.

Когда я остался один, я, к удивлению своему, подумал почти весело: «Я свободен! Она ушла!» Хотя мне все казалось, что это не может быть правдой. У меня было ужасно странное ощущение, будто ушла она, чтобы доказать мне справедливость моего открытия, имевшего для меня значение столь огромное и абсолютное, что рядом с ним все прочее становилось ничтожным и относительным — пусть даже это открытие привело к тому, что я потерял жену. Тем более!

Тем более!

Ведь, в сущности, только способ, избранный ею для доказательства, был ужасен. Все прочее — да, да, в самом деле! — могло показаться даже смешным: и то, что она вот так вот взяла и ушла вместе с Кванторцо, и то, что я по-идиотски вспылал из-за какой-то ерунды, из-за того, что кто-то называл меня ростовщиком!

Но что это? Неужто я снова пришел к тому, что ничего не могу принимать всерьез? А как же та моя рана, то живое место, за которое я был задет и из-за чего, собственно, и сорвался?

В самом деле. Где эта рана? Во мне?

Я дотрагивался до себя, сжимал руки и говорил: «Да, это я», — но кому я это говорил? Для кого? Я был один. Один в целом мире. И для самого себя тоже один. И я вздрогнул, и волосы зашевелились у меня на голове, когда я ощутил вечность и холод этого бесконечного одиночества.

Кому я мог сказать «я»? И что значило это «я», если для других оно было наполнено содержанием, которое я никогда не мог признать своим, а для самого меня — если рядом других не было — любое содержание сразу же превращалось в ужас полной пустоты и полного одиночества.

3. Я ПРОДОЛЖАЮ ПОДВЕРГАТЬ СЕБЯ РИСКУ

На следующее утро ко мне пришел тесть.

Правда, сначала я должен был бы рассказать — но не расскажу, — чего только я себе не навоображал, проведя большую часть ночи почти в бреде, то есть размышляя о всех последствиях ситуации, в которую я поставил себя не только по отношению к другим, но и по отношению к самому себе тоже.

Задыхаясь, я пробудился от короткого свинцового сна со странным ощущением враждебной тяжести во всем, что меня окружает, — даже в воде у меня в горсти, когда я умывался, даже в полотенце, которым я вытирался; и только когда мне доложили об этом визите, во мне снова проснулся тот веселый дух каприза, который, к счастью, продувал еще иногда мою душу подобно благодетельному ветру.

Я отшвырнул полотенце и сказал Нине:

— Прекрасно! Пускай подождет в гостиной. Скажи, что я сейчас выйду.

Я взглянул в зеркало шкафа с фамильярностью, перед которой невозможно было устоять; я даже подмигнул, чтобы показать тому Москарде, как замечательно мы понимаем друг друга. И, сказать по правде, он тоже мне сразу подмигнул, как бы подтвердив тем самым существующее между нами согласие.

(Я знаю, вы скажете, что все это потому, что тот Москарда был я сам же, только в зеркале, и это только еще раз докажет, что вы ничего не поняли. Тем более что минутой позже, прежде чем выйти из комнаты, я обернулся, чтобы взглянуть на него еще раз, и он уже был другой — и для меня другой тоже! — с какой-то дьявольской улыбкой в зорких блестящих глазах. Вы бы его испугались, я — нет, потому что знал его и раньше. Я помахал ему рукой. Сказать по правде, он помахал мне тоже.)

Но все это только завязка. Развернулась же комедия уже в гостиной, с участием тестя.

То есть вчетвером?

Нет!

Сейчас вы увидите, сколько разных Москард я, развлекаясь, произвел в то утро на свет.

4. ВРАЧ? АДВОКАТ? УЧИТЕЛЬ? ДЕПУТАТ?

Причиной того, что в то утро столь неожиданно пробудился во мне веселый дух каприза, был, несомненно, мой тесть, а вернее, мое непочтительное о нем представление — представление о нем как о самодовольном идиоте.

Очень аккуратный, и не только в одежде, но и в том, как подстрижены, как уложены были волосы и усы, светлый блондин с внешностью не скажу вульгарной, но в общем заурядной, он вполне мог бы избавить себя от забот о собственной наружности, потому что самые безупречные костюмы сидели на нем так, словно были не его, а того портного, который их шил, а голова и руки были так тщательно причесаны и так тщательно отделаны, прежде чем их пристегнули прямо живьем к воротничку и рукавам, что эти восковые обрубки можно было спокойно выставлять в витрине парикмахера и перчаточника.

У всякого, кто слышал, как он говорит, — жмуря небесно-голубые эмалевые глаза и блаженно улыбаясь при каждом слове, слетавшем с его коралловых уст, а потом приоткрывает глаза, причем правое веко некоторое время остается еще немного приспущенным, словно он не может сразу оторваться от смакования чего-то такого восхитительного, что вы не можете себе и представить, — у всякого возникало ужасно странное ощущение,

таким он казался фальшивым. Я же говорю — портновский манекен или восковая голова, выставленная в витрине парикмахерской!

И оттого, что я ожидал увидеть его именно таким, а он, к моему изумлению, предстал передо мной взволнованный, взлохмаченный, весь в беспорядке, мне вдруг захотелось пойти на тот восхитительный риск, на какой идет человек, выступая безоружным и улыбающимся навстречу вооруженному врагу, нападшему на него внезапно, после обещания не сделать ни шагу дальше.

Вызывающая улыбка, рассеянный вид — все от взывавшего во мне веселого духа каприза — таким я вступил в игру, опаснейшую игру, где на карту ставились жизненно важные интересы — и мои, и этого человека, и многих других людей, и судьба банка, и судьба моего семейства; в этой игре должно было лишиться раз подтвердиться то ужасное, что я и так уже знал, то есть что меня снова и еще более уверенно отнесут к сумасшедшим, когда услышат то, что я собирался им сказать, бросившись, очертя голову, с высоты той неправдоподобной, невероятной наивности, которая так поразила Кванторцо и так рассмешила мою жену.

Хотя на самом-то деле, по здравом размышлении, то, к чему я собирался прицепиться, то есть «совесть», для меня самого не было столь уж основательным доводом. Так ли уж серьезно был я уязвлен этим «ростовщичеством», которым, в сущности, никогда и не занимался? Да, формально я подписывал банковские документы и до сегодняшнего дня, не задумываясь, жил на доходы, которые банк мне приносил, но теперь-то, когда я уже все понял, теперь я выну деньги из банка и, чтобы чувствовать себя совсем уже спокойно и свободно, займусь благотворительностью или чем-нибудь вроде.

— Как? Так, значит, ты считаешь, что все это так, ерунда? О господи, так, значит, это правда?

— Что правда?

— Да то, что ты сошел с ума! А как ты собираешься поступить с моей дочерью? Как ты собираешься жить? На что?

— Вот это верно, это действительно вопрос, который требует серьезного рассмотрения.

— Вот так, одним ударом погубить свое положение? С тех пор как стоит свет, всякий занимается своим делом!

— И прекрасно! Вот и я с сегодняшнего дня буду заниматься своим.

— Каким «своим», каким «своим», если ты собираешься пустить по ветру деньги, добытые твоим отцом за столько лет труда!

— У меня за плечами шесть курсов университета.

— Так ты что, хочешь вернуться в университет?

— А что, мог бы и вернуться.

Тут он стал было подниматься. Но я удержал его вопросом:

— Простите, но ведь до ликвидации банка есть еще время, правда?

Он в ярости вскочил и воздел руки к небу:

— Какая ликвидация? Какая ликвидация? Какая ликвидация?

— Ну, если вы не даете мне слова сказать...

Он резко обернулся:

— Да разве ты говоришь? Ты бредишь!

— Я совершенно спокоен, — заметил я. — Я просто хотел вам сказать, что в свое время изучил множество материй, правда, не до конца...

Он смотрел на меня в растерянности.

— Множество материй? Каких материй?

— Я хочу сказать, что очень скоро мог бы, к примеру, получить диплом врача или преподавателя литературы или философии.

— Ты?

— А что, вы не верите? Я и медициной занимался. Три года. И мне даже нравилось. Спросите у Диды: кем ей хотелось бы видеть своего Джендже? Врачом или учителем? К тому же у меня хорошо подвешен язык: если б я захотел, я бы мог сделаться и адвокатом.

Его затрясло.

— Но ведь ты никогда ничего не делал!

— Да, но заметьте — не по легкомыслию. Наоборот. Дело в том, что я излишне во все углублялся. Поверьте, ничего нельзя довести до конца, если начнешь углубляться. Ведь когда углубляешься, невольно делаешь столько открытий! Но, уверяю вас, мне легче легкого стать врачом, а если Дида пожелает, то и учителем. Стоит мне только этим заняться.

Весь багровый, оттого что с трудом сдерживался, слушая мои речи, после этих слов он все-таки бросился прочь. Не выдержал. Я бежал следом, крича:

— Постойте, послушайте! А представляете, если

я еще раздам отцовские деньги? Какая сразу популярность! Меня могли бы выдвинуть депутатом — вы только подумайте! Стоит только Диде или вам захотеть! Зять — депутат! Представляете себе — я депутат? Депутат, а?

Но он бежал, не оборачиваясь, и только кричал в ответ на каждое мое слово:

— Сумасшедший! Сумасшедший! Сумасшедший!

5. А ПОЧЕМУ БЫ И НЕТ, СПРОШУ Я

Не отрицаю, тон у меня был шуточный — все из-за того, что я был обуян тем веселым духом каприза. И могло показаться, что говорил я легкомысленно — признаю. И тем не менее мысль сделать из Джендже врача, адвоката, учителя или депутата, хотя и была смешна мне, ему-то как раз могла бы внушить и почтение, ибо в провинции с уважением относятся ко всем этим благородным профессиям, исполняемым, как правило, абсолютными посредственностями, так что, по правде сказать, мне было бы совсем нетрудно с ними конкурировать.

Причина была в другом, я знаю. Просто он не видел меня во всех этих лицах, даже он не видел, мой тесть. И совсем не потому, почему я.

Он просто не мог примириться с мыслью, что его зять (тот самый Джендже, которого он во мне видел, и бог его знает каким) перестанет быть тем, чем он был до сих пор, то есть утратит тот удобный образ марионетки, в который облекали его и он, и дочь, и все банковские пайщики.

Я должен был оставить его таким, каким он был, этого Джендже, этого злого доброго малого, и пусть бы он жил себе и дальше, не думая о ростовщической деятельности принадлежавшего ему банка.

И клянусь вам, что я бы так его и оставил — хотя бы ради того, чтобы не тревожить ту бедную куклу, чья любовь была мне, несмотря ни на что, так дорога, и чтобы не смущать стольких порядочных людей, которые меня любили, — если бы только, оставив его другим, сам бы я мог куда-нибудь уйти — в другом теле и под другим именем.

6. ПОДАВЛЯЯ СМЕХ

Я знал также, что, даже оказавшись в новых условиях, то есть сделавшись завтра врачом, адвокатом или учителем, я и в этих новых обличьях, с этими новыми обязанностями все равно не смогу ощутить, что стал кем-то для других или для себя.

Слишком страшила меня мысль оказаться заключенным в тюрьме какой бы то ни было формы.

И тем не менее все эти идеи, которые я развивал перед тестем просто ради того, чтобы посмеяться, сам я этой ночью пытался рассмотреть совершенно серьезно, подавляя смех, который вызывал у меня я сам в образе адвоката, врача или учителя. Я даже думал, что на ту или другую профессию я должен был бы согласиться, если бы ко мне вернулась (как я об этом мечтал) Дида и потребовала, чтобы я обеспечил ей жизнь с ее новым Джендже.

Правда, ярость, в которой убежал от меня мой тесть, должна была навести меня на мысль, что никакой новый Джендже не мог родиться для Диды из старого. Тем более что старый в ее глазах непоправимо сошел с ума, раз уж оказался способен вот так, из-за ничего, перевернуть жизнь, в которой прекрасно существовал до этого.

Да, видно, я действительно был сумасшедший, раз надеялся, что кукла, которой она была, сойдет с ума вместе со мною вот так, из-за ничего.

КНИГА СЕДЬМАЯ

1. ОСЛОЖНЕНИЕ

На другое утро посредством записочки, переданной со служанкой, я был приглашен к Анне Розе, приятельнице моей жены, о которой я раза два мельком упоминал выше.

Я так и знал, что кто-нибудь непременно выступит посредником, чтобы помирить нас с Дидой, но этот кто-нибудь, по моим расчетам, должен был появиться со стороны тестя и других пайщиков, а не прямо от жены, поскольку единственное препятствие, которое требовалось преодолеть, это было мое решение ликвидировать банк. А между мною и женой, в сущности, не произошло ничего особенного. Стоит мне сказать Анне Розе, что ис-

крenne раскаиваюсь в том, как обошелся с Дидой, то есть в том, что оттолкнул ее и швырнул в кресло, мы тут же помиримся.

То, что Анна Роза взяла на себя труд заставить меня отступить от моего решения, представив именно это как условие возвращения Диды, казалось мне совершенно невероятным.

Я слышал от Диды, что из-за презрения к деньгам ее приятельница отказалась от нескольких весьма выгодных партий, чем навлекла на себя порицание всех благоразумных людей, в том числе и Диды, которая, выйдя за меня (то есть за сына ростовщика), как бы дала понять своим подругам, что сделала это также и потому, что то была выгодная партия.

Так что на роль адвоката, пытающегося сохранить для подруги эту выгоду, Анна Роза годилась едва ли.

Скорее можно было предположить противоположное: с ее помощью Дида просто хотела сообщить мне, что отец вместе с другими пайщиками держит ее у себя и не дает вернуться, покуда я не отступлю от своего решения ликвидировать банк. Но, хорошо зная свою жену, я не мог поверить и в это.

Потому я отправился с визитом к Анне Розе, прямо-таки сгорая от любопытства. Я не мог понять, зачем он понадобился.

2. ПЕРВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Я мало знал Анну Розу. Несколько раз я видел ее в своем доме, но так как от подруг жены я всегда старался держаться подальше — скорее инстинктивно, чем сознательно, — я едва перемолвился с нею несколькими словами. Неясная улыбка, которую я ловил на ее губах, встретившись с ней иной раз глазами, казалась мне столь явно обращенной к дурачку Джендже, которым, несомненно, она меня и представляла, что у меня не возникало ни малейшего желания с нею поговорить.

У нее я никогда не бывал.

Круглая сирота, Анна Роза жила со старой теткой в доме, который был как бы придавлен высоченными стенами Большого монастыря; монастырь размещался в старинном замке, и в его окнах, забранных решетками с выгнутыми наружу прутьями, показывались на закате те несколько монахинь, которые там еще оставались. Од-

на из этих монахинь, та, что помоложе, и была тетка Анны Розы, сестра ее отца. Говорили, что она почти сумасшедшая. Но много ли нужно, чтобы свести с ума женщину, если запереть ее в монастыре! От своей жены, которая три года воспитывалась в монастыре Сан-Винченцо, я знал, что все монахини, как молодые, так и старые, все по-своему слегка сумасшедшие.

Анну Розу я не застал. Старая служанка, та, которая приносила записку, говорила со мной, соблюдая все меры предосторожности — через глазок, не отворяя двери. Она сказала, что барышня наверху, в монастыре, у тетки, и что я должен пойти к ней туда и попросить привратницу пропустить меня в приемную сестры Челестины.

Вся эта таинственность меня поразила. И поначалу вместо того, чтобы разжечь мое любопытство, отбила у меня всякую охоту идти. Как ни был я поражен, я все-таки решил сначала обдумать это странное приглашение: свидание в монастыре, в приемной монахини! Я не видел, какая может быть связь между моей пустой супружеской размолвкой и этим приглашением, и потому оно встревожило меня, как встревожило бы всякого непредвиденное осложнение, которое могло иметь неизвестно какие последствия.

Как теперь знают в Рикьери все, я тогда действительно едва избежал смерти. Но, чтобы уже навсегда покончить с подозрениями, будто мои показания были продиктованы желанием спасти Анну Розу, сняв с нее всякую вину, я хочу здесь еще раз повторить то, что сказал тогда перед судьями. Она ни в чем не виновата. Это я сам или, вернее, то во мне, что толкало меня на все мои мучительные размышления, и стало причиной того, что приключение, которое невозможно было предвидеть и в которое я оказался втянут невольнo в ходе моего последнего отчаянного эксперимента, привело к такому финалу.

3. РЕВОЛЬВЕР СРЕДИ ЦВЕТОВ

По одной из горбатых улочек старого Рикьери, из тех, что днем пропитаны зловонием гниющих отбросов, я отправился наверх, к монастырю.

Когда привыкнешь к какому-то определенному ритму жизни, очутиться вдруг в незнакомом месте и в его без-

молвии смутно ощутить какую-то тайну, которая, хотя мы и здесь, нам недоступна — это такая мучительная, такая неразрешимая тоска! Потому что кажется: сумеи мы в эту тайну проникнуть, как нам откроются совершенно новые неизведанные ощущения и мы словно заживем в совсем новом мире.

Этот монастырь, бывший феодальный замок Кьяромонте — источенные жучком низкие ворота, просторный двор с колодцем посредине, крытый пандус, темный и гулкий, суровый, как пещера, широкий коридор со множеством дверей по обеим сторонам, осевший пол из розовых кирпичей, блеснувших под лучами солнца, которые падали из распахивающейся в безмолвное небо высокой застекленной двери в самом конце коридора, — этот монастырь за время своего существования столько всего приютил — и людей, и событий, что сейчас, сторожа медленную агонию нескольких доживающих здесь свой век монахинь, потерянно бродивших внутри, обо всем, что было, он уже и не помнил. Все тут словно впадо в беспмятство от бесплодного нескончаемого ожидания — ожидания, когда же умрут наконец, одна за другой, эти последние монахини, и уже никто не мог сказать, почему этот баронский замок вот уже столько веков не замок, а монастырь.

Монахиня-привратница открыла одну из дверей в коридоре и ввела меня в приемную. В ту же минуту где-то внизу меланхолически звякнул колокольчик, призывая, должно быть, сестру Челестину.

В приемной было темно, так что поначалу, при свете, упавшем из коридора, когда открылась дверь, я сумел различить в ней только решетку, в самой глубине комнаты. Войдя, я остался стоять в ожидании и не знаю, сколько бы простоял, если бы в конце концов донесшийся из-за решетки тихий голос не пригласил меня сесть, потому что Анна Роза вот-вот вернется из сада.

Не могу описать, какое впечатление произвел на меня этот неожиданный голос в темноте, из-за решетки. Словно среди тьмы мне блеснуло солнце, которое заливало сейчас, наверное, монастырский сад; я не знал, где он, но, конечно, он должен был быть зеленым, ужасно зеленым, и среди всей этой зелени вдруг высветилась для меня фигура Анны Розы такой, какой я ее никогда не видел: вся — трепет грации и лукавства. Это была мгновенная вспышка. Потом снова наступила темнота. То есть не вполне темнота, потому что теперь я мог разглядеть

в комнате решетку, а перед ней столик и два стула. За решеткой царило молчание. Я поискал там голос, который только что со мной говорил — тихий, но чистый, как будто молодой. Там никого не было. И, должно быть, это был все-таки голос старухи.

Анна Роза, этот голос, эта приемная, солнце среди тьмы, зеленый сад — у меня закружилась голова.

Вскоре Анна Роза открыла дверь и окликнула меня из коридора. Лицо у нее горело, волосы были растрепаны, глаза сверкали, белая шерстяная вязаная кофточка от жары распахнута на груди, в руках охапка цветов, а к плечу, свисая за спиной до самого пола, прицепилась ветка плюща.

Позвав меня, она устремилась в глубь коридора, к застекленной двери, но уже когда подымалась по ведущим к ней ступенькам, цветы вдруг посыпались у нее из рук; стараясь их удержать, она уронила сумочку, которую держала в другой руке, и тут раздался выстрел, а за ним — пронзительный крик, отдавшийся эхом во всем коридоре.

Я едва успел подхватить Анну Розу, падавшую мне на руки. И в полном ошеломлении, еще прежде чем понял, что произошло, увидел вокруг семь испуганно причитающих старых монахинь, которые выбежали в коридор на звук выстрела и, увидев в моих объятиях Анну Розу, пришли в какое-то странное замешательство, не имевшее отношения к случившемуся и причину которого я сразу даже не понял, настолько она мне показалась невероятной. Сколько я их ни спрашивал, где тут постель, куда можно уложить раненую, они на все отвечали только одно: что скоро должен прибыть Монсиньор. «Монсиньор! Монсиньор!» Тем временем Анна Роза, лежа в моих объятиях, кричала: «Револьвер! Револьвер!» То есть требовала, чтобы я подал ей револьвер, который она всегда носила в сумочке как память об отце.

То, что в упавшей на пол сумочке должен был быть револьвер, который, разрядившись, ранил ее в ногу, я понял в самом начале, но я никак не мог понять, зачем она принесла его с собой именно в то утро, когда назначила мне свидание. Мне показалось это очень странным, но в ту пору мне даже в голову не приходило, что она могла принести его для меня.

Совершенно растерявшись, видя, что никто не хочет позаботиться о раненой, я взял ее на руки, вынес из монастыря и понес вниз, по улочке, домой.

Немного позже мне пришлось еще раз подняться в монастырь, чтобы подобрать валявшийся под дверью револьвер, которому еще суждено было сыграть свою роль в моей жизни.

4. ОБЪЯСНЕНИЕ

Слух о странном происшествии в монастыре, о том как выбежал я оттуда, неся на руках раненую Анну Розу, молнией распространился по Рикьери, дав повод для сплетен, которые в своей абсурдности поначалу показались мне даже смешными. Так далек я был от мысли, что их может не только счесть за вполне правдоподобные, но прямо-таки безоговорочно в них поверить, причем не только те, которые распространяли их и подогревали, но даже та, которую я, раненую, нес на руках.

А между тем все было именно так.

Потому что Джендже, господа, тот самый глупенький Джендже жены моей Дида, оказывается, питал — а я-то ничего не знал! — самую горячую симпатию к Анне Розе. Так решила Дида — Дида, которая эту симпатию заметила. Самому Джендже она ничего не сказала, но, посмеявшись, под секретом поведала об этом своей приятельнице — частью для того, чтобы доставить ей удовольствие, частью для того, чтобы объяснить, почему Джендже избегал ее, когда она приходила к нам с визитом: он боялся влюбиться.

Я не считаю себя вправе опровергать то, что Джендже питал симпатию к Анне Розе. Самое большее, что я мог бы утверждать, это то, что я ее не питал, хотя и это не вполне справедливо, потому что на самом деле я просто никогда не давал себе труда задуматься — симпатию или антипатию чувствую я к приятельнице своей жены.

Я, кажется, уже ясно объяснил, что образ Джендже принадлежал не мне, а создавшей его жене моей Диде.

И, следовательно, если Дида приписывала своему Джендже эту тайную симпатию, неважно, что я в нее не верил, главное — в нее верила она, и даже объясняла ею мое стремление держаться подальше от Анны Розы; и Анна Роза в нее тоже верила, придавая взглядам, которые я иной раз на нее бросал, значение куда большее, чем они имели, так что я переставал быть миленьким глупеньким Джендже, которого выдумала Дида, а стано-

вился несчастнейшим синьором Джендже, потому что должен был испытывать бог весть какие страдания, раз знал, как его любит и почитает жена.

И, если вы хорошенько подумаете, это еще самое меньшее, что могло произойти из факта существования множества совершенно бесспорных в своей реальности образов, в которые облакают нас окружающие. Не давая себе труда над этим задуматься, мы обычно называем это ложными допущениями, ошибочными суждениями, голословными утверждениями. Но то, что можно о нас вообразить, то возможно и в действительности, пусть даже сами мы в это не верим. Ну не верим мы — так окружающие над этим только смеются! Они-то верят! И верят настолько, что, если вы не будете твердо держаться образа, в котором видите себя сами, другие заставят вас признать, что образ, в котором видят вас они, гораздо вернее вашего. Я, как никто, испытал это на себе.

Итак, значит, я, сам ни о чем не подозревая, был страстно влюблен в Анну Розу и именно по этой причине оказался впутан в историю с выстрелом, причем впутан так, как я и представить себе не мог!

Ухаживая за Анной Розой после того как я принес ее домой, уложил в постель, сбегал за врачом и сиделкой, оказал ей первую помощь, я вдруг понял: то, что она вообразила себе на основании откровений Диды, то есть то, что я питаю к ней симпатию, вполне вероятно.

Сидя в ногах ее постели, в розовой интимности ее комнатки, обезображенной ужасным запахом лекарств, я получил все необходимые разъяснения прямо из уст Анны Розы. И прежде всего про револьвер в сумочке — причину всего происшедшего. Как она смеялась — смеялась от всего сердца! — что кто-то мог подумать, будто она принесла его в монастырь специально для меня, назначив мне там свидание.

Она всегда носила его с собой в сумочке, этот револьвер, с тех самых пор, как нашла его в кармашке жилета отца, скоропостижно умершего шесть лет назад. Крохотный, отделанный перламутром, такой яркий, такой блестящий, он казался ей игрушкой, игрушкой тем более прелестной, что изящный ее механизм таил в себе могущественную способность причинять смерть.

И она призналась мне, что часто, в те нередкие минуты, когда благодаря какому-то странному душевному смятению мир в ее глазах вдруг застывал и обесмысливался, у нее являлось искушение опробовать этот револь-

вер, и она играла с ним, испытывая приятное ощущение от прикосновения пальцев к гладкой полированной поверхности стали и перламутра. И вот, вместо того чтобы в висок или в сердце, по собственной ее воле! — он вдруг случайно кусает ее за ногу, с риском (а она очень этого боялась!) навсегда оставить хромой; и было что-то ужасно странное в неприятном чувстве, которое она от этого испытывала. Она-то думала, что он настолько в ее власти, что сам по себе сделать ничего не может. И потому теперь он стал казаться ей злым. Она вынимала его из ящичка комода, стоявшего рядом с ее кроватью, разглядывала и говорила:

— Злой!

Но свиданке в монастыре, в приемной у тетки-монахини, оно-то было зачем? А эти семь монахинь, которые, вместо того, чтобы позаботиться о раненой, все твердили в замешательстве про посещение какого-то Монсиньора?

Она разъяснила мне и эту загадку.

Ей было известно, что в то утро монсиньор Партанна, епископ, Рикьери, должен был посетить старых монахинь Большого монастыря, как он это делал каждый месяц. Для них его посещение было как бы предвосхищением небесного блаженства, а происшествие с револьвером могло этот визит расстроить, что для монахинь было бы худшим из несчастий. Что касается Анны Розы, то она пригласила меня этим утром в монастырь именно для того, чтобы я поговорил там с епископом.

Я? С епископом? Зачем?

Чтобы успеть воспрепятствовать тому, что замышлялось против меня.

Надо мной хотели учредить опеку, объявив, что я повредился в уме. Дида сказала ей, что со всех — и с Фирбо, и с Кванторцо, и с ее отца, и с нее самой — уже сняты показания, которые должны доказать мое внезапное умопомешательство. Об этом готовы свидетельствовать все, даже тот Туролла, которого я защищал перед Фирбо и другими служащими банка, даже Марко да Дио, которому я подарил дом.

— Но ведь он в этом случае его потеряет! — вырвалось у меня. — Если меня объявят сумасшедшим, акт дарения будет аннулирован.

Анна Роза рассмеялась моей наивности. Разумеется, Марко ди Дио обещали, что, если он будет свидетельствовать так, как требуется, дом останется за ним. К то-

му же кто-кто, а уж он мог свидетельствовать о моем помешательстве с самой чистой совестью.

Не понимая, я растерянно смотрел на Анну Розу, которая смеялась. Увидев мое недоумение, она принялась кричать:

— Господи, ну конечно же, все это было безумием! Чистое безумие! Сплошное безумие!

И все-таки, хотя все это было безумием, она была от него в восторге и одобряла его, и одобрила бы еще больше, если бы от этого безумия я постепенно перешел бы к самому грандиозному из безумий: то есть если бы взорвал на воздух банк и удалил от себя женщину, которая всегда была моим врагом.

— Диду?

— А кого же еще?

— Ну да, теперь она мой враг.

— Нет, нет, всегда, всегда была врагом!

И она рассказала мне, что уже давно старается объяснить моей жене, что я вовсе не так глуп, как ей кажется; они подолгу спорили, и Анне Розе стоило большого труда подавлять в себе возмущение, которое вызывало в ней настойчивое стремление этой женщины усматривать во всех моих словах и поступках или глупость, что совсем не соответствовало действительности, или злобу, усмотреть которую могла в них лишь откровенно враждебная мне душа.

Я был поражен. Из всех этих признаний Анны Розы передо мной вдруг возникла фигура Диды, совсем непохожая на ту, которая была моей, и в то же время такая достоверная, что в этот момент я больше чем когда-либо ощутил весь ужас сделанного мною открытия. Дида, которая говорила обо мне так, что я и представить себе не мог, чтобы она могла так говорить; Дида, ненавидевшая во мне даже тело! Все подробности нашей с ней близости были похищены у меня и преданы; преданы так бесстыдно, что сначала я их даже не узнал; чтобы их узнать, мне пришлось с трудом пробраться сквозь все смехотворное, которого я прежде в них не замечал, и побороть стыд, который, мне казалось, и не из-за чего там было испытывать. Как будто меня обманом заставили раздеться, а потом, распахнув дверь, выставили на посмешище всем, кто захочет взглянуть на меня вот такого — голого и беззащитного. И ее мнение о моих родственниках, и суждения о самых моих естественных привычках были такими, каких я никак от нее не ожидал.

Одним словом, совсем другая Дида, Дида — действительно! — враг.

И тем не менее я абсолютно уверен, что перед своим Джендже она не притворялась, она была с ним такой, какой только и могла с ним быть — цельной и искренней. Ну, а за пределами той жизни, которую она вела с ним, она становилась другой, такой, какой она представляла перед Анной Розой — то ли она считала, что так нужно, то ли ей это нравилось, а может быть, она действительно такой и была.

Но чему я удивлялся? Ведь мог же я предоставить Диде ее Джендже, целиком и полностью такого, каким она его для себя сотворила, а сам для себя оставаться совсем другим?

Так это было у меня, так это было и у всех.

Мне не следовало посвящать в мое открытие Анну Розу. Но она сама ввела меня в искушение, рассказав вот так вот, неожиданно, о моей жене. Я и представить себе не мог, что мое открытие поселит в ее душе такое смятение, что в конце концов заставит совершить безумство, которое она и совершила.

Но сначала я расскажу о своем визите к Монсиньору — визите, к которому Анна Роза побуждала меня с такой настойчивостью, словно речь шла о деле, не терпевшем ни малейших отлагательств.

5. БОГ ВНУТРИ НАС И БОГ ВНЕ НАС

В те времена, когда я еще прогуливал Биби, собачку моей жены, церкви Рикьери были моим проклятием.

Биби во что бы то ни стало хотелось туда войти.

В ответ на мои окрики, она садилась, протягивала мне лапку, чихала, потом смотрела на меня, склоняя голову то на одну, то на другую сторону, и всем своим видом как будто говорила, что нет, нет, не может она поверить, чтобы такой хорошенькой собачке, как она, нельзя было войти в церковь! Ведь там же никого нет!

— Как нет? Как это нет, Биби? — говорил я. — Напротив! Там пребывает почтеннейшее из человеческих чувств! Тебе таких вещей не понять, так как ты, к счастью, собака, а не человек. Люди, видишь ли, считают необходимым воздвигать дома даже для своих чувств. Им мало иметь эти чувства внутри, в своем сердце, они хотят их видеть отдельно от себя, так чтобы их

можно было потрогать, и поэтому строят для них дома.

Мне-то всегда было достаточно чувствовать бога внутри, так, как чувствую его я, на свой лад, но из уважения к чувствам других я запрещал Биби входить в церковь и сам туда не входил. Свое же чувство я держал внутри себя и пытался исповедовать его стоя, а не преклоняя колени в домах, которые выстроили для этой цели другие.

То, что было задето во мне за живое, когда жена засмеялась над тем, что я не хочу больше слыть ростовщиком, без сомнения, и было богом: это бог чувствовал себя задетым во мне, бог, который не мог больше выносить, чтобы жители Рикьери называли меня ростовщиком.

Но если бы я все так и объяснил Кванторцо и Фирбо и другим совладельцам банка, я бы только предоставил им еще одно доказательство своего безумия.

Наоборот, нужно было, чтобы бог, который жил внутри меня, тот самый, которого теперь все считали сумасшедшим, приняв как можно более сокрушенный вид, обратился бы за помощью и покровительством к богу, обитающему вне меня, тому мудрому богу, у которого были и дома, и преданные служители, и чья власть над миром была организована так замечательно, так разумно, что все любили его и боялись.

Этот бог мог не опасаться, что Фирбо и Кванторцо объявят его сумасшедшим.

6. НЕУДОБНЫЙ ЕПИСКОП

Поэтому я отправился к епископу монсиньору Партанне.

В Рикьери говорили, что он был избран епископом благодаря проискам могущественных римских прелатов. Дело в том, что, будучи уже несколько лет главой нашей епархии, он так и не снискал себе ни в ком ни симпатии, ни доверия.

В Рикьери привыкли к роскошному образу жизни, сердечным и веселым манерам, безграничной щедрости его предшественника, покойного монсиньора Вивальди, и у всех шжалось сердце, когда мы впервые увидели, как новый епископ — закутанный в плащ скелет — пешком выходит из епископского дворца, поддерживаемый с двух сторон секретарями.

Епископ, который ходит пешком!

С тех пор как епископат подобно угрюмой крепости расположился на холме над городом, все епископы неизменно спускались оттуда в роскошных экипажах, запрятанных парой коней, разукрашенных красными лентами и плюмажами.

Но еще во время церемонии вступления в должность монсиньор Партанна сказал, что епископство — это не почеть, а обязанности. Он уволил слуг, повара, кучера, привратников, отпустил экипаж и учредил во всем самую строгую экономию — и это при том, что епархия Рикьери была одной из самых богатых в Италии. Для своих пастырских посещений, которыми его предшественник пренебрегал и к которым он, напротив, относился с величайшим рвением, тщательно соблюдая все указанные в правилах сроки; несмотря на плохие дороги, а то и вообще отсутствие всяких путей сообщения, новый епископ прибегал к услугам наемных экипажей, а иногда даже просто пользовался ослом или мулом.

От Анны Розы я узнал, что монахини всех пяти городских монастырей, кроме тех, старых, из Большого монастыря, ненавидели нового епископа за суровые распоряжения, которые отдал он, едва вступив в должность. А именно: они теперь не имели права ни изготавливать, ни продавать сласти и ликеры — знаменитые свои сласти из яблок, из крема, из меда, которые, будучи упакованы, перевязываются лентами и серебряными нитями, и такие же знаменитые ликеры, настоенные на анисе и на корице; кроме того, им запрещалось вышивать — даже церковные облачения и святые покровы, им разрешалось только вязать чулки; и наконец, у них теперь не было личных исповедников, и все они без различия должны были пользоваться услугами приходского священника. Еще более суровые распоряжения были отданы в отношении служителей церкви, и все эти распоряжения были направлены на то, чтобы они строже относились к своим обязанностям.

Такой епископ, конечно, был неудобен для того, кто хотел бы держать бога отдельно от себя, выстроив для него дом тем более роскошный, чем больше у него было причин вымаливать у бога прощения. Но я ничего лучшего и желать не мог. Предшественник Партанны светлейший монсиньор Вивальди, всеми любимый и со всеми державшийся запросто, конечно, постарался бы устроить так, чтобы спасены были и банк, и моя совесть, то есть

чтобы удовлетворены остались и я, и Фирбо с Кванторцо, и все остальные.

А я между тем чувствовал, что дошел до того, что не в силах договориться даже с самим собой, не то что с кем-нибудь другим.

7. РАЗГОВОР С МОНСИНЬОРОМ

Монсиньор Партанна принял меня в просторном зале старой канцелярии епископского дворца.

Я и сейчас еще чувствую в ноздрях запах, который стоял в этом зале, чей темный потолок, расписанный фресками, был покрыт таким слоем пыли, что ничего нельзя было разобрать. Высокие, оштукатуренные, пожелтевшие от времени стены едва виднелись из-за множества старинных портретов, изображавших прелатов; все в пыли, а то и в плесени, они были развешаны безо всякого порядка, тут и там, над обшарпанными, источенными жучком шкафами и этажерками. В глубине зала были две высокие застекленные двери, за которыми распахивался унылый простор туманного неба; их стекла дребезжали от порывов поднявшегося вдруг сильного ветра, ужасного ветра, поселяющего тревогу под всеми крышами Рикьери.

Иногда казалось, что стекла вот-вот лопнут под неистовым давлением этого дико ревущего ветра, дующего из Ливии. Наш разговор весь шел под этот мрачный аккомпанемент мощного пронзительного рева и нескончаемых глухих завываний, который отвлекал меня от речей Монсиньора и, поселяя во мне невыразимое смятение, как никогда, заставлял почувствовать всю горечь от сознания тщеты времени и жизни.

Помню, что за одной из стеклянных дверей был виден маленький балкончик противоположного дома. И на этом балкончике вдруг появился человек, которого, должно быть, сорвала с постели безумная мысль испытать блаженство полета.

Он стоял на самом ветру и вокруг его худого тела — такого худого, что без дрожи нельзя было смотреть! — развевалось красное шерстяное одеяло, которое он накинул на плечи, придерживая его на груди скрещенными руками. И он смеялся, смеялся, хотя слезы блстели в его испуганных глазах, а над головой у него взлетали, как языки пламени, длинные пряди рыжих волос.

Это видение так меня поразило, что я не выдержал и указал на него Монсиньору, перебив его чрезвычайно серьезную речь об угрызениях совести, которую он произносил уже довольно долго и с видимым удовольствием.

Монсиньор едва обернулся, чтобы взглянуть, и, с одной из тех улыбок, что с успехом заменяют вздох, сказал:

— А, этот! Так это бедняга сумасшедший, что там живет!

И сказал он это так равнодушно, словно о чем-то ставшем ему давно привычным, что мне захотелось заставить его вздрогнуть, заметив: «А вы знаете, он не там. Он здесь, Монсиньор! Сумасшедший, который хотел бы летать, это я».

Но я сдержался и не сказал этого. Больше того, я спросил с таким же, как и у него, равнодушным видом:

— А нет опасности, что он свалится с балкона?

— Нет, он так уже много лет... И он безобидный, совсем безобидный...

И тут против воли у меня вырвалось:

— Совсем как я!

Так что Монсиньору пришлось-таки вздрогнуть. Но я тотчас же обратил к нему свое лицо — такое спокойное, такое улыбающееся, и он тут же овладел собой. Я объяснил ему, что и я тоже не приношу ни малейшего вреда ни синьору Кванторцо, ни синьору Фирбо, ни моему тестю, ни моей жене — в общем, никому из тех, что хотели бы учредить надо мною опеку.

Успокоенный Монсиньор снова вернулся к разговору об угрызениях совести, который, по его мнению, был наиболее подходящим для моего случая и к тому же единственным, посредством которого он, опираясь на свою духовную власть и влияние, мог воздействовать на козни и происки моих врагов.

Так мог ли я ему сказать, что в моем случае речь идет вовсе не об угрызениях совести, что это ему только кажется?

Если бы я рискнул ему это объяснить, и я в его глазах тут же стал бы сумасшедшим.

Бог, который жил во мне и который хотел забрать деньги из банка, чтобы меня перестали называть ростовщиком, этот бог был врагом всякого строительства. А бог, к чьей помощи и покровительству я сейчас прибе-

гал, как раз только и делал, что строил. Он, конечно, протянет мне руку, чтобы помочь получить деньги, но с условием, что на эти деньги будет построен по крайней мере один дом для второго из наиболее почтенных человеческих чувств — я имею в виду любовь к ближнему.

В конце нашей беседы Монсиньор спросил меня с торжественным видом, не этого ли я хочу.

Мне пришлось ответить, что именно этого.

Тогда он позвонил в серебряный колокольчик, надтреснутый, почерневший от времени, который до того скромно и неприметно лежал у него на столе. Появился молодой служка, белокурый, очень бледный. Монсиньор приказал ему позвать дона Антонио Склеписа, каноника кафедрального собора и директора сиротского приюта, который ожидал в коридоре. Это и был тот человек, который был мне нужен.

Этого священника я знал больше по слухам, чем лично. Хотя как-то раз я ходил к нему по поручению отца, относил письмо в приют. Здание приюта, расположенное неподалеку от епископского дворца в самой высокой точке города, старинное, просторное, квадратной формы, потемневшее и облупившееся снаружи под действием времени и непогоды, внутри сияло белизной, было полно воздуха и света. Сюда свозили неимущих сирот и незаконнорожденных детей в возрасте от шести до девятнадцати лет со всей округи и обучали их тут разным искусствам и ремеслам.

Порядки в приюте были такие суровые, что когда несчастные воспитанники пели во время утренней и вечерней службы под аккомпанемент церковного органа свои молитвы, то снизу, из города, это пение казалось жалобными стенами узников.

Хотя по внешнему виду Склеписа нельзя было сказать, что он так уж властен, суров и энергичен. Этот высокий худой священник, казалось, светился насквозь, как будто свет и воздух холма, на котором он жил, не только обесцветили, но словно бы проредили его тело, так что дрожащие его руки сделались хрупкими до прозрачности, а веки, прикрывавшие светлые миндалевидные глаза, стали тоньше луковичной шелухи. И такой же дрожащий и бесцветный был у него голос, и такая же пустая и неуловимая улыбка длинных бледных губ, между которыми то и дело мелькал белый стукот слюны.

Едва войдя и услышав от Монсиньора о мучивших меня угрызениях совести и моих планах, он тут же зача-

стил, хлопая меня по плечу, говоря мне «ты» и вообще обращаясь со мной с большой фамильярностью:

— Вот и прекрасно, вот и прекрасно, сын мой! Большое страдание — это же замечательно! Благодарю за него бога. Ты спасешься страданием, сын мой. Те дураки, которые не желают страдать, заслуживают самого сурового наказания. Но ты, на свое счастье, много страдаешь, да ты и должен страдать при мысли об отце, который, бедняга... э... да, причинил много зла... да, бедняга... Пусть твоими веригами будет мысль о твоём отце! Вот твои вериги. А борьбу с синьором Фирбо и синьором Кванторцо предоставь мне. Они хотят учредить над тобой опеку? Будь покоен, я все устрою.

Я вышел из епископского дворца с уверенностью, что одержал победу над всеми, кто собирался учредить над мной опеку; но эта уверенность и обязательства, которые из нее вытекали, обязательства, которые я взял на себя перед епископом и Склеписом, снова вышвырнули меня в безбрежное море неуверенности: теперь, когда я начисто разорен и лишен положения и семьи, что же со мной теперь будет?

8. В ОЖИДАНИИ

Теперь у меня не оставалось никого, кроме Анны Розы, а она хотела, чтобы я был подле нее во время ее болезни.

Анна Роза лежала в постели с забинтованной ногой: она говорила, что не встанет, если, как до сих пор опасались врачи, останется хромой.

Бледность и вялость от долгого лежания сообщили ей новое очарование, иное чем раньше. Глаза у нее теперь блестели ярче, и этот блеск был мрачен. Она говорила, что совсем не спит. По утрам она задыхалась от запаха собственных волос — густых, сухих, слегка вьющихся, распущенных и свалывшихся за ночь на подушке. Если б не отвращение, которое она испытывала при мысли о руках парикмахера, прикасающихся к ее голове, она бы их обрезала.

Как-то утром она спросила, не могу ли я их обрезать. И, посмеявшись над моим замешательством, натянула на лицо край простыни, и так и осталась лежать, молча, спрятав лицо.

Под простыней вызывающе обрисовывались формы

ее тела, тела зрелой девственницы. Я знал от Диды, что ей уже двадцать пять. Конечно, лежа вот так, с закрытым лицом, она знала, что я не могу не видеть ее тела, обрисовывающегося под простыней. Она меня искушала.

Тишина, царившая в этой розовой, затемненной, небурной комнатке, казалось, знала о живущей здесь тщетной жажде жизни, жизни, которой мешала зародиться и продлиться быстротечность, свойственная всем желаниям этой странной девушки.

Я угадал в ней жесткую нетерпимость ко всему, тяготеющему к длительности и постоянству. Что бы она ни делала, любое ее желание, любая мысль — все это занимало ее лишь на мгновение, а спустя мгновение отодвигалось далеко-далеко; а если что-то завладело ею сильнее обычного, то это вызывало у нее вспышки ярости и порывы гнева, приводящие иной раз к поступкам прямо-таки неприличным.

Неизменно довольна она была только своим телом, хотя иногда и выглядела недовольной и даже порой говорила, что ненавидит его. Но она постоянно разглядывала его — во всех его частях и деталях — в зеркале, принимая все возможные позы и все выражения, на которые были способны ее живые, блестящие, горячие глаза, подрагивающие ноздри, капризный алый рот, подвижный подбородок. Она делала это просто так, как актриса, потому что считала, что все это если и может ей пригодиться в жизни, то только ради игры, ради минутной игры кокетства и искушения.

Однажды утром я видел, как она примеряет — предварительно изучив ее в ручном зеркальце, которое всегда держала в постели, — нежную и сочувственную улыбку, притом что глаза ее сверкали поистине детским лукавством. Увидев, как потом она в точности повторила эту улыбку специально для меня, я возмущился.

Я сказал, что я ей не зеркало.

Она не обиделась. Она только спросила, точно ли это была та самая улыбка, которую она перед этим рассматривала в зеркале.

Раздраженный такой настойчивостью, я ответил:

— Откуда я знаю? Я же не знаю, какой вы себя видите! Возьмите и сфотографируйте эту свою улыбку!

— Уже сфотографировала, — сказала она. — Есть большая фотография. Там, в шкафу, в нижнем ящике. Пожалуйста, дайте ее сюда.

Ящик был набит фотографиями. Она все их мне показала — и старые, и новые.

— Все мертвые, — сказал я.

Резко повернувшись, она посмотрела на меня.

— Мертвые?

— Хотя и притворяются живыми.

— И даже эта, улыбающаяся?

— И эта — задумчивая, и эта, с опущенными глазами...

— Но как же — мертвые, если я живая?

— О да, сейчас да, потому что сейчас вы себя не видите. Но когда вы стоите перед зеркалом и себя рассматриваете, вы перестаете быть живой.

— А почему?

— Чтобы себя увидеть, нужно на мгновение остановить в себе жизнь. Как перед фотоаппаратом. Вы принимаете вид. А принять вид — это значит на мгновение сделаться статуей. Жизнь никогда не может увидеть самое себя, потому что она в постоянном движении.

— Так, значит, я никогда не видела себя живую?

— Так, как вижу вас я, никогда. Но я вижу тот ваш образ, который принадлежит только мне, не вам. Вы же свой, живой, можете увидеть разве что на каком-нибудь моментальном снимке. И будете неприятно удивлены, даже не захотите себя узнать — всю в движении, всю в беспорядке...

— Да, это правда.

— Вы знаете себя только такой, какой вы бываете, когда «принимаете вид». Статуей, не живой женщиной. Когда человек живет, он живет, не видя себя. Узнать себя — это умереть. Вы столько смотрите в это зеркальце, и вообще во все зеркала, оттого что не живете. Вы не умеете, не способны жить, а может быть, просто не хотите. Вам слишком хочется знать, какая вы, и потому вы не живете!

— Да ничего подобного! Наоборот, я ни минуты не могу усидеть на месте!

— Да, но при этом вам всегда надо себя видеть. Вы словно на сцене разыгрываете каждый свой поступок, каждый жест. И, может быть, отсюда вся ваша неудовлетворенность. Вы не хотите, чтобы ваше чувство было слепым. Вы заставляете его открыть глаза и взглянуть в зеркало, которое вы ему подносите. А стоит чувству себя увидеть, как оно застывает. Нельзя жить перед зеркалом. Постарайтесь на себя не смотреть. Все равно вы ни-

когда не узнаете, какой вас видят другие. А раз так — что толку узнавать, какая вы для себя? Ведь в конце концов может случиться, что вы перестанете понимать, почему вам навсегда навязан тот облик, который неизменно по-казывает вам зеркало!

Она надолго задумалась, уставив взгляд в одну точку.

Я уверен, что после этого разговора и после всего, что рассказал я ей о своих душевных муках, перед ней, как когда-то передо мной, открылась вся безграничность — тем более устрашающая, чем яснее она была — непоправимого нашего одиночества. В безграничности этого одиночества видимость пугающе обособлялась от предмета. И может быть, теперь Анна Роза думала, что не имеет смысла вообще иметь лицо, раз сама она не может увидеть себя в тот момент, когда она живет, а другие, обособляя от нее ее видимость, и вообще неизвестно какой себе ее представляют.

Тут уж не оставалось места ни для какого тщеславия.

Видеть вещи такими, какими никогда не видят их глаза других людей.

Говорить для того, чтобы убедиться, что понять друг друга невозможно.

Не было больше смысла быть кем-нибудь даже для самого себя.

И истины тоже не было, раз ни об одной вещи нельзя было сказать, какая она в самом деле. Каждый видел ее так, как видел, и такой, какой он ее видел, он и забирал ее в свое одиночество и, как мог, поддерживал ею изо дня в день свою жизнь.

Сидя в ногах ее кровати, с лицом, моему взгляду недоступным, а для нее — непроницаемым, я тонул в ее одиночестве, а она — бледная, с застывшим, далеким взглядом, облокотившись на подушку и опершись на руку растрепанной головой — тонула в моем.

Все, что я говорил, неудержимо ее притягивало и в то же время отталкивало, так что порой я вдруг замечал ненависть, вспыхивающую в ее глазах, когда она жадно меня слушала.

И все-таки она непременно хотела, чтобы я продолжал, продолжал рассказывать ей все, что взбредет мне на ум: образы ли, мысли — ей было все равно. И я говорил, почти не думая, вернее, то говорил мой дух, сам по себе, стремясь разрядить свое судорожное напряжение.

— Вот вы выглядываете в окошко, смотрите на белый свет и думаете, что он такой, каким представляет-

ся вам. Вы видите, как внизу, под окном, проходят люди, кажущиеся, по сравнению с вами, глядящей на них сверху, такими маленькими. Вы не можете не чувствовать, какая вы большая, потому что, если там, внизу, вы увидите своего приятеля, он покажется вам с палец величиной. Ах, если бы вам пришло в голову окликнуть его и спросить: «Ну, а я-то тебе какой кажусь, вот так, высушившись в окошко?» Но это не приходит вам в голову, потому что вы не думаете о том, как выглядит окошко и вы в окошке для тех, кто смотрит снизу. Вам нужно сделать над собой усилие, чтобы преодолеть условность своего восприятия, при котором те, что идут внизу и попадают на мгновение в широкое поле вашего зрения, кажутся такими маленькими: крохотные, снующие по улице фигурки! Но вы не делаете этого усилия, потому что не подозреваете о том, как выглядит для тех, кто внизу, ваше окошко, одно из множества окошек — маленькое-маленькое, высоко-высоко, — а в этом окошке вы, тоже маленькая-маленькая, машущая крохотной ручкой.

И она видела себя в этом моем описании — маленькая-маленькая, в высоком окошке, машущая крохотной ручкой, — видела и смеялась.

Но то были мгновенные вспышки, минутные проблески, потом в комнатке вновь воцарялась тишина. Время от времени в ней, словно тень, появлялась старая тетка Анны Розы, та, с которой она жила: толстая, апатичная, с огромными голубыми, ужасающе косящими глазами. Она останавливалась на пороге, скрестив на животе пухлые бледные руки — какое-то чудище из аквариума, — потом, не сказав ни слова, исчезала.

С теткой Анна Роза обменивалась за день разве что несколькими словами. Она жила собой, с собой, читала, мечтала и всегда была раздражена — и чтением, и своими мечтаниями; она ходила в лавку, навещала подруг, но все они казались ей пустыми и глупыми, ей доставляло удовольствие чем-нибудь их шокировать; возвращаясь домой, она чувствовала, как устала, как ей все надоело. Были вещи — их можно было угадать по внезапным вспышкам ярости, по сопротивлению, которые вызывали в ней некоторые намеки, — возбуждавшие в ней непреодолимое отвращение; должно быть, этим она была обязана чтению медицинских книг из библиотеки отца, который был врачом. Она говорила, что никогда не выйдет замуж.

Не знаю, что она обо мне думала, но интерес, который она испытывала ко мне, такому, каким я был в те дни — запутавшийся в собственных мыслях, ни в чем не уверенный, — этот интерес был, конечно, необычаен.

Эта моя неуверенность во всем, неуверенность, ускользающая из всех ограничивающих ее пределов, отвергающая любую опору, инстинктивно отступающая перед лицом всякой определенной и жесткой формы так, как море отступает от берегов, — эта неуверенность, которая, подобно бреду, затуманивала мой взгляд, несомненно, ее привлекала, хотя иногда, когда я на нее смотрел, у меня возникало странное впечатление, что она ее еще и забавляет; и в самом деле, разве это было не смешно — этот сидящий в ногах ее постели человек в столь фантастическом душевном состоянии, весь как бы распадающийся на части, человек, который понятия не имеет о том, что будет с ним завтра, когда, вынуд с помощью Склеписа деньги из банка, он окажется совершенно свободным и полностью разоренным!

Потому что она была уверена, что теперь-то уж я дойду до конца, как самый настоящий сумасшедший. И это бесконечно ее забавляло, хотя при этом она еще и гордилась тем, что, споря обо мне с моей женой, угадала, может быть, не в точности это, но то, что я, во всяком случае, человек незаурядный, непохожий на других, человек, от которого в любую минуту можно ждать чего-нибудь необычного. И именно для того, чтобы доказать всем, и в особенности моей жене, справедливость этого своего мнения, она и позвала меня тогда к себе и рассказала о готовившихся против меня кознях, и заставила пойти к Монсиньору; и сейчас она была ужасно довольна, видя, как сижу я в ногах ее постели — такой спокойный, такой неподвижный, не хлопочущий уже ни о чем и ни о ком, просто в ожидании того, что неминуемо должно случиться уже само по себе.

И тем не менее именно она, Анна Роза, попыталась меня убить и сделала это как раз тогда, когда удовольствие, которое она испытывала, глядя на меня, немного ее даже смешившего, перешло вдруг в огромную ко мне жалость, и она, словно зачарованная, ответила на ту жалость, которая, должно быть, светилась в моих глазах, когда я смотрел на нее как бы из бесконечной дали времени, не поддающегося уже никакому определению.

Не могу сказать в точности, как все это случилось. Глядя на нее из этой бесконечной дали, я сказал ей что-

то, чего сейчас не помню, но из чего она, должно быть, поняла сжигающее меня желание отдать всю жизнь, которая мне была отпущена, и все, чем я мог бы быть, за то, чтобы стать таким, каким хотела бы видеть меня она, а для самого себя — никем, просто никем. Помню, что из постели она протянула мне руки, помню, что привлекла меня к себе.

Из этой постели я мгновением позже скатился на пол, уже ничего не видя, тяжело раненный в грудь из маленького револьвера, который она держала под подушкой.

Должно быть, все то, что она сказала потом в свое оправдание, было правдой — то есть что она была вынуждена выстрелить, ощутив вдруг инстинктивный ужас перед тем, что должно было случиться, перед тем, к чему склонял я ее все эти дни, завораживая своими странными речами.

КНИГА ВОСЬМАЯ

1. СУДЬЯ ВЫБИРАЕТ ВРЕМЯ ПОГОВОРИТЬ

Как правило, правосудие трудно бывает упрекнуть в излишней поспешности.

Судья, которому было поручено вести процесс против Анны Розы, человек честный по натуре и убеждениям, пожелал быть педантичным до мелочности и убил несколько месяцев на то, чтобы собрать все факты и свидетельства и составить так называемое следственное дело.

Правда, во время первого допроса, который он учинил мне сразу же после того, как меня перевезли из комнаты Анны Розы в больницу, он не добился от меня ни одного ответа. Когда же врачи позволили мне открыть рот, то первый мой ответ поверг в замешательство даже не столько того, кто меня допрашивал, сколько меня самого.

Вот он, этот ответ: столь молниеносным был в Анне Розе переход от жалости, побудившей ее протянуть мне руки, к инстинктивному порыву, заставившему ее совершить этот акт насилия по отношению ко мне, что я, уже ничего не видевший от близости ее соблазнительного жаркого тела, не имел ни времени, ни возможности заметить, как ей удалось достать из-под подушки револьвер и в меня выстрелить. И так как мне казалось совершенно невозможным, чтобы она, уже после того как

привлекла меня к себе, захотела меня убить, я вполне искренне дал судье такое объяснение случившегося, которое казалось мне наиболее вероятным, а именно: что и это ранение, как и то ее ранение в ногу, было случайностью и произошло в результате того — разумеется, прискорбного — факта, что револьвер она хранила под подушкой; должно быть, в тот момент, когда я пытался приподнять больную, чтобы по ее же просьбе посадить на постели, я его задел и тем самым заставил выстрелить.

Для меня необходимой ложью была только вторая часть моего ответа, но допрашивающему он показался ложью весь, от начала и до конца, ложью такой бесстыдной, что я получил за это суровый упрек. Мне дали понять, что правосудие, к счастью, располагает недвусмысленными признаниями той, что нанесла рану. И, повинувшись непреодолимому стремлению быть искренним, я оказался так наивен, что не мог скрыть своего любопытства, своего страстного желания узнать, чем же руководствовалась нанеся мне рану, когда покушалась на мою жизнь.

Ответ на этот вопрос был так грубо выплеснут мне в лицо, что я в нем почти захлебнулся.

— Ах вот как, вы, значит, всего-навсего хотели посадить ее на постели?

Я буквально онемел.

К тому же правосудие располагало и первыми показаниями моей жены, которая теперь с большим чем когда-либо основанием и, следовательно, с чистой совестью могла утверждать, что я давно уже был влюблен в Анну Розу.

И правосудие наверняка так и осталось бы при мне, будто Анна Роза пыталась меня убить, защищаясь от грубого нападения, если бы сама Анна Роза клятвенно не заверила бы судью, что никакого нападения не было, что просто ее заморозили мои любопытнейшие рассуждения о жизни, заморозили настолько, что заставили ее совершить этот безумный поступок.

Педантичный судья, не удовлетворенный слишком общей информацией, которую Анна Роза дала ему об этих моих рассуждениях, почел своим долгом приобрести информацию более точную и детальную и прибыл ко мне, чтобы поговорить со мной лично.

2. ЗЕЛЕНОЕ ШЕРСТЯНОЕ ОДЕЯЛО

Из больницы домой меня перенесли на носилках, а потом, уже выздоравливая, я перебрался из постели в кресло и блаженно растягивался в нем у окна, покрыв ноги зеленым шерстяным одеялом. Проваливаясь в сладостный и безмятежный сон, я опьянялся самыми фантастическими видениями. Пришла весна, и первое солнечное тепло погружало меня в истому неопишуемой сладости. Мне было просто страшно, когда я чувствовал, как ранит меня нежность и прозрачность нового воздуха, струившегося в мое полуоткрытое окно, и я старался от него прятаться; время от времени я поднимал глаза, чтобы полюбоваться яркой мартовской синевой, по которой плыли веселые сияющие облака. Потом я смотрел на свои руки, бескровные, все еще дрожащие, клал их на колени и кончиками пальцев нежно поглаживал зеленый пушок на одеяле. Мне казалось, что это — бескрайнее поле пшеницы, и, глядя его, я блаженствовал так, будто я и в самом деле был в этом поле и ощущал чувства такие давние, такие, казалось бы, давно позабытые, что к горлу подступала сладкая тоска.

Ах, потеряться бы в этом поле и все забыть, все забыть — в траве, под безмолвным небом, вобрать в душу его пустынную синеву, утопить в этой синеве все мысли, все воспоминания.

И — скажите — могло ли быть что-нибудь более некстати, чем визит этого судьи?

Сейчас, когда я об этом думаю, мне жаль, что он тогда ушел из моего дома с чувством, будто я хотел над ним посмеяться. Он был похож на крота, этот судья: крохотные ручки, которые он все время держал около рта, свинцовые, прищуренные, почти слепые глазки. Все его худенькое тело было искривлено, одно плечо было выше другого. По улице он шел немного боком — так, как ходят собаки; но все говорили, что зато в области морали не было человека прямее его.

Мои рассуждения о жизни?

— Ах, синьор судья, — сказал я ему, — поверьте, я не могу повторить их перед вами. Вот взгляните-ка лучше сюда!

И я показал ему на свое зеленое шерстяное одеяло, нежно проведя по нему рукой.

— Вы пришли сюда, чтобы собрать и подготовить материал, на основе которого правосудие завтра вынесет

свой приговор. И потому вы хотели бы выслушать мои соображения о жизни, те самые соображения, которые и стали причиной того, что обвиняемая пожелала меня убить. Боюсь, что если я повторю эти соображения вам, вы убьете не меня, а самого себя, придя в отчаяние оттого, что столько лет посвятили своей профессии. Нет-нет, я ничего вам не расскажу, господин судья. Больше того, было бы хорошо, чтобы вы еще заткнули себе уши, чтобы не слышать ужасного грохота, производимого утечкой из-под плотины — то есть уже за той границей, которую вы, как хороший судья, поставили себе сами, чтобы удовлетворить требования своей чувствительной совести. Знаете ли вы о том, что в бурю плотина может рухнуть, как это и случилось, например, с синьориной Анной Розой? Какая утечка? — говорите вы. О, это утечка, которая бывает во время большого разлива. Вы, господин судья, ввели полноводную реку в русла своих чувств, обязанностей и привычек, но настает паводок, река выходит из берегов, и, разливаясь все шире и шире, рушит все на своем пути. Кому как не мне это известно! У меня-то, господин судья, затоплено все. Я уже в воде и плыву, плыву. И, если б вы знали, как я уже далеко! Я вас почти не вижу. Будьте здоровы, господин судья, будьте здоровы!

Он сидел растерянный, глядя на меня так, как глядят на неизлечимо больного. Желая вывести его из этого тягостного состояния, я улыбнулся, обеими руками приподнял с колен одеяло и, показав ему, очень любезно спросил:

— Простите, но ведь правда, оно ужасно красивое, это шерстяное одеяло — такое зеленое!

3. ОСВОБОЖДЕНИЕ

Меня утешала мысль, что все это должно способствовать оправданию Анны Розы. Хотя, с другой стороны, был еще Склепис, который, тряся своими костями, не раз прибегал сказать мне, что я его предал и продолжаю затруднять и без того трудную работу по моему спасению.

Неужели я не понимал, какой шум вызовет в городе это мое приключение? И это как раз в тот момент, когда я должен был всем доказать, что с головой у меня все в порядке. И не доказал ли я, напротив, что жена, убежавшая от меня к отцу из-за моего недостойного поведе-

ния, была права? Ведь я ей изменял и взбунтовался против того, чтобы меня называли ростовщиком только для того, чтобы покараться перед этой экзальтированной девицей! Эта моя преступная страсть так меня ослепила, что я решил — и с настойчивостью этого добивался — разорить и себя и других; ну, а в конце концов эта преступная страсть чуть было не стоила мне жизни!

Так что теперь, перед лицом всеобщего возмущения, Склепису не оставалось ничего другого, кроме как признать мою постыдную вину, и он видел для меня только один путь спасения — полное и откровенное раскаяние. Однако не нужно было впадать и в крайности, я просто должен был продемонстрировать такую страстную готовность к самоотверженному раскаянию, чтобы он смело мог требовать и от других пожертвовать собственными интересами. Я только кивал в ответ на все, что он говорил, не следя за тем, как диалектика его аргументации, становясь все горячее и горячее, преобразовалась в совершенно искреннее убеждение. Он выглядел все более удовлетворенным, хотя при этом внутренне несколько растерянным, словно сам не понимал, вызвано ли это удовлетворение неподдельным чувством любви к ближнему или успехом его интеллектуальных ухищрений?

Он пришел к выводу, что я явил бы собою замечательный пример раскаяния и самоотречения, если бы отдал и дом, и все, чем я владею, в том числе и деньги, что должны были мне достаться при ликвидации банка, на приют для нищих, при котором круглый год будет открыта бесплатная столовая, предназначенная не только для призываемых, но и для всех нуждающихся в этом бедняков, и где будут выдавать, исходя из расчета несколько предметов в год, одежду для лиц обоего пола и всех возрастов. Сам я получу в этом приюте комнату и, как всякий другой нищий, буду спать на раскладушке, есть суп из деревянной миски и носить принятую там одежду, соответствующую моему полу и возрасту.

Больше всего меня мучило то, что полную мою покорность могли действительно принять за раскаяние, в то время как я-то готов был отдать все и ничему не противился просто потому, что был теперь бесконечно далек от того, что имело смысл и значение для других; я не только чувствовал себя отчужденным от себя самого и всего окружающего, я испытывал прямо-таки

ужас при мысли о возможности кем-то быть и чем-то владеть.

И так как я не желал больше ничего, я знал, что и сказать мне больше нечего. И я молчал, в восхищении глядя на этого старого, почти прозрачного священника, который так умел хотеть и с таким тонким искусством осуществлял то, что задумал, и все это — не ради собственных своих нужд и даже, может быть, не ради любви к ближнему, а ради того, чтобы его заслуги были отмечены в доме бога, которому он служил с такою преданностью и усердием.

Так вот: для самого себя — никто.

Может быть, это и был путь, который вел к тому, чтобы стать чем-то одним-единственным и определенным для других.

Но слишком явной была в этом священнике гордость своим знанием и умением. Хотя он и в самом деле жил для других, ему хотелось быть еще чем-то для себя, и он отделял себя от других сознанием того, что он сведущ во всем больше, чем остальные, что он больше, чем остальные, может и что он всех усерднее и преданнее.

И потому, глядя на него и, разумеется, продолжая им восхищаться, я немного на него и досадовал.

4. НИЧЕГО НЕ КОНЧЕНО

Анну Розу и так бы наверное оправдали, но мне кажется, что частично она обязана своим оправданием веселью, которое воцарилось в зале суда, когда, вызванный давать показания, я появился там в берете, деревянных башмаках и синей приютской блузе.

Я перестал смотреться в зеркало, и мне в голову не приходило поинтересоваться тем, что произошло за это время с моим лицом и вообще со всем моим обликом. То, что предстает глазам окружающих, должно быть, сильно изменилось и, по-видимому, даже стало смешным, если судить по изумлению и смеху, которыми было встречено мое появление. И тем не менее все по-прежнему называли меня Москарда, хотя слово Москарда имело теперь для каждого смысл настолько отличный от прежнего, что, казалось бы, бородатый, растерянно улыбающийся бедняга в деревянных башмаках и синей приютской блузе мог быть избавлен от обязанности

оборачиваться на это имя так, словно оно и в самом деле до сих пор принадлежало ему.

Никаких имен. Никаких воспоминаний о вчерашнем имени сегодня и о сегодняшнем завтра. Раз имя — это и есть вещь, раз через имя мы и постигаем смысл всякой вещи, которая вне нас, а без имени она остается непостижимой, наглухо в себе замурованной, не выделенной и не определенной, то пусть тогда каждый, кто меня знал, высечет мое имя надгробной надписью на лбу того образа, в который он меня облакает, и — кончено, нечего о нем вспоминать. Потому что имя это и в самом деле всего лишь надгробная надпись. Оно подобает мертвому. Тому, кто кончился. А я еще не кончился. Жизнь вообще никогда не кончается. И она не знает имен, жизнь. Вот дерево, я пью дыхание и трепет молодых листьев. И я становлюсь этим деревом. Деревом, облаком, а завтра книгой или ветром. Книгой, которую я читаю. Ветром, которым дышу. Меня нет, но я во всем, что вокруг.

Наш приют стоит посреди равнины, в прелестнейшем месте. Каждый день я поднимаюсь на рассвете, потому что хочу сохранить свой дух свежим, каким он бывает на заре, когда все вокруг еще едва проступает из тьмы и отдает сыростью ночи, пока все вокруг еще не высохло и не слиняло от солнца. И скученные над синими горами набухшие свинцовые тучи, рядом с которыми в этом сумрачном, почти ночном освещении кажется еще просторнее и яснее зеленый просвет неба. И живая свежесть межи, заросшей травой, еще такой нежной от пропитавшей ее ночной влаги. И ослик, ночевавший под открытым небом, который смотрит затуманенными глазами и вдруг фыркает, и тишина, только что плотно его обступившая, начинает как будто редеть, и все вокруг медленно и спокойно проступает под светом, разливающимся по пустынным и изумленным полям. Огороженные то темной зеленью живых изгородей, то облупившимися каменными стенами проселки, которые вот-вот побегут вперед по своим изъезженным колеям, пока еще хранят ночную неподвижность. И даже воздух — он тоже новый. И все вокруг мгновенье за мгновеньем предстает таким, как оно есть: все оживает, воплощаясь в форму. И я тут же отвожу взгляд, чтобы не видеть, как, едва воплотившись, все застывает, чтобы умереть. Только так я и могу теперь жить. Рождаться каждый миг заново, не давать мысли проникнуть в меня и изрыть все внутри бесплодными своими ходами.

Город — далеко. Иногда в сумерках вечера до меня доносится колокольный звон. Но теперь колокола звучат уже не во мне, а вне меня; такие тяжелые на самом верху сквозных, прозрачных колоколен, они звонят для себя и, наверное, содрогаются от радости в своих гудящих куполах, а вокруг — мчатся тучи, или сияет солнце и в прекрасном голубом небе щебечут ласточки. Думать о смерти, молиться. Есть люди, которым все это еще нужно, и колокола подают им свой голос. Мне это больше не нужно, потому что я умираю каждое мгновение и тут же рождаюсь заново, ничего не помня о прошлом, живой и цельный; рождаюсь уже не в самом себе, а во всем, что меня окружает.

1925—1926

СОДЕРЖАНИЕ

НОВЕЛЛЫ

Конь на луне. Перевод Л. Степановой.	4
Гроб про запас. Перевод А. Косс.	9
Бумажный мир. Перевод А. Косс.	21
Соломенное чучело. Перевод В. Федорова.	29
Покончим с этим делом. Перевод Н. Фарфель.	37
Путешествие. Перевод В. Федорова.	46
*Живая и мертвая. Перевод Н. Трауберг.	61
Боязнь счастья. Перевод Н. Фарфель.	68
Красная книжечка. Перевод В. Федорова.	75
Пой-Псалом. Перевод В. Федорова.	82
Во имя добродетели. Перевод Л. Виндт.	89
Нотариус Боббио и молитва Пресвятой Деве. Перевод В. Федорова.	99
Ловушка. Перевод В. Федорова.	106
*Чистая правда. Перевод Н. Томашевского.	113
Ты смеешься! Перевод М. Зубова.	121
Requiem aeternam dona eis, Domine. Перевод В. Федорова	127
Статутка Мадонны. Перевод В. Федорова.	135
Сам. Перевод Н. Фарфель.	142
Вера. Перевод А. Косс.	149
Покровитель мореходов. Перевод А. Косс.	156
Пушинка. Перевод Н. Фарфель.	165
Рука больного бедняка. Перевод Э. Линецкой.	173
Тачка. Перевод Н. Фарфель.	181
У вас на спине смерть. Перевод М. Зубова.	188
Похищение. Перевод В. Федорова.	195
География — вот лекарство. Перевод Н. Фарфель.	211
Уничтожить человека. Перевод В. Лукьянчука.	217
Ничто. Перевод В. Федорова.	227
Бегство. Перевод А. Косс.	239
Возвращение. Перевод А. Косс.	244
Немного вина. Перевод Н. Фарфель.	250
Прах. Перевод С. Бушуевой.	254
Скамья под старым кипарисом. Перевод Н. Фарфель.	260
Дуновение. Перевод Н. Фарфель.	265
Чинчи. Перевод Н. Рыковой.	277

Босиком по зеленой траве. <i>Перевод Л. Степановой</i>	284
Однажды вечером, цветок герани... <i>Перевод Н. Фарфель</i>	288
Здесь кто-то смеется. <i>Перевод Н. Рыковой.</i>	291
Посещение. <i>Перевод Н. Рыковой.</i>	297
Испытание. <i>Перевод Н. Рыковой.</i>	301
Дом смертной тревоги. <i>Перевод Н. Рыковой.</i>	306
Счастье быть лошадьё. <i>Перевод Н. Рыковой.</i>	310
Вызов. <i>Перевод Н. Рыковой.</i>	315
Гвоздь. <i>Перевод Н. Рыковой.</i>	320
Черепаша. <i>Перевод Н. Рыковой.</i>	325
Один день. <i>Перевод Н. Рыковой.</i>	332

КТО-ТО, НИКТО, СТО ТЫСЯЧ. Роман. *Перевод С. Буцуевой*

КНИГА ПЕРВАЯ

1. Моя жена и мой нос.	340
2. А ваш нос?.	342
3. И это вы называете «побыть одному»!.	345
4. А вот что значило для меня «побыть одному»	347
5. Выслеживание незнакомца.	350
6. Наконец-то!.	352
7. Сквозняк	352
8. И что же?.	356

КНИГА ВТОРАЯ

1. Есть я и есть вы.	357
2. Так что же делать?.	360
3. С вашего позволения.	364
4. И — простите — еще одно слово.	365
5. Застывшие образы.	366
6. Нет, я скажу вам это прямо сейчас.	367
7. При чем тут дом?.	368
8. За городом, на воздухе.	369
9. Облака и ветер.	370
10. Птичка.	371
11. Возвращаясь в город.	372
12. Этот милый Джендже.	375

КНИГА ТРЕТЬЯ

1. Сумасбродства поневоле.	380
2. Открытия.	380
3. Корни.	383
4. Семья.	385
5. Перевод одного слова.	386
6. Злой добрый малый.	387

7. Необходимые скобки (одни на всё).	389
8. Возьмем тоном ниже.	393
9. Закроем скобки.	395
10. Два гостя.	396

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

1. Кем были для меня Марко ди Дио и его жена Диаманте	398
2. Первый, но исчерпывающий.	403
3. Нотариальный акт.	405
4. Главная дорога.	409
5. Насилие.	410
6. Кража	416
7. Взрыв.	419

КНИГА ПЯТАЯ

1. Поджав хвост.	421
2. Смех Диды.	423
3. Я разговариваю с Биби.	425
4. Взгляд чужих глаз.	427
5. Замечательная игра.	429
6. Сложение и вычитание.	430
7. А я тем временем себе говорил.	431
8. Задетый за живое.	432

КНИГА ШЕСТАЯ

1. Ссора.	440
2. В пустоте.	442
3. Я продолжаю подвергать себя риску.	443
4. Врач? Адвокат? Учитель? Депутат?.	444
5. А почему бы и нет, спрошу я.	447
6. Подавляя смех.	448

КНИГА СЕДЬМАЯ

1. Осложнение.	448
2. Первое предупреждение.	449
3. Револьвер среди цветов.	450
4. Объяснение.	453
5. Бог внутри нас и бог вне нас.	457
6. Неудобный епископ.	458
7. Разговор с Монсиньором.	460
8. В ожидании.	463

КНИГА ВОСЬМАЯ

1. Судья выбирает время поговорить.	469
2. Зеленое шерстяное одеяло.	471
3. Освобождение.	472
4. Ничего не кончено.	474

Пиранделло Л.
П 33 Избранная проза: В 2-х т. Пер. с ит. Т. 2.
Новеллы (1907—1936); Кто-то, никто, сто тысяч:
Роман / Сост. С. Бушуевой. — Л.: Худож. лит.,
1983. — 480 с., 1 л. портр.

Луиджи Пиранделло (1867—1936) — знаменитый итальянский прозаик и драматург.

4703000000-057
П ————— 125-83
028(01)-83

ББК 84.4Ит

ЛУИДЖИ ПИРАНДЕЛЛО

ИЗБРАННАЯ ПРОЗА В ДВУХ ТОМАХ
ТОМ 2

Редактор Н. Снеткова
Художественный редактор Р. Чумаков
Технический редактор Н. Литвина
Корректор И. Каган

ИБ № 2644

Сдано в набор 28.05.82. Подписано в печать 25.01.83. Формат 84 x 108^{1/32}.
Бумага кн.-журн. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. 25,20 + вкл. 0,05 =
= 25,25 усл. печ. л. 26,09 усл. кр.-отт. 26,87 + 1 вкл. = 26,93 уч.-изд. л.
Тираж 50000 экз. Изд. № ЛУ1-14. Заказ № 493. Цена 2 р. 40 к.
Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная
литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Нев-
ский пр., 28. Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового
Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объедине-
ние «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома
при Государственном комитете СССР по делам издательств, поли-
графии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский
пр., 15.